ПИСЬМА К ДРУГУ

ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ – ИСААКУ ГЛИКМАНУ

ШТ 93

Издательство «DSCH»
Москва
Издательство «Композитор»
Санкт-Петербург
1993

ББК 85.313(2)7
П35

Письма к другу: Письма Д. Д. Шостаковича к И. Д. Гликману/Сост. и комментарии И. Д. Гликмана. — М.: DSCH — СПб.: Композитор, 1993. — 336 с.: ил.

П35

ISBN 5-85285-231-7

Свыше четырех десятилетий длилась дружба Д. Д. Шостаковича и И. Д. Гликмана. Неведомые биографам письма великого композитора к своему другу, профессору Санкт-Петербургской консерватории Исааку Давидовичу Гликману (а их около 300) охватывают почти половину жизненного и бо́льшую часть творческого пути Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Чрезвычайно широк круг тем, затронутых в тексте писем и комментариев. В них рельефно вырисовывается духовный и внешний облик Д. Д. Шостаковича, оживает целая портретная галерея современников, воскрешается атмосфера эпохи.

Издание предназначается для широкого круга читателей.

ББК 85.313(2)7

Издание осуществлено при поддержке
Санкт-Петербургского отделения
международного фонда «Культурная инициатива»,
Комитета по культуре и туризму при мэрии Санкт-Петербурга
и акционерного общества «Родники».

П $\frac{4905000000—601}{082(02)—93}$ 449-91

ISBN 5-85285-231-7

© И. Д. Гликман, предисловие, составление, комментарии, 1993.
© Издательство «Композитор», 1993.
© Издательство «DSCH», 1993.
© И. Н. Кошаровский, худож. оформление, 1993.
Все права защищены.

ПРЕДИСЛОВИЕ

С душевным волнением, после долгих колебаний я решаюсь опубликовать письма Д. Д. Шостаковича.

Меня неотступно преследует мысль о том, как бы он отнесся к такой затее?

Ведь письма эти, лишенные особых секретов и тайн, тем не менее предназначены мне и только мне. Они не были рассчитаны на огласку и всеобщее обозрение. Правда, меня несколько утешает, что Дмитрий Дмитриевич не обмолвился ни одним худым словом по поводу того, что я опубликовал его письмо ко мне в сборнике «Памяти И. И. Соллертинского» (Л.; М., 1974), но оно было посвящено скончавшемуся любимому другу.

В последние годы жизни Дмитрий Дмитриевич с крайним раздражением реагировал на многочисленные просьбы написать воспоминания об ушедших деятелях искусства. Он мне говорил: «Ну, зачем ко мне обращаются с такими просьбами, ведь я не литератор? И вообще, кому нужны эти так называемые воспоминания. Надеюсь, что после моей смерти Ирина [Антоновна] не будет обивать чужие пороги и просить, чтобы обо мне написали „воспоминания"».

Я беру в кавычки слово «воспоминания», так как оно неизменно произносилось с оттенком пренебрежения и иронии. Вместе с тем Дмитрию Дмитриевичу хотелось написать «кое-что», как он выразился, о Михаиле Михайловиче Зощенко: «Вот о нем я, пожалуй, попробую написать, если хватит умения». Но это пожелание не было осуществлено.

Хорошо зная неприязнь Дмитрия Дмитриевича к мемуарному жанру, я рискнул, однако, обратиться к нему с просьбой написать страничку-другую о Леониде Владимировиче Николаеве — его учителе по фортепиано, которого он глубоко почитал. В данном случае я выступил в незавидной роли посредника между энергичными и напористыми составителями сборника и Дмитрием Дмитриевичем. Было это 17 марта 1975 года на премьере оперы М. С. Вайнберга «Мадонна и солдат» в Ленинграде, в Малом оперном театре. Мы сидели рядом, и в антракте я не без робости начал с того, что мне ничего не стоит набросать, так сказать, план этой статейки. Дмитрий Дмитриевич вспыхнул. Его на минуту покинула его всегдашняя сдержанность, и он в

сердцах мне ответил: «Ты скажи этим составителям, что я не писатель, что я более или менее умею писать ноты, а не мемуары о других и о себе!»

Я, конечно, пожалел о том, что невольно огорчил Дмитрия Дмитриевича. Мог ли я предполагать, что то была последняя весна в его жизни!

Эта бурная вспышка мемуарофобии, если можно так выразиться, странным образом напомнила мне нечто схожее с некоторыми высказываниями А. С. Пушкина.

Когда стало известно, что Томас Мур сжег мемуары Байрона, то Пушкин, горячо любивший великого английского поэта, преклонявшийся перед ним, всячески одобрял случившееся. Не печалился, не скорбел, а, напротив, радовался гибели драгоценнейших записок. Он полагал, что Байрон не нуждается в мемуарах, ибо он исповедался, рассказал о себе в своей поэзии.

Об этом Пушкин с большой запальчивостью писал своему другу П. А. Вяземскому из Михайловского во второй половине ноября 1825 года*. Пушкинское письмо поражает совершенно неожиданным ракурсом и поворотом мемуарной темы, стремлением защитить гения от низменного любопытства толпы, жадно выискивающей неизбежные слабости в его личной жизни, чтобы уравняться с ним, быть с ним на равных. Причем в трактовке Пушкина «толпа» — косная, тупая сила, враждебно противостоящая поэту. Такая концепция, как известно, легла в основу ряда его стихотворений.

Позволю себе привести наиболее примечательные строки из этого письма: «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? Черт с ними! Слава богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах, невольно увлеченный восторгом поэзии. ⟨...⟩ Оставь любопытство толпе и будь заодно с Гением. ⟨...⟩ Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции. — Охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки, etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. *Он мал, как мы, он мерзок, как мы!* Врете, подлецы: он мал и мерзок — не так, как вы — иначе!»**.

К этой волнующей и столь резко выраженной теме Пушкин вернулся в заметке, датированной 1827 годом, но выдержана она в более спокойных и мягких тонах.

Пользуясь пушкинской формулой, можно, как мне кажется, утверждать, что Дмитрий Дмитриевич исповедался в своих произведениях и они, помимо своей громадной объективной ценности, составляют его внутреннюю биографию. Что касается внешнего жизнеописания, то Шостакович, по моим наблюдениям, был им в принципе мало озабочен.

Он не собирал и не хранил писем своих корреспондентов, побуждая их следовать его примеру. Я не раз слышал из его уст такие вопросительные фразы: «Ты хранишь письма? Зачем? Для какой надобности?» Дмитрий Дмитриевич не ставил точки над «i», но явно имел в виду свои собственные письма, которым не придавал значения.

---

* Достойно удивления, что Пушкин в это же время создавал свои воспоминания, которые он впоследствии сжег.

** Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. М., 1982. Т. 1. С. 237.

В редких случаях он на какое-то время оставлял у себя понравившиеся ему по какой-либо причине письма, чтобы их перечитать. В числе таких раритетов случайно оказалось и мое письмо, написанное 16 июня 1975 года за семь недель до кончины Дмитрия Дмитриевича.

Надеюсь, что Ирина Антоновна Шостакович не посетует на меня, если я воспроизведу (текстуально) ее слова, сказанные мне 12 августа 1975 года в Жуковке, в трагически опустевшем кабинете Дмитрия Дмитриевича.

Она со слезами на глазах рассказывала о последних днях Дмитрия Дмитриевича, затем вытащила из письменного стола мое письмо, сказав при этом: «Это письмо понравилось Мите, он его несколько раз перечитывал и смеялся. В больнице он сказал: „Где письмо Исаака Давыдовича? Принеси мне его сюда". И я принесла его в больницу».

Ирина Антоновна, держа в руках мое письмо, проговорила: «Если хотите, то возьмите его. Ведь Митя не хранил писем, хотя Ваши письма он любил читать».

И я взял на память письмо, думая с ужасом и душевной болью, что мне уж больше никогда не придется писать Дмитрию Дмитриевичу.

Быть может, моим читателям (если таковые найдутся) покажется нескромным с моей стороны оглашать рассказ Ирины Антоновны, но я это делаю, разумеется, не для того, чтобы похвастать эпистолярным мастерством, которое мне не присуще, а для того, чтобы бросить боковой свет на отношение Дмитрия Дмитриевича к письмам. Даже те из них, которые вызывали его интерес, как правило, ненадолго у него залеживались. Были, конечно, и исключения. Например, письмо В. Э. Мейерхольда, датированное 13 ноября 1936 года (в тяжелое для Дмитрия Дмитриевича время), уцелело и было через 22 года напечатано в двухтомнике Мейерхольда.

Читать затерянные в прошлом письма — значит возвращать на какие-то мгновения безвозвратно ушедшее. И обдуманные и небрежные строки вызывают в памяти живые, неповторимые интонации автора писем, его лицо, мимику, жест, повадку. А за всем этим, то явственно, то глухо, звучит голос времени.

Мне жаль, что все письма Дмитрия Дмитриевича, присланные мне в 30-х годах, бесследно исчезли в период блокады. А в 30-х годах были созданы такие великие произведения, как «Леди Макбет Мценского уезда», Четвертая, Пятая, Шестая симфонии, Виолончельная соната, Фортепианный квинтет, и о них, то мимоходом, то с некоторыми подробностями, писал мне Дмитрий Дмитриевич во время отлучек из Ленинграда.

Когда я однажды рассказал ему об этой пропаже, то он отнесся к ней с полным равнодушием и безразличием.

В этой связи мне хотелось бы снова вернуться к Пушкину и напомнить о его статье, посвященной Вольтеру. Она была написана и опубликована в 1836 году, через одиннадцать лет после филиппики, направленной против мемуаров. В статье излагается совершенно новый взгляд на наследие выдающихся личностей. По убеждению Пушкина, не только письма или мемуары, но любой клочок бумаги, оставленный великим писателем, приобретает для потомства исключительный интерес и ценность. Великолепен ход пушкинской мысли:

«Всякая строка великого писателя становится драгоценной для

потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записка к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незначащие слова, тем же самым почерком и, может быть, тем же самым пером написала и великие творения, предмет наших изучений и восторгов»*.

Признаться, я так не думал, живя долгие годы вблизи Шостаковича, вследствие чего множество деловых и, как мне казалось, малозначащих записочек Дмитрия Дмитриевича никогда не хранил. Зато к его письмам, даже самым кратким, относился бережно, хотя не поручусь за то, что некоторые из них не пропали в послевоенный период.

В письмах Дмитрия Дмитриевича я всегда ощущал какую-то частицу (большую или меньшую) его самого, именно потому они мне очень дороги. Быть может, нечто подобное будут испытывать те читатели, которые любят Шостаковича как гениального композитора и человека.

Тут volens nolens мне придется коснуться своей собственной персоны. Я постараюсь это сделать, памятуя афоризм Давида Юма: «Очень трудно долго говорить о себе без тщеславия». Буду по возможности краток, чтобы избежать упреков в тщеславии.

С самых юных лет я был без ума от Шостаковича. Мне очень нравилась Первая симфония, а «Нос» произвел ошеломляющее впечатление. Мне казалось, что опера написана самим Гоголем, пожелавшим омузыкалить, распеть свой бесподобный текст.

Шостакович стал моим кумиром.

Я восхищался не только его талантом, но и внешним обликом. Меня пленяли тонкость, оригинальность, благородство его лица, на котором сверкали за стеклами очков прекрасные серые глаза — умные и проницательные, задумчивые или искрящиеся смехом.

В иных писаниях молодой Шостакович изображается физически слабым, немощным и даже хилым. Мне эти утверждения представляются глубоко ошибочными.

Он был, на мой взгляд, хорошего роста, стройным, гибким, сильным. Ему очень шла одежда, а во фраке или смокинге он был обворожителен. Его голова была украшена великолепными темно-русыми волосами, аккуратно расчесанными или лежащими в «поэтическом» беспорядке с озорной, непокорной прядью, падающей на лоб. Улыбаясь, он обнажал отличные зубы. В 30-е годы Дмитрий Дмитриевич выглядел гораздо моложе своих лет.

Личное знакомство с Шостаковичем я считал несбыточной мечтой, тем не менее оно произошло осенью 1931 года в филармонии при посредстве Ивана Ивановича Соллертинского, которого я знал. Рукопожатие гения я воспринял тогда как счастливое событие в моей жизни. Год спустя я стал заведовать культурно-массовым отделом филармонии, и это увеличивало мои шансы на встречи с Шостаковичем. Так оно и случилось.

В 30-е годы ленинградские композиторы были ревностными, постоянными посетителями филармонических концертов, среди них был, конечно, и Дмитрий Дмитриевич. Существовал и другой обычай, впоследствии исчезнувший. Музыканты всех родов оружия имели обыкновение систематически появляться в дневные часы в обширной гостиной, примы-

* Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. 2-е изд. М., 1958 Т. 7. С. 410.

кавшей к кабинету директора и художественного руководителя филармонии. Гостиная чем-то напоминала клуб, в котором очень часто можно было увидеть В. В. Щербачева, Ю. А. Шапорина, В. М. Дешевова, Б. А. Арапова, А. С. Животова, А. Ф. Пащенко, В. В. Желобинского, Л. В. Николаева, В. В. Софроницкого, А. В. Гаука, Е. А. Мравинского, Н. С. Рабиновича, М. С. Друскина, разумеется, И. И. Соллертинского. В этот импровизированный клуб любил наведываться и Д. Д. Шостакович. Здесь непринужденно велись беседы на музыкальные, театральные или деловые темы, порою перемежавшиеся исполнением каких-либо симфонических новинок. В таких случаях за рояль садились Александр Васильевич Гаук — тогдашний дирижер филармонии — и Николай Семенович Рабинович, прекрасно игравшие с листа.

Я не спускал глаз с Дмитрия Дмитриевича, жадно прислушивался к каждому его слову. Время от времени я с юношеской отвагой вступал в общую беседу, отпускал какие-то шутки, быть может, удачные, на которые с заливистым смехом несколько раз реагировал мой кумир. Так или иначе, но я был им замечен, и это стало предметом моей гордости. Нашему сближению способствовал И. И. Соллертинский, хорошо ко мне относившийся. К концу 1932 года мои отношения с Дмитрием Дмитриевичем приобрели форму приятельства, и это можно утверждать без всяких натяжек. Именно тогда мы перешли на «ты», поначалу называя друг друга по имени, но вскоре присовокупили отчества. Инициатором этой перемены был Дмитрий Дмитриевич, следовавший, вероятно, каким-то старинным традициям. Тем не менее он в обращении к добрым знакомым или друзьям делал какие-то только ему ведомые различия. Так, например, Виссариона Яковлевича Шебалина и Льва Николаевича Оборина, будучи с ними на «ты», называл только по имени (без отчества), а Соллертинского и меня по имени и отчеству, никогда не изменяя этой формы ни в устной, ни в письменной речи.

Между тем приближался вечер Шостаковича в Большом зале филармонии. Я ждал его с волнением, нетерпением и устроил маленькую выставку, посвященную автору. Концерт состоялся 17 января 1933 года. На нем исполнялись: Пассакалья с органом из «Леди Макбет Мценского уезда», еще не поставленной в Малом оперном театре. Этот шедевр Шостаковича был горячо встречен публикой, но более шумный успех выпал на долю двух сюит из балетов «Золотой век» и «Болт», номера из которых бисировались. Я был счастлив.

Дмитрий Дмитриевич, довольный концертом, пригласил меня на ужин, к себе домой на улицу Марата, которую мы по привычке называли Николаевской. Мне была оказана большая честь, и я не помнил себя от радости, шагая в морозную ночь к дому, который столь недавно был для меня недоступным. Среди гостей я был самым младшим и неприметным, но Дмитрий Дмитриевич как истый интеллигент принимал всех без чинов, с одинаковым радушием. В ту памятную для меня ночь он был обворожительно весел, пружинисто легок, стремителен. Слегка охмелев, он безотказно играл на рояле свою и чужую музыку для желающих танцевать. И гости танцевали с превеликим усердием. Особенно отличились автор песни «Полюшко-поле» — Лев Книппер и его блиставшая красотой жена, приехавшие из Москвы на концерт Шостаковича. Мне запомнился старомодно танцевавший Юрий Александрович Шапорин — большой, громоздкий, смешливый, а по контрасту с ним изящный, грациозный Шостакович.

Мне кажется, что в ту январскую ночь радужное настроение Дмитрия

Дмитриевича питалось не только успешно прошедшим концертом. В нем кипела и бурлила неуемная творческая энергия. Как-никак он только что завершил «Леди Макбет Мценского уезда». Сегодня в филармонии прозвучал чудесный фрагмент из этой гениальной оперы, а вскоре ее можно будет целиком услышать и увидеть в театре. Есть чему радоваться!

На этом ужине с танцами я инстинктивно почувствовал, как по неведомым причинам от Дмитрия Дмитриевича протягивались ко мне какие-то невидимые нити дружественного расположения. Прощаясь со мной, он просил не забывать его («Не забывай» — любимая формула Дмитрия Дмитриевича), приходить «на огонек», тем более что есть повод: совместно обсуждать некоторые подробности предстоящей постановки «Леди Макбет» в Малом оперном театре.

С тех пор начались, можно сказать, мои регулярные посещения Шостаковича на всех его ленинградских квартирах: на упомянутой улице Марата, Дмитровском переулке, Кировском проспекте, Большой Пушкарской.

С тех пор началась моя переписка с Дмитрием Дмитриевичем, а два года спустя я стал его личным секретарем и вел нарастающую со дня на день корреспонденцию знаменитого композитора.

Когда-то великий поэт и замечательный умница Генрих Гейне путем анализа и конкретных наблюдений пришел к не очень утешительному выводу о том, что личность гениального художника отнюдь не адекватна его произведениям, что эти понятия обособленны, разомкнуты и не совпадают друг с другом.

Гейне писал: «Перо гения всегда более велико, нежели он сам».

Я часто задавал себе вопрос: была ли присуща такая дисгармония Шостаковичу? Думаю, что нет. По моему убеждению, личность Дмитрия Дмитриевича существовала в гармоническом единстве с его музыкой. Так же, как и она, он был душевно чист, искренен, благороден, гуманен, величав в своих страданиях, искрометно остроумен в минуты радости, саркастичен перед лицом несправедливости. Он любил повторять формулу пушкинского Моцарта о гении и злодействе, она была для него заветной и священной, не подлежащей никаким компромиссным истолкованиям.

Приведу один интересный пример. Дмитрий Дмитриевич рассматривал расизм как проявление злодейства, именно поэтому он, понимая значение Рихарда Вагнера, не считал его гением. Раз автор «Кольца нибелунга» был расистом, следовательно он не мог быть гением, ибо «гений и злодейство — две вещи несовместные».

Такой максимализм в оценке Вагнера может кому-то показаться чрезмерным, но он очень характерен для Шостаковича, питавшего жгучую ненависть к злодейству в любой форме его проявления, и это, как хорошо известно, нашло ярчайшее воплощение в его музыке. Личность Дмитрия Дмитриевича и его творения образуют органическое единство.

В 30-е годы на долю Шостаковича выпали чрезвычайно трудные испытания, и я восхищался его поведением. Оно чем-то таинственно мне напоминало бесплотных, но вместе с тем трепетно живых лирических героев его симфонической и камерной музыки: скорбные раздумья в сочетании с несокрушимой силой духа. Я находил смутные

подтверждения своих представлений в письмах Дмитрия Дмитриевича той поры.

Само собой разумеется, что история «Леди Макбет» исполнена большого драматизма и об этом пока еще далеко не все написано. И я это делать в данной работе не стану, так как письма тех лет у меня отсутствуют, они, как уже было упомянуто, пропали.

«Леди Макбет» принесла Шостаковичу поистине гигантскую, ни с чем не сравнимую на моей памяти славу. Ее постановка (у нас и за рубежом) вызвала бурю восторгов. И когда триумф достиг своего апогея, над оперой внезапно разразилась катастрофа. Статья «Сумбур вместо музыки», опубликованная в газете «Правда» в конце января 1936 года, низринула Шостаковича с той головокружительной высоты, куда его вознесла гениальная опера.

Событие это застигло Дмитрия Дмитриевича в Архангельске, куда он ездил концертировать. И вот в эту критическую минуту двадцатидевятилетний Шостакович с мудростью многоопытного сердцеведа-психолога посылает мне из Архангельска поразительную телеграмму, в которой просит немедленно подписаться в почтамте на газетные вырезки.

Ведь он ими раньше не пользовался, когда его хвалили! Зачем они ему вдруг понадобились? Я недоумевал, но, конечно, выполнил просьбу Дмитрия Дмитриевича. Оказывается, ему было захватывающе интересно узнать, что и как будут писать о «Леди Макбет» хорошо знакомые музыканты. Увы! Он не был обманут в своих безрадостных ожиданиях. Очень многие поклонники оперы с большим пафосом критиковали и изобличали ее в различных газетах, и Дмитрий Дмитриевич с исключительным самообладанием и выдержкой читал ежедневно получаемые в большом изобилии газетные вырезки. Да, не зря они были выписаны! Так как я почти каждый день бывал у Шостаковича, то мы вместе читали эти самые вырезки. Но читали по-разному: я с раздражением и порою с негодованием, а он без комментариев, молча.

Душа его была глубоко уязвлена, но вел он себя с удивительным достоинством и благородной гордостью, не ища ни у кого поддержки или сочувствия. Иные лжеприятели, горестно качая головой, каркали о «закате и конце» автора «Леди Макбет», а сам он, начисто лишенный самомнения и самодовольства, непоколебимо верил в свои творческие силы. И я бы прибавил — неиссякаемые, необъятные: Четвертая симфония была близка к завершению, а сквозь магический кристалл виднелись очертания Пятой!

Как раз в это время Дмитрий Дмитриевич однажды сказал мне: «Если мне отрубят обе руки, я буду все равно писать музыку, держа перо в зубах».

Эта грозная фраза, произнесенная как бы деловито, с какой-то невероятной простотой, без каких бы то ни было аффектаций, совершенно потрясла меня. Мороз подирал меня по коже. На один миг я вообразил эту зловещую фантасмагорию в духе Данте. У меня пропали все слова. Я растерянно молчал.

Дмитрий Дмитриевич, не собиравшийся поразить, ошеломить меня своим признанием, внимательно и подчеркнуто спокойно взглянул мне в глаза и сразу же, без переходов переменил тему нашей беседы. Мы вели ее в то утро почему-то стоя друг против друга. Солнце било в окна кабинета и освещало совсем молодого на вид, внешне очень привлекательного, еще не достигшего тридцатилетнего возраста Шостаковича, исполненного решимости и художественного бесстрашия.

Дмитрий Дмитриевич намеренно не присутствовал на многодневном обсуждении статьи в газете «Правда» в Ленинградском Союзе композиторов, что было воспринято некоторыми авторитетными лицами как проявление гордыни. Обсуждение это было трудным, тяжелым, чтобы не сказать мучительным. Впрочем, смотря для кого?! Иные участники, упражняясь в красноречии, бодро и радостно гарцевали над поверженной оперой. (Подробнее об обсуждении оперы см. в Приложениях.)

Дмитрий Дмитриевич, находясь в Москве, просил меня после каждого заседания по возможности подробно писать ему о ходе обсуждения, причем писать протокольно, без эмоций, что я неукоснительно и делал. Много лет спустя Дмитрий Дмитриевич как-то высказал сожаление, что письма эти, носившие на себе нестираемую печать времени, канули в вечность, но, по правде сказать, сожаление имело несколько риторический характер, так как писем он не хранил.

Но удивительно другое. Обладая феноменальной памятью, он отчетливо помнил и содержание, и форму адресованных ему писем, читанных чуть ли не в юношеском возрасте.

В мою задачу не входит писать биографию Шостаковича, но отдельные, разрозненные эпизоды из его жизни вторгаются в предисловие, словно по наитию. Думаю, что это допустимо. Я несколько задержался на «Леди Макбет» не только потому, что она занимает важнейшее место в творческой и жизненной истории Дмитрия Дмитриевича, а потому, что о ней у меня имеются несколько писем, о которых речь пойдет впереди в связи с планами возобновления оперы в 50-х и 60-х годах.

В моем восприятии описываемое время не было быстротечным, не мелькало, как пейзаж из окна экспресса. Границы дня расширились. Время двигалось медленно, ибо оно было насыщено множеством впечатлений, каждое из которых то тревожило, то радостно волновало. Я их концентрирую вокруг Шостаковича — героя моей работы — и располагаю в ретроспективном плане без строгой последовательности, но с единственной целью выявить подробности, которые, наверное, никому не известны, как я это, впрочем, делал на предыдущих страницах моего предисловия.

В конце мая 1936 года в Ленинград приехал на два концерта всемирно известный дирижер Отто Клемперер, кстати сказать, горячий поклонник и один из первых зарубежных исполнителей Первой симфонии Дмитрия Дмитриевича. Главной целью его приезда было ознакомление с новой, Четвертой симфонией Шостаковича, о которой он был уже наслышан. 29 мая я отправился в Большой зал филармонии на репетицию Третьей и Пятой симфоний Бетховена. На эстраде появился огромного роста, могучего сложения красивый человек с властным и суровым лицом. Оркестранты встретили его овацией. Они знали этого замечательного музыканта по гастролям 20-х годов.

Тут в скобках следует заметить, что оркестранты той поры вели себя весьма независимо, были придирчивы к дирижерам и разными способами давали им знать о своем недовольстве уровнем исполнения. Но этого мало. Наиболее маститые солисты оркестра, такие как, например, концертмейстер виолончелей Илья Осипович Брик, состоявший одно время в должности художественного руководителя филармонии, или первоклассный фаготист Александр Гордеевич Васильев, и неко-

торые другие зачастую не скрывали в репетиционный период своего критицизма и скепсиса по отношению к тем или иным сочинениям современных композиторов Ленинграда и Москвы. Это обстоятельство необходимо иметь в виду, рассказывая об атмосфере подготовки симфоний Шостаковича.

Репетиции Отто Клемперера прошли блестяще, без сучка без задоринки.

Вечером того же весеннего дня я рассказывал Дмитрию Дмитриевичу о моем посещении филармонии, а он, в свою очередь, сообщил, что завтра в полдень будет показывать здезжей знаменитости Четвертую симфонию, и просил меня прийти без опоздания, к чему я имел некоторую склонность.

Дмитрий Дмитриевич с легкой озабоченностью говорил, что ему предстоит немалый труд сыграть, как можно лучше, громадную и очень сложную симфонию, на которую возлагает большие надежды. Он любил это сочинение, еще сохранившее тепло его руки. Впоследствии Шостакович будет по-разному говорить об этой вещи, то с порицанием, то с горячим одобрением. Но все это впереди.

А в тот вечер он с Ниной Васильевной и со мной обсуждал, чем следует угостить Клемперера после проигрывания симфонии. Пока мы выбирали меню, раздался звонок и в переднюю нежданно-негаданно вошли Отто Клемперер во всем своем великолепии и вместе с ним И. И. Соллертинский. Они со смехом рассказывали, как им удалось улизнуть из Малого оперного театра, где смотрели «Свадьбу Фигаро» под управлением Фрица Штидри. Именно он настоял на том, чтобы Клемперер в сопровождении Ивана Ивановича пришел на спектакль, но после первого акта именитого и нетерпеливого гостя осенила блестящая, как он выразился, мысль бежать без промедления к Шостаковичу, не дожидаясь следующего утра.

Хотя Дмитрий Дмитриевич не любил незваных посетителей, относился к ним с плохо скрытым раздражением, но внезапное появление Клемперера, приехавшего в Ленинград с другого конца света, жаждавшего скорейшей встречи с ним, даже тронуло его.

Гость был принят любезно, но без всяких признаков суеты. Он оказался человеком очень большой культуры, прекрасным рассказчиком и собеседником. Кстати, Клемперер мне a parte говорил, что в его обширном репертуаре существует любимая шостаковичская программа, с которой он объехал всю Америку — Северную и Южную. В нее входят Первая симфония, Фортепианный концерт, сюиты из «Золотого века» и «Болта». Она принимается публикой превосходно. «Et toujours avec un seces formidable»*. (Я хорошо запомнил эту фразу.) Разговор велся преимущественно на французском языке из уважения к жене Дмитрия Дмитриевича — Нине Васильевне, знавшей по-французски.

Мы разошлись в первом часу, а рано утром мне позвонил Дмитрий Дмитриевич, сообщивший радостную весть: глубокой ночью он стал отцом**. Недолго думая я помчался к счастливому отцу с бутылкой шампанского под мышкой. К 12 часам приехали О. Клемперер, Ф. Штидри, И. И. Соллертинский, А. В. Гаук, Л. Н. Оборин, Э. И. Нелиус (секретарь дирекции филармонии). Не заходя в комнаты, они во весь дух побежали за шампанским. Затем было решено отправить в боль-

---

* И всегда с потрясающим успехом.

** Родилась дочь Галина.

ницу поздравительное письмо Нине Васильевне. Его почему-то взялся написать Клемперер по-французски, и мы все к нему приложили руку.

Дмитрий Дмитриевич после бессонной ночи был сам не свой, но он, как никто, умел владеть собой и поэтому с огромным подъемом и блеском сыграл симфонию. На письменном столе лежала партитура, у которой сгрудились дирижеры: Клемперер, Штидри, Гаук. Помнится, что именно Клемперер занял самое выгодное место, пользуясь мощью своего телосложения.

Симфония произвела громадное впечатление (И. И. Соллертинский и я слышали ее не впервые). Настоящим энтузиазмом были охвачены Клемперер и Штидри — им предстояло исполнить ее осенью 1936 года — одному в Южной Америке, другому в Ленинграде в качестве главного дирижера филармонии.

Но все произошло совершенно иначе...

За обеденным столом Клемперер с жаром говорил, что само небо подарило ему такое прекраснейшее произведение, как Четвертая симфония, что он будет счастлив ею дирижировать, но у него есть одна смиренная просьба к автору: сократить количество флейт, так как не везде найдешь шесть первоклассных флейтистов во время гастрольных странствий. Однако Дмитрий Дмитриевич был непреклонен. Он, улыбаясь, ответил: «Что написано пером, то не вырубишь топором». Иван Иванович Соллертинский не без усилий перевел эту пословицу на немецкий, французский, испанский и английский языки, которыми владел Клемперер.

Вечером в переполненном до отказа Большом зале филармонии Клемперер с колоссальным успехом дирижировал Бетховеном. Крайне переутомившийся и переволновавшийся Дмитрий Дмитриевич на концерт не пошел, а мы с Иваном Ивановичем на нем присутствовали и в конце горячо поздравили Клемперера, который очень внушительно сказал нам, что сегодня следует поздравлять не его, а Шостаковича, написавшего Четвертую симфонию.

Осенью того же года начались репетиции Четвертой симфонии. Фриц Штидри был крупным музыкантом и дирижером. Он бежал из фашистской Германии, обосновался в Ленинграде и возглавил оркестр филармонии. Шостакович его высоко ценил. Первая творческая встреча с ним была радостной. Осенью 1933 года на открытии филармонического сезона под руководством Штидри состоялась блестящая премьера Первого фортепианного концерта Шостаковича, который восхитительно играл автор.

Дмитрий Дмитриевич приглашал меня на репетиции Четвертой симфонии, количество которых было весьма внушительным. Само собой разумеется, что Штидри разучивал новое произведение огромного масштаба во всеоружии своего мастерства и таланта. Не знаю, как Дмитрий Дмитриевич, но я чувствовал, что атмосфера в зале была настороженной. Дело в том, что в музыкальных и, главным образом, в околомузыкальных кругах распространились слухи о том, что Шостакович, не вняв критике, написал дьявольски сложную симфонию, напичканную формализмом.

И вот в один прекрасный день на репетицию явились секретарь Союза композиторов В. Е. Иохельсон и еще одно начальственное лицо из Смольного, Яков Смирнов, после чего директор филармонии

И. М. Рензин — по профессии пианист — попросил Дмитрия Дмитриевича пожаловать в директорский кабинет. Они поднялись по внутренней винтовой лестнице наверх, а я остался в зале. Минут через 15—20 Дмитрий Дмитриевич зашел за мной и мы отправились пешком на Кировский проспект, № 14.

Я был смущен и встревожен продолжительным молчанием моего опечаленного спутника, но в конце концов он ровным, почти без интонаций голосом сказал, что симфония исполняться не будет, что она снята по настоятельной рекомендации Рензина, не пожелавшего использовать административные меры и упросившего автора самому отказаться от исполнения симфонии.

Прошло с тех пор немалое количество лет, и возникла легенда о Четвертой симфонии, занявшая, к сожалению, прочное место в писаниях о Дмитрии Дмитриевиче. Суть ее состоит в том, что Шостакович, якобы убедившись, что Фриц Штидри не справляется с симфонией, решил ее снять.

Трудно придумать бóльшую нелепость.

В 1956 году Шостакович писал о недостатках Четвертой симфонии. Она, по его словам, страдает «манией грандиоза». Но вот прошло еще пять лет, и в Большом зале Московской консерватории состоялась премьера симфонии (30 декабря 1961 года под управлением К. П. Кондрашина).

На концерте я сидел рядом с Дмитрием Дмитриевичем, и, когда зазвучало ошеломляющее вступление, мне казалось, что я слышу, как беспокойно стучит его сердце. Непреодолимое волнение не покидало его вплоть до прекраснейшей коды.

Дома, после концерта, имевшего грандиозный успех, Дмитрий Дмитриевич под свежим впечатлением от услышанного сказал мне: «Мне кажется, что Четвертая во многих отношениях выше моих последних симфоний». Признание знаменательное! Пусть оно не свободно от преувеличений, но оно было обусловлено импульсивным желанием защитить несправедливо забытое на целых 25 лет произведение. В течение этого долгого времени сам автор холодным оком взирал на него со стороны, но когда оно с покоряющей силой зазвучало, он погрузился в его эмоциональный мир, слился с ним, почувствовал кровное родство с теми или иными ожившими образами.

В отличие от Четвертой симфонии Пятая, созданная через год, имела счастливую судьбу*.

---

* Здесь позволю себе заметить, что в иных биографических работах, статьях и мемуарах, посвященных Шостаковичу или касающихся его, то там то сям встречаются досадные домыслы и в таком изобилии, что опровержение их — труд непосильный. Очень досадно, что реальная биография Шостаковича засоряется нелепыми выдумками.

Я вкратце остановлюсь на некоторых из них, относящихся к ленинградской премьере Пятой симфонии. Многомиллионный читатель уважаемого журнала «Огонек» узнал из интересных воспоминаний Юрия Елагина «Укрощение искусств» (1990, № 43), что премьера симфонии состоялась в зале бывшей Ассоциации камерной музыки 21 декабря 1937 года.

Трудно сказать почему, но автор воспоминаний, быть может, не по злой воле, исказил истину. Редакция «Огонька» оставила эти строки без комментариев, однако слушатели, знающие громадный состав оркестра Пятой, с трудом поверят, что оркестр поместился на крошечной эстраде зала Ассоциации камерной музыки. В действительности же оркестр филармонии сыграл премьеру

Конечно, у Дмитрия Дмитриевича были отдельные недруги и завистники (у кого из гениев их не было!), но я беру на себя смелость утверждать, что музыкальный Ленинград, взятый в целом, гордился молодым Шостаковичем, любил его горячо, трогательно, нежно. И публика, заполнившая филармонию, воздала ему дань безграничного восхищения, слушая Пятую. Я был потрясен тем, что во время Largo (третья часть) многие, очень многие плакали: и женщины, и мужчины.

На концерте присутствовал академик Владимир Федорович Шишмарев, знаменитый филолог и хороший музыкант. Я был знаком с этим замечательным человеком. Не любя громких слов и эпитетов, Владимир Федорович сказал мне, что подобное волнение, испытанное публикой, подобный триумф композитора он наблюдал лишь один раз в жизни: на Шестой симфонии Чайковского под управлением гениального автора незадолго до его смерти.

Такое сравнение в устах В. Ф. Шишмарева, отличавшегося холодноватой объективностью суждений и оценок, привело меня в восторг, но я, конечно, верил, что Шостаковичу, в отличие от его великого коллеги, предстоит еще долгая-долгая жизнь.

На одном из последующих исполнений Пятой произошло нечто неожиданное. Как только отзвучал финал симфонии, на эстраду поднялась группа деятелей культуры, искусства, науки и предложила от имени всех собравшихся послать приветственную телеграмму Шостаковичу, находившемуся в Москве на премьере Пятой. Дифирамбический текст под громовые аплодисменты публики был зачитан известным актером, корифеем Александринского театра Юрием Михайловичем Юрьевым. Я не был свидетелем этой знаменательной во многих отношениях сцены, так как находился вместе с Дмитрием Дмитриевичем в Москве. Мне о ней подробно рассказал И. И. Соллертинский, попутно вспомнив по аналогии мхатовские телеграммы, адресованные А. П. Чехову в Крым.

В Москве симфония под управлением А. В. Гаука была принята столь же горячо и восторженно, как и в Ленинграде. Оглядывая перед концертом зал консерватории, я увидел великое множество столичных знаменитостей, фотографии коих мелькали в газетах и журналах того времени. И они были охвачены всеобщим энтузиазмом.

Тут следует заметить, что овации, с ураганной силой обрушившиеся на Шостаковича, не сбили его с ног, не вскружили ему голову. Он держался стойко, с обычной сдержанностью и достоинством, только улыбка чаще озаряла его лицо.

В те дни, напоенные хмелем успеха, Дмитрий Дмитриевич говорил мне с философским спокойствием, что в мире музыки, так же как на всем белом свете, все относительно и переменчиво. В разных обстоятельствах не надо впадать ни в телячий восторг, ни в отчаяние.

Пятой 21 ноября (не декабря) 1937 года в Большом зале Ленинградской филармонии. Дирижировал Евгений Мравинский, начавший с этого незабываемого вечера свое восхождение на дирижерский Олимп. После триумфального успеха А. Н. Толстой дал банкет в Доме писателей на набережной Невы, а не в «Астории», как писал Ю. Елагин.

Вопреки другому домыслу, проникшему в одну из биографических работ о Шостаковиче, среди слушателей премьеры Пятой симфонии Всеволода Эмильевича Мейерхольда не было.

Мы вспоминали, как во время репетиций Пятой симфонии кое-кто поглядывал на нее опасливо и косо, и в этом не было ничего экстраординарного.

Уже после премьеры я рассказывал Дмитрию Дмитриевичу, что некоторые оркестранты предупреждали меня, что симфония непременно подвергнется разносной критике, в особенности за первую часть, которая, по их мнению, нескладна, очень резка по звучанию и непонятна. Все это высказывалось без тени злопыхательства, даже с чувством сожаления. Мои попытки убедить их в обратном оказывались тщетными. Я задним числом смеялся над этими незадачливыми оркестрантами. А Дмитрий Дмитриевич, слушая меня, погрустнел и сказал, что все это совсем не смешно. И он был прав.

Что говорить о рядовых оркестрантах, если профессиональные критики не сразу разобрались в Пятой. Так, например, Largo — подлинная жемчужина патетической, вдохновенной лирики в мировой симфонической музыке — истолковывалось вкривь и вкось. Однажды Дмитрий Дмитриевич протянул мне попавший в его руки журнал и указал на страницу, на которой я прочел, что беда Largo состоит в том, что оно проникнуто колоритом «мертвенности и уныния». Дмитрий Дмитриевич ничего не сказал по поводу этого «откровения» известного критика, но лицо его очень живо изобразило недоуменный вопрос.

Он, как никто другой, умел о себе читать всякие нелепости, а также выслушивать любую брань, никогда не вступая в спор со своими оппонентами. Хорошо зная это, я часто думал о том, что за такую удивительную особенность характера Катон Младший, наверное, назвал бы Шостаковича богоподобным.

Этот древнеримский моралист и республиканец говорил, что «если ты умеешь молчать, даже когда ты прав, ты равен богам». Правда, молчание Дмитрия Дмитриевича бывало очень красноречивым и оно часто ставило в тупик чересчур говорливых критиков. Примеров тому множество, но я не стану их перечислять.

О педагогической деятельности Шостаковича в Ленинградской консерватории довольно подробно рассказали его бывшие ученики разных поколений, ибо он трижды вступал в профессорскую должность. В эти сведения, ставшие достоянием многих, мне бы хотелось внести некоторые подробности, почерпнутые из моего ви́дения молодого профессора.

Весной 1937 года Дмитрий Дмитриевич неожиданно объявил мне, что он зачислен на службу, что до сих пор был вольной птицей, а отныне он служащий весьма почтенного учреждения и обязан нести ответственность за порученное ему дело, и дело это не шуточное, а педагогическое! В эту маленькую декларацию Дмитрий Дмитриевич внес даже некую торжественность, оттененную, правда, замаскированным юмором. Я, конечно, не сомневался в том, что на новом поприще он будет выполнять свои обязанности с исключительной серьезностью и добросовестностью, а его громадный талант и неотразимое обаяние привлекут к нему сердца студентов.

Так оно и случилось, но Дмитрий Дмитриевич с течением времени выражал недовольство собой. Он неоднократно говорил мне, что его педагогика страдает крупным дефектом — отсутствием педагогического дара. При этом он постоянно ссылался на В. Я. Шебалина,

который таким ценным даром обладал в полной мере. Мотив этот настойчиво звучал на протяжении всей педагогической деятельности Шостаковича, менее всего желавшего уничижаться. Однако он не учитывал того, что, общаясь с ним, слушая его высказывания — эстетические и технологические о музыке, его замечания и советы, — будущие композиторы безмерно себя обогащали. Ведь прав был Гёте, говоривший, что «хорошо научиться можно у того, кого любишь». А студенты очень любили своего учителя и многому у него научились.

Любовь эта не была безответной. Дмитрия Дмитриевича захватывали, горячо увлекали, иногда приводили прямо-таки в восторг удачные сочинения студентов. Однажды, придя из консерватории, он пожелал непременно познакомить меня с романсами Юрия Свиридова. Преисполненный радости, он сел за рояль и, не имея нот, по памяти сыграл их несколько раз, уверяя, что они не только прекрасны и талантливы, но чуть ли не гениальны. Именно этот эпитет был им произнесен. Дело в том, что он терпеть не мог равнодушного отношения к искусству и его художнические пристрастия были великолепны. Дмитрия Дмитриевича глубоко волновала музыка Вениамина Флейшмана, писавшего оперу «Скрипка Ротшильда». Он удивлялся, как начинающий композитор тонко постиг дух и главный смысл очень сложного чеховского рассказа.

Шостакович, вопреки консерваторскому обычаю, называл всех без исключения студентов на «вы» и по имени и отчеству, считал их своими коллегами, был с ними на равных, без тени своего превосходства. Я диву давался, как нефорсированно, естественно, просто, очаровательно у него это получалось. Мне тогда чудилось, что такое поведение Шостаковича в целом и в нюансах роднит его с пушкинским Моцартом.

В шостаковичских письмах ко мне мелькают имена ленинградских футболистов. И я вследствие этого вынужден высказать свое мнение о так называемой футболомании Дмитрия Дмитриевича. На эту тему написано много лишнего и, по-моему, зачастую несуразного. Шостакович в иных воспоминаниях выглядит каким-то неистовым болельщиком-фанатиком, что абсолютно не соответствует действительности.

В 30-х годах круг любителей футбола по сравнению с нашими днями был ограниченным. Так, например, женщины, как правило, не интересовались этой игрой, и если они и приходили в незначительном количестве на стадион имени Ленина, то разве лишь для того, чтобы подышать свежим воздухом и полюбоваться зрелищем, пусть даже и непонятным.

В среде музыкантов, художников, писателей, разумеется, водились футболоманы, но их было мало и каждое новое лицо из артистического мира, появляющееся на трибунах, привлекало внимание, а иногда становилось притчей во языцех. Такая участь постигла и Шостаковича.

На моей памяти его приохотил к футболу Владимир Васильевич Лебедев — известный художник и спортсмен — профессиональный судья по боксу. И я по настоянию Дмитрия Дмитриевича стал его неотлучным спутником в хождении на стадионы. И. И. Соллертинский решительно не поддался этому соблазну.

В. В. Лебедев, несмотря на свой, как мне тогда казалось, солид-

ный возраст, вел себя на футбольных матчах чрезвычайно экспансивно, по-мальчишески подбадривал выкриками игроков-фаворитов, громко поносил их за неудачные пасы и удары по мячу, требовал отправить судью «на мыло» и т. д. и т. п. Я дружно присоединялся к Владимиру Васильевичу. Что касается Дмитрия Дмитриевича, то он тоже волновался, но ему не изменяла его феноменальная сдержанность. Он голоса не подавал. Смотрел молча, только оживленная и выразительная мимика отражала его эмоции. В те времена очень много значил сам процесс игры, насыщенный красивыми и замысловатыми композициями и футбольными «па». Не случайно один из игроков-виртуозов команды «Динамо» Петр Дементьев носил в Ленинграде ласковую кличку «балерины». И когда соперник из московской команды «Локомотив» нанес ему тяжелую травму, на стадионе поднялась буря протеста. В. В. Лебедев и я кричали во все горло, а верный себе Дмитрий Дмитриевич, крайне огорченный случившимся, вполголоса повторял негодующее слово: «Хулиган! Хулиган!»

Шостакович ненавидел злобных грубиянов и хамов на футбольном поле и любил игру без подвохов, открытую, честную, рыцарскую. Его трогали до чрезвычайности самоотверженность, самозабвение, экстаз игроков, сражающихся изо всех сил за, казалось бы, иллюзорную цель — пробить мяч в ворота. Такое именно восприятие игры и было, по-моему, главным источником увлечения Дмитрия Дмитриевича футболом.

Когда мы с ним приходили к В. В. Лебедеву в его мастерскую на улицу Белинского, тот меньше всего говорил о живописи, не очень охотно показывал свои замечательные работы, зато с большим жаром рассказывал о спорте во всех его разновидностях, отдавая предпочтение боксу, в котором он считал себя изрядным специалистом. Для того чтобы мы в этом воочию убедились, он однажды пригласил нас на матч между ленинградскими и французскими боксерами, проходивший в кинотеатре «Великан». Из-за отсутствия мест, Владимир Васильевич в качестве рефери усадил нас за кулисами, а сам в белоснежном костюме, держа в зубах свисток, с упоением носился по сцене. Бескорыстие, горячность, энтузиазм, которыми было проникнуто поведение В. В. Лебедева во время матча, тоже тронули Дмитрия Дмитриевича, вызвали в нем добавочную симпатию к художнику-спортсмену. Бравое судейство Владимира Васильевича было отмечено торжественным обедом в доме у Шостаковича.

Мне где-то довелось прочесть небылицы о странствиях Дмитрия Дмитриевича по разным городам, вплоть до Тбилиси, в поисках футбольных матчей. Ничего подобного я, разумеется, вспомнить не могу. Мне приходит на память маленькая, быть может, не лишенная интереса, история о малом футбольном вояже Дмитрия Дмитриевича, в котором я принимал участие.

В июле 1937 года он пригласил меня пожить у него на даче, снятой в деревне Даймище неподалеку от города Луги. Мы уселись в душный, переполненный поезд, который, не торопясь, шел около четырех часов, затем пересели на телегу и добрались до места назначения. Путешествие это мне показалось неприятным и тягостным, а Дмитрий Дмитриевич переносил его как истинный философ-стоик и посмеивался над моим ропотом.

В Даймище было чудесно: лес, луга, поля, тихоструйная речка — все располагало к безмятежному отдыху. Прошло несколько дней.

И вот в одно прекрасное утро Дмитрий Дмитриевич с чуть виноватой улыбкой предложил прервать отдых и поехать в Ленинград на футбольный матч, который якобы обещает быть интересным. Я всячески отнекивался от этого проекта, но в конце концов уступил. Мы пустились в длинный путь и в час назначенный после мощной с громом и молнией грозы оказались на стадионе.

Поездку эту я оценил как Force majeur, как одну из кульминаций увлечения Шостаковича футболом. Должен отметить, что он сам иногда подтрунивал над своим пристрастием к этой игре, не собираясь, однако, от него отказываться.

Известно, что писатель А. И. Куприн дружил с циркачами, а Хемингуэй с матадорами. Что касается Дмитрия Дмитриевича, то он не имел ни приятелей, ни друзей среди футболистов, хотя об этом пишут иные биографы. Тем не менее его интересовало, что представляют собой игроки за пределами стадиона. Каковы они не в исключительных обстоятельствах футбольных событий, а в обыденной жизни, в повседневном быту. Некоторые футболисты знали об интересе, который проявлял к ним знаменитый композитор, и им это было и приятно, и лестно.

Для того чтобы утолить свою любознательность, Шостакович однажды летом в отсутствие Нины Васильевны дал обед для игроков команды «Зенит». И я был призван на эту трапезу. Она прошла удачно, и страхи Дмитрия Дмитриевича оказались напрасными. Он выказал себя хозяином хлебосольным, заботливым, внимательным, но без утрировки, от которой его всегда уберегало прекрасное чувство меры. Гости вели себя в незнакомом доме учтиво и тихо, быть может, поначалу несколько стесненно. Поиски тем для общей беседы представляли известные затруднения, но в конце концов они были преодолены и за столом воцарилась атмосфера непринужденности.

Когда после обеда мы перешли в кабинет, один из футболистов, владевший гитарой, попросил Шостаковича поиграть на рояле свою музыку, что без промедления было сделано любезным хозяином.

Когда гости ушли, Дмитрий Дмитриевич уселся на диване, принял вольную позу человека, недурно выполнившего свой долг, и, чуть-чуть загадочно улыбаясь, сказал: «Вот мы с тобой и познакомились с героями футбольных драм, на которых до сих пор смотрели только с большого расстояния, с высоты трибун стадиона».

В одном из писем ко мне упоминается имя Михаила Светлова. Этого поэта и драматурга высоко ценил Дмитрий Дмитриевич. Незадолго до войны он выразил желание написать с ним оперу.

Об этом, пожалуй, нынче никто и не знает.

Вот при каких обстоятельствах это происходило.

В 1938 году в здании Народного дома, в котором некогда пел Ф. И. Шаляпин, открылся филиал Театра оперы и балета имени С. М. Кирова под художественным руководством выдающегося певца-актера Николая Константиновича Печковского и дирижера Сергея Витальевича Ельцина. Я занимал в нем должность заведующего литературной частью. Мы стремились строить репертуар на сочетании классики и современных опер. Филиал, работавший под эгидой отца своего, Кировского театра, принял к постановке оперу ученика Д. Д. Шостаковича Юрия Левитина «Монна-Марианна», созданную по мотивам

итальянских сказок Максима Горького. Поэтесса Наталья Васильевна Крандиевская написала талантливые стихи для вокальных номеров. «Монну-Марианну» должен был ставить Э. И. Каплан, а оформлять В. М. Ходасевич. Все шло своим чередом.

Но у нас была заветная мечта: уговорить учителя Юрия Левитина написать оперу для нового театра. Наши усилия были бы, вероятно, тщетны, если бы не пришел на помощь случай.

Дмитрий Дмитриевич прочел в каком-то сборнике полудокументальную, полубеллетристическую повесть из времен гражданской войны, сюжет которой ему показался острым, напряженным, исполненным большого драматизма. Он чем-то перекликался с рассказом Б. А. Лавренева «Сорок первый», с той только разницей, что в плену вместо поручика Говорухи-Отрока оказалась юная дочь священника, а ее неусыпным стражем не Марютка, а молодой красноармеец. Трагически завершающийся конфликт всей вещи построен на непримиримом столкновении любви и долга. Действие повести происходит в вагоне и на стоянках дальнего поезда. Дмитрий Дмитриевич согласился писать оперу на облюбованный им сюжет. Я был вне себя от радости. Шутка сказать — Шостакович возвращается к оперному жанру!

Для составления либретто был приглашен В. Брагин — либреттист «Кола Брюньона» Д. Б. Кабалевского. Нельзя сказать, что работа шла с успехом. Дмитрий Дмитриевич это ощущал в полной мере и предложил вступить в переговоры с Михаилом Светловым. Для этой цели я был командирован в Москву к автору знаменитой «Гренады».

Михаил Аркадьевич, которого я лично не знал, принял меня весьма радушно и пригласил пообедать, но на душе у меня было неспокойно. Светлов говорил, что он глубоко почитает Дмитрия Дмитриевича, но всяческими уловками уходил от главной темы. Его пугала неосведомленность в оперном деле. По этому поводу им был с большим остроумием рассказан славный анекдот. Я понимал, что моя миссия обречена на неудачу.

Михаил Аркадьевич не отверг лестного, как он выразился, предложения, но и не принял его. Он попросил отсрочки для окончательного решения. Творческая встреча Шостаковича и Светлова так и не состоялась. Быть может, ей помешала война, переменившая все планы Дмитрия Дмитриевича.

Обменом письмами, которые не сохранились, сопровождалась московская премьера Шестой симфонии. Она была завершена летом 1939 года и предназначалась для открытия осеннего сезона Ленинградской филармонии. Ее ждали с большим нетерпением.

Как прекрасно, что филармония имела счастливую возможность одаривать своих слушателей новыми сочинениями Шостаковича на открытии очередного сезона, превращавшемся в музыкальное празднество.

Задолго до премьеры Дмитрий Дмитриевич показывал новую симфонию Ивану Ивановичу Соллертинскому и мне. Он дважды сыграл финал и, вопреки своему обычаю, похвалил его: «В первый раз я написал такой удачный финал. Мне кажется, что к нему не придерутся самые суровые критики». О первой и второй частях он ничего не сказал. Зато мы восторженно говорили о волнующей величавой красоте Largo, о блестящем Скерцо и ошеломляющем, упоительном

финале. Я просто в него влюбился и, не щадя скромность автора, произнес целую тираду в таком духе:

— Если бы Моцарт и Россини жили в XX веке и вознамерились совместно написать финал какой-то симфонии, то он походил бы на только что прослушанный финал Шестой.

Иван Иванович, согласившись со мной по существу, тем не менее запустил в меня летучую остроту: «Ты не говоришь, а вещаешь, как древнеримский ритор: „Если бы Музы пожелали говорить по-латыни, они говорили бы языком Плавта"». Я, разумеется, не вздумал обижаться, а скорее поразился памяти Соллертинского.

«Что за „риторы" такие? с чем их кушают?» — спросил чуть-чуть нахмурившись Дмитрий Дмитриевич. Он вообще не любил, чтобы настоящие друзья вступали в какие-либо перепалки, даже самые безобидные, полагая, что между ними должно царить единомыслие по любым вопросам, на то они и друзья.

Его до крайности удивляли рассказы о неистовых спорах, возникающих в тесных дружеских кружках. Он, недоумевая, спрашивал: «Что же в таком случае связывает людей узами дружбы?» И отвечал: «Единство взглядов, взаимное понимание с полуслова. А если этого нет, то нет и дружбы, которая, кстати сказать, не терпит никакой иерархии».

Такой именно концепции придерживался Шостакович всю свою жизнь, а когда взаимопонимание приглушалось, размывалось, он отдалялся от некоторых своих друзей, называя их «бывшими друзьями».

Премьера Шестой симфонии, состоявшаяся под управлением Е. А. Мравинского 5 ноября 1939 года, имела громадный успех. Финал бисировался, что бывает довольно редко на симфонических премьерах. Но потрясение, которым был охвачен весь зал на Пятой симфонии, не повторилось, ибо тот концерт был во многих отношениях единственным в своем роде. Его можно было бы назвать неповторимым, если бы Шостакович не написал Седьмую, Восьмую, Четырнадцатую симфонии, сила внушения которых была столь же грандиозной.

Дмитрий Дмитриевич по очень серьезным причинам не мог поехать на московскую премьеру Шестой симфонии. Он попросил меня съездить в Москву, побывать на репетициях, последить за общим ходом дела и писать ему о своих впечатлениях. Я так и сделал, оставшись в Москве на довольно продолжительное время. Письма, написанные мною вечером, мне удавалось посылать оказией, и утром они уже были в руках Дмитрия Дмитриевича. Он дважды мне отвечал.

Я, разумеется, скрывал от автора разговоры, которые мне невольно пришлось вести о новой гениальной симфонии с различными музыкантами различных рангов и степеней. Они, за редким исключением, приводили меня прямо-таки в отчаяние.

Одни говорили, что самонадеянный молодой композитор, дерзнувший нарушить традиционный симфонический цикл, поплатился бесформенной пьесой в трех частях.

Другие ехидничали по поводу того, что Шостакович сидит взаперти в башне из слоновой кости, ничего не видя вокруг себя, и в результате Largo сначала до конца проникнуто сонной одурью.

Третьи, добродушно смеясь, упорно твердили, что финал — это не что иное, как изображение футбольного матча со всеми его перипетиями. К слову сказать, это пошлое и вульгарное истолкование

финала получило, к сожалению, довольно широкое распространение в музыкальных и особенно в околомузыкальных кругах.

Все эти и им подобные разговоры были, конечно, сметены великой симфонией, победоносно прозвучавшей в Большом зале Московской консерватории. Но странное дело! Я вернулся в Ленинград и долго не мог избавиться, очиститься от воспоминаний о моих непрошеных собеседниках. Я пытался постичь их ощущение, понять ход их мысли, но это оказалось выше моего разумения.

Вслед за Шестой симфонией, вызвавшей множество нареканий, Шостакович весной 1940 года написал Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано, восторженно принятый и публикой, и критикой. Единодушие было полным и всеобъемлющим. Каждое исполнение этого нового камерного произведения замечательными квартетами имени Глазунова и имени Бетховена с участием автора становилось крупным и радостным событием в музыкальной жизни Ленинграда и Москвы. Партию фортепиано Дмитрий Дмитриевич играл с неподражаемым мастерством, с особой, только ему присущей выразительностью и художественной силой. Не будет преувеличением утверждать, что с ним в исполнении Квинтета, а впоследствии Фортепианного трио не могли сравниться даже Лев Оборин и Святослав Рихтер. Такое именно впечатление до сих пор сохраняется в моей слуховой памяти.

По первоначальному плану Шостакович, как он мне поведал, собирался написать Второй квартет (Первый был создан в 1938 году). Почему же изменился замысел сочинения? В разговоре со мной Дмитрий Дмитриевич объяснял эту перемену преоригинальным образом. Он уверял, что руководствовался не столько художественными соображениями, сколько сугубо личными житейскими мотивами.

«Знаешь, отчего я вписал в квартет партию фортепиано? Для того, чтобы самому ее исполнить и иметь повод разъезжать с концертами по разным городам и весям. Теперь уже глазуновцам и бетховенцам, которые ездят повсюду, без меня не обойтись! Вот я и погляжу на белый свет».

Мы оба без видимой причины рассмеялись.

Я спросил: «Ты не шутишь?»

Дмитрий Дмитриевич ответил: «Нисколько! Ты ведь заядлый домосед, а я в душе заядлый путешественник!»

И по выражению его лица было непонятно, шутит он или говорит вполне серьезно.

Такая беседа состоялась летом последнего предвоенного года.

В субботу 21 июня 1941 года Дмитрий Дмитриевич сообщил мне, что на завтра, в воскресенье 22 июня назначены два футбольных матча, на которых мы должны обязательно побывать, а после игры вместе пообедать в ресторане.

Воскресное утро было ярким, солнечным, но по дороге на стадион меня настиг голос по радио, известивший о начале войны...

С того трагического полдня мои встречи с Шостаковичем стали редкими, спорадическими. От случая к случаю мы разговаривали по телефону. Я был занят на оборонных работах, состоял в ополчении, а он дежурил на крыше консерватории, обрабатывал популярные песни

для фронтовых концертных бригад. Сводки о военных действиях становились все более и более тревожными.

До поры до времени я ничего не знал о замысле Седьмой симфонии. Но вот в начале августа Дмитрий Дмитриевич дозвонился до меня и попросил прийти на Большую Пушкарскую. Я, разумеется, пришел. День был пепельно-серый, грустный. Голод еще не коснулся Ленинграда, но Шостакович выглядел сильно похудевшим. Худоба, как мне почудилось, увеличила его рост, вытянула его фигуру, ставшую хрупкой, вверх. Лицо его было неулыбчивым, хмурым, задумчивым. Он сказал, что ему захотелось повидать меня и показать начало задуманного им сочинения, которое, быть может, никому не понадобится, раз свирепствует такая небывалая война.

После минутного колебания он сел за рояль и сыграл возвышенно-прекрасную экспозицию Седьмой симфонии и тему вариаций, изображающую фашистское нашествие. Мы оба были очень взволнованы. Надо сказать, что Дмитрий Дмитриевич нередко исполнял свои новые произведения со слезами на глазах.

Мы погрузились в молчание. Он прервал его такими словами (они у меня записаны): «Я не знаю, как сложится судьба этой вещи, — и после паузы добавил, — досужие критики, наверное, упрекнут меня в том, что я подражаю „Болеро" Равеля. Пусть упрекают, а я так слышу войну».

У меня создалось впечатление, что в тот памятный для меня августовский день Шостакович еще не осознавал всю громадность создававшейся им симфонии, которой уготована беспримерная в истории музыки судьба.

На прощание мы обнялись и облобызались, не подозревая тогда, что нам предстоит продолжительная разлука.

Адресованные мне письма Шостаковича, как уже было сказано, не были рассчитаны на опубликование. Они написаны без всякой заботы о литературном стиле, без черновиков, которыми пользовались выдающиеся люди, без помарок, без исправлений, а одним духом по конкретным поводам — деловым, информативным, иногда о замыслах новых сочинений, реже на общие темы.

В них господствует разговорная лексика в сочетании с аллюзионностью, зачастую окрашенной в юмористические тона. А Дмитрий Дмитриевич очень хорошо говорил по-русски. Язык его отличался богатством интонаций, замечательной живостью, простотой, ясностью, упругой округлостью фразы, чуждавшейся изысков и всякого рода словесных завитушек.

Произношение его было безупречным, но речь порою пестрела присловьями или вводными словами-масками, вроде «так сказать», впрочем, имевшими множество оттенков. Это давало повод малосведущим биографам приписывать Дмитрию Дмитриевичу постоянную сбивчивость, пришепетывание и другие погрешности языка.

Письма, которые я собираюсь опубликовать, — процесс односторонний, так как ответный голос адресата не слышен. Эпистолярный диалог по необходимости становится монологом — фрагментарным, прерывистым, насыщенным громадными паузами, и тем не менее в своей совокупности письма эти, как мне кажется, представляют собой клочок летописи жизни Шостаковича. А хорошо известно, что жизнь

великого художника переплетается тысячами зримых и незримых нитей с его творчеством.

Война разлучила меня с Шостаковичем.

В сентябре 1941 года я оказался в далеком, неведомом, несколько загадочном для меня Ташкенте, куда была эвакуирована консерватория, в штате которой я состоял педагогом.

Дмитрий Дмитриевич оставался в осажденном Ленинграде. Меня, разумеется, очень тревожила его личная судьба, судьба его семьи, а также судьба его новой Седьмой симфонии, начало которой не выходило у меня из головы.

И вот в феврале 1942 года я нежданно-негаданно был вызван повесткой на ташкентскую почту, где после трехчасового томительного ожидания в душной, слабо освещенной комнате совершилось, как мне тогда показалось, чудо: я услышал по телефону родной голос Дмитрия Дмитриевича из Куйбышева. В ту военную пору частные междугородные переговоры были сопряжены с превеликими трудностями. Из-за скверной слышимости наша беседа не клеилась. Она состояла из возбужденных восклицаний, множества вопросов, а ответы тонули в шуме и треске проводов. Тем не менее невнятность слов отчасти возмещалась живыми, неповторимыми интонациями, которые волновали безмерно.

Мы как бы снова обрели друг друга. Какая-то магическая сила, притаившаяся в телефонном аппарате, мгновенно объединила нас, дотоле разъединенных жестокими обстоятельствами войны.

Но взволнован был не только я. Аналогичное чувство испытывал и Дмитрий Дмитриевич, о чем он впоследствии мне сообщил.

Выйдя из почты, я безотчетно с признательностью взглянул на нее. Неказистое здание в моих глазах вдруг переиначилось, приобрело скрытое в нем до поры до времени могущество, благодаря которому мне удалось, преодолев расстояние в несколько тысяч километров, пообщаться с Дмитрием Дмитриевичем.

Возвращаясь домой, если можно назвать «домом» крохотную проходную комнату, в которой обитал, я почувствовал себя счастливым и сильным, готовым к любым испытаниям.

Музыка Седьмой симфонии, которую создал Шостакович, вселяла в меня новые и светлые надежды.

Таково было без всяких прикрас мое состояние в ненастный февральский вечер после разговора с великим композитором и, смею сказать, моим любимейшим другом.

13 февраля 1942 года в «Правде» была опубликована статья Алексея Николаевича Толстого под необычным заглавием: «На репетиции Седьмой симфонии Шостаковича». Не на премьере, а именно на репетиции. Вероятно, автор тем самым счел нужным оповестить многомиллионных читателей о предстоящем крупнейшем событии в музыкальной и общественной жизни страны, охваченной пламенем войны.

Статья эта была перепечатана многими газетами, в том числе и ташкентскими.

Я ее читал и перечитывал с громадным, ни с чем не сравнимым интересом. А. Н. Толстой, не будучи музыкантом, был первоклассным литератором, наделенным богатейшим образным мышлением. Центральное место в статье занимало истолкование грандиозной первой части. Слушая музыку, выдающийся писатель нашел выразительные,

яркие метафоры, в которые было облечено его верное ощущение звучащего материала. Статья получилась замечательной, и не случайно она приобрела широчайшую популярность.

Репетиция, на которой присутствовал А. Н. Толстой, происходила в Куйбышеве под управлением Самуила Абрамовича Самосуда — главного дирижера Большого театра, временно переселившегося на берега Волги. Я, конечно, нисколько не сомневался в том, что превосходный дирижер превосходного оркестра работал с исключительной тщательностью и вдохновением над гениальной симфонией.

Дмитрий Дмитриевич очень высоко ценил Самосуда и считал его, например, непревзойденным интерпретатором «Леди Макбет Мценского уезда» (так называлась в Ленинграде «Катерина Измайлова»).

Как уже отмечалось выше, я знал в авторском фортепианном изложении начало симфонии и, читая толстовскую статью, представлял себе, с каким блеском звучит в оркестре вступление, тема нашествия и, разумеется, все то, что следовало за ними.

В моем воображении то и дело возникала фигура Дмитрия Дмитриевича, скромно сидевшего, по своему обыкновению, в пятом или шестом ряду партера во время репетиции и не вмешивавшегося в работу дирижера, словно не он, а кто-то другой написал великую симфонию. С необыкновенной отчетливостью я увидел его лицо, отчужденное от всего окружающего, погруженное в раздумья по поводу своей музыки, которая звучала на репетиции.

Вот какие видения невольно рождались у меня при чтении статьи А. Н. Толстого.

Мне не терпелось как можно скорее услышать симфонию, помчаться в Куйбышев, где она должна была исполняться 5 марта. Но эти мечты были совершенно не осуществимыми в условиях военного времени. Однако вскоре стало известно, что премьера Седьмой симфонии будет транслироваться из Куйбышева всеми радиостанциями Советского Союза, следовательно, ее можно будет поймать и в Ташкенте.

Случилось так, что директор консерватории Павел Алексеевич Серебряков где-то отыскал детекторный приемник, и мы вместе с группой педагогов, правда, с группой немногочисленной, жадно приникли к этому немощному, хилому аппаратцу. Сквозь непрестанные помехи до нас все же доносились и грозная трагическая музыка первой части, и проникновенный лиризм Скерцо, и сурово-торжественная красота Adagio, и героический пафос финала. Мы были потрясены музыкой, хотя многие драгоценные подробности были размыты шумом и не достигли уха.

П. А. Серебряков при моей энтузиастичной поддержке решил во что бы то ни стало исполнить симфонию силами консерватории, прославленным учеником и профессором которой состоял ее автор. Как выяснилось несколько позже, такое намерение совпадало с желанием самого Дмитрия Дмитриевича, который ощущал кровную связь со своей Alma mater.

В тот незабываемый вечер я не подозревал, что именно на мою долю выпадет высокая и ответственная миссия: поездка в Куйбышев за партитурой Седьмой симфонии. Но произошло это месяц спустя.

По первоначальному плану, трудное путешествие должен был предпринять заместитель директора консерватории А. Л. Островский —

человек авторитетный, умелый, энергичный. Но случилось нечто непредвиденное. Дмитрий Дмитриевич прислал телеграмму с просьбой командировать в Куйбышев меня, а не *кого-либо другого*.

П. А. Серебряков, хорошо ко мне относившийся, был, тем не менее, несколько обескуражен этой просьбой, звучавшей как непременное условие. Он, по-видимому, был недостаточно осведомлен о моих отношениях с Шостаковичем, а А. Л. Островский понятия о них не имел и был крайне удивлен телеграммой. Дирекция консерватории, вероятно, не без основания считала, что мне — малоавторитетному, неопытному человеку — будет не по силам справиться со всяческого рода хлопотами, связанными с приобретением нотной бумаги, перепиской партитуры и возвращением в Ташкент. Однако второй телеграммой Дмитрий Дмитриевич подтвердил свое решение.

Нетрудно догадаться, что он горячо желал со мною увидеться и партитура была прекрасным предлогом для долгожданной встречи.

Я, будучи ненавистником дороги, какой бы то ни было, на этот раз пришел в полный восторг от предстоящей поездки. Бедному Павлу Алексеевичу Серебрякову и его помощникам ничего другого не оставалось, как приступить к поискам железнодорожного билета, что представляло собой задачу анафемской сложности. Надо было раздобыть место в спальном вагоне, что было обусловлено, если можно так выразиться, разумным эгоизмом, ибо в бесплацкартном, общем вагоне я мог легко заболеть ввиду свирепствовавшего тифа и партитура Седьмой симфонии осталась бы, так сказать, невостребованной.

После бесконечных ходатайств и проволочек нужный билет был, наконец, мне вручен, и 5 апреля 1942 года с бьющимся от радостного возбуждения сердцем я отправился в путь.

Накануне отъезда местком консерватории, после жарких словопрений решил снабдить меня провиантом в виде двадцати твердокаменных пирожков (время было очень голодное!). На заседании голоса разделились: одни утверждали, что десяти пирожков хватит за глаза, поскольку поезд до Куйбышева идет десять дней и, следовательно, одним пирожком в сутки можно вполне продержаться. Другая сторона, энергично поддержанная А. Л. Островским, настаивала на цифре двадцать в рассуждении того, что поезд может по разным причинам задержаться в дороге и мне придется положить зубы на полку. К счастью, гуманные и сердобольные члены месткома восторжествовали. Но это не все. Истинную заботу обо мне — путешественнике — проявили мои студенты, принесшие на вокзал несколько изрядных ломтей хлеба и бутылку красного вина. Оно должно было, по их словам, уберечь меня от всяческих желудочных напастей.

Поезд уходил ночью. На темном небе ярко горели звезды. Над вокзальной площадью, запруженной толпами людей, веял весенний ветер. Когда наступило утро, проводница любезно предложила нечто, слабо напоминающее чай, разумеется, без сахара. Я, употребив немало физических усилий, разрезал первый из двадцати заветных пирожков, и меня охватил ужас: он, словно маком, был усеян ташкентскими мурашами. Как они в таком устрашающем количестве в него проникли, знал лишь один только Бог. Мой сосед по двухместному купе, почтенный респектабельный мужчина с орденом Ленина на лацкане пиджака, заметив мое отчаяние, отрезал, не говоря худого слова, ломтик пирожка, приправленный мурашами, и отправил его себе в рот. Мне показалось, что сделал он это с отвагой Луи Пастера, рискуя

жизнью. Затем этот славный человек прищелкнул языком и победоносно заявил: «Пирожок вполне съедобен. Я вам говорю как врач». По-видимому, он был очень крупным медиком, направлявшимся через Куйбышев в Москву. Я не без робости последовал его примеру, а потом расхрабрился и мы вдвоем, деля общую трапезу, истребили в течение десяти дней весь запас пирожков, познав в первый и, вероятно, последний раз странный вкус азиатских мурашей.

Я рассказываю о трагикомическом случае с пирожками не ради курьеза, а для того, чтобы этот совсем незначительный с виду эпизод послужил выразительным штрихом на картине быта периода войны, картине, представление о которой уже затуманено ушедшими годами и десятилетиями. В этом контексте важно и другое: материальные тяготы и невзгоды не заглушили, как и пушки, голоса муз, не остудили душевный жар, не притупили интерес к музыке вообще и, в частности, к великой симфонии Шостаковича, которую страстно хотелось исполнить...

Во время длинного пути я давал волю своей фантазии, чтобы как можно ярче представить себе житье-бытье Дмитрия Дмитриевича, чтобы восстановить в подробностях историю завершения Седьмой симфонии, подготовку ее премьеры и, наконец, триумфальные концерты в Куйбышеве и в Москве, состоявшиеся соответственно 5 и 29 марта 1942 года. Кое-что мне было известно из писем Дмитрия Дмитриевича, но никакие письма не могли, конечно, сравниться с беседой с глазу на глаз, а такие беседы, тешил я себя надеждой, произойдут в самом недалеком будущем.

Между тем поезд шел медленно, подолгу останавливаясь на каждой станции. После беспощадно ясного ташкентского неба я с удивлением глядел из окна вагона на облака и тучи, на заснеженные то тут, то там поля, на вздернутые журавли у обледенелых колодцев и радостно ощущал то, что называется запахом родных осин.

Наконец, после десятидневного путешествия я прибыл 15 апреля под вечер в незнакомый Куйбышев, сердечно распрощался с моим соседом по купе, спасшим меня от голода благодаря «реабилитации» пирожков с ташкентскими мурашами.

На перроне меня встретил Дмитрий Дмитриевич. Он явился на вокзал в сопровождении, если можно так выразиться, небольшой свиты, в которой я с удовольствием увидел улыбчивого, голубоглазого, белозубого знаменитого пианиста Льва Николаевича Оборина.

Пока я снимал рюкзак, ко мне стремительно подошел, заметно волнуясь, худощавый, стройный элегантный Дмитрий Дмитриевич. Мы крепко расцеловались и обменялись общепринятыми приветственными словами. Чтобы унять свое волнение, он несколько судорожным движением руки вытащил из кармана пиджака коробку папирос и закурил, не догадываясь по рассеянности угостить меня — завзятого курильщика.

Мне бросилось в глаза, что он был одет во все новое: в новой шляпе, в новом пальто, в новых ботинках. Как я вскоре узнал, ему недавно выдали по ордеру одежду и обувь, так как по дороге из Москвы в Куйбышев у него похитили чемодан с вещами. Об этом он сообщил мне в письме.

Дмитрий Дмитриевич, возбужденный, радостно настроенный, решительно объявил, что мы направимся домой пешком, несмотря на

изрядное расстояние, ибо в трамвае ехать небезопасно из-за эпидемии в городе.

Конечно, любое учреждение любезно предоставило бы Шостаковичу автомобиль, но для этого надо было заблаговременно обратиться с просьбой к властям предержащим, то есть сделать то, чего Дмитрий Дмитриевич терпеть не мог: любая просьба, пусть даже самая пустяковая, была для него в тягость, приводила в замешательство. Пешее хождение повторилось при моем отъезде из Куйбышева. Верный себе, Дмитрий Дмитриевич не захотел одолжаться у каких бы то ни было из начальников и попросить машину, вследствие чего мы с ним ночью добирались пешком с тяжелым рюкзаком* до вокзала, откуда мне предстояло пригородным поездом доехать до аэродрома.

Я отчетливо помню, как Дмитрий Дмитриевич волновался перед тем, как отправиться к Управляющему делами Совета министров СССР (тогда он назывался Советом народных комиссаров), чтобы получить для меня разрешение питаться в ресторане куйбышевской гостиницы «Националь» вместе с ним и его семьей. И когда он возвратился, держа в руках заветный пропуск, лицо его сияло, что меня чрезвычайно растрогало.

До этого момента он сильно сомневался в успехе своего визита к значительному лицу. Дело в том, что и после исторического исполнения Седьмой симфонии Шостакович абсолютно не сознавал, каким могущественным авторитетом он обладал. Ему часто, очень часто приходилось хлопотать за других, но не за себя. Этого делать он не хотел и не умел.

Именно поэтому мы шагали на Вилоновскую улицу в дом 2-а, в коем Шостакович занимал четыре комнаты, да еще с ванной, что считалось в Куйбышеве того времени вершиной комфорта. Ему была предоставлена такая квартира помимо его личного участия в этом деле, без его просьб или хлопот.

В довольно просторном кабинете Дмитрия Дмитриевича находились рояль, письменный стол, несколько кресел, стульев и широкий диван, на котором я безбедно спал в течение целого месяца, причем в конфигурации всех вещей и предметов господствовал тот порядок, который существовал в кабинетах Дмитрия Дмитриевича во всех его ленинградских и московских квартирах.

Хозяйка дома Нина Васильевна встретила меня с большим радушием. Она позаботилась о том, чтобы вечером по случаю моего приезда был устроен ужин в складчину, то есть гости по взаимному уговору приносят, что им Бог послал: продукты и напитки. Таковы были условия военного времени. Мне, жестоко изголодавшемуся в Ташкенте и в поезде, скромный ужин показался Лукулловым пиром.

Дмитрий Дмитриевич в тот вечер был в приподнятом настроении. Я был счастлив сидеть с ним рядом и исподтишка глядеть на его оживленное прекрасное лицо. Я не случайно говорю «исподтишка». Если бы я на него пристально смотрел, он непременно отвернулся бы с досадой. Таков был склад его характера. Подчеркнутое, внешнее внимание к его личности он полушутя называл «нездоровым любопытством».

---

* Нина Васильевна снабдила меня продуктами, столь необходимыми в голодном Ташкенте.

Несколько дней спустя Дмитрий Дмитриевич по моей просьбе сыграл мне на рояле всю Седьмую симфонию. Играл он великолепно, показав множество тончайших нюансов во второй и третьей частях. Слегка отдышавшись после финала и стремительно встав со стула, он сказал: «Я думаю, что симфония мне в общем удалась. А знаешь ли ты, что при сочинении финала было много толков и в Куйбышеве нашлись прошеные и непрошеные советчики». И он мне поведал о подробностях, отсутствовавших в письме по этому поводу. Затем мы перешли на тему о переписке партитуры Седьмой. Это было делом отнюдь не простым, а даже очень сложным. Дмитрий Дмитриевич сказал: «Симфония стала модной. Сюда приезжают курьеры из разных городов и просят моего содействия в переписке партитуры. Я им, конечно, ничем помочь не могу, и мне приходится от них отбиваться. Курьеры, курьеры, курьеры. 35 тысяч одних курьеров!» Процитировав Хлестакова, Дмитрий Дмитриевич расхохотался.

Став снова серьезным, он сказал: «Но будь спокоен. Считай, что ты уедешь в Ташкент с переписанной партитурой. Я постараюсь это сделать».

Так оно и случилось. В середине мая я улетел в Ташкент с партитурой Седьмой, а спустя пять недель она была исполнена силами Ленинградской консерватории под управлением И. А. Мусина. Это было второе по счету исполнение в нашей стране и за рубежом, после мартовских премьер в Куйбышеве и Москве...

Во время моего пребывания в Куйбышеве Дмитрий Дмитриевич неоднократно играл отрывки из «Отелло» Верди: «Бриндизи» Яго, песню об иве и молитву Дездемоны, финальный выход Отелло и многое другое из этой оперы. Еще в Ленинграде, в конце 30-х годов Дмитрий Дмитриевич говорил мне, что «Отелло» — одно из любимейших его произведений в мировой оперной литературе. Любовь эта была долговременной и прочной.

Как раз в то время в Ленинграде состоялась премьера «Отелло» в Театре имени С. М. Кирова. Дмитрий Дмитриевич пригласил меня на спектакль, поставленный Н. К. Печковским, исполнявшим также заглавную партию. Певец ему в общем понравился, но он был крайне недоволен дирижерской интерпретацией музыки. Это его огорчило, задело за живое, и он немедленно написал и напечатал в газете «Советское искусство» рецензию, в которой отрицательно отозвался о работе дирижера С. В. Ельцина. Рецензия была мне показана автором еще в рукописи, и меня несколько удивил ее бескомпромиссный тон. Дмитрий Дмитриевич относился к С. В. Ельцину — хорошему музыканту — уважительно, но на этот раз истина ему была дороже Платона.

Нечто подобное произошло с ним после просмотра фильма «Римский-Корсаков», когда он опубликовал об этой неудачной картине острую язвительную и блестящую статью. Но, как правило, негативные отзывы об оперно-балетных спектаклях, фильмах или концертах были явлением очень редким в публицистике Шостаковича.

Итак, слушая фрагменты из «Отелло», я подумал, не собирается ли Дмитрий Дмитриевич написать что-нибудь на шекспировские темы? Я его спросил об этом, но ответ был самым неожиданным. Опера

им действительно задумана, но на сюжет не Шекспира*, а... Гоголя! На сюжет «Игроков».

Дмитрий Дмитриевич по поводу своего замысла не без воодушевления сказал: «Да, после четырнадцатилетнего перерыва я решил вернуться к Гоголю. Но „Игроки" не будут похожи на „Нос". Они будут написаны на другой основе. В „Носе" я вольно обращался с гоголевским текстом, а в „Игроках" я буду следовать за Гоголем, не пропуская ни одного слова, как это делал Даргомыжский в своем „Каменном госте". Либреттистом будет сам Гоголь!

Наверное, нехорошо, что в „Игроках" нет ни одной женской роли, без которой, кажется, не существует ни одной оперы. Придется примириться с таким казусом. Зато какую необыкновенную комедию написал Гоголь! Ты, конечно, помнишь, что он включил в главный сюжет другой, превосходно сочиненный героем пьесы Степаном Ивановичем Утешительным. Это оригинально до чрезвычайности!»

Когда я слушал с большим интересом эту довольно длинную речь, мне пришла в голову мысль, показавшаяся свежей. Я спросил: «Не кажется ли тебе, что твое новое сочинение может стать последней частью замечательной оперной трилогии о картах: «Пиковая дама» Чайковского, «Игрок» Прокофьева, «Игроки» Шостаковича. Ведь карты, как это ни странно, — тема вечная?!»

Дмитрий Дмитриевич раздумчиво проговорил: «И я в молодости любил играть в карты и всегда проигрывал. Может быть, мне поможет мой скромный опыт и я включусь в трилогию, которую ты только что выдумал». Помнится, мы оба рассмеялись.

В замысле «Игроков» меня радостно изумило: во-первых, возвращение к оперному жанру, с которым Дмитрий Дмитриевич вроде бы навсегда расстался после печальной истории с «Леди Макбет Мценского уезда»; во-вторых, возвращение к своему любимому Гоголю, несмотря на то что оперу «Нос» постигла безрадостная сценическая судьба; в-третьих, стремление написать комедию вслед за трагедийным эпосом Седьмой симфонии, а ведь в самом недалеком будущем предстояло создание Восьмой — самого трагического произведения Шостаковича. Таким образом, «Игроки» приобрели бы характер комедийной интермедии, наподобие сатировой драмы греческих трагиков.

Дальнейшая судьба «Игроков» известна. Дмитрий Дмитриевич опасался, что одноактная пьеса Гоголя, лишенная купюр, непомерно разрастется и выйдет за временные рамки оперного спектакля. Он прекратил работу над «Игроками», сочинив сорок минут первоклассной, сверкающей остроумием музыки, которую мы недавно услышали в Ленинградской филармонии под управлением Г. Н. Рождественского.

В Куйбышеве мне представился счастливый случай говорить по телефону с Иваном Ивановичем Соллертинским — моим учителем и дорогим другом. Он звонил Дмитрию Дмитриевичу из Новосибирска, куда была эвакуирована Ленинградская филармония (я, конечно, воспользовался этим звонком).

А дело состояло в том, что Евгений Александрович Мравинский, готовившийся к исполнению Седьмой симфонии, страстно желал, чтобы автор присутствовал на репетициях и, разумеется, на премьере, как

---

* Из Шекспира он через некоторое время выбрал 66-й сонет, написал на него музыку и посвятил его И. И. Соллертинскому.

это было в недалеком прошлом в Ленинграде во время подготовки незабываемой Пятой, а затем Шестой.

Иван Иванович на правах художественного руководителя филармонии и ближайшего друга Шостаковича уговаривал его приехать в Новосибирск. Но особой нужды в телефонных увещаниях не было. Дмитрию Дмитриевичу очень хотелось увидеться с другом и послушать Седьмую, вслед за С. А. Самосудом, под управлением Мравинского. Об этом он писал мне в одном письме. Летом Дмитрий Дмитриевич отправился в Новосибирск на премьеру, состоявшуюся в начале июля 1942 года.

Мой разговор с Иваном Ивановичем был кратким, но волнующим. Я его голоса уже больше никогда не услышал. Меньше чем через два года этого уникального человека не стало.

Возвратившись в Ташкент, я с грустью обнаружил таинственную пропажу некоторых писем Дмитрия Дмитриевича. Мне захотелось перечесть все, что он писал, и сопоставить прочитанное с увиденным мною в Куйбышеве. Я так и сделал.

Оставшиеся письма исполнены живыми интонациями непосредственного разговора, насыщенного, как это было зачастую, свойственными Дмитрию Дмитриевичу ассоциациями и ироническим подтекстом, доступным и понятным только адресату.

Я привожу письма, как правило, полностью, без купюр, с сохранением синтаксиса автора.

На конвертах и открытках стоял неизменный штамп «Проверено военной цензурой».

Д. Д. Шостакович

ПИСЬМА
(1941—1974)

1941

1

30.XI.1941. Куйбышев* 30 ноября

Дорогой Исаак Давыдович. Твое письмо от 18.XI я получил сегодня. Нужно ли тебе сказать, что оно меня безумно обрадовало. Рад за тебя, что ты жив и здоров и кое-как устроен.

В Ленинграде я прожил до 1-го октября. 3-го сентября я закончил первую часть своей 7-й симфонии. 17 сентября — вторую и 29 сентября третью. Возможно, что скоро бы я закончил и четвертую часть, однако до сих пор она еще не готова, даже хуже: она еще не начиналась. Причины этому, очевидно, разные и главная, это усталость от большого напряжения всех сил, которые были затрачены на сочинение первых трех частей. Как ты уже заметил, вопросы творчества меня сильно волнуют и с них я начинаю свое письмо. 30 сентября в 11 часов ночи мне позвонила тов. Калинникова из Горкома ВКП(б) и сообщила, что 1-го октября я вылетаю в Москву. Таким образом, 1-го октября я, жена и двое детей покинули наш любимый родной город.

В Москве мы первое время жили в гостинице «Москва». 14-го октября вечером перебрались на заготовленную для нас квартиру, а 15-го утром поехали на вокзал, с коего отбыли в 10 ч. вечера в Свердловск. Ехали мы не комфортабельно.

В дороге у нас пропали два чемодана с одеждой и бельем. Кроме того, израсходовали съестные припасы. 22-го октября мы слезли в гор. Куйбышеве. Поселились в общежитии Большого театра, а в первых числах ноября, благодаря стараниям

* Авторские даты писем даются перед текстом слева. Даты, установленные составителем, а также дополнения заключены в квадратные скобки.

М. Б. Храпченко[1], получили комнату. Комната хорошая (22 метра), теплая, уютная. Так и живем. Вопросы творчества не налажены. Но недавно меня вызвала к себе тов. Р. С. Землячка[2] и обещала устроить две комнаты. Отношение ко мне здесь очень хорошее, а когда я смогу немного одеться и обуться, то буду совсем доволен. А если у меня будут две комнаты, и я смогу иногда уединиться от своих детей, то, вероятно, смогу закончить 7-ю симфонию.

Из Куйбышева меня пока не выпускают. Просят жить здесь. Матерьяльно (денежно) я здесь вполне обеспечен. Боюсь, что аналогичное денежное довольство вряд ли мне удастся иметь в Ташкенте[3], куда я все же намерен выехать после нескольких сеансов у гипнотизера, которого я попрошу внушить мне отсутствие страха перед столь длительным путешествием. Кроме того, меня задерживают здесь из-за возможной поездки моей в САСШ. От этой поездки я лично отказываюсь, т. к. ехать очень не хочется. Хочется скорее закончить симфонию и быть на родине, чем на чужбине.

Вот, пожалуй, и все, что я могу сообщить о себе. Моя мама[4] и сестра[5] с сыном в Ленинграде. Обещание их оттуда вывезти пока не выполнено. В. В. Лебедев[6] и Н. С. Рабинович[7] тоже в Ленинграде. Очень я без тебя скучаю. Очень тебя мне не хватает. Однако же надеюсь быть в Ташкенте и тогда встретиться с тобой. Не имеешь ли ты каких либо известий о И. И. Соллертинском?[8] Я ему телеграфировал и писал отсюда, но ответа не имею. На всякий случай сообщаю тебе его адрес: Новосибирск, ул. Романова д. 35, кв. 50. Этот адрес я узнал в Москве от В. Я. Шебалина, нынче находящегося в Свердловске. Из моих друзей здесь проживает Л. Н. Оборин, а также многие другие друзья, как-то: С. А. Самосуд, Барсова, Козловский, Илья Эренбург[9].

Очень прошу тебя писать мне почаще. Вероятно, тебя интересует судьба В. В. Федорова (левый хав Лен. «Динамо»). Он вместе с Аловым, Сазоновым и Сычевым работали в 27 отд. милиции, стояли на посту, сменяя друг друга у Казанского собора. Что же касается до Боброва, Набутова, Пеки Дементьева и других мастеров футбола, то о них мне ничего не известно[10]. Что же касается до А. М. Клячкина[11], то он был свеж и бодр как всегда.

Дорогой мой друг, надеюсь, что увидимся и будем с тобой посещать футбольные матчи. Привет Татьяне Ивановне[12]. Нина, Галина и Максим[13] шлют тебе и Татьяне Ивановне привет.

Крепко целую. Д. Шостакович

Узнай через Союз сов. писателей, где находится Абель Исаакович Старцев[14] и сообщи ему наш адрес[15].

[1] Михаил Борисович Храпченко (1904—1986) — литературовед, в то время председатель Комитета по делам искусств СССР.

[2] Розалия Самойловна Землячка (1876—1947) — заместитель председателя Совета Народных Комиссаров СССР, впоследствии преобразованного в Совет Министров СССР.

[3] Д. Д. Шостакович намеревался переехать в Ташкент, где находилась Ленинградская консерватория, профессором которой он состоял. Впоследствии этот план отпал.

[4] Софья Васильевна Шостакович (1878—1955).

[5] Мария Дмитриевна Шостакович (1903—1973) — старшая сестра Дмитрия Дмитриевича, преподавательница фортепиано.

[6] Владимир Васильевич Лебедев — художник (см. о нем в предисловии к письмам, с. 16—17).

[7] Николай Семенович Рабинович (1908—1972) — дирижер, впоследствии профессор Ленинградской консерватории.

[8] Иван Иванович Соллертинский (1902—1944) — музыковед, профессор Ленинградской консерватории и художественный руководитель Ленинградской филармонии.

[9] В списке имен особо выделено имя Льва Николаевича Оборина, с которым Дмитрий Дмитриевич дружил с юных лет. Фраза «а также многие другие друзья» имеет скрытый подтекст, означающий, что с остальными перечисленными лицами Д. Д. Шостакович находился лишь в хороших отношениях.

[10] Об отношении Д. Д. Шостаковича к футболу и футболистам см. в предисловии к письмам (с. 16—18).

[11] Аркадий Максимович Клячкин — репортер ленинградской «Красной вечерней газеты», часто писавший отчеты о футбольных матчах. Д. Д. Шостакович с мягким юмором относился к этому хваткому репортеру, носившему фамилию, не соответствующую его бойкому характеру.

[12] Моя первая жена, Татьяна Ивановна, скончавшаяся в Ташкенте от сыпного тифа 4 апреля 1943 года.

[13] Нина Васильевна (1909—1954) — астрофизик, жена Дмитрия Дмитриевича; Галина — пятилетняя дочь, Максим — трехлетний сын Д. Д. Шостаковича.

[14] А. И. Старцев — литературовед.

[15] В письме имеется приписка, сделанная женой Дмитрия Дмитриевича — Ниной Васильевной: «Дорогой Исаак Давыдович, во-первых, вношу поправку — Клячкин не совсем бодр, хотя и свеж — его контузило и он не совсем хорошо поддерживает равновесие. Во-вторых, шлю свой сердечный привет. Н. Шостакович» (А. М. Клячкин оправился от контузии и дожил до старости, сотрудничая после войны в «Вечернем Ленинграде» и других газетах.)

2

22.XII.1941. Куйбышев — 22 декабря

Дорогой Исаак Давыдович.

Пользуюсь оказией и посылаю тебе несколько слов. Во-первых, прошу тебя не забывать меня и писать почаще. Во-вторых, у меня новый адрес: Куйбышев, областной. Ул. Фрунзе,

д. 146, кв. 9. Теперь у меня отдельная квартира из двух комнат. Жить стало легче и я заканчиваю финал симфонии. Квартиру мне устроила тов. Р. С. Землячка. Она же очень помогла в ряде других дел. Возможно, что скоро приедет сюда моя мама.

В Куйбышеве организовался Союз советских композиторов. По средам собираемся и слушаем свои работы. Тебя наверное интересует состав правления КССК. Вот он: я (председатель), Д. А. Рабинович[1] (зам. председателя), А. С. Оголевец[2] (ответственный секретарь), С. А. Чернецкий[3] и С. И. Шлифштейн[4] (члены). Всего здесь имеется 18 членов ССК. В их числе т. т. Сабо[5], Цфасман[6], Жак[7], Антюфеев[8], Солодухо[9], Зденек Неедлы[10] и др.

Сегодня должен был состояться концерт из моих сочинений, но ввиду того, что тов. Морис Жакович Гурвич (альтист из Квартета) заболел воспалением легких, концерт перенесен на 29 декабря. С Л. Н. Обориным мы иногда играем в 4 руки. Здоровы. Сыты. Скучаю не только по симфонической музыке, но по Москве, по Ленинграду. Очень хочется скорее вернуться домой. Еще прошу тебя: пиши побольше и почаще. Привет Татьяне Ивановне. Нина кланяется.

Твой *Д. Шостакович*

[1] Давид Абрамович Рабинович (1900—1978) — музыковед.
[2] Алексей Степанович Оголевец (1894—1967) — музыковед.
[3] Семен Александрович Чернецкий (1881—1950) — композитор и военный дирижер.
[4] Семен Исаакович Шлифштейн (1903—1975) — музыковед.
[5] Ференц Сабо (1902—1969) — композитор.
[6] Александр Наумович Цфасман (1906—1971) — композитор.
[7] Абрам Семенович Жак (1901—1981) — композитор.
[8] Борис Иванович Антюфеев — композитор.
[9] Яков Семенович Солодухо (1911—1987) — композитор.
[10] Зденек Неедлы (1878—1962) — чехословацкий историк и музыковед, впоследствии президент Чехословацкой Академии наук.

1942

3

4.I.1942. Куйбышев — 4 января

Дорогой Исаак Давыдович. Пишу я тебе довольно часто, во всяком случае столько, сколько позволяют мои конвертные возможности. Надо сказать, что этот продукт бумажной промышленности чрезвычайно редко попадается в Куйбышеве. Открытки тоже. Рад был получить от тебя письмо, датированное 21.XII прошлого года. Поздравляю тебя с Новым годом и желаю здо-

ровья и счастья. Татьяне Ивановне желаю того же самого плюс возможность совершенствоваться в области кулинарии, имея для экспериментов не только рис. Левитин[1] прав. Мы переехали на новую квартиру и живем в смысле площади очень хорошо. За это я должен благодарить тов. Р. С. Землячку, которая однажды вызвала меня к себе и во многом мне помогла. Оставляют лишь желать лучшего мои финансовые дела, которые хоть и не плохи, но в достаточной степени не стабильны. Впрочем у меня всегда было неопределенное финансовое положение. Квартира моя состоит из двух комнат и главное ее достоинство это то, что она отдельная. В этой квартире я закончил 7-ю симфонию. Кроме этой достопримечательности[2] в ней имеются ванная, кухня и уборная. Несколько слов о симфонии: 1-я часть длится 25 минут. Закончена она была 3.IX.1941. 2-я часть длится 8 минут. Закончена 17.IX.1941. 3-я часть длится 17 минут. Закончена 29.IX.1941. 4-я часть длится 20 минут. Закончена 27.XII.1941.

Слушавшие это сочинение дают ему высокую оценку по первым трем частям. 4-ю часть я показывал пока еще лишь очень немногим. Те немногие хвалят, но среди них (похвал) имеются нотки сомнения. Например, мой друг Сосо Бегиашвили[3] считает, что в ней (4-й части) недостаточно много оптимизма. С. А. Самосуд считает, что все хорошо, однако же эта часть, по его мнению, не является финалом, а для того, чтобы она стала финалом, необходимо ввести солистов и хор. Есть еще целый ряд ценных замечаний по поводу 4-й части, но я их принимаю к сведению, но не к исполнению, т. е. с моей точки зрения хор и солисты не нужны в этой части, а оптимизма вполне достаточно[4].

Мой друг Сосо Бегиашвили чудный человек, но он не обладает достаточным количеством ума и поэтому к его суждению надо отнестись критически[5]. Л. Н. Оборин, Д. А. Рабинович, С. И. Шлифштейн приемлют все целиком и оценивают все сочинение очень высоко[6].

Завтра здесь состоится мой концерт. В программе: Прелюдии, романсы на слова Пушкина (исп. А. Батурин[7]), Виолончельная соната (исп. В. Островский) и Квинтет (исп. Квартет Большого театра и я). Этот концерт должен был состояться 22.XII, но ввиду болезни тов. Гурвича (альтист из Квартета) перенесен на завтра. Я, Нина и дети здоровы. Однако моя нервная система сильно пошаливает. Тебя мне очень не хватает. И я надеюсь, что мы с тобой увидимся. ВКВШ назначила меня председателем комиссии на госэкзамены в Ленинградской консерватории по кафедре ф.-п. Если будут силы и возможность, приеду. Тогда повидаемся и потолкуем[8]. Я еще не сообщил тебе, что моя 7-я симфония выдвинута на соискание Сталинской премии. Здесь (в Куйбышеве) ее предполагают исполнить силами оркестра Большого театра и Самосуда. Боюсь, что оркестра здесь не хватит, т. к. состав такового в симфонии очень боль-

шой. Хотелось бы послушать это произведение в исполнении Мравинского, но сейчас это трудно. Не особенно я верю в Самосуда, как в симфонического дирижера[9]. В общем все это отчасти меня беспокоит, а в силу расшатанности нервной системы беспокоит больше, чем нужно. Жизнь наша течет нормально, спокойно, тихо. Иногда по ночам, терзаемый бессонницей, я плачу (sic!). Слезы текут обильные, горючие. Нина и дети спят в другой комнате, и это обстоятельство не мешает мне предаваться слезам. А потом успокаиваюсь. Нервы шалят[10]. Судя по твоему последнему письму, в Ташкенте нету футбольных соревнований. А здесь я однажды побывал на хоккейном матче. Остался недоволен. Играли неплохо, но команды не имели своей формы и, зная в лицо друг друга, справлялись с этим недостатком. Я же частенько не мог отличить игрока одной команды от его противника. Судья тоже не способствовал ясности. Правда, он был в шубе и в валенках, без коньков. В общем, посмотрел матч и пошел домой, вспоминая К. Сазонова, многочисленных Федоровых, Пеку Дементьева, Левин-Когана и других[11].

Жму руку, дорогой мой друг. Привет Татьяне Ивановне. Нина и дети кланяются.

Д. Шостакович

[1] Юрий Абрамович Левитин (р. 1912) — композитор, ученик Д. Д. Шостаковича. Вероятно, он сообщал Дмитрию Дмитриевичу об острой нехватке продуктов питания в Ташкенте.

[2] Дмитрий Дмитриевич с легким юмором указывает на то, что место, в котором он закончил Седьмую симфонию, никакого значения не имеет, и называет не без иронии этот факт «достопримечательностью». Ему, конечно, в голову не приходило, что его будущие биографы могут заинтересоваться такой подробностью. Гораздо важнее, что в двухкомнатной квартире, где был написан финал симфонии, имеются «ванная, кухня и уборная». Так модулируется тема в бытовую, прозаическую тональность.

[3] Сосо Бегиашвили, которого Дмитрий Дмитриевич иронически называет своим другом, когда-то учился в Ленинградской консерватории. Перед войной он занялся хозяйственной деятельностью и преуспевал в ней. Появившись в Куйбышеве, он каким-то образом втерся в дом Шостаковича, который скрепя сердце сносил его назойливые визиты. Бегиашвили, с которым я позже познакомился в Ташкенте, был человеком авантюрного склада, выкидывавшим различного рода курбеты, главным образом в сфере коммерции. Ссылки Дмитрия Дмитриевича на суждения Бегиашвили о финале Седьмой симфонии носят насмешливый характер.

[4] С. А. Самосуд (1884—1964), главный дирижер Большого театра, предлагал заказать для солистов и хора стихи, в которых бы прославлялся Сталин, но Дмитрий Дмитриевич решительно отверг данное предложение. Для этого надо было обладать большим мужеством: шутка сказать! — отказаться воспеть «гениального полководца» в сим-

фонии, связанной с темой войны?! И Шостакович таким мужеством обладал в полной мере. В письме сказанное не уточняется, но мне об этом было сообщено Дмитрием Дмитриевичем в Куйбышеве.

Когда Дмитрию Дмитриевичу давали советы, идущие вразрез с его убеждениями, взглядами, концепциями, он обычно покорно выслушивал советчиков, не вступая с ними в полемику и поступая по-своему, руководствуясь художнической совестью и ответственностью, в первую очередь перед самим собой. Он любил повторять строгую формулу Пушкина: «Ты им доволен ли, взыскательный художник?» Конечно, Шостакович был раздражен нелепыми замечаниями и рекомендациями по поводу финала Седьмой симфонии, но феноменальная сдержанность (коренное свойство его натуры) мешала ему в полный голос высказать свою досаду.

[5] В письме второй раз возникает имя Бегиашвили, которого Дмитрий Дмитриевич с пародийной целью снова называет «Сосо» и «моим другом».

Под пером Шостаковича этот субъект становится неким обобщенным типом крайне ограниченных, тупых, стандартно мыслящих оценщиков музыки. Дмитрий Дмитриевич воздает ему ложную похвалу, называя его «чудным человеком». Таким стилистическим приемом в духе «Похвалы глупости» Эразма Роттердамского он пользовался неоднократно в своих письмах и устных высказываниях.

[6] Дмитрию Дмитриевичу было важно мнение Л. Н. Оборина, которого он считал замечательным музыкантом. Он не пропустил мимо ушей и суждения Д. А. Рабиновича и С. И. Шлифштейна.

[7] Александр Иосифович Батурин — солист Большого театра, бас-баритон.

[8] Это намерение не осуществилось.

[9] Д. Д. Шостакович очень высоко ценил Самуила Абрамовича Самосуда как оперного дирижера. Его исполнение «Катерины Измайловой» («Леди Макбет Мценского уезда») он считал не только безупречным, но и эталонным. Этого мнения он придерживался до конца своих дней.

Когда Дмитрию Дмитриевичу хотелось похвалить какого-нибудь дирижера (нашего или зарубежного), работавшего над его оперой, он неизменно говорил: «Этот талантливый дирижер напоминает Самосуда». То была высшая похвала, которой Дмитрий Дмитриевич мог удостоить интерпретатора «Катерины Измайловой». Но Шостакович редко слышал С. А. Самосуда на симфонической эстраде, так как тот не часто выступал на ней. Этим следует объяснить его опасения за судьбу симфонии. Но, как вскоре выяснилось, опасения были напрасными.

[10] Дмитрий Дмитриевич с глубокой душевной болью относился к ужасам войны, к невероятным страданиям людей в блокадном Ленинграде. Об этом он говорил мне во время моего пребывания в Куйбышеве, но опять-таки с присущей ему сдержанностью. Однако оставаясь по ночам в одиночестве, он давал волю слезам.

[11] Перечисление имен ленинградских футболистов, которых мы оба лично знали, является, на мой взгляд, одним из побочных, завуалированных мотивов ностальгии по Ленинграду. Футболисты прихотливо вмещались в панораму родного города, воспоминания о котором приобретут особую остроту в последние годы жизни Дмитрия Дмитриевича.

4

6.11.1942. Куйбышев

6 февраля

Ташкент. Ульяновская, 18
Исааку Давыдовичу Гликману

Дорогой Исаак Давыдович. Пользуюсь любезностью моих ташкентских друзей и посылаю тебе эту оказию.

Я живу очень плохо[1]. День и ночь вспоминаю своих родных и близких, оставшихся в Ленинграде. Оттуда я получаю редкие сведения. Есть нечего. Больше кошек и собак нету. Моя мама к тому же сидит без денег, т. к. мои деньги, которые я ей посылаю регулярно, доходят неаккуратно и с перебоями. В. В. Варзар[2] заболел от недоедания. Также плоха на той же почве Нинина племянница Аллочка[3]. Твоей маме я послал письмо, в котором сообщено о тебе, что ты здоров и жив[4]. Ежедневно хлопочу о вывозе моих из Ленинграда. И до тех пор, пока я их оттуда не вывезу, из Куйбышева не уеду. Здесь иногда удается посылать им посылки через Москву, а иногда и прямо отсюда. Ташкент очень далеко и я боюсь, что связь оттуда будет почти невозможна[5]. Собственно говоря, больше писать мне не о чем, т. к. все вышеописанное является основным тонусом моей жизни.

Дальше идет хроника[6]. Оркестр Большого театра под управлением Самосуда превосходно репетирует мою длинную 7-ю симфонию. Вчера впервые были проиграны полным оркестром 1-я и 2-я части. На меня это произвело сильное впечатление и я полдня ликовал, радуясь своему детищу[7].

Очень многие жители Куйбышева уезжают в Москву. Большой театр пока еще здесь. Очевидно, я отбуду из Куйбышева тогда, когда отбудет отсюда театр[8]. Если же мне удастся перевезти сюда из Ленинграда своих, то тогда поеду в Ташкент. Живем мы в смысле быта довольно благополучно. Деньги у меня есть. Питаемся не плохо, хотя сейчас хуже, чем месяц тому назад. В связи с отъездом в Москву[9] сильно свертывают свою деятельность разного рода столовые, распределители и т. п. Сюда приезжал А. Н. Толстой на заседание Комитета по присуждению сталинских премий. Рассказывал мне о Ташкенте и рекомендовал туда уехать. В Куйбышеве резко континентальный климат. Недавно здесь стояли сорокапятиградусные морозы. Квартира у нас холодная и мы все время мерзнем. Пиши мне почаще. Ты не поверишь, какая радость бывает при получении весточки от друзей. И еще одно происшествие. Зашел как-то с улицы пес рыжей масти: типичный дворянин. Выгнать жалко. Так и живет у нас. Дети его назвали Рыжиком. На эту кличку он охотно откликается.

Привет Татьяне Ивановне. Все мои тебе кланяются.

Д. Шостакович

[1] Хотя письмо, взятое в целом, выдержано в мрачных тонах, оно мимоходом озаряется светлыми бликами, неожиданной игрой контрастов и светотени, что, на мой взгляд, весьма характерно для Шостаковича, и композитора, и человека.

Письмо начинается сразу безотрадной строкой: «Я живу очень плохо» и завершается трогательно-веселым эпизодом о приблудной собаке, которую маленькие дети Дмитрия Дмитриевича назвали Рыжиком, и замечательно, что дворняжка («дворянин») «охотно откликается» на эту кличку.

В середине письма вспыхивает летучая искра радости по поводу прослушанных в оркестре двух первых частей Седьмой симфонии, вспыхивает и, не успев разгореться, быстро гаснет.

[2] Василий Васильевич Варзар (1871—1960) — юрист, тесть Дмитрия Дмитриевича.

[3] Дочь И. В. Варзар, впоследствии архитектор Алла Герасимовна Эфрос (р. 1938).

[4] Моя мать, Фаня Борисовна Гликман, провела блокадную зиму и весну в Ленинграде, работая в химической лаборатории. Дмитрий Дмитриевич хлопотал о ее эвакуации.

[5] Так в письме. А. Н. Толстой и некоторые другие знакомые Дмитрия Дмитриевича рекомендовали ему переехать в Ташкент. Он время от времени склонялся к этому, но в конце концов отказался.

А. Н. Толстой, как депутат Верховного Совета СССР и как автор знаменитого в ту пору романа «Петр I», был хорошо устроен в Ташкенте. Я несколько раз заходил к Алексею Николаевичу в предоставленный ему отдельный дом, окруженный садом.

[6] Волнения, связанные с предстоящим концертом, уступили место большой тревоге за судьбу матери, сестры и других родственников, именно поэтому Дмитрий Дмитриевич назвал «хроникой» сообщение о репетициях Седьмой. Для своей грандиозной симфонии он нашел несколько пренебрежительный эпитет, назвав ее «длинной».

[7] Когда я с Дмитрием Дмитриевичем приходил на репетицию его нового сочинения (симфонического или камерного жанра), он нередко говорил мне об эффекте, который испытывает автор, услышав, по его выражению, «внешними ушами» то, что он воспринимал внутренним слухом. Причем эффект получается положительным или отрицательным, в зависимости от достоинств или недостатков созданного произведения, но он обязательно сопутствует автору музыки. Дмитрий Дмитриевич жалел Бетховена, который был лишен этого эффекта, дирижируя, например, Девятой симфонией.

Слушая в прекрасном исполнении Самосуда две части Седьмой, Дмитрий Дмитриевич «ликовал», но радость, как он сурово замечает, продолжалась лишь «полдня».

[8] Большой театр еще не скоро возвратился в Москву. По крайней мере, в апреле-мае 1942 года, живя в Куйбышеве, я посещал балеты с участием Марины Семеновой.

[9] В описываемое время некоторые правительственные учреждения начали возвращаться в Москву из Куйбышева, куда они переехали в октябре 1941 года.

5

14.II.1942. Куйбышев 14 февраля

Дорогой Исаак Давыдович. Нужно ли тебе писать о том, как взволновал меня разговор с тобой по телефону[1]. Как ты, вероятно, обратил внимание (а ведь мы с тобой знакомы давно), я не болтлив, особенно по телефону. Сколько мне помнится, самый длинный разговор, который я вел с тобой по телефону, состоялся 19 июня, после футбольного матча «Зенит» (Л.) — «Спартак» (М.). Исход матча решил единственный гол, забитый на последних минутах первого тайма правым краем «Зенита» тов. Левин-Коганом. Ты на этом матче не присутствовал и я, в ярких и образных выражениях, рассказал тебе по телефону весь ход матча[2]. И второй длинный разговор (10 минут) состоялся вчера, но ты был в Ташкенте, я в Куйбышеве. Хотя мы ни о чем не говорили[3], я все-таки был очень взволнован вчерашней беседой. Если буду жив-здоров, то с 5-го по 15-е апреля я должен быть в Ташкенте в качестве председателя гос. экзаменационной комиссии фортепианного факультета[4]. Приехать мне очень хочется, но если не удастся лететь самолетом, то путешествия в поезде я боюсь[5]. Очень рекомендую тебе надевать на шею и на запястья ладанки с чесноком. Девушки, правда, не любят этого запаха, но не любят его также и разного рода насекомые. Так что имеет смысл пожертвовать девушками на время. Впрочем, последними (девушками) я сейчас мало интересуюсь. Нервы проклятые... Хотя в Куйбышеве поселился отчасти по причине найти здесь некую Елену Павловну[6]. Ее я так и не нашел, что является для меня обстоятельством в высшей степени загадочным.

Сегодня во время репетиции меня оторвал от работы и. о. директора Большого театра Я. Л. Леонтьев и сообщил мне, что он только что разговаривал с Солодовниковым[7] (заместитель Храпченко), который, звоня из Москвы, просил Леонтьева передать мне, что Землячка просила мне передать, что мои родные вне всякой очереди будут вывезены из Ленинграда. Это меня сильно обрадовало и я сегодня в течение 2—3-х часов был хорошо настроен.

Дорогой Исаак Давыдович, крепко тебя целую. Привет тебе и Татьяне Ивановне от всех нас. Кроме того, тебе шлет привет Лева Оборин.

Д. Шостакович

Пиши почаще. Буду тебе опять звонить через некоторое время.

В противоположность прошлому печальному письму от 6 февраля, это письмо проникнуто хорошим настроением, обусловленным радостным известием о скором приезде в Куйбышев родных Дмитрия Дмит-

риевича. Этим объясняется шутливый тон, в котором выдержана половина письма.

Вместе с тем Дмитрий Дмитриевич серьезно, с неподдельной искренностью рассказывает о том волнении, которое он испытал во время разговора со мной по телефону. Ему хотелось сообщить мне об этом как можно скорей, на следующий день после разговора, произведшего на него сильное впечатление. Само собой разумеется, что и я испытал аналогичные чувства и ощущения, о чем сказано в предисловии к письмам.

[1] См. об этом в моем предисловии к письмам (с. 23).

[2] Дмитрий Дмитриевич в комедийном, юмористическом плане излагает свой отчет о футбольном матче, который, действительно, был мне представлен по телефону.

[3] Из-за непрестанных помех и шумов наш телефонный разговор состоял, по преимуществу, из бессвязных реплик, радостных восклицаний и междометий.

[4] Предполагаемая поездка в Ташкент не состоялась.

[5] Путешествие в поезде в то время было сопряжено с большой опасностью из-за эпидемии сыпного тифа.

[6] Весной 1940 года Дмитрий Дмитриевич, будучи на юге, познакомился с понравившейся ему жительницей Куйбышева Еленой Павловной. Его слова о том, что он «отчасти» поселился в Куйбышеве, чтобы найти эту особу, носят шутливый характер.

[7] Александр Васильевич Солодовников.

11.III.1942. Куйбышев — 11 марта

Дорогой Исаак Давыдович. В моей жизни произошло еще одно происшествие. Мы переехали на новую квартиру. Запомни адрес и номер телефона: Куйбышев областной. Вилоновская ул., 2-а, кв. 2. Тел. 22-73.

Большое тебе спасибо за твою телеграмму о симфонии[1]. Очевидно, что ты ее слышал по радио. Жаль, что не наяву. Радио много теряет. Сегодня получил телеграмму из Череповца, вот ее текст: «Благополучно выехали из Ленинграда горячо надеюсь скоро свидеться крепко всех целую Бабка». Этой телеграмме я страшно рад. Только бы они благополучно добрались до нас. Ожидаем мы 8 человек: мама, Маруся[2], Митя[3], Соф. Мих.[4], Вас. Вас.[5], Ирина[6], Г. Г. Эфрос[7] и Аллочка[8]. Как-нибудь разместимся. У меня теперь большая квартира из 4-х комнат. Получил недавно твое письмо, в котором ты извещаешь меня, что Серебряков[9] думает командировать тебя в Куйбышев за моей симфонией. Нужно ли говорить, сколь я буду счастлив твоему приезду. Приезжай, все организуем. Настроение у меня хорошее, но очень волнуюсь за своих путешественников. На днях лечу в Москву[10]. Самосуд уже туда улетел и будет там сколачивать оркестр для симфонии[11]. Ну вот и все. Пиши. Крепко тебя целую.

Д. Шостакович

P. S. Получил ли ты деньги?[12]

Данное письмо, взамен почтовой открытки, написано на прямоугольном куске белого картона, на котором наклеена двадцатикопеечная марка. Вероятно, из-за отсутствия в Куйбышеве конвертов, Дмитрий Дмитриевич в последующие месяцы писал открытки.

[1] Прослушав 5 марта 1942 года по радио Седьмую симфонию, исполнявшуюся впервые в Куйбышеве под управлением С. А. Самосуда, я на следующий день послал Дмитрию Дмитриевичу поздравительную телеграмму.

[2] См. примечание 5 к письму 1 от 30 ноября 1941 года.

[3] Дмитрий Всеволодович Фредерикс (р. 1928) — племянник Дмитрия Дмитриевича, сын Марии Дмитриевны, впоследствии физик.

[4] Софья Михайловна Варзар (1878—1957) — астроном, теща Дмитрия Дмитриевича.

[5] См. примечание 2 к письму 4 от 6 февраля 1942 года.

[6] Ирина Васильевна Варзар (р. 1904) — книжный график, сестра жены Дмитрия Дмитриевича.

[7] Герасим Григорьевич Эфрос (1902—1979) — художник-карикатурист, муж Ирины Васильевны Варзар.

[8] См. примечание 3 к письму 4 от 6 февраля 1942 года.

[9] Павел Алексеевич Серебряков (1909—1977) — пианист, директор Ленинградской консерватории.

[10] Дмитрий Дмитриевич получил приглашение прилететь в Москву на премьеру Седьмой симфонии.

[11] Концерт под управлением С. А. Самосуда состоялся в Москве 29 марта 1942 года.

[12] Дмитрий Дмитриевич, зная о тяжелых бытовых условиях, в которых я, подобно другим педагогам консерватории, находился в Ташкенте, прислал мне деньги.

7

31.III.1942. Москва 31 марта

Дорогой Исаак Давыдович. Вот уже дней 10 я живу в Москве. Прилетел я сюда в связи с исполнением моей 7-й симфонии, каковые состоялись вчера и позавчера, и состоятся еще 4-го и 6-го марта[1]. Кроме того, 5 марта[2] я буду выступать на втором Всеславянском радиомитинге. Дорогой мой друг, до чего не хватает мне твоего общества в эти, столь важные и, пожалуй, трудные для меня дни[3]. За сутки до моего вылета в Москву в Куйбышев приехали моя мама, сестра и племянник. От мамы остались кожа да кости. Маруся и Митя выглядят вполне прилично. Здесь в Москве я встретил тестя и тещу, которых отправил в Куйбышев. Василий Васильевич невероятно страшен и немножко рехнулся[4]. Софья Михайловна выглядит лучше. О твоей маме они ничего не знают. Я спрашивал мою маму о ней. Дальность расстояния лишала возможности посещать друг друга. Ничего также неизвестно о судьбе Паши и Фени[5].

Получил письмо (мне привезла его мама) от В. М. Богданова-Березовского[6]. Он сообщил мне о кончине Гольца[7], Калафати[8], Фрадкина[9], Будяковского[10] и еще нескольких композиторов. Отсюда я, возможно, полечу в Ташкент. А вернее всего, в Куйбышев. Я уже писал тебе, что в Куйбышеве я переехал на новую квартиру. Адрес: Вилоновская ул., 2-а, кв. 2. Тел. 22-73. Сейчас предо мной стоит большая и серьезная проблема накормить и полечить всех прибывших родственников. Крепко тебя целую. Привет Татьяне Ивановне. Надеюсь, что когда нибудь увидимся.

Д. Шостакович

P. S. С моим знакомым Е. А. Болтиным[11] я послал тебе кофе. Получил ли ты его? Д. Ш.

[1] Описка. Следует читать: 5 и 6 апреля. Бесконечно сдержанный и скромный Дмитрий Дмитриевич ни одним словом не обмолвился о том, что Седьмая симфония имела не только в Куйбышеве, но и в Москве триумфальный успех. Он ограничился лишь сухой, бесстрастной констатацией факта двухкратного исполнения симфонии 29 и 30 марта (а предстояли еще два концерта в начале апреля).

Дмитрий Дмитриевич остался как бы безучастен к громадной славе Седьмой, славе, принявшей очень скоро мировые масштабы. Во время моего пребывания в Куйбышеве он был страшно скуп на подробности о только что прошедших концертах в Москве. Он решительно ничего не говорил об успехе, словно его и в помине не было.

Гораздо важнее успеха для Дмитрия Дмитриевича было внутреннее удовлетворение тем, что симфония, вызванная к жизни властной потребностью его художнической души, нашла горячий отклик в сознании и в сердцах слушателей.

[2] Описка. Следует читать: 5 апреля.

[3] В молодые годы Шостакович испытывал смущение, а порой и замешательство, когда ему приходилось публично произносить речи. А в Москве ему пришлось выступать неоднократно. Минорное настроение усугублялось недавней встречей с матерью Софьей Васильевной, в которой едва теплилась жизнь, встречей с тестем, ужаснувшим своим видом Дмитрия Дмитриевича, сообщением из Ленинграда о смерти знакомых композиторов, ставших жертвами войны.

[4] Через непродолжительное время Василий Васильевич Варзар оправился от своего болезненного состояния.

[5] Паша — няня Нины Васильевны Шостакович. Феня* — ленинградская домработница в доме Дмитрия Дмитриевича.

[6] Валериан Михайлович Богданов-Березовский (1903—1971) — музыковед и композитор — друг юности Шостаковича.

[7] Борис Григорьевич Гольц (1913—1942) — композитор.

[8] Василий Павлович Калафати (1869—1942) — композитор.

[9] Михаил Григорьевич Фрадкин (1893—1942) — композитор.

[10] Андрей Евгеньевич Будяковский (1905—1941) — музыковед.

---

* Феодосья Федоровна Кожунова.

[11] Евгений Арсеньевич Болтин — полковник, работавший в Совинформбюро. Он привез мне в Ташкент посылочку Дмитрия Дмитриевича, в которой был натуральный кофе в зернах, что составляло большую ценность в голодное военное время.

8

29.VI.1942. Новосибирск 29 июня

Дорогой Исаак Давыдович.

Когда я прибыл в Новосибирск[1], то в тот же день получил прилагаемое при сем письмо. Оно, сколько я понял из его содержания, касается Ляли Константиновской[2]. Не откажи в любезности передать ей это письмо. Я не знаю ее адреса и поэтому беспокою тебя с этим делом.

В Новосибирске я уже 3 дня. Несказанно был рад видеть Ивана Ивановича[3] и Ю. В. Свиридова[4]. Свиридов произвел на меня впечатление человека чрезвычайно выросшего и поумневшего. Впрочем, об его умственных способностях я был всегда очень высокого мнения. Я очень здесь занят и не успел еще засвидетельствовать свое почтение[5] целому ряду друзей (Блантер[6], Щербачев[7] и др.). Пробуду здесь еще недели две.

Сегодня Мравинский начинает репетиции моей 7-й симфонии. После концерта, который состоится 8.VII, поеду домой, в Куйбышев.

Пиши, не забывай.

Кланяйся Татьяне Ивановне.

Крепко тебя целую.

Д. Шостакович

Передай привет Ляле Константиновской.

Посылаю тебе программу футбольного матча, происходившего в Казани. Среди игроков «Динамо» много наших старых знакомых[8]. Упомянутый матч закончился победой «Динамо» со счетом 4 : 0. Эту программу привез мне из Казани один мой знакомый.

Данное письмо написано на маленьком клочке бумаги, вероятно, не без труда добытом Дмитрием Дмитриевичем.

[1] Телефонные переговоры художественного руководителя Ленинградской филармонии И. И. Соллертинского с Дмитрием Дмитриевичем о его приезде в Новосибирск на репетиции и премьеру Седьмой симфонии под управлением Е. А. Мравинского начались в мае при мне, когда я был в Куйбышеве.

[2] Елена Евсеевна Константиновская преподавала в Ленинградской консерватории иностранные языки.

[3] Иван Иванович Соллертинский.

[4] Георгий (Юрий) Васильевич Свиридов (р. 1915) — любимый ученик профессора Шостаковича в Ленинградской консерватории.

[5] Дмитрий Дмитриевич иронически пользуется фразой Добчинского из «Ревизора» (III, 2). У Гоголя: «...засвидетельствовать почтение».

[6] Матвей Исаакович Блантер (1903—1990) — композитор.

[7] Владимир Владимирович Щербачев (1889—1952) — композитор и профессор Ленинградской консерватории, к которому Шостакович относился с большим уважением. Оба они названы друзьями в условном плане.

[8] В этом письме снова звучит тема ностальгии по Ленинграду, облеченная в форму воспоминаний о футболе — атрибуте ленинградского быта; а во мне Дмитрий Дмитриевич видел своего постоянного компаньона на футбольных матчах, неизменного спутника в хождениях на стадионы.

9

26.VII.[1942]. Куйбышев 26 июля

Дорогой Исаак Давыдович. Прежде всего передай огромный привет твоей маме. Я счастлив, что она добралась до Ташкента и, что более или менее хорошо себя чувствует[1]. Надеюсь, что у тебя несколько исправилось твое настроение и что волнений у тебя меньше. Я провел месяц в Новосибирске[2]. Несказанно был рад повидать И. И. Соллертинского. По возвращении из Новосибирска нашел письмо Олега Ошенцова[3]. Я думаю, что тебе будет интересно его почитать и поэтому выслал его тебе заказным. Из Новосибирска послал тебе письмо с вложением письма некоего знакомого Е. Е. Константиновской. Получил ли ты его и передал ли ей?

Мы все здоровы. В Москву прибыла Паша[4] и выезжает в Куйбышев. Получил телеграмму от Фени[5], что она тоже выезжает.

Так что недостатка в обществе у меня не будет[6]. Спасибо за твои письма.

Крепко тебя целую. Кланяйся твоим.

Д. Шостакович

[1] Моя мать, Фаня Борисовна Гликман, благодаря ходатайству Дмитрия Дмитриевича была эвакуирована из Ленинграда в конце июня 1942 года.

[2] И. И. Соллертинский писал мне в Ташкент о необычайно горячем приеме, который был оказан Дмитрию Дмитриевичу в Новосибирске после исполнения Седьмой симфонии под управлением Е. А. Мравинского, однако Шостакович, верный себе, не считал нужным сообщить мне о своем успехе.

[3] Ленинградский футболист.

[4] См. примечание 5 к письму 7 от 31 марта 1942 года.

[5] См. там же.

[6] Как всегда, очень сдержанно, но не без грустного юмора, Дмитрий Дмитриевич пишет о громадном бремени, которое легло на его плечи в связи с приездом в Куйбышев многочисленных родственников и чужих людей, о которых он, тем не менее, должен был заботиться.

10

17.IX.[1942.] Москва 17 сентября

Дорогой Исаак Давыдович. Давно не имел я от тебя известий. Беспокоюсь. Как ты живешь? Как все твои? Напиши мне обо всем в Куйбышев, где я уже скоро буду. Я уже две недели живу в Москве. Трижды играл свой Квинтет с Квартетом им. Бетховена[1]. Сейчас мне нужно сделать одну работу для ансамбля НКВД[2], по сдаче которой отправлюсь в Куйбышев. Все мы здоровы и более или менее благополучны. Получил недавно приглашение от Нью-йоркской филармонии продирижировать в октябре 8 симфоническими концертами[3]. Я отказался, т. к. дирижировать не умею[4]. Однако, 3 дня тому назад пожалел об этом: слушал мою 7-ю симфонию в исполнении дирижера К. Иванова[5] и, прослушавши его, убедился, что дирижирование это совсем не хитрая наука[6].

Вот такие дела. Получил телеграмму от И. И. Соллертинского, в которой он приглашает меня приехать в Новосибирск. Подумаю об этом, и может быть поеду. Тебя интересует как поживают Василий Васильевич и Софья Михайловна. Охотно удовлетворю твой интерес. Они здоровы и цветут[7]. Крепко тебя целую.

Д. Шостакович

[1] Творческое содружество Дмитрия Дмитриевича с Квартетом имени Бетховена, начавшееся перед войной (параллельно с ленинградским Квартетом имени Глазунова), продолжалось до конца жизни Шостаковича.

[2] Центральный ансамбль песни и танца НКВД СССР под художественным руководством Зиновия Иосифовича Дунаевского. Для этого ансамбля Дмитрий Дмитриевич создал в октябре 1942 года большую музыкальную композицию «Отчизна».

[3] Музыка Шостаковича (Первая симфония, Первый фортепианный концерт, сюиты из балетов «Золотой век» и «Болт», опера «Леди Макбет Мценского уезда») пользовалась в широких слоях американской публики большой популярностью еще в середине 30-х годов, но после нью-йоркской премьеры Седьмой симфонии под управлением Артуро Тосканини (19 июля 1942 года) эта популярность приобрела гигантские масштабы. Именно поэтому Нью-йоркская филармония пригласила Дмитрия Дмитриевича дирижировать циклом концертов.

[4] Это признание поражает и своей скромностью, и своим простодушием. Дмитрий Дмитриевич нередко высказывал мне свое сожаление по поводу того, что у него не хватает смелости встать за дирижерский пульт. Он ссылался при этом на опыт П. И. Чайковского, который сумел преодолеть страх и дирижировал своими сочинениями. «Мне бы так», — говаривал Шостакович.

Впоследствии Дмитрий Дмитриевич все же взялся за дирижерскую палочку и 12 ноября 1962 года в Горьком продирижировал своей Праздничной увертюрой и Первым виолончельным концертом.

[5] Константин Константинович Иванов (1907—1984) — дирижер. С 1946 года — главный дирижер Государственного симфонического оркестра СССР.

[6] Дмитрий Дмитриевич не предал огласке свою отрицательную оценку исполнения К. К. Ивановым Седьмой симфонии, но свое неудовольствие неудачным концертом он облек в остроумную шутку, приправленную некоторой горечью. Это он умел делать превосходно.

[7] Тесть и теща Дмитрия Дмитриевича, о которых он на этот раз отзывается с долей иронии. Для этого у него были основания.

11

14.X.1942. Москва 14 октября

Дорогой Исаак Давыдович. Пользуясь любезностью моего друга И. П. Уткина[1], который летит в Ташкент, я тем самым значительно ускоряю прохождение этой открытки, от меня до тебя. У меня ничего нового. Переехал из № 430 в № 506[2]. Кончина Л. В. Николаева меня очень огорчила. Я его любил и мне очень жалко, что больше я его никогда не увижу. Много я размышлял о его жизни и очень мне его жаль[3]. Сегодня получил известие, что в Тбилиси скончался П. Б. Рязанов[4]. Сообщи об этом в консерваторию. Я заканчиваю здесь работу для ансамбля песни и пляски НКВД[5]. Работа эта неожиданно затянулась, и я уже из-за нее сижу лишний месяц в Москве.

По окончании работы поеду в Куйбышев. Я очень соскучился без известий о тебе. Верю, что по приезде в Куйбышев, найду твое письмо.

Очень хочется тебя повидать. Когда-то это удастся сделать. Видел сегодня А. В. Солодовникова[6], который рассказывал мне о консерваторской жизни и о П. А. Серебрякове. К сожалению, он о тебе ничего не рассказал. Если Иосиф Павлович Уткин передаст это письмо тебе лично, то вырази ему за это от моего имени большую благодарность[7]. Это прекрасный человек, и я с ним быстро подружился. Передай привет всем твоим. Крепко целую.

Д. Шостакович

[1] Иосиф Павлович Уткин (1903—1944) — поэт. Автор лирических поэм, стихотворений о гражданской войне и Великой Отечественной войне. Погиб на фронте в 1944 году.

[2] Имеются в виду номера гостиницы «Москва», в которой проживал Дмитрий Дмитриевич.

[3] Леонид Владимирович Николаев (1878—1942) — профессор Ленинградской консерватории по классу фортепиано, в котором обучался Шостакович. Он умер в Ташкенте от брюшного тифа 11 октября 1942 года. Дмитрий Дмитриевич не только любил, но глубоко почитал его как первоклассного музыканта и умнейшего человека.

Грустные размышления были навеяны воспоминаниями Дмитрия Дмитриевича о непонятной для него жажде административной деятельности, которой был охвачен Л. В. Николаев в середине 30-х годов. Он согласился стать директором Ленинградской консерватории. Был назначен на этот пост и через некоторое время смещен с него, оказавшись в ложном положении. Об этом, в частности, с душевной болью думал Дмитрий Дмитриевич, узнав о кончине любимого учителя.

Мое предположение о теме размышлений Шостаковича основано на довоенных беседах о судьбе Л. В. Николаева, которые вел со мной Дмитрий Дмитриевич.

[4] Петр Борисович Рязанов (1899—1942) — композитор, профессор Ленинградской консерватории. Скончался 11 октября 1942 года.

[5] Вероятно, Дмитрий Дмитриевич не придавал особого значения своему произведению, над которым он работал в Москве. В противном случае он бы назвал его и кратко охарактеризовал.

[6] Александр Васильевич Солодовников в качестве заместителя председателя Комитета по делам искусств СССР, в ведении которого находилась Ленинградская консерватория, приехав в Ташкент, знакомился с состоянием дел и бытом консерватории. Мне не пришлось с ним встретиться.

[7] И. П. Уткин выполнил просьбу Дмитрия Дмитриевича и передал мне его письмо. Меня приятно поразила прекрасная внешность и интеллигентность поэта. Ему в ту пору еще не было сорока лет.

12

4.XI.1942. Куйбышев — 4 ноября

Дорогой Исаак Давыдович. Насчет моего переезда в Новосибирск[1] пока не могу сообщить ничего определенного. Вряд ли этот переезд состоится, т. к. очень все это сложно. Вспомни мою многочисленную семью и т. п. Очень меня беспокоит судьба моей сестры Зои[2], которая живет в Самарканде. Ее муж Г. К. Хрущов[3] уже 2 месяца тяжело болен тропической лихорадкой. Ей (Зое) приходится сейчас очень трудно. Мне ее ужасно жалко и ее тяжелая жизнь наводит меня на целый ряд грустных размышлений. Л. В. Николаева очень жалко. Покойный был очень порядочным человеком[4]. Жалко и П. Б. Рязанова. Он был отличным музыкантом[5]. Газета «Красный спорт» от 27.X. сообщила об успехах ленинградских футболистов в Алма-Ате. «Зенит» выиграл у алмаатинских динамовцев со счетом 2 : 0. «Динамо» (Ленинград) выиграло у своих одноклубников со счетом 7 : 2. В «Зените» особенно выделились П. Дементьев и Левин-Коган. В «Динамо» отличились Архангельский, А. Федоров, Алов и др. Очень я за них рад. «Динамовцев» я видел в Москве. Вспомнил наши посещения стадиона им. Ленина. Вспомнил хорошие дни[6]. Крепко тебя целую.

Д. Шостакович

Только что получил из Ленинграда письмо от А. М. Клячкина. Жив. Здоров. Оптимистичен[7].

Вероятно, из-за отсутствия бумаги на лицевой стороне открытки записка, написанная рукой моей жены Татьяны Ивановны. В ней объективно отражена вся тяжесть нашего ташкентского быта. Вот текст записки: «Исаак! К ним [сестре Татьяны Ивановны] идти нельзя. Коптилка и холодно. В мал. чашечке еда холодная, негде подогреть. Спешу. Таля». Эта записка датируется 18 или 19 ноября 1942 года.

[1] У И. И. Соллертинского возник проект переезда Шостаковича в Новосибирск, который, благодаря Ленинградской филармонии, стал крупным очагом музыкальной культуры. Иван Иванович подумывал и о моем переезде в Новосибирск и о переезде нашего общего с ним друга Михаила Семеновича Друскина. Этот проект не был осуществлен.

[2] Зоя Дмитриевна Шостакович (1909—1989) — младшая сестра Дмитрия Дмитриевича.

[3] Григорий Константинович Хрущов — профессор.

[4] См. примечание 3 к предыдущему письму.

[5] См. примечание 4 к предыдущему письму.

[6] Перечисление имен футболистов, за которым следует последняя фраза открытки — еще одно свидетельство острой ностальгии по Ленинграду.

[7] Аркадий Максимович Клячкин (см. примечание 10 к письму 1) для Дмитрия Дмитриевича некий собирательный образ никогда не унывающего «бодрячка» (расхожий термин в 30-х годах). Этот образ в понимании Шостаковича контрастно сочетался с фамилией Аркадия Максимовича.

Дмитрий Дмитриевич по-чеховски воспринимал необычные, странные фамилии, сопоставляя их с личностью, носящей такую фамилию.

13

6.XI.1942. Куйбышев 6 ноября

Дорогой Исаак Давыдович.

Горячо поздравляю тебя с 25-летием Великой Октябрьской социалистической революции.

Я только что прослушал по радио речь тов. Сталина. Друг мой! Как мне грустно, что мы эту речь слушали, находясь так далеко друг от друга[1].

Крепко тебя целую.

Д. Шостакович

[1] Дмитрий Дмитриевич имел в виду наше совместное всегдашнее резко непримиримое осуждение всех выступлений Сталина. В Ленинграде мы обычно делились мыслями не только о художественной, но и общественной и государственной жизни.

14

22.XI.1942. Куйбышев 22 ноября

Дорогой Исаак Давыдович.

Очень я соскучился без тебя. Почему ты мне не пишешь?[1] Здоров ли ты?

Как тебе живется? Мне живется в общем хорошо. Немного хворали дети и это огорчало меня. Зато все взрослые, слава богу, ничем не хворали и не хворают и, надо полагать, не будут хворать[2]. Беспокоюсь за свою сестру З. Д. Шостакович, которая живет в Самарканде. Ей очень трудно приходится. У нее тяжело болен муж. 24.XI к ней, в Самарканд с пересадкой в Ташкенте, едет мама[3]. А 23.XI я еду в Москву. Очень хочется получить от тебя весточку. Пиши. Крепко целую.

Д. Шостакович

[1] Я аккуратно отвечал на все письма Дмитрия Дмитриевича, но, очевидно, далеко не все доходили до него. То же самое происходило с письмами Шостаковича, посланными мне в Ташкент. Именно поэтому он радовался, когда ему представлялась возможность воспользоваться оказией.

[2] За этой несколько загадочной фразой скрывается раздражение, вызванное угнетенным состоянием Дмитрия Дмитриевича, который был обременен тяжелыми заботами о содержании многочисленной родни.

[3] Дмитрий Дмитриевич просил меня встретить на ташкентском вокзале Софью Васильевну (это письмо мною утрачено). С аналогичной просьбой он обратился к ленинградскому знакомому Н. Н. Костромитину.

15

6.XII.1942. Куйбышев 6 декабря

Дорогой Исаак Давыдович.

Вернувшись из Москвы, нашел твое письмо. Был рад его получению и огорчен его содержанием. Мне досадно, что мой opus в «Учительской газете» огорчил твоего начальника[1]. Право, не могу понять, как это получилось, что там не было упомянуто исполнение моей симфонии в Ташкенте[2]. Вероятно, это оплошность редакции. А может быть и моя. Во всяком случае я огорчен этим обстоятельством.

В Москву я ездил для участия в антифашистском митинге работников искусств[3]. Сейчас я вернулся в Куйбышев. Мама уехала в Самарканд. Все мы, кроме детей, которые иногда похварывают, здоровы. Быт наш идет по-прежнему. Ходим в столовую, которая переехала в новое помещение. Это самое значительное изменение в быту. И хорошее изменение, т. к.

она (столовая) находится сейчас не в «Национале»[4], а значительно ближе.

Желаю тебе и всем твоим здоровья.

Крепко целую.

Д. Шостакович

P. S. Скончался мой большой друг и великий музыкант Б. Л. Яворский[5].

[1] Имеется в виду директор Ленинградской консерватории Павел Алексеевич Серебряков.

[2] Статья Шостаковича в «Учительской газете» раздосадовала П. А. Серебрякова потому, что предметом его гордости было исполнение Седьмой симфонии силами консерватории. Оно состоялось 22 июня 1942 года, вслед за мартовскими премьерами в Куйбышеве и в Москве.

[3] Дмитрий Дмитриевич активно включился в антифашистскую борьбу, участвуя в различного рода митингах и собраниях, происходивших в Москве. Он ничего не писал мне о форме и характере своих выступлений, полагая, что я о них осведомлен через прессу.

[4] Во время моего пребывания в Куйбышеве мы с Дмитрием Дмитриевичем ходили обедать в ресторан гостиницы «Националь». Семья получала продукты так называемым «сухим пайком». Нас кормили очень скромными, но сытными обедами.

[5] Болеслав Леопольдович Яворский (1877—1942) — музыковед и композитор, профессор Московской консерватории.

16

23.XII.1942. 23 декабря

Дорогой Исаак Давыдович. Очень грустно читать твои последние письма. Прихожу, читая их, в отчаяние[1]. Почему ты и Н. Н. Костромитин не встретили маму, не знаю[2], т. к. она выехала своевременно и прибыла 2.XII в Самарканд. Правда, она уезжала в мое отсутствие: я был в Москве. Ты совершенно прав: твои песни не устарели и никогда не устареют[3]. Жаль, что ты так мало уделяешь внимания этой стороне твоих многочисленных талантов. У тебя задатки настоящего народного песельника и в славной плеяде Дунаевского[4], Покрасса, Кручинина, Хейфа, Зиновия Дунаевского, Каца и многих других, ты можешь занять, если не первое, то далеко не последнее место[5]. Мы живем хорошо[6]. Все здоровы. Ровно неделю тому назад выехал из Куйбышева с концертной поездкой в города Уфу и Белебей. Поездка была довольно трудная. Очень устал и вдобавок ко всему простудился. В Уфе дал два концерта. Участвовали в концертах т. т. Жук, Вельтман, Гурвич и Буравский (все вместе они образуют хороший струнный квартет). Они работают в Большом театре. В Белебее духовой оркестр выучил 1-ю часть моей 7-й симфонии[7] и я прослушал их работу. Вот и почти все

мои новости. Крепко тебя целую. Жму руку. Не забывай. Привет всем твоим.

Д. Шостакович

Пиши мне на Куйбышев. Если я уезжаю, то ненадолго. *Д. Ш.*

[1] Я писал Дмитрию Дмитриевичу о крайнем физическом истощении моей матери и жены, вследствие полуголодного существования.

[2] Н. Н. Костромитин, имевший по службе связи с Ташкентской железной дорогой, вместе со мной отправился на вокзал, чтобы встретить Софью Васильевну, но расписание поездов оказалось перепутанным и нам не удалось выполнить просьбу Дмитрия Дмитриевича.

[3] Имеется в виду моя песня, носившая название «Путевая» и посвященная соратнику Сталина Лазарю Моисеевичу Кагановичу — наркому путей сообщения. Она была сочинена мною не без влияния Шостаковича — замечательного мастера музыкальной пародии. Хорошо известны остроумные мелодии-оборотни, которыми были насыщены, например, его балеты «Золотой век» и «Болт», написанные в молодости. И в зрелые годы это свойство оставалось в творческом арсенале великого композитора.

В 30-х годах у Шостаковича прямо-таки чесались руки, чтобы омузыкалить в пародийном плане ненавистные ему высказывания, лозунги и сентенции Сталина, которые бесконечно цитировались, заучивались наизусть «прогрессивными» людьми страны. Такое намерение Дмитрий Дмитриевич осуществил лишь много лет спустя, создав свой сатирический «Раёк».

Разговоры с Шостаковичем на эту в высшей степени крамольную тему натолкнули меня на мысль сочинить по мере своих очень скромных сил цикл пародийных песен, в которых по принципу «Похвалы глупости» саркастически прославлялись бы Сталин и его ближайшее окружение. Песни эти во избежание непоправимой беды, конечно, сохранялись в глубокой тайне и не доверялись бумаге, но они были известны узкому кругу моих друзей и в первую очередь Шостаковичу, любившему напевать их в сопровождении рояля. Именно поэтому он отважился под большущим секретом записать слова и музыку (без аккомпанемента) этих пародий и выставил на нотах роковую дату: 1937.

В своем письме, досадуя на беспорядки на железной дороге, помешавшие мне встретить Софью Васильевну, он вспомнил припев из моей «Путевой песни», звучавший так:

Лазарь Мойсеич — наш первый машинист,
Ведет он наш поезд сквозь грохот и свист.
Лазарю Мойсеичу спасибо за комфорт!
Наш большевистский поезд — первый сорт!

Полностью текст и музыка этой песни приведены в Приложениях к книге.

[4] Исаак Осипович Дунаевский (1900—1955).

[5] Шостакович смеха ради включил меня в список признанных и не очень признанных мастеров массовой песни.

[6] Приподнятое настроение Дмитрия Дмитриевича в известной мере обусловлено тем, что он был доволен своей работой над оперой «Игроки».

[7] Знаменателен факт широчайшего распространения Седьмой симфонии через короткое время после ее премьеры. На это не прямо, но косвенно обращает мое внимание Дмитрий Дмитриевич. Даже в маленьком башкирском городке местный духовой оркестр разучил сложнейшую первую часть симфонии и храбро показал свою работу знаменитому автору.

Можно утверждать, что Шостаковичу импонировал энтузиазм белебейских музыкантов, но он, как это с ним часто случалось, ограничился простой констатацией приятного для него факта.

1943

17

1.III.1942. Куйбышев — 1 марта

Дорогой Исаак Давыдович. Спасибо тебе за твою телеграмму, в которой ты извещаешь меня, что получил мои романсы, а также благодаришь за посвящение[1]. Не стоит благодарности. Я очень тебя люблю и поэтому посвящаю. Очень без тебя скучаю. У тебя, подобно солнцу, имеются пятна, но их гораздо меньше, чем у меня и у многих других людей. Впрочем, это все лирика, а я люблю деловые письма[2]. Вкратце о делах. Я поправился, только пока еще сильно устаю от хождения пешком[3]. Комитет по делам искусств проявил ко мне чуткое отношение[4] и устроил мне путевку в санаторий под Москвой, куда я и отбываю завтра. Буду рад, если по отбытии из санатория в Москву, найду от тебя весточку. Пиши мне по адресу: Москва, ул. Герцена, 13. Консерватория. В. Я. Шебалину[5], для меня. В Москве пробуду довольно долго. Все члены моей семьи здоровы и все время, громкими голосами говорят о продуктах питания. Я, слушая эти разговоры, начал забывать многие слова, но хорошо помню следующие: хлеб, масло, полкило, водка, двести грамм, пропуск, кондитерские изделия и немногие другие[6]. Я верю, что скоро мы будем дома, в своих квартирах, будем ходить друг к другу в гости[7]. Работаю много. Кроме известных тебе романсов, написал 1-ю часть Фортепианной сонаты[8]. Сильно продвинул оперу «Игроки», но оперу эту не рекламирую[9], т. к. писать ее уже бросил[10]. Кланяйся всем твоим. У Ивана Ивановича[11] супруга и старший сын больны воспалением легких, у младшего свинка. Трудно ему. Крепко целую.

Д. Шостакович

[1] В феврале 1943 года Дмитрий Дмитриевич прислал мне в Ташкент сборник своих романсов, отпечатанный Музфондом на стеклографе, с дружеской дарственной надписью. То были «Романсы на слова У. Ралея, Р. Бернса и В. Шекспира». Opus 62.

Один из этих романсов — «Макферсон перед казнью» (на слова Роберта Бернса в переводе Самуила Маршака), чья тема была впоследствии использована в скерцо Тринадцатой симфонии, — посвящен мне.

Меня восхитил этот замечательный романс, впрочем, как и все остальные, составлявшие сборник. Я был очень обрадован и польщен посвящением, о чем написал Дмитрию Дмитриевичу в телеграмме.

[2] Действительно, Шостакович, как правило, писал деловые письма самого широкого диапазона. В них сообщались и незначительные, и важнейшие факты, причем последние не акцентировались, не излагались с нового абзаца, не выделялись, что называется, курсивом, а непременно включались в общий контекст письма. При всем при том у Дмитрия Дмитриевича время от времени появлялась потребность в душевных излияниях, которые запечатлялись в его письмах.

[3] Дмитрий Дмитриевич долго болел брюшным тифом.

[4] Дмитрий Дмитриевич нарочито пользуется стандартной фразой, широко бытовавшей в 30-х и 40-х годах.

[5] Композитор Виссарион Яковлевич Шебалин (1902—1963) — близкий друг Шостаковича — был в ту пору профессором и директором Московской консерватории.

[6] Дмитрий Дмитриевич никогда не вмешивался в семейные разговоры бытового характера. Он устранялся от них, но тематика этих разговоров, связанная с условиями военного времени, долетала до его слуха и раздражала. Об этом он и пишет с невеселым юмором.

[7] Шостакович с первых дней верил в победу над фашистской Германией, и эта вера ярко отразилась в финале Седьмой симфонии.

[8] Дмитрий Дмитриевич задумал посвятить это замечательное сочинение памяти своего учителя Леонида Владимировича Николаева.

[9] Дмитрий Дмитриевич сохранял в секрете работу над оперой «Игроки». О ней знали лишь близкие друзья автора.

[10] О причинах, побудивших Шостаковича прекратить работу над «Игроками», говорилось выше.

[11] Имеется в виду И. И. Соллертинский.

18

28.III.1943. Архангельское 28 марта

Дорогой Исаак Давыдович. Вот уже 3 недели залечиваю свое здоровье в санатории. Поправляюсь и набираюсь сил. Скучаю без тебя. Особенно сильно вспоминал тебя, читая в «Правде» от 27.III статью тов. Еголина[1] о Максиме Горьком. Очень ярко вспомнил, как я собирался написать «Девушку и Смерть» по Горькому, и твои советы по поводу заключительного хора, который должен был завершить это произведение. Я уверен, что скоро встречусь с тобой в нашем родном Ле-

нинграде, снова побеседую с тобой о «Девушке и Смерти» и приму твои советы к руководству и выполнению[2]. Мои дальнейшие планы таковы: я остаюсь в Москве профессором консерватории. 10 апреля приступаю к занятиям. Квартиры у меня нет, быт не налажен, так что я не особенно радуюсь этой перемене в моей жизни[3]. Но еще больше меня не радует возможность уехать обратно в Куйбышев. Нина сейчас в Москве и хлопочет о разных делах. Я в Архангельском. Ну, вот, заканчиваю и иду смотреть кинофильм «Цирк».

Крепко тебя целую. Привет твоим.

Д. Шостакович

Пиши по адресу: Москва, ул. Герцена, 13. Консерватория. Мне.

Санаторий Архангельское был расположен в Красногорске Московской области. Так обозначен обратный адрес на открытке Шостаковича.

[1] Александр Михайлович Еголин (1896—1959) — влиятельный в 40-х годах литературовед.

[2] Имеется в виду маленький комический хорал, сочиненный мною незадолго до войны на слегка измененные слова Сталина, начертанные им на поэме Горького «Девушка и Смерть» и ставшие с тех пор важнейшим источником для исчерпывающего анализа «Фауста» Гёте. Этот скверный анекдот, случившийся в советской литературе, вызвал, тем не менее, ажиотаж в кругах композиторов, пожелавших как можно скорее состряпать оперы на сюжет поэмы «Девушка и Смерть», раз она по безошибочной резолюции Сталина превосходит «Фауста» Гёте.

Разумеется, мысль Шостаковича сочинить оперу на сюжет этой поэмы была им высказана шутя, со смехом.

Моя музыка вместе со сталинским текстом, записанная Шостаковичем, приводится в Приложении к книге.

[3] Сильная привязанность к Ленинграду, в котором Шостакович прожил первые 35 лет своей жизни, вызвала у него колебания насчет переезда в Москву. Тем не менее это было дело решенное: он стал москвичом. Через самое короткое время ему была предоставлена квартира на улице Кирова, насупротив Почтамта, куда я впервые приехал в конце апреля 1945 года.

19

17.IV.1943. Москва 17 апреля

Дорогой Исаак Давыдович. Во-первых, прости, что долго тебе не писал. Кончина Татьяны Ивановны[1] до такой степени меня огорчила, что я не в состоянии был писать[2]. Ужасно это грустно. Я желаю тебе набраться как можно больше сил и мужества, чтобы спокойно перенести эту тяжелую утрату.

Во-вторых, извини, что не сразу выслал тебе деньги[3]. У меня их не было и пока я раздобыл немного, прошло много времени.

Как только я устроюсь с квартирой (ордер уже имею), то буду просить тебя приехать ко мне в Москву[4]. Недели через 2—3 я надеюсь ее (квартиру) кое-как обставить для жилья, и тогда буду счастлив видеть тебя у меня гостем. Я постараюсь устроить тебе вызов[5] и уговорить тов. Серебрякова[6] выпустить тебя на некоторое время в Москву.

Ужасно мне тебя жалко, что на тебя свалилось такое горе. Держись и крепись. Нина тебе кланяется и просит принять свое сочувствие.

Крепко тебя целую. Кланяйся маме.

Д. Шостакович

[1] Моя жена Татьяна Ивановна скончалась от сыпного тифа 4 апреля 1943 года. Смерть любимого, прекрасного молодого существа была для меня громадным, безутешным горем.

[2] О кончине моей жены Шостаковича известил полковник Е. А. Болтин, работавший в Военной академии имени Фрунзе, эвакуированной в Ташкент. Для обмена письмами времени в общем прошло немного.

[3] Деньги были мною получены после кончины Татьяны Ивановны.

[4] Дмитрий Дмитриевич принял во мне глубокое душевное участие, которое меня очень тронуло. Чтобы несколько приглушить мое горе, он решил, что мне необходимо, хоть на время, переменить место жительства и приехать к нему в Москву.

[5] Вызов в Москву по условиям военного времени были сопряжен с большими трудностями.

[6] Называя Павла Алексеевича Серебрякова с официальной приставкой «тов.», Шостакович тем самым выразил некоторую неприязнь к директору консерватории, за какие-то, неизвестные мне поступки, заслуживающие порицания. Во многих других случаях он называл Серебрякова по имени.

20

21.IV.1943. Москва 21 апреля

Дорогой Исаак Давыдович. Сегодня был у меня Э. Гилельс[1], который привез твое грустное письмо.

Друг мой, наберись мужества и перенеси бодрее тяжелую утрату. Я уверен, что время рано или поздно залечит твое горе, и ты заживешь лучше. У меня есть проект выписать тебя погостить в Москву. Может быть это тебя немного развлечет. Дней 5 тому назад я послал тебе немного денег. Надеюсь, что через некоторое время пошлю еще[2]. Я сейчас в стадии переселения на новую квартиру. Запиши адрес: Москва, центр, ул. Кирова, д. 21, кв. 48. Телефона пока нет. Нет и вещей. Только стены[3]. Однако я твердо решил оставаться в Москве и надеюсь, что в ближайшее время смогу оказать тебе мое гостеприимство. Твой привет В. Я. Шебалину я передал. Он тебе кланяется. Сегодня звонил мне Е. А. Болтин. Я рад, что

он приехал. Это симпатичный и приятный человек[4]. Хорошо было бы, если бы тебе удалось вырваться из Ташкента в Москву. Если тебе хочется, то начнем хлопотать[5]. Я сейчас переживаю трудные дни, ну да все это ерунда по сравнению с твоей жизнью. Написал недавно Фортепианную сонату. Посвятил ее памяти Леонида Владимировича Николаева[6].

Крепко тебя целую. Нина кланяется. Кланяйся маме.

Твой Д. Шостакович

Пиши на консерваторию.

[1] Эмиль Григорьевич Гилельс (1916—1985) — пианист. Будучи в апреле 1943 года в Ташкенте, он проявлял ко мне, в тяжелые для меня дни, дружеское участие. Э. Г. Гилельс, возвращаясь в Москву, вызвался отвезти мое письмо к Дмитрию Дмитриевичу.

[2] Деньги Шостакович высылал без моих просьб. По доброте душевной, заботясь обо мне.

[3] Дмитрий Дмитриевич готов был принять меня в неустроенной, необставленной квартире, видя во мне близкого человека.

Вообще Шостакович в редчайших случаях оставлял у себя посторонних людей, которым он симпатизировал. Их долгое присутствие стесняло его. Для меня делалось исключение.

Во время моих многократных приездов в Москву Шостакович не позволял мне останавливаться в гостинице и требовал, чтобы я жил у него дома. Это правило, установленное Дмитрием Дмитриевичем, не нарушалось до конца его жизни. Больше того, до своего тяжелого заболевания он неизменно встречал меня на вокзале. Я говорю об этом, конечно, не для выпячивания своей скромной особы, а для объективной характеристики наших взаимоотношений.

[4] Он, вероятно, рассказывал Дмитрию Дмитриевичу о моем житье-бытье.

Е. А. Болтин был москвичом, военным по профессии, но у нас нашлись общие интересы в области литературы и музыки. Меня в нем подкупала любовь к Шостаковичу. Вечера, которые я проводил в его гостеприимной квартире, скрашивали мою ташкентскую жизнь. За недолгое пребывание Евгения Арсеньевича в Ташкенте мы с ним сблизились, испытывая друг к другу взаимную приязнь. А все началось с того памятного вечера, когда Е. А. Болтин принес мне кофе — подарок Дмитрия Дмитриевича.

[5] Моя поездка в Москву отпала сама по себе. Я не мог оставить без присмотра мою мать по состоянию ее здоровья.

[6] Несмотря на хлопоты, связанные с переездом в Москву, несмотря на различного рода бытовые передряги, Шостакович сочинил Вторую фортепианную сонату — выдающееся произведение камерной музыки. О ней несколько лет спустя восторженно отзывался Г. Г. Нейгауз в письме к Дмитрию Дмитриевичу.

21

10.V.1943. Москва 10 мая

Дорогой Исаак Давыдович. Грущу из-за отсутствия от тебя известий[1]. Соберись, да напиши. Недавно мы были в гостях у Болтиных и вспоминали тебя[2]. Я переехал в Москву. Адрес: Москва, центр, ул. Кирова, 21, кв. 48. Тел. К 5-98-72. Семья в Куйбышеве. Скоро буду их сюда перевозить. Жизнь моя здесь течет интереснее, чем в Куйбышеве[3]. Кроме вопросов пропитания, возникают и музыкальные вопросы. Встречаю много людей. Из последних знакомств надлежит отметить знакомство с экзархом Украины — митрополитом Киевским и Галицким Николаем[4]. Недавно в Москву приезжал Б. Л. Клюзнер[5] (помнишь такого?). Он уже давно находится под Свердловском. Сейчас в Москве из общих знакомых находятся В. М. Богданов-Березовский[6], А. Д. Каменский[7] с супругой, Н. А. Тимофеев[8], В. В. Желобинский[9] и многие другие. Все шлют тебе привет.

Хотелось бы повидать тебя и познакомить с моей Фортепианной сонатой, которую я недавно сочинил[10]. Хочу выписать тебя в Москву. Может быть, эта поездка несколько развлечет тебя и рассеет[11]. Кланяйся от меня Ноне Перельману[12]. У меня настроение посредственное. Очень хочу тебя видеть. Напиши мне обязательно. Сегодня празднуем день рождения Максима. Ему исполнилось 5 лет. Сходятся гости. Кончаю.

Д. Шостакович

[1] Подавленное состояние, в котором я находился, мешало мне писать Дмитрию Дмитриевичу.

[2] Е. А. Болтин со своей семьей переехал в Москву.

[3] Шостакович жаловался мне на провинциализм, замкнутость и скудость куйбышевского быта.

[4] Знакомство с митрополитом Дмитрий Дмитриевич относит к раритетам, к неожиданному расширению диапазона общения с людьми нового для него круга.

[5] Борис Лазаревич Клюзнер (1909—1975) — композитор, находившийся на военной службе.

[6] См. примечание 6 к письму 7 от 31 марта 1942 года.

[7] Александр Данилович Каменский (1900—1952) — пианист, профессор Ленинградской консерватории; его жена — Александра Дмитриевна Бушен (1891—1991) — музыковед.

[8] Николай Андреевич Тимофеев (1906—1978) — композитор.

[9] Валерий Викторович Желобинский (1913—1946) — композитор.

[10] Мне довелось послушать Вторую фортепианную сонату осенью 1943 года в Ташкенте в исполнении П. А. Серебрякова. Она произвела на меня сильное впечатление.

[11] Вероятно, я не писал Дмитрию Дмитриевичу о невозможности моей отлучки из Ташкента.

[12] Натан Ефимович Перельман (р. 1906) — пианист, обучавшийся в классе Л. В. Николаева, впоследствии профессор Ленинградской кон-

серватории. Шостакович воспроизводит уменьшительное имя, которое тот носил в студенческие годы.

22

26.V.1943. Москва 26 мая

Дорогой Исаак Давыдович. Наконец-то, после долгого перерыва я получил от тебя письмо. Читал я его с грустью и некоторой обидой[1]. Впрочем, ты, очевидно, прав, вспоминая мою нелюбовь к хлопотам о разных вещах. Вполне возможно, что у тебя осталось такое впечатление после твоего приезда в Куйбышев[2]. Ты прав внешне, но по существу неправ, и я надеюсь, что как только я начну жить здесь более или менее по-человечески, я тебя выпишу в Москву и сумею доказать тебе, что ты не прав[3]. Моя семья находится в Куйбышеве. Нина туда уехала и приедет 5—6 июня вместе с Галиной[4], Максимом и Пашей. Остальные остаются в Куйбышеве. Жизнь моя течет извилисто и хлопотливо. Очень устаю от большого количества разной деятельности (заседания, совещания и т. п.). Быт пока еще совершенно не налажен. Но я не унываю. Пиши мне теперь на квартиру, т. к. я прицепил к дверям почтовый ящик и таким образом корреспонденция не будет пропадать. Крепко тебя целую. Привет маме.

Д. Шостакович

[1] Трудно сказать, что могло обидеть Дмитрия Дмитриевича в моем письме? Вероятнее всего, что я не совсем тактично напомнил ему о его органическом отвращении к хлопотам и вынужденным просьбам (он мягко называет это «нелюбовью»). Дмитрий Дмитриевич ошибочно истолковал мои сентенции на этот счет, как косвенный упрек за невнимательное отношение ко мне, и с удивительной терпимостью и великодушием принял на себя несуществующую «вину», ощущая, однако, в глубине души свою «невиновность». Я беру в кавычки эти слова, вследствие их абсолютной условности.

[2] Дмитрию Дмитриевичу почему-то почудилось (год спустя!), что я остался недоволен его приемом в Куйбышеве. Это более чем странно, ибо он решительно ни в чем не мог себя упрекнуть. С первой минуты радушной встречи на вокзале в Куйбышеве и до самого конца пребывания там я был окружен трогательными заботами и всеми знаками искреннего дружеского расположения.

[3] Здесь уместно сказать об одной важной психологической особенности характера Шостаковича. Он всю жизнь терпеть не мог различного рода объяснений с близкими ему людьми по поводу возникших недоразумений, считая это делом бесцельным и ненужным. В таких обстоятельствах он отделывался фигурой умолчания, давая понять, что инцидент исчерпан и возвращаться к нему нет никакой необходимости, тем более что он никаких следов не оставлял в памяти Дмитрия Дмитриевича. Мне помнится, что бывали редкие случаи, когда у него

появлялось желание поговорить, что называется, на чистоту об опрометчивом поступке друга, но душевная деликатность или застенчивость мешали ему это сделать. Но когда недоразумение приобретало иной характер, превращаясь, по убеждению Шостаковича, в проступок, тогда он порывал с добрым знакомым, приятелем, а иногда и с другом, не вступая с ними ни в какие «объяснения» и «разъяснения». Таков был его неизменный принцип, его modus vivendi.

В данном письме Дмитрий Дмитриевич, вопреки своему правилу, стремился, правда очень скупыми фразами, разъяснить свое поведение, которое в разъяснениях не нуждалось, так как оно было по отношению ко мне прекрасным и безупречным.

[4] Дочь Шостаковича, которой в ту пору было семь лет.

23

8.X.1943. Москва — 8 октября

Дорогой Исаак Давыдович.

С твоим вызовом дело пока что не клеится. Несмотря на мои просьбы и мольбы, пока еще ничего не выходит[1]. На днях отбыл из Москвы И. И. Соллертинский, которого я страшно рад был видеть. Возможно, что тебе известно, что я закончил 8-ю симфонию[2], которая состоит из пяти частей[3]. 3-го ноября ее предположено исполнить под управлением Мравинского[4]. Я очень волнуюсь за нее, т. к., впрочем, просто волнуюсь, по разным причинам, каковые знакомы каждому композитору[5]. Татьяне Максимовне твой привет и восхищение ее правдивым образом в правдивом кинофильме, передал[6]. Я вообще полюбил кино и некоторые художественные и хроникальные фильмы смотрел по много раз.

Крепко тебя целую.

Д. Шостакович

[1] Я давно отказался от мысли о поездке в Москву, но Дмитрий Дмитриевич с непонятной настойчивостью продолжал писать об этом.

[2] Мне это было хорошо известно, так как в утраченных письмах Дмитрия Дмитриевича он сообщал мне о работе над Восьмой симфонией. Несмотря на лаконизм его информации, я отчетливо понимал, что он писал симфонию очень быстро, с большим воодушевлением и подъемом.

[3] Излюбленная формула Шостаковича: вместо какой бы то ни было характеристики очередного своего сочинения, он очень часто ограничивался, если можно так выразиться, «анкетными» данными о количестве частей, из которых оно состоит.

[4] Премьера Восьмой симфонии состоялась в Москве 4 ноября 1943 года. Она была исполнена Государственным симфоническим оркестром СССР под управлением Е. А. Мравинского.

[5] Каждая премьера нового произведения Шостаковича сопровождалась сильным волнением, с которым ему было трудно справиться, но он стремился сохранить внешнюю невозмутимость, ибо сдержанность

была коренным свойством его натуры. Настоящее успокоение наступало лишь после концерта или спектакля.

[6] Татьяна Максимовна Литвинова (дочь М. М. Литвинова) — переводчица с английского языка. Я запамятовал, о каком именно фильме идет речь. Вероятно, об этом говорилось в предыдущих (утраченных) письмах, но в похвале Дмитрия Дмитриевича сквозит ирония, которой также проникнуто его признание в любви к кинематографу.

24

8.XII.[1943]. Москва — 8 декабря

Дорогой мой друг. За последнее время у меня много неприятностей. Очень долго болел Максим. Исхудал, отощал, побледнел. Просто жаль его ужасно. Затем заболел я. Проболел неделю. Сегодня встал. Вчера с высокой температурой свалилась Нина. Болезни не прекращаются «в моем доме». Что же касается до остальных моих родственников, то они здоровы. Я жалею, что ты не слыхал мою 8-ю симфонию. Я очень рад, как она прошла. Мравинский сыграл ее здесь 4 раза. 10-го декабря сыграет ее в 5-й раз. В Союзе советских композиторов должно было состояться ее обсуждение, каковое было отложено из-за моей болезни. Теперь это обсуждение состоится, и я не сомневаюсь, что на нем будут произнесены ценные критические замечания, которые вдохновят меня на дальнейшее творчество, в котором я пересмотрю свое предыдущее творчество и вместо шага назад, сделаю шаг вперед[1].

Сейчас я пишу Трио для рояля, скрипки и виолончели[2]. Напиши мне. Мне скучно без твоих писем, а главное без тебя самого. Извини, что мало пишу. Мое перо как-то плохо владеет эпистолярным стилем.

Желаю тебе всего лучшего.

Д. Шостакович

Пока развертывалось по всему миру триумфальное шествие Седьмой симфонии, Шостакович написал Восьмую — одно из величайших его творений. Но оно не было сразу понято и оценено. Уже в период репетиций и после концертов раздавались под сурдину недоуменные вопросы присяжных критиков.

Эпический масштаб, трагедийный пафос симфонии некоторые музыковеды истолковали как доминирование мрачного начала над светлым. Знатоки по части дозировки положительного и отрицательного в художественном произведении остались недовольны дозированием этих элементов в новой симфонии.

Шостаковича втихую упрекали в чрезмерной сложности и абстрактности языка Восьмой. Следовательно, она в целом не является шагом вперед по сравнению с Седьмой. А если не вперед, то, конечно, назад, а в лучшем случае — вбок.

До слуха Дмитрия Дмитриевича доносились обрывки таких суждений и огорчали его. Он-то, при всей строгости к себе, знал, в какую сторону сделан шаг! Однако понадобились годы, чтобы Восьмая была оценена по достоинству и признана произведением гениальным.

Характерно, что первым, кто ощутил небывалую оригинальность и величие симфонии и написал об этом, был не профессиональный музыкант, а крупный писатель Леонид Максимович Леонов (нечто подобное произошло с А. Н. Толстым, оповестившим мир о репетиции Седьмой симфонии). Через три дня после премьеры Восьмой появилась интересная статья Л. М. Леонова «Первые впечатления»*, в которой он мастерски рассказал о своих впечатлениях от прослушанной симфонии.

[1] Свои переживания Шостакович, как это с ним часто бывало, облек в гротескную форму прорицания, предвидения того, как будут на заседании судить и рядить о его сочинении, написанном кровью сердца.

Но взыскательный художник был доволен своим творением, и это слышится, пусть глухо, но все же слышится в беглых словах Шостаковича («Я очень рад, как она прошла»).

[2] Это замечательное Трио (соч. 67) было впоследствии посвящено памяти Ивана Ивановича Соллертинского, скончавшегося 11 февраля 1944 года в Новосибирске.

24-а

31.XII.[1943]. Москва — 31 декабря

Дорогой мой друг. Поздравляю тебя с Новым годом. Желаю тебе здоровья, счастья и успехов. П. А. Серебряков передал мне от тебя привет. Спасибо, что не забываешь. Сейчас последний день 1943 года, 16 часов. За окном шумит пурга. Наступает 1944 год. Год счастья, год радости, год победы. Этот год принесет нам много радости.

Свободолюбивые народы наконец-то сбросят ярмо гитлеризма, и воцарится мир во всем мире, и снова мы заживем мирной жизнью, под солнцем сталинской конституции[1]. Я в этом убежден и потому испытываю величайшую радость. Мы сейчас временно разлучены с тобой; как мне не хватает тебя, чтобы вместе порадоваться славным победам Красной армии во главе с великим полководцем тов. Сталиным.

А пока крепко обнимаю тебя. До скорого свиданья. Пиши.

Д. Шостакович

[1] Шостакович ненавидел гитлеровское изуверство и тиранию, но это чувство сочеталось в нем с ненавистью к сталинскому террору 30-х годов, и когда во второй половине войны с новой силой вспыхнули безу-

* Литература и искусство. 1943. 7 ноября.

держные, восторженные славословия в честь Сталина, «великого полководца», которому народ и армия обязаны всеми своими успехами, Дмитрий Дмитриевич с большой тревогой думал о том, что после долгожданной победы снова возобновится произвол «под солнцем сталинской конституции» (каноническая довоенная формула, не сходившая со страниц печати).

Слова Шостаковича о «величайшей радости» по поводу предстоящего возвращения к довоенным временам и порядкам наделены горькой и скорбной иронией.

1944

25

3.I.1944. Москва — 3 января

Дорогой Исаак Давыдович. Твоя последняя открытка огорчила меня: ты на меня обижен и излагаешь это с присущей тебе ясностью и точностью. Я действительно мало писал, потому что много болел, и у меня было много неприятностей. И я не хотел плакать тебе в жилетку. Теперь все огорчения в прошлом, и я более охотно берусь за перо. Недавно послал тебе поздравление с Новым годом. Надеюсь, что ты его получил. В настоящее время я здоров. И все мои тоже здоровы. Пишу Трио для рояля, скрипки и виолончели[1]; заканчиваю оперу «Скрипка Ротшильда» моего бывшего ученика по Ленингр. консерватории Флейшмана[2]. Недавно из Алма-Ата получил письма от Тамары Брянской[3]. Она сообщает, что Юрий Григорьевич Брянский, которого ты наверное хорошо знаешь, погиб смертью храбрых в боях за нашу Советскую Родину[4]. Грустно и больно, что прервалась эта молодая жизнь. Но он с честью выполнил свой долг, и мы вечно будем чтить его память. Не сердись на меня, мой друг, за молчание. Крепко тебя целую. Передай сердечный привет маме.

Д. Шостакович

Пиши, не забывай. Надеюсь, что скоро увидимся.

[1] См. примечание 2 к письму 24 от 8 декабря 1943 года.

[2] Вениамин Флейшман, занимаясь в классе Шостаковича, писал оперу «Скрипка Ротшильда» по одноименному рассказу А. П. Чехова. Дмитрий Дмитриевич ее высоко ценил. После гибели на фронте своего талантливого ученика он завершил и инструментовал оперу. Сделано это было вслед за Восьмой симфонией.

По окончании войны Шостакович употребил немало усилий для того, чтобы «Скрипка Ротшильда» была поставлена в Большом театре, но этот план не был осуществлен. Концертное исполнение оперы состоялось 20 июня 1960 года в Москве (Всесоюзный дом композиторов).

[3] Тамара Ивановна Самознаева (Брянская) впоследствии работала на «Ленфильме» в качестве директора картин.

[4] Ю. Г. Брянский — знакомый Дмитрия Дмитриевича. До войны он работал в Ленинградском Репертуарном комитете (Реперткоме).

26

13.II.1944. Москва — 13 февраля

Дорогой Исаак Давыдович. Прими мои самые горячие соболезнования по поводу кончины нашего с тобой самого близкого и дорогого друга Ивана Ивановича Соллертинского[1]. Иван Иванович скончался 11-го февраля 1944 года. Мы с тобой его больше никогда не увидим. Нет слов, чтобы выразить все горе, которое терзает все мое существо. Пусть послужат увековечением его памяти наша любовь к нему и вера в его гениальный талант и феноменальную любовь к искусству, которому он отдал свою прекрасную жизнь — к музыке. Нету больше Ивана Ивановича. Это очень трудно пережить[2]. Друг мой, не забывай меня и пиши мне. Я прошу тебя: где хочешь достань водки и 11-го марта ровно в 19 часов по московскому времени выпьем (ты в Ташкенте, я в Москве) по стопке этого напитка, тем самым отметив месяц со дня смерти Ивана Ивановича[3].

Д. Шостакович

[1] Внезапная смерть И. И. Соллертинского была для Дмитрия Дмитриевича и для меня тяжелейшим ударом, ничем не восполнимой потерей. Шостакович всегда считал, что у Ивана Ивановича — человека крайне общительного, было множество друзей, но самыми близкими, преданными, любящими друзьями были он (Дмитрий Дмитриевич) и я. Таково было его убеждение, которого он придерживался всю жизнь, хотя мне хорошо известно, что Иван Иванович очень ценил тесные дружеские отношения с известным ленинградским музыковедом Михаилом Семеновичем Друскиным.

[2] Как уже упоминалось, это письмо (не полностью) было впервые опубликовано в книге «Памяти И. И. Соллертинского».

В публикации купированы строки, начинающиеся со слов «Друг мой, не забывай меня...» и т. д.

[3] Шостакович строго соблюдал некоторые традиционные обряды и обычаи. Свою просьбу выпить стопку водки в точно назначенный день и час он рассматривал как поминание ушедшего от нас друга. К слову сказать, я выполнил просьбу Дмитрия Дмитриевича, раздобыв с большим трудом стопку дефицитной водки.

27

19.IV.1944. Москва — 19 апреля

Дорогой Исаак Давыдович. Если тебе не будет очень трудно, то передай пожалуйста Николаю Семеновичу Рабиновичу, вмес-

те с моими приветами, прилагаемую при сем бумажку. Он поручил дать ее П. А. Серебрякову[1]. Однако же это оказалось затруднительным, т. к. Серебрякова я никак не могу поймать. А на днях он уехал в Ленинград. Чтобы не было с этим делом задержки, я решил послать бумажку тебе, а ты ее передай Н. С. Рабиновичу.

Насчет Гавриила Давыдовича[2] я говорил с Грабарем[3]. Он ничем меня не обнадежил и обещал в скором времени дать ответ. Пока что он куда-то уехал и в Москве его нету. Как он вернется, запрошу его вторично. Полторы недели тому назад я заболел гриппом. После гриппа у меня образовался «очажок» в левом легком. Я сильно кашляю. Время от времени с меня снимают рентгеновский снимок, говорят, что «очажок» еще не прошел. Из-за «очажка» я не покидаю домашний очаг (прости за каламбур)[4]. Скучаю и кашляю. Сегодня была докторша и сказала, что скоро все пройдет. Через день ходит мед. сестра и ставит банки. Таким образом протекает моя жизнь. Еще надо добавить, что у меня мало денег и еще меньше надежд на получение таковых честным путем[5].

Работать не могу. Ничего не сочиняю. Из-за этого страдаю, т. к. мне кажется, что больше никогда не смогу сочинить ни одной ноты[6]. Возможно, что в конце мая я приеду в Ташкент на пленум Узбекского Союза советских композиторов. Видел в Москве моего дорогого учителя М. О. Штейнберга и слушал его симфонию, получившую столь высокую оценку в Ташкенте[7]. Если в конце мая удастся вырваться в Ташкент, то ты не представляешь себе, до какой степени я буду рад повидать тебя[8]. Вот и все мои новости. Не могу тебе сообщить своих впечатлений о празднике советской музыкальной культуры, который имел быть вчера. Вчера впервые исполнялась народно-патриотическая оратория Шапорина «Сказание о битве за Русскую землю». Болезнь приковала меня к дому и я не имел возможности послушать и оценить это, без сомнения, превосходное произведение[9].

Крепко тебя целую.

Д. Шостакович

[1] Дирижер Н. С. Рабинович (мой очень близкий друг) просил П. А. Серебрякова о вторичном его зачислении педагогом консерватории, с которой он расстался в августе 1941 года, оставшись на один год в блокадном Ленинграде. В описываемое время Н. С. Рабинович временно находился в Ташкенте.

[2] Г. Д. Гликман — мой брат, скульптор.

[3] Игорь Эммануилович Грабарь (1871—1960) — известный живописец и искусствовед.

Гавриил Давидович Гликман, будучи студентом пятого курса Академии художеств, не воспользовался полагавшейся ему отсрочкой по военной службе и поступил в июле 1941 года в артиллерийское училище, которое закончил со званием лейтенанта.

Командуя артиллерийской батареей, он дошел до Германии, был ранен и награжден орденом Красной Звезды.

Весной 1944 года, в период решающих побед Советской Армии, я попросил Дмитрия Дмитриевича узнать о возможности отзыва Гавриила Давыдовича с военной службы для завершения его образования в Академии художеств. Дмитрий Дмитриевич вступил по этому поводу в переговоры с И. Э. Грабарем, которые оказались безрезультатными. Гавриил Давидович был демобилизован после войны в конце 1945 года.

[4] Шостакович был человеком по-настоящему мужественным, лишенным мнительности и страха за свое здоровье, которое в конце войны было далеко не идеальным. Он с очень своеобразным юмором пишет об «очажке» в левом легком и, походя, сочиняет каламбур по этому, отнюдь не веселому казусу. Но ему было 37 лет, и он позволял себе такую роскошь.

[5] Дмитрий Дмитриевич иногда любил пошутить на тему: «О разных способах получения денег».

[6] Ощущение творческого застоя или кризиса решительно не имело никаких оснований. Всего лишь за несколько месяцев до написания этих печальных строк был создан такой шедевр, как Фортепианное трио. Но даже короткая пауза в творчестве вызвала у Шостаковича непостижимое беспокойство, тревогу, страдание. Таков был его характер. Впрочем, нечто похожее испытывали, как известно, многие великие художники, для которых жить означало творить.

На протяжении последующих лет у Дмитрия Дмитриевича неоднократно возникали подобные ощущения. В ряде писем ко мне он жаловался на свое творческое бесплодие, когда по разным причинам или вовсе беспричинно происходила какая-либо остановка в работе. Горькие жалобы были реальны, но предмет жалобы был, по существу, совершенно мнимым, ибо количество опусов (да еще каких!) Дмитрия Дмитриевича нарастало с поразительным, неуклонным постоянством, несмотря на недуг, который его одолевал и надолго приковывал к больничной койке.

[7] Максимилиан Осеевич Штейнберг (1883—1946) — композитор, профессор Ленинградской консерватории, в классе которого обучался Шостакович. Речь идет о Симфонии-рапсодии на тему узбекских народных песен, сочиненной М. О. Штейнбергом в 1942 году в Ташкенте. Не высказав своего мнения о прослушанной симфонии, Дмитрий Дмитриевич тем самым дает понять, что она не произвела на него сильного впечатления.

Вообще Дмитрий Дмитриевич сдержанно относился к творчеству своего учителя, больше ценя его за другие достоинства. Тем не менее он выражал готовность содействовать исполнению его произведений. Так, например, Шостакович горячо поддержал мою идею постановки интересного по музыке балета М. О. Штейнберга «Тиль Уленшпигель» в Ленинградском Малом оперном театре, где я заведовал с осени 1944 года литературной частью. К сожалению, этот план, сильно обрадовавший Максимилиана Осиповича, не был осуществлен, отчасти из-за внезапной кончины автора. Шостакович относился к учителю очень уважительно, учтиво, наносил ему визиты время от времени. Несколько раз он брал меня с собой. Меня поразила некоторая чинность, аккуратность, размеренность, царившие в доме зятя Н. А. Римского-Корсакова. Заветы великого композитора свято соблюдались не только в художественных концепциях М. О. Штейнберга, но, как мне показалось, и в бытовом укладе.

Дмитрия Дмитриевича огорчало в Максимилиане Осеевиче — человеке большой культуры — приверженность к нормативам, регламенту, что соседствовало с педантизмом и какой-то цеховой замкнутостью.

[8] Поездка в Ташкент не состоялась.

[9] За априорной похвалой оратории Юрия Алексеевича Шапорина скрывается сомнение в художественном совершенстве этого произведения.

28

2.VI.1944. Москва 2 июня

Дорогой друг. Давно тебе я не писал по следующим причинам: я опять хворал, хворали дети и Нина. Настроение было грустное. Теперь у меня настроение хорошее, чему способствовал визит твоего брата Гавриила Давыдовича[1]. Я был очень рад его повидать. Во-первых, он очень похож на тебя. Во-вторых, приятно и радостно было видеть статного, подтянутого офицера, полного жизнерадостности, оптимизма и веры в прекрасное будущее нашей Родины и нашего народа. С Гавриилом Давыдовичем мы много беседовали о тебе, о Грабаре, который, к сожалению, не может быть полезным в деле зачисления Гавр. Дав. в Академию[2], и о многом другом. Когда Гавр. Дав. меня покинул, то я долго ощущал чувство радости и гордости за нашу родную Красную Армию, воспитавшую такого образцового офицера, каким является твой брат[3]. Гавриил Давыдович уже уехал из Москвы, полный бодрой зарядки, которую ему дало посещение столицы, а также беседы со скульптором Манизером[4] и другими знатными людьми советского искусства. Как мне говорил перед своим отъездом Гавриил Давыдович, он и творчески сильно вырос: он в свободные от боевой жизни минуты лепит бойцов и офицеров. Он создал несколько скульптурных портретов и очень этим доволен. Дорогой мой друг. Крепко тебя целую. Твой

Д. Шостакович

В Ташкент не приеду.

[1] Гавриил Давидович, получив краткий отпуск, приехал в Москву и навестил Шостаковича, о котором он много знал от меня, но был с ним в ту пору знаком, что называется, шапочно. Впоследствии Дмитрий Дмитриевич проникся любовью к живописным и скульптурным работам Гавриила Давидовича. Вылепленный им большой бюст Бетховена по сей день украшает кабинет Шостаковича в его московской квартире.

[2] См. примечание 3 к письму 27 от 4 апреля 1944 года.

[3] Разумеется, портрет моего брата, нарисованный здесь Дмитрием Дмитриевичем красками казенной, штампованной публицистики, не только не имел ничего общего с Гавриилом Давидовичем, но и был прямо противоположен и чужд его тогдашнему внутреннему состоянию. Как чужды были обоим собеседникам фальшивые клише об оптимизме и вере «в прекрасное будущее нашей Родины и народа». Этот прием

описания «от противного» характерен был и для наших бесед, и для множества писем. Так и этот пассаж рассчитан на мое понимание истины, прямо противоположной словам.

[4] Матвей Генрихович Манизер (1891—1966) — скульптор, профессор Академии художеств, у которого обучался Гавриил Давидович.

М. Г. Манизер, приобретший широкую известность в 30-х годах, Шостаковичу не нравился и как человек, и как скульптор.

29

23.VII.[1944.] Москва 23 июля

Дорогой Исаак Давыдович. Наконец-то я получил от тебя письмо. Я сильно волновался из-за отсутствия от тебя известий. Я надеюсь, что эта открытка еще застанет тебя в Ташкенте[1]. А уж скоро надобность в писании таких открыток отпадет, т. к. мы будем вместе с тобой жить в нашем прекрасном городе Ленинграде[2], городе-символе могущества советского строя и гениальной сталинской стратегии[3]. Завтра я заканчиваю госэкзамены. Я являюсь председателем гос. экзаменационной комиссии по фортепиано в Московской консерватории. Завтра дипломники будут сдавать госэкзамен по основе всей науки, по основам марксизма-ленинизма. И завтра же вечером я уезжаю из Москвы на 5—6 дней в Ивановскую область, где в настоящее время находится моя семья. Потом приеду опять в Москву, чувствую я себя отвратительно. Хвораю желудком[4]. Что же касается до душевного самочувствия, то оно превосходно. И каким же оно может быть иным, когда гремят победные салюты, когда ощущаешь победу всем своим существом.

Д. Шостакович

[1] Реэвакуация консерватории была намечена на август — отсюда опасения Шостаковича, что его письмо не застанет меня в Ташкенте, но отъезд в Ленинград состоялся лишь в сентябре 1944 года.

[2] Быть может, Дмитрий Дмитриевич помышлял о возвращении в Ленинград, тогда, действительно, надобность в обмене открытками, естественно, отпала бы, но, оставшись в Москве, он после войны регулярно приезжал на занятия в консерваторию, и мы с ним, разумеется, виделись.

Летом мы вместе жили в Комарово и неукоснительно встречались каждый божий день. Таким образом, по элементарной логике эпистолярный источник должен был иссякнуть, высохнуть. Этому процессу еще способствовал телефон — лютый враг писем.

Однако, вореки вышеизложенному, Дмитрий Дмитриевич продолжал писать мне, иногда с большими перерывами, обусловленными, как правило, личными встречами, иногда болезнями, которые часто его донимали, а иногда и душевными тревогами, мешавшими ему браться за перо.

Но факт остается фактом: у Дмитрия Дмитриевича была неистребимая потребность писать письма, то предельно краткие, информативного характера, то подробные, но одинаково бесценные для меня, так как

в них бьется пульс времени, видится его неповторимый колорит, в них слышится голос, живая разговорная интонация, своеобразнейшая, богатая подтекстом лексика Шостаковича.

[3] Эта ходячая, нарочито казенная фразеология, абсолютно чуждая духу и взглядам Шостаковича, имеет внешне скрытый саркастический подтекст. Таким стилистическим приемом Дмитрий Дмитриевич неоднократно пользовался в письмах ко мне, рассчитывая, конечно, на мое понимание подтекста.

[4] О своем скверном физическом состоянии Дмитрий Дмитриевич никому из посторонних не давал знать, полагая, что им нет никакого дела до его самочувствия. Он держался в таких случаях стойко и мужественно.

1945

30

2.1.1945. Москва — 2 января

Дорогой Исаак Давыдович. Поздравляю тебя с Новым годом. Желаю тебе здоровья, успехов и счастья. Очень жалею, что нет тебя сейчас со мной. 30-го декабря мой сын Максим заболел воспалением легких. Сейчас он поправляется. Но я сильно переволновался и сам заболел расстройством желудка, которое до сих пор меня терзает. Не весело все это. Видно дело идет к старости, к болезням[1]. Все же Новый год мы встречали. Встречали у нас на квартире. Отказать было неудобно, т. е. встречали «в складчину». Было «весело» и шумно. Наиболее тяжелые часы наступили после 3-х часов ночи. Далеко живущие гости (люди мне чужие и неинтересные) стали дожидаться первого трамвая. Ушли они в 6 часов (!)[2]. Я мечтаю о том, что в 1945 году мы водрузим знамя победы в Берлине.

Мои планы на 1945 год не ясны. Я ничего не сочиняю[3], т. к. живу в очень скверных условиях. От 6 и до 18 часов я лишен двух видов элементарных удобств: света и воды. Особенно тяжело переживать эти неудобства с 15 до 18 часов. Уже темно. Керосиновые лампы мало освещают. Зрение у меня плохое. При керосине я не могу писать. Нервы сильно изматываются от темноты. И как будто надежды на улучшение мало, т. к. недавно я подписывал бумажку, адресованную в Наркомат местной промышленности об отпуске лауреатам Сталинских премий, народным артистам, заслуженным деятелям, одним словом, ведущей группе композиторов, керосину, керосиновых ламп, примусов и т. п., т. к. из-за отдельных случаев перебоя в подаче электроэнергии их творческая продуктивность несколько уменьшается[4]. Письмо возымело успех и 31 декабря я получил талоны на 6 литров керосина. Моя машина до сих пор не действует. Нету у меня бензина. Нету шофера и, пожалуй, средств такого содержать. Пусть пока постоит в скверном гараже Музфонда.

В общем живу не весело. Но в 18 часов зажигается свет. Тем не менее, к этому радостному моменту нервы у меня столь взвинчиваются, что прийти в себя я уже не могу[5]. Часов в 12 ложусь спать. Сплю плохо и в полной темноте просыпаюсь и совершаю свой утренний туалет. Читаю Блока. По-моему, это великий и умный поэт. Некоторые стихи меня потрясли[6]. Будет у тебя время и желание — напиши мне. Недавно я узнал, что А. Л. Островский по собственному желанию покинул пост зам. директора[7] и на его кресло теперь сел могучий старик А. В. Оссовский[8]. Что же теперь делает Островский? Напиши об этом. Кланяйся маме и племяннице[9]. Крепко тебя целую.

Д. Шостакович

Пишу тебе на консерваторию, т. к. забыл номер твоей квартиры. Сообщи мне его, пожалуйста.

Этому письму предшествовали другие, утраченные мною, а также личная встреча с Шостаковичем глубокой осенью 1944 года в Ленинграде.

В данном письме, написанном в дурную для Дмитрия Дмитриевича минуту, тем не менее нарисована без всяких преувеличений объективная картина московского быта во время войны. Простота и безыскусственность изложения придает ей особую достоверность.

[1] Характерно, что разговор о надвигающейся старости Шостакович начинает в 38 лет, потом этот разговор будет неоднократно на разные лады повторяться.

[2] С чужими неинтересными людьми Дмитрий Дмитриевич общался с большим трудом и нервным напряжением. Обычно он в таких ситуациях погружался в довольно длительное молчание.

[3] Это не совсем точно. Дело в том, что на рубеже 1944-1945 годов Шостакович задумал Девятую симфонию. Она поначалу сочинялась у него в голове. Ведь только после этого он, как правило, приступал к фиксации на бумаге выношенного материала. Следовательно, в описываемое время он сочинял.

В конце апреля 1945 года я приехал в Москву для переговоров с драматургом Н. А. Адуевым по поводу либретто комической оперы В. В. Щербачева «Табачный капитан», которую мы решили поставить в Малом оперном театре, в коем я заведовал литературной частью. Около двух недель я прожил у Дмитрия Дмитриевича на улице Кирова, 21, в квартире, которая уже была благоустроена.

Дмитрий Дмитриевич мне ничего не говорил о Девятой симфонии, но однажды вечером он вздумал показать мне наброски первой части, величественной по своему размаху, патетике, захватывающему дух движению. Он играл минут десять и потом сказал, что его смущает многое в этой симфонии, и в частности ее порядковый номер, что у очень многих появится соблазн сопоставить ее с Девятой Бетховена.

Больше он к этой теме не возвращался, а через некоторое время прекратил работу над симфонией. Мне трудно сказать, почему он так поступил. Я об этом у него не спрашивал, но 25 сентября 1945 года Дмитрий Дмитриевич, приехав в Ленинград, сыграл в Союзе композиторов (я присутствовал на этом волнующем показе) совсем другую Девятую симфонию, ту, которую мы все знаем и любим и которая вызвала

недовольство у чересчур суровых музыковедов, среди которых, к сожалению, был и Б. В. Асафьев.

25 сентября — день рождения Дмитрия Дмитриевича, и это совпало с обнародованием его Девятой симфонии в Ленинграде. Этот двойной праздник мы отметили у матери Шостаковича Софьи Васильевны на Дмитровском переулке.

[4] Здесь и в следующей фразе вспыхивает искорка юмора, хотя Дмитрию Дмитриевичу было не до смеха.

[5] Это признание исполнено драматизма, ибо нервы доставляли Шостаковичу всю жизнь много страданий и, быть может, они и были источником его тяжелого заболевания рук и ног.

[6] И я, будучи в Ташкенте, зачитывался Блоком, восхищаясь им, и писал об этом Дмитрию Дмитриевичу. Я, конечно, не хочу сказать (боже упаси!), что он по моей подсказке принялся читать великого поэта. Среди стихотворений, потрясших Шостаковича, вероятно, был «Гамаюн», ибо он иногда цитировал отдельные строки из этой вещи.

Через двадцать с лишним лет Дмитрий Дмитриевич, едва оправившись от инфаркта, создал блоковский вокальный цикл и пригласил меня в Москву, чтобы познакомить с этим удивительным сочинением. В цикле звучит и трагический «Гамаюн», а завершается он возвышенным, умиротворенным, бесподобной красоты обращением к музыке.

[7] Арон Львович Островский — доцент Ленинградской консерватории (впоследствии профессор) — был освобожден от должности заместителя директора и продолжал свою педагогическую деятельность.

[8] Александр Вячеславович Оссовский (1871—1957) — профессор Ленинградской консерватории. Сведения о его назначении на пост заместителя директора оказались неверными.

[9] Моя племянница Лина — дочь старшего брата, погибшего на фронте.

31

17.II.1945. Москва 17 февраля

Дорогой Исаак Давыдович. Спасибо за деньги и за открытку. В отношении денег ты проявил чрезмерную щепетильность. Ты мог бы с этим не торопиться[1]. Вчера звонил мне тов. Солуянов. Он передал наше заявление Главному маршалу Воронову[2] и тот с благожелательной резолюцией переправил его своему поручен-цу. В настоящее время тов. Солуянов связывается с поручен-цем и он надеется, что скоро все будет улажено[3]. Главный маршал, через тов. Солуянова, просил меня написать «Боевую песню советских артиллеристов». Было бы хорошо, если бы ты снабдил меня текстом для этой песни. Правда, ты не являешься поэтом-профессионалом, но я всегда вспоминаю твою «Песню железнодорожников». Если бы тебе удалось что-либо в этом роде, но в плане артиллеристов, было бы замечательно[4]. Возможно, что я скоро приеду в Ленинград. Тогда повидаемся и вместе поработаем над «Боевой песней советских артиллеристов»[5]. Передай привет маме и племяннице. Желаю тебе всего лучшего.

Д. Шостакович

[1] Во время очередного приезда Дмитрия Дмитриевича в Ленинград я занял у него деньги и незамедлительно вернул свой долг. В этом плане я старался следовать примеру Шостаковича, проявлявшего величайшую щепетильность в денежных делах.

[2] Дмитрий Дмитриевич возобновил свои хлопоты об отзыве моего брата — скульптора Гавриила Давидовича — из действующей армии и зачислении его на последний курс Академии художеств для завершения образования. Так как он был лейтенантом артиллерии, то Шостакович обратился со своим ходатайством к главному маршалу артиллерии Николаю Николаевичу Воронову.

[3] Это обещание выполнено не было, и Гавриил Давидович остался в армии.

[4] См. примечание 3 к письму 16 от 23 декабря 1942 года.

[5] Шостакович обещанной песни не написал.

1946

32

12.I.1946. Москва — 12 января

Дорогой Исаак Давыдович.

Прими и ты мои запоздалые поздравления с Новым годом. Пусть 1946 год будет для нас еще более счастливым, чем 1945. Мне грустно, что ты себя неважно чувствуешь. Надо надеяться, что это не есть признак серьезного недомогания, а лишь временные неполадки в твоем могучем организме. Я живу, как ты догадываешься, прекрасно. Здоров и телом и душой[1]. Раза два встречался с прибывшим в Москву Ю. В. Свиридовым. Он сам, а также его новый Квартет мне очень нравятся[2]. Много работаю, но ничего не сочиняю[3]. Надеюсь, что это лишь временные неполадки в моем скромном и незначительном даровании[4]. Скромность украшает человека. С пламенным приветом[5].

Д. Шостакович

Кланяйся маме, Лине и Гавриилу Давыдовичу. Гавриилу Давыдовичу мои лучшие пожелания. Пусть скорее поправляется.

[1] Слова эти не следует принимать в прямом смысле, ибо Дмитрий Дмитриевич часто хворал и настроение его было крайне изменчивым, то ровным, то печальным и тревожным.

[2] В разговорах со мной Дмитрий Дмитриевич с большой похвалой отзывался не только о Первом квартете Г. В. Свиридова, но и о Трио для скрипки, виолончели и фортепиано. Шостакович много сделал для того, чтобы последнему произведению была в 1946 году присуждена Сталинская премия.

[3] Имеется в виду работа над киномузыкой. Хотя Шостакович написал много прекрасной музыки для кинофильмов, он отделял ее от главного направления своего творчества.

[4] Слова эти сказаны отнюдь не для рисовки, потому что рисоваться он не любил.

[5] Дмитрий Дмитриевич, шутя, употребил несвойственную ему формулу прощания.

33

11.II.1946. Москва 11 февраля

Дорогой Исаак Давыдович. Не сердись на меня. Мне неприятно, что мое письмо доставило тебе огорчение. Я не хотел этого. Люблю я тебя и ценю чрезвычайно высоко. За твою дружбу ко мне, спасибо большое. Твоя дружба помогает мне жить. А характер у меня мерзкий, скверный. Друзья это должны помнить и прощать[1]. Вот, собственно говоря, и все, что я хотел тебе написать. Вообще же я живу прекрасно. У меня дивное настроение и т. п.[2]. Надеюсь, что у тебя тоже. Читал недавно «Ежегодник императорских театров» за 1894/95 год. Чтение мое было несколько односторонним. Я читал только некрологи по скончавшимся артистам и сотрудникам императорских театров. Меня поразили лаконизм и предельная точность и ясность в этих кратких отчетах о жизни и смерти г-на Иванова 7-го или г-жи Ивановой 8-й. 10 строк и вся жизнь, как на ладони. Поразительно[3].

Д. Шостакович

[1] Признание Дмитрия Дмитриевича в том, что он меня любит и очень высоко ценит мою дружбу, конечно, является для меня не только в высшей степени лестным, но и безмерно дорогим.

Его музыка, которую я боготворю, его дружеские чувства, на которые я, казалось бы, не мог претендовать, мощно поддерживали меня в периоды жизненных невзгод. За это я всегда испытывал к Шостаковичу безграничную благодарность.

Поводом для данного письма послужило следующее. Дмитрий Дмитриевич как-то в разговоре со мной сказал, что нам — самым близким друзьям Ивана Ивановича Соллертинского — следовало бы, быть может, совместно написать небольшой очерк о нем и опубликовать его, хотя бы в журнале «Советская музыка». Мне это предложение очень понравилось, и я, не откладывая в долгий ящик, написал статью под нашими двумя фамилиями, не дав себе труда показать ее Шостаковичу. Я легкомысленно полагал, что он ее посмотрит в корректуре.

Этот необдуманный и бестактный поступок побудил Дмитрия Дмитриевича сделать мне в письменном виде строгую нотацию, которую я вполне заслужил.

Статья была изъята из журнала, и я написал Дмитрию Дмитриевичу извинительное письмо. Оно-то и вызвало в его тонкой, дели-

катнейшей душе острое сожаление и горечь за якобы несправедливую обиду, которую он мне нанес своим выговором. Именно поэтому мой любимейший друг назвал свой характер «мерзким» и «скверным». Читая эти самоуничижительные эпитеты, я подумал: неужели Дмитрий Дмитриевич мог допустить в мыслях своих, что я хоть на одну минуту поверю в возведенную им на себя напраслину?!

Я твердо знал и знаю, что Шостакович обладал характером благородным и крайне чувствительным, склонным к жестокому самоанализу.

[2] Когда Дмитрий Дмитриевич громогласно и вызывающе объявлял о своем «дивном настроении», то это всегда означало прямо противоположное состояние. Делалось это для того, чтобы избежать подробностей, о которых ему не хотелось распространяться.

[3] Шостакович проявлял интерес к жизни малозаметных работников в сфере искусства, этих Ивановых 7-х, как их неуважительно называли, но без которых театр существовать не может. Погрузившись в чтение «Ежегодника императорских театров», Дмитрий Дмитриевич с удивлением узнал, что вся жизнь Ивановых 7-х умещается на десяти строках некролога.

34

24.IX.1946. Москва — 24 сентября

Дорогой Исаак Давыдович!

В целях практики, стучу эту открытку на машинке. Как ты поживаешь? Я живу хорошо. Здоров. Завтра мне исполнится 40 лет, через 10 лет будет уже 50[1]. С интересом жду расширенного пленума Оргкомитета Союза советских композиторов, который начнется 30 сентября. А. И. Хачатурян[2] уехал в Иваново, где он готовится к докладу. Активно готовится к пленуму и А. С. Оголевец[3].

Я думаю, ты уже читал его острую полемическую статью в «Советском искусстве». Кланяйся всем твоим.

Пиши, не забывай.

Твой Д. Шостакович

[1] Эта формула, которой нередко пользовался Дмитрий Дмитриевич, обозначала испытываемую им душевную тревогу и то, что он ничего для себя хорошего не ждет и в будущем, через 10 лет, когда ему «будет уже 50».

Такие наплывы печали сменялись у Шостаковича подъемом духа и верой в свои творческие силы.

[2] Арам Ильич Хачатурян был в ту пору председателем Оргкомитета Союза композиторов.

[3] В описываемое время Дмитрий Дмитриевич тяжело переживал несчастье, обрушившееся на М. М. Зощенко, подвергшегося уничтожающей критике в постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда" и „Ленинград"» от 14 августа 1946 года и в докладе А. А. Жданова, опубликованном в «Правде» 21 сентября 1946 года.

Шостакович очень высоко ценил талант Зощенко и глубоко симпатизировал ему как человеку.

Постановление вызвало к жизни критическую переоценку музыкальных ценностей, и упомянутый в открытке музыковед А. С. Оголевец одним из первых принялся за «переоценку» в статье «Перестроить работу Союза советских композиторов», опубликованной 20 сентября 1946 года в газете «Советское искусство», в которой автор с лакейской угодливостью обрушился на выдающихся музыкантов.

35

12 октября 1946. Москва 12 октября

Дорогой Исаак Давыдович!

С тех пор, как я завел пишущую машинку, я полюбил печатать. И, как видишь, печатаю не только доверенности, но и письма к друзьям. Твое письмо я получил. Спасибо. В настоящее время я хвораю: у меня длинный и нудный грипп. Болит голова, болят ноги и спина. Кашель, насморк. И все это долго не проходит. Я лежу в постели и принимаю многочисленных посетителей. Все очень заняты, да и мне трудно развлекать посетителей беседой. У нас происходил пленум Оргкомитета ССК. На последних двух заседаниях я, по нездоровью, отсутствовал. Но и первые заседания были интересными[1]. Нина еще не вернулась из Армении. Она там в научной экспедиции. Жду ее 20 числа.

Все же я замечаю, что болезни и всякого рода переживания сейчас даются тяжелее: годы идут. Пиши мне. Передай мой привет всем твоим, а также А. Л.[2] и Ю. В. Свиридовым. Желаю тебе всяких благ.

Твой Д. Шостакович

[1] Негативное отношение Шостаковича к содержанию и форме некоторых выступлений на заседаниях Оргкомитета Союза композиторов выражено по контрасту в похвальном эпитете («интересными»).

К открытию пленума Оргкомитета была приурочена под знаком переоценки ценностей отрицательная рецензия музыковеда И. В. Нестьева на Девятую симфонию Шостаковича. Она была опубликована в чрезвычайно влиятельной и свирепой газете «Культура и жизнь» 30 сентября 1946 года.

Критик обвинил автора замечательной симфонии в грубом шутовстве, нелепом стилизаторстве и прочих смертных грехах. Само собой разумеется, что Дмитрия Дмитриевича огорчила такая оценка, начисто искажающая замысел его произведения. Но об этом он умолчал в своей открытке, зная о моем негодовании, вызванном статьей И. В. Нестьева. Дмитрий Дмитриевич, вследствие своей необыкновенной сдержанности, ограничился краткой фразой о том, что с годами (а ему только что исполнилось сорок лет!) «переживания... даются тяжелее».

[2] Аглая Леонидовна — жена Г. В. Свиридова.

1947

36

20.I.1947. Москва 20 января

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за твое письмо. Как всегда, читал его с радостью и с удовольствием. Если позволят врачи, скоро приеду в Ленинград и тогда повидаюсь с тобой. Я уже совсем здоров, только немного слаб[1]. Читал в «Советском искусстве» статью о «Дуэнье» и сильно огорчился, что в ней нет упоминания об артисте Соломяке. Заглянул в подлинник и там его (упоминания) не нашел. Это меня огорчило и мне стало совестно перед даровитым артистом[2]. Мы переехали на новую квартиру (Можайское шоссе, 37/45, кв. 87). С одной стороны, это приятно, но есть и неприятные обстоятельства: много забот, хлопот и т. п. Кланяйся всем твоим.

Твой Д. Шостакович

[1] Дмитрий Дмитриевич тяжело болел дифтеритом.

[2] В начале июня 1946 года в Ленинградском Малом оперном театре состоялась премьера «Войны и мира» С. С. Прокофьева под управлением С. А. Самосуда (режиссер Б. А. Покровский). В ту пору я заведовал репертуарной частью этого театра и был, что называется, живым свидетелем нарастающего от спектакля к спектаклю громадного успеха великой оперы.

Пять месяцев спустя Кировский театр с блеском показал чудесную прокофьевскую «Дуэнью» под управлением Б. Э. Хайкина (режиссер И. Ю. Шлепянов). Однако премьера не вызвала энтузиазма, с которым была встречена «Война и мир».

Времена изменились меньше чем за полгода!

Некоторые ленинградские композиторы и музыковеды (а их было немало!), исходя из переоценки ценностей, о которой я упомянул в примечаниях к предыдущим письмам, сочли оперу неудачной, скучной, слишком изощренной по языку, недоступному широкой публике, следовательно ненужной.

Опасаясь за судьбу спектакля, я порекомендовал Дмитрию Дмитриевичу прибыть в Ленинград, чтобы послушать и посмотреть «Дуэнью». Шостакович так и сделал, приехав в декабре 1946 года. Ему очень понравились опера и ее постановка на сцене, и у него появилось горячее желание написать рецензию на спектакль.

Из-за недостатка времени он попросил меня сделать набросок для небольшой газетной статьи. Я, разумеется, выполнил эту просьбу, и рецензия за подписью Шостаковича (после его правки) была напечатана в «Советском искусстве».

В спешке я забыл упомянуть в своем наброске певца Леопольда Моисеевича Соломяка, исполнявшего партию Дон Карлоса. Это обстоятельство сильно огорчило Дмитрия Дмитриевича.

Крайняя деликатность не позволила упрекнуть меня в оплошности, и вместе с тем он счел себя виноватым в обиде, невольно нанесен-

ной актеру, с которым он едва ли был лично знаком. Участливость к судьбам людей была коренным свойством натуры Шостаковича.

1948

37

12.XII.1948. Москва 12 декабря

Дорогой Исаак Давыдович. Спасибо тебе за письмо. Мне кажется, что в твоем письме были правильные мысли, но несколько преувеличены достоинства упомянутого сочинения[1]. Я очень устал за последнее время. С огромным трудом, биясь из последних сил, сочиняю музыку к кинофильму «Встреча на Эльбе». Конца краю этой работе не видно[2]. В этом месяце не удастся побывать в Ленинграде. Физически я чувствую себя также неважно, что также не способствует приливу творческих сил. У меня весьма частые головные боли, кроме того почти без перерыва тошнит, или, как говорят народным языком, мутит. Должен сказать, что это пренеприятно. Бреясь, имею возможность смотреть на свое лицо. Оно опухло, под глазами огромные мешки, лиловые опухшие щечки. За последнюю неделю, или несколько больше, я сильно постарел, и этот процесс постарения идет вперед с неслыханной быстротой[3]. Физическое постарение, к сожалению, отражается и на потере душевной молодости. А может быть, все это от переутомления. Ведь я за последний год написал много музыки к кинофильмам[4]. Это дает мне возможность жить, но и утомляет до чрезвычайности.

Будь здоров, дорогой мой друг.
Крепко жму руку. Д. Шостакович

Только что узнал печальную новость: скончался Илья Захарович Трауберг[5]. Многими его высокими качествами, в том числе и редкостным бесстрашием мы всегда с тобой восхищались. Он скончался он разрыва сердца. До этих пор ничего за ним не замечалось. Он был всегда здоров. Он родился, так же как и я, в 1906 году.

Д. Ш.

[1] Я писал Дмитрию Дмитриевичу о сильнейшем впечатлении, испытанном мною при слушании его вокального цикла «Из еврейской народной поэзии».

[2] Шостакович обычно сочинял киномузыку очень быстро, даже стремительно, но работа над фильмом «Встреча на Эльбе» была ему

в тягость из-за скверного самочувствия и низкого художественного качества картины.

[3] Этот, столь непривлекательный автопортрет, разумеется, беспредельно заострен, что было весьма характерно для Шостаковича, умевшего порою несправедливо и беспощадно судить о себе и в духовном плане (что легко обнаружить, например, в письме ко мне от 11 марта 1946 года). Внешний облик Дмитрия Дмитриевича в описываемое время, когда ему было сорок два года, и много лет спустя сохранял обаяние молодости и красоты, хотя всякого рода «встряски», как он выражался, конечно, накладывали печать на его лицо, делавшееся изможденным и принимавшее страдальческое выражение, помимо его воли.

Именно таким оно выглядело в январе 1948 года.

Приехав в Ленинград, Дмитрий Дмитриевич рассказывал мне о совещании в ЦК в связи с оперой В. И. Мурадели «Великая дружба», причинившем ему душевную боль и страдания. Он говорил мне: «Двенадцать лет тому назад (когда появилась статья „Сумбур вместо музыки". — И. Г.) я был моложе и легче переносил всякие встряски, старею, сдаю...» (цитирую по своей записи).

Для меня в этом признании жалоба на старость была условной, несущественной, ибо до старости предстояло прожить немало лет. Я с грустью думал о том, что нервы Дмитрия Дмитриевича пришли в мучительное расстройство. Тогда же Шостакович говорил мне и другое, свидетельствующее о его сильном характере и художнической доблести: «По вечерам, когда заканчивались позорные, гнусные прения [на совещании], я возвращался домой и писал третью часть Скрипичного концерта. Я ее закончил, и, кажется, получилось недурно» (цитирую по своей записи).

Я часто вспоминал эту скромную оценку самой вдохновенной, самой прекрасной части концерта, в которой сдержанная скорбь сочетается с поразительной величавостью. В ней, мне казалось, нашли гениальное отображение чувства и душевное состояние автора, в ней, если можно так выразиться, стерта граница между внутренним и внешним миром. В этом плане Пассакалья ассоциируется в моем воображении с Largo из Пятой симфонии Шостаковича.

12 марта 1948 года Дмитрий Дмитриевич играл в консерваторском классе (в моем присутствии) Первый скрипичный концерт, произведший ошеломляющее впечатление. Однако на это произведение было наложено негласное табу, и оно было впервые исполнено в Ленинградской филармонии Давидом Ойстрахом и Евгением Мравинским только через семь лет, в 1955 году.

[4] Имеются в виду фильмы: «Буря» (получивший другое наименование), «Пирогов», «Молодая гвардия» и «Встреча на Эльбе».

[5] И. З. Трауберг (1905—1948) — кинорежиссер, младший брат Леонида Захаровича Трауберга — сопостановщика Г. М. Козинцева. Дмитрий Дмитриевич неточно указал дату рождения И. З. Трауберга.

1949

38

24.I.1949. Москва — 24 января

Дорогой Исаак Давыдович. Спасибо тебе за привет, который мне передал М. И. Блантер[1]. Давно собирался тебе написать, но перо вываливается из рук[2]. Кроме того, я все время собираюсь приехать в Ленинград, но пока это не удается. Может быть, приеду в первых числах февраля. Я за последнее время очень много работал и чувствую себя усталым. Все время похварывает Максим, чем нас очень огорчает. Я очень скучаю без тебя и без других друзей. Крепко жму руку.

Д. Шостакович

Передай привет всем твоим, а также Ю. В. Свиридову.

[1] Имеется в виду композитор Матвей Исаакович Блантер, с которым я встречался в Ленинграде.

[2] «Давно» — понятие относительное, ибо предыдущее письмо датировано 12 декабря 1948 года. Пока Дмитрий Дмитриевич преподавал в Ленинградской консерватории, мы общались во время его ежемесячных приездов для занятий, и это избавляло нас обоих от обмена письмами.

39

25.II.1949. Москва — 25 февраля

Дорогой Исаак Давыдович.

Давно не имел от тебя известий и потому соскучился. Обращаюсь к тебе с большой просьбой: позвони, пожалуйста, моей маме и узнай как ее здоровье. А еще было бы лучше, если бы ты посетил ее. Мне кажется, что она больна серьезно и лишь ее деликатность заставляет ее скрывать это от меня[1]. Я неоднократно спрашивал ее и Марусю[2] по телефону, не нужно ли мне приехать, и получал отрицательный ответ. Итак, если можешь, сходи к маме и о создавшемся впечатлении напиши мне. И если будет нужно, я сразу же выеду.

Крепко жму руку.

Д. Шостакович

[1] Софья Васильевна Шостакович без памяти любила своего «несравненного» Митю, гордилась им безмерно. В отличие, скажем, от матери Игоря Стравинского, она восторженно относилась к каждой ноте, написанной сыном.

Я отчетливо помню сияющую от счастья Софью Васильевну в Ленинградской филармонии, когда исполнялись сочинения Дмитрия

Дмитриевича. После концерта в Голубой гостиной, наполненной до отказа поклонниками Шостаковича, Софья Васильевна, будучи человеком весьма общительным, давала волю своему горячему и, конечно, искреннему, восторгу. Дмитрий Дмитриевич находил чрезмерной такую экзальтированность, приводившую его в некоторое замешательство, но он не решался делать какие бы то ни было замечания своей матери. И здесь снова и снова сказывалась поразительная сдержанность Шостаковича. Полной откровенности он во многих обстоятельствах предпочитал фигуру умолчания. Мне неоднократно случалось выслушивать от него всяческого рода неудовольствия по поводу тех или иных высказываний Софьи Васильевны, но он не считал возможным сказать ей об этом, чтобы ее не огорчать.

Дмитрий Дмитриевич очень заботился о своей матери. Ее судьба в блокадном Ленинграде мучила и терзала его (об этом он много раз писал мне). При всем при том во взаимоотношениях сына и матери начисто отсутствовала фамильярность во всех ее разнообразных оттенках и прочно существовали какие-то элементы респектабельности (с опаской я употребляю это старомодное слово!) в сочетании с благородной простотой подлинно интеллигентных людей.

Софья Васильевна панически боялась чем-нибудь опечалить своего любимца и скрывала от него свои болезни. Дмитрию Дмитриевичу это было хорошо известно, именно поэтому он попросил меня навестить Софью Васильевну на Дмитровском переулке, где я вообще бывал несчетное количество раз, и сделать письменный отчет о своем визите.

[2] См. примечание 5 к письму 1 от 30 ноября 1941 года.

40

29.IV.1949. Москва 29 апреля

Дорогой Исаак Давыдович.

Очень меня огорчило твое письмо. Я надеюсь, что ты скоро поправишься, и все у тебя будет обстоять благополучно. У меня также все обстоит благополучно. Надеюсь в первых числах мая уехать в Барвиху[1]. Поздравляю тебя с 1-м мая.

Крепко жму руку.

Д. Шостакович

Передай всем твоим привет.

Д. Ш.

Между данной открыткой и предыдущей, датированной 25 февраля 1949 года, в жизни Дмитрия Дмитриевича произошло немаловажное событие, о котором я узнал не в письменном, а в устном изложении Шостаковича. В марте 1949 года его командировали в США в составе деятелей науки и культуры. Эта поездка показалась ему крайне неожиданной, больше того — нежелательной.

Совсем недавно он был жестоко и беспощадно обруган в Постановлении ЦК ВКП(Б) от 10 февраля 1948 года, в прессе и на Первом Всесоюзном съезде композиторов в апреле того же 1948 года. Факты эти получили широкую международную огласку, и Дмитрий Дмитриевич

опасался, что он подвергнется натиску бесцеремонных американских журналистов — любителей сенсаций — и недалеких музыковедов, лишенных такта и не способных понять двусмысленное положение обруганного Шостаковича, вынужденного скрывать правду.

В начале марта, незадолго до отлета в США, Шостакович приехал в Ленинград, взволнованный и, что называется, в растрепанных чувствах. Он рассказал мне о своих опасениях, которые, кстати говоря, в полной мере оправдались. Дмитрий Дмитриевич также поведал мне о переговорах с ним высокопоставленных лиц, настоятельно просивших его, несмотря ни на что, отправиться в эту столь не предвиденную командировку. И он улетел, покорившись превратностям капризной судьбы.

По возвращении из Америки Дмитрий Дмитриевич в апреле снова приехал в Ленинград и рассказал мне в подробностях о своем пребывании в дотоле не ведомой ему стране. Он нашел в ней много интересного, хорошего и немало дурного. Ему понравился Нью-Йорк не только своей грандиозностью, но и парадоксальным сочетанием ультрамодерна и старомодной, симпатичной патриархальности. Это было весной 1949 года. Шостакович свежими очами (а иначе он не умел!) взглянул на так называемый город «Желтого дьявола».

[1] Барвиха — подмосковный санаторий.

41

10.VI.1949. Москва — 10 июня

Дорогой Исаак Давыдович. 19-го я приезжаю в Ленинград, и сразу же еду в Комарово, где пробуду до 1.IX и где, надеюсь, ты будешь меня навещать. По приезде в Ленинград, я буду тебе звонить. Если не застану, то буду звонить из Комарова, или ты мне туда позвони. 20-го я буду в Ленинграде. Буду провожать Нину, которая поедет в Москву[1]. Кроме того, я хочу посмотреть футбольный матч «Зенит» — Минское «Динамо». Может быть, вспомним молодость и посмотрим вдвоем[2].

Итак, до скорой встречи. Я рад, что ты поправился. Надеюсь, что ты сейчас здоров.

Крепко жму руку. *Д. Шостакович*

[1] По своему обыкновению, Дмитрий Дмитриевич сообщал мне план своих приездов в Ленинград и пребывания в Комарове, не скупясь на детали, обладавшие большой точностью. После войны Шостакович в течение многих лет проводил летние месяцы в Комарове. Поначалу на казенной даче, а после его выселения из нее, на даче своего тестя В. В. Варзара.

[2] В 30-х годах, как было уже мною упомянуто, я был исправным, неразлучным спутником Дмитрия Дмитриевича в систематических хождениях на футбольные матчи. Война исцелила меня от этого «недуга», а Шостакович не выдерживал футбольного искуса и время от времени, будучи в Ленинграде, приглашал на матчи, тряхнуть стариной, хотя и у него заметно ослабел интерес к футболу.

29.VII.1949. Комарово 29 июля

Дорогой Исаак Давыдович. Спасибо тебе за твое письмо. По нему я очень ярко представил себе твое пребывание в овцесовхозе[1]. Сегодня я видел Ю. В. Свиридова, который посетил меня. Мы вспоминали тебя и очень жалели, что тебя здесь сейчас нет[2]. Привез он мне из Москвы письмо от Левы Атовмьяна[3], которое меня несказанно огорчило. Вероятно, что на этих днях поеду в Москву. Может быть, столь мало весомые вещи, как дружеское участие и т. п. помогут ему в его очень большом горе[4]. Увы, мое письмо грустное. Прости меня. Очень я без тебя скучаю. Надеюсь, что все же мы увидимся с тобой. Я пишу сейчас ораторию о лесах на слова талантливого поэта Долматовского[5]. У Трауберга[6] узнаю, как он лечился и сообщу тебе. Твой *Д. Шостакович*

[1] Во второй половине июля и первой половине августа 1949 года я находился в Кабарде, в Хуламском ущелье, где был расположен овцесовхоз. Меня пригласил туда мой студент-кабардинец Леонид Эркенов, отец которого был директором упомянутого овцесовхоза. Я подробно описал мою несколько экстравагантную жизнь в горном ущелье. Дмитрий Дмитриевич читал мое письмо вместе с Ю. В. Свиридовым*, приехавшим к нему в Комарово. В ответ я получил в Нальчике данную открытку.

[2] В описываемое время Шостакович принимал горячее участие в судьбе Г. В. Свиридова — композитора и человека. Опека старшего коллеги и бывшего учителя была лишена и тени какого бы то ни было превосходства и менторства.

[3] Левон Тадевосович Атовмьян (1901—1973) — композитор, друг Шостаковича.

[4] Если мне не изменяет память, речь шла о служебных неприятностях, связанных с тем, что Л. Т. Атовмьян занимал пост директора Музфонда.

[5] Эпитет «талантливый» в данном случае свидетельствует о том, что Шостакович видел в Е. А. Долматовском лишь умелого на все руки стихотворца-профессионала. Написанная быстро, с большим мастерством оратория «Песнь о лесах» была встречена музыкальной критикой с полным одобрением, в противоположность отрицательным оценкам симфонического творчества Шостаковича. Оратория была отмечена Сталинской премией первой степени, но Дмитрий Дмитриевич ее не любил и не желал слушать адресованных ей похвал. У него было отвращение к тем местам в тексте, где упоминался Сталин. После генеральной репетиции я сказал Шостаковичу (текстуально): «Как было бы хорошо, если бы вместо Сталина в твоей оратории фигурировала бы, например, нидерландская королева Вильгельмина. Она, кажется, была любительницей зеленых насаждений».

* Юрий — второе имя Георгия Васильевича Свиридова.

Дмитрий Дмитриевич воскликнул: «Ах, как это было бы прекрасно! За музыку я отвечаю, а вот слова...?!»

Премьера «Песни о лесах» с большим успехом состоялась в Ленинградской филармонии 15 декабря 1949 года под управлением Е. А. Мравинского.

[6] Имеется в виду кинорежиссер Леонид Захарович Трауберг.

43

25.IX.1949. Сочи — 25 сентября

Дорогой Исаак Давыдович.

Спасибо тебе за телеграмму[1].

30 сентября я уезжаю в Москву. Надеюсь побывать вскоре и в Ленинграде. Очень хочу тебя видеть. Время я провел здесь хорошо. Погода стоит прекрасная. Жарко. Можно купаться. Свое рождение я буду праздновать сегодня вечером. Гостей у меня будет мало[2]. Надеюсь, что у тебя все обстоит благополучно.

Крепко жму руку.

Д. Шостакович

[1] Телеграмма была послана мною Дмитрию Дмитриевичу в Сочи по случаю дня его рождения. Ему исполнилось сорок три года.

[2] Шостакович придавал большое значение всякого рода традиционным обрядам, в том числе празднованию дня рождения. Он не изменил этому правилу, проживая в сочинском санатории «Правда» в сентябре 1949 года.

44

26.IX.1949. Сочи — 26 сентября

Дорогой Исаак Давыдович.

Вчера я забыл написать тебе о том, что я был бы рад получить от тебя тот же подарок, который ты мне сделал летом. Если у тебя будет желание повторить этот подарок, то я буду тебе сердечно признателен.

Вот и все. Д. Шостакович

45

9.XII.1949. Москва — 9 декабря

Дорогой Исаак Давыдович.

Ходят слухи, что Ю. В. Свиридов пьет. Это ужасно для него вредно. Приложи, пожалуйста, все свои старания, чтобы он этого не делал. Он к тебе хорошо относится. Ты к нему тоже.

Повлияй на него. Очень будет грустно, если он опять заболеет[1]. Я наверное через неделю поеду в Ленинград. Надеюсь тогда повидаться.

Крепко жму руку. Д. Шостакович

[1] Г. В. Свиридов одно время пристрастился к горячительным напиткам, и это не на шутку встревожило Дмитрия Дмитриевича. Он опасался, что такое пристрастие нанесет ущерб громадному таланту Свиридова.

Дмитрий Дмитриевич не знал, как воздействовать на своего бывшего любимого ученика. Дело в том, что он решительно не умел уговаривать, увещевать, проповедовать. Его лишь хватало на то, чтобы один раз высказать свое мнение о том или ином факте, не вторгаясь в подробности личной жизни другого человека, автономию которого он уважал и чтил. Имеющий уши да услышит! — говаривал он, но далеко не все умели услышать и сделать соответствующие выводы из услышанного.

В ленинградский период жизни Г. В. Свиридова я был, без всякого преувеличения, его близким другом. Мы общались почти ежедневно. Меня восхищали и музыка Свиридова, и его глубокий, острый ум. Вероятно, и он находил во мне стоящего собеседника и друга.

Дмитрий Дмитриевич очень хорошо знал об этом и надеялся, что мне удастся отлучить Георгия Васильевича от Бахуса. Однако дело у меня не клеилось, во-первых, потому, что я сам не состоял в обществе поощрения трезвости, а во-вторых, мои назидания только смешили Свиридова.

К счастью, случилось так, что в час назначенный Георгий Васильевич без посторонней помощи полностью освободился от вредного для него пристрастия.

46

21.XII.1949. Москва 21 декабря

Дорогой Исаак Давыдович. Спасибо за письмо. Я ждал его долго и, наконец, дождался. Очень жаль, что один из наиболее выдающихся композиторов XX века, Ю. В. Свиридов, предпочитает бутылку шампанского «Женитьбе Фигаро»[1]. Меня волнует его настоящее и будущее. Мне кажется, что если бы он больше думал о бессмертии, то сберег бы свой огромный талант, а не пожертвовал бы его Бахусу. Я до сих пор болен. Меня одолели ангина и грипп. Хотя эти болезни и кончились, но натворили они массу безобразий. Я очень слаб физически. Извини за грубый натурализм — я все время потею. В день я должен менять 2—3 рубашки, и другие принадлежности мужского белья, которые неприлично называть в устном, а также в письменном слоге. Эта потливость является следствием слабости и по всей вероятности наступления старости. Ведь мне 43 года[2]. Дома у меня болезни. Нина хворает; хворает

и Максим. Очевидно, здоровьем распоряжается Бог. Мои дети имеют все. Питание, витамины, медобслуживание и т. п. Однако они все время болеют. Галя недавно болела гриппом. Сейчас заболел Максим. Очень все это грустно. Господь Бог, очевидно, предпочитает сияющих здоровьем и красотой В. В. и С. М. Варзар, а Г. Д. и М. Д. Шостаковичи пусть хворают[3].

Во время моей болезни, вернее, болезней, я взял партитуру одного моего сочинения. Я просмотрел ее от начала и до конца. Я был поражен достоинствами этого сочинения. Мне показалось, что сочинивши такое, я могу быть горд и спокоен. Я был потрясен тем, что это сочинение сочинил я[4].

Итак, до скорого свидания, мой дорогой друг.

Крепко жму руку. Твой

Д. Шостакович

[1] Шостакович возвращается к теме, затронутой в предыдущем письме. Он обыгрывает блестящую остроту пушкинского Бомарше, обращенную к Сальери:

Слушай, брат Сальери,
Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти «Женитьбу Фигаро».

Шутливый тон отнюдь не уменьшал тревоги Дмитрия Дмитриевича за судьбу Г. В. Свиридова, о таланте которого, как мы видим, он пишет в самых восторженных тонах. Гениальные художники умели восторгаться творчеством своих коллег. Такой способностью обладал и Пушкин, и пушкинский Моцарт.

[2] Когда Дмитрий Дмитриевич был молод и физически силен, он нередко жаловался на наступление старости и писал мне о своих болезнях и недомоганиях, но когда он в шестидесятилетнем возрасте болел тяжело и опасно, то избегал подробностей и в письмах, и в беседах.

[3] Фраза о тесте и теще Дмитрия Дмитриевича (В. В. Варзаре и С. М. Варзар) имеют иронический оттенок, так как он их вообще не особенно жаловал.

[4] Можно не без основания предположить, что Шостакович имел в виду Восьмую симфонию. Именно о ней, сравнительно незадолго до написания письма, он вел со мною речь с чувством глубокого авторского удовлетворения. Примерно в это же время Дмитрий Дмитриевич также отзывался с душевной теплотой о «Леди Макбет Мценского уезда». Шостакович в разное время по-разному относился к своим произведениям. В беседах со мной он иногда порицал себя за неудачные места в тех или иных своих сочинениях. В редчайших случаях ему хотелось «бить в ладоши» после завершения какой-нибудь вещи и повторить, применяя к себе, знаменитое пушкинское восклицание по прочтении «Бориса Годунова» («Ай да Пушкин, ай да сукин сын!»). Тем не менее в данном письме, пожалуй, впервые мощно и горделиво зазвучал мотив композиторского самопознания и художнического самоутверждения, причем зазвучал открыто, обнаженно, без всяких околичностей, напоминая исповедь великого музыканта.

Это столь необычное для Дмитрия Дмитриевича признание следует, по-моему, объяснить в чисто психологическом плане, как реакцию на глумление, которому совсем недавно подверглось все творчество Шостаковича. Достаточно вспомнить не только множество газетных выступлений, но и цикл статей в журнале «Советская музыка». В этом почтенном издании разносная, уничтожающая критика завершалась таким резюме: «Многие годы творчества Шостаковича прошли преимущественно на **холостом ходу**» (подчеркнуто мною. — *И. Г.*).

Само собой разумеется, что Дмитрию Дмитриевичу не приходило в голову защищаться от диких нападок на него. Это было не в его характере, да к тому же по объективным причинам это было совершенно невозможно. И вот в один прекрасный день, в канун Нового года, у него возникла потребность в письме ко мне как бы ответить своим гонителям, что он думает об их суде, об их оценках и приговорах и что он думает о самом себе. Помнится, я с большим волнением читал эти души доверчивой признанья.

1950

47

2.II.1950. Москва — 2 февраля

Дорогой Исаак Давыдович. Спасибо за письмо. Не сердись на меня за то, что я редко пишу письма. Письма обычно я пишу (и не только я), когда имеются какие-либо неприятности[1]. Но их нет. Все обстоит так хорошо, так благополучно, что писать почти не приходится[2]. Отсутствие писем от тебя лишний раз подтверждает вышеизложенную мою (и не только мою) мысль о том, что все обстоит благополучно. Я надеюсь в скором времени приехать в Ленинград.

Крепко жму руку. Д. Шостакович

[1] Такой взгляд на письма весьма своеобразен. Шостакович подчеркивал, что у него появляется потребность поделиться со своими корреспондентами лишь только горестями и неприятностями, каких у него было в большом изобилии. Но он словно забыл о том, что много раз ему случалось писать мне о приятных событиях в его многотрудной жизни.

[2] Эти, энергично повторяемые, слова наделены саркастическим подтекстом, ибо время, в которое написано письмо, было для Шостаковича тяжелым.

48

20.II.1950. Москва — 20 февраля

Дорогой Исаак Давыдович.

Я надеюсь, что ты не забыл о том, что собираешься навестить меня. В конце февраля с. г. я приеду в Ленинград и,

если тебе ничего не помешает, мы вместе поедем в Москву. Выбери из своих трудовых дней (трудодней) дня 3—4, чтобы ты смог, без ущерба для науки[1], выехать на эти 3—4 дня в Москву вместе со мной. А в Москве я бы, по возможности, развлекал бы тебя. Очень я без тебя соскучился. Надеюсь, что мой проект найдет отзвук в твоем сердце[2].

Д. Шостакович

[1] Хотя Дмитрий Дмитриевич уважительно относился к моему скромному педагогическому труду в консерватории, но здесь, говоря о «науке», он мило пошутил.

[2] Этот очень приятный для меня проект Шостаковича был осуществлен примерно через месяц.

49

11.III.1950. Москва — 11 марта

Дорогой Исаак Давыдович.

Спасибо тебе за письмо и за высокую оценку моих достижений в музыке и в гастрономии[1]. Возможно, что 16.III я приеду на 2—3 дня в Ленинград. Впрочем, это очень проблематично. Если в эти дни меня не будет в Ленинграде, то прошу тебя приехать в Москву в первых числах апреля[2]. Это потому, что с 21.III по 1.IV я уеду из Москвы в дом отдыха проводить вместе с детьми детские каникулы.

Крепко жму руку. Твой Д. Шостакович

[1] Имеется в виду мой восторженный отзыв о вокальном цикле «Из еврейской народной поэзии», а также попутно моя похвала обеду, данному мне в Ленинграде Дмитрием Дмитриевичем.

[2] Этот план претерпел изменения, и я приехал в Москву 15 марта 1950 года.

50

3.IV.1950. Москва — 3 апреля

Дорогой Исаак Давыдович. Я надеюсь, что ты благополучно вернулся домой, что ты хорошо себя чувствуешь, что все у тебя обстоит хорошо[1]. Поэтому обращаюсь к тебе с просьбой. Если у тебя будет свободное время, узнай, пожалуйста, о возможности приобретения двух абонементов на футбольные матчи. С июня я буду жить на даче в Комарове и поэтому хочу обеспечить себя двумя абонементами. Узнай, можно ли их приобрести и какова их стоимость. Желательно получить хо-

рошие места[2]. Узнав все это, напиши мне. Я вышлю тебе соответствующую сумму и, если тебе не будет очень трудно, приобрети.

Желаю тебе всего лучшего. Твой

Д. Шостакович

Мамин телефон переводят на АТС. Если твой переводят, или уже перевели, то сообщи мне об этом, чтобы я знал номер.

Д. Шостакович

[1] Речь идет о моем возвращении из Москвы, где я провел неделю (с 15 по 22 марта), как всегда у Шостаковича, жившего в ту пору на Можайском шоссе (№ 37/45, кв. 87).

По установленному Дмитрием Дмитриевичем обычаю, он встречал меня на вокзале. На этот раз, из-за болезни шофера, он сам решился править машиной и на пути домой совершил маленькую оплошность: дал гудок в недозволенном месте. В мгновенье ока явился грозный страж порядка, приведший Шостаковича в крайнее волнение. Ему, конечно, не пришло в голову показать милицейскому чину свой мандат депутата Верховного Совета (это противоречило его жизненным правилам!): он послушно протянул водительские права. Милицейский чин сурово отчитывал «нарушителя», пока не прочел его фамилию, справившись при этом, не является ли он композитором. Дмитрий Дмитриевич хмуро удовлетворил любопытство милицейского чина и был отпущен на все четыре стороны. Как ни странно, но этот незначительный инцидент вывел из равновесия очень нервного Шостаковича.

Желая меня развлечь, Дмитрий Дмитриевич дал для меня обед в отдельном кабинете ресторана «Арагви», в каковом я прежде никогда не бывал. Перед тем как отправиться в путь, заботливый хозяин не без веселого лукавства спросил меня, знаю ли я, что такое «цыплята-табака»? Я ответствовал, что знаю раздельно это слитное слово, то есть знаю, что такое цыплята и что такое табак. Дмитрий Дмитриевич добродушно рассмеялся и сказал: «Вот сейчас ты увидишь, что сие значит не раздельно, а вместе. В Ленинграде такие блюда не водились. Это гастрономическая новинка». Тут будет нелишним заметить, что Шостакович знал толк в еде, хотя частенько безропотно довольствовался куском хлеба с колбасой.

[2] В довоенные годы Дмитрий Дмитриевич покупал два абонемента на футбольные матчи, происходившие на стадионе имени Ленина. Один из них неукоснительно предназначался для меня. Рядом с нами на центральной трибуне сиживал, как я уже рассказывал в своих комментариях, художник и спортсмен — рефери по боксу Владимир Васильевич Лебедев. После войны у меня пропал интерес к футболу. Шостакович знал об этом и поэтому, наверное, обошел молчанием вопрос о втором абонементе.

Мне бы хотелось обратить внимание на то, с какой, я бы сказал, изысканной вежливостью и деликатностью Дмитрий Дмитриевич обращается ко мне с пустяковой просьбой о покупке абонементов.

51

6.IV.1950. Москва 6 апреля

Дорогой Исаак Давыдович.

Спасибо тебе за письмо. Я был бы тебе очень благодарен, если бы тебе удалось устроить встречу Ю. В. Свиридова с Л. З. Траубергом. Пусть они вдвоем решают вопрос о создании музыкальной комедии[1]. Попроси Юрия Васильевича встретиться с Леонидом Захаровичем и поговорить с ним. Для меня это будет большим облегчением[2].

Не забывай. Пиши.

Д. Шостакович

[1] В описываемое время кинорежиссер Л. З. Трауберг (сопостановщик кинотрилогии о Максиме), обвиненный в «космополитизме», был уволен со студии «Ленфильм» и находился в крайне бедственном положении. Написав либретто оперетты «Огоньки», которое представляло собой театральную версию киносценария «Юность Максима», он обратился к Шостаковичу с просьбой написать на это либретто музыку. Дмитрий Дмитриевич, что называется, из чувства сострадания дал формальное согласие на сотрудничество с Л. З. Траубергом для того, чтобы тот мог беспрепятственно заключить договор на свое либретто с Ленинградским театром музкомедии. Так оно и случилось. Согласие Шостаковича сыграло решающую роль в судьбе либретто. Но Дмитрий Дмитриевич, оказав помощь Траубергу, был далек от мысли писать оперетту «Огоньки». Он попросил Ю. В. Свиридова взять на себя эту миссию, каковую тот выполнил с присущим ему талантом. (Премьера с успехом состоялась в Театре музкомедии.) По просьбе Дмитрия Дмитриевича я был посредником в переговорах Трауберга и Свиридова.

[2] Шостаковича тяготило невольно взятое на себя обязательство: он подвергался энергичному нажиму со стороны Л. З. Трауберга, добивавшегося творческого союза с великим композитором. После того как Ю. В. Свиридов согласился писать «Огоньки», с души Шостаковича свалился давивший его камень. Однако Л. З. Трауберг обиделся на Дмитрия Дмитриевича, не оценив его великодушного поступка.

52

27.IV.1950. Москва 27 апреля

Дорогой Исаак Давыдович.

Спасибо тебе за хлопоты насчет абонементов[1]. Я думаю, что приеду на дачу между 10-м и 15-м июня. Таким образом, надо будет устраивать абонементы со 2-й половины июня. А в крайнем случае можно будет обойтись и без абонементов[2]. Требуемую тобой сумму я сегодня перевел в целях разумной экономии, почтой. Надеюсь, что она не долго пробудет в пути.

Мне очень хочется приехать в Ленинград, да нет предлога. Передай привет Ю. В. Свиридову. Я до сих пор нахожусь под впечатлением его прекрасного произведения[3].

Крепко жму руку.

Д. Шостакович

[1] Об абонементах на футбольные матчи см. примечание 2 к письму 50 от 3 апреля 1950 года.

[2] Здесь сказалась характерная для Шостаковича непоследовательность в делах не творческих, а житейских. В письме от 3 апреля он проявлял острый интерес к приобретению абонементов на футбольные матчи, перевел мне деньги на их приобретение, и вместе с тем он с легким сердцем готов отказаться от того, чего, казалось бы, добивался. По зрелому размышлению, Дмитрий Дмитриевич решил, что можно вполне обойтись и без футбольных матчей.

[3] Имеется в виду вокальный цикл «Страна отцов» на стихи Аветика Исаакяна, раскритикованный в Союзе композиторов.

Три года спустя Дмитрий Дмитриевич вместе со мной присутствовал в Малом зале Ленинградской филармонии на премьере этого замечательного сочинения. Оно привело его в восторг. Помнится, что по окончании концерта Шостакович — оживленный и радостный — устроил в номере Европейской гостиницы ужин в честь Г. В. Свиридова.

52а

9.X.1950. Москва

9 октября

Дорогой Исаак Давыдович.

Спасибо тебе за письмо. Уже несколько дней, как я собираюсь приехать в Ленинград, чтобы лично поблагодарить тебя[1], но меня задерживают неприятные обстоятельства. Несколько дней тому назад у Гали заподозрили дифтерию. А сейчас у меня пошаливает печень (sic!). Три дня надо лежать и поститься. Но я надеюсь на свой могучий организм и все же на днях приеду в Ленинград.

Твой Д. Шостакович

[1] Поблагодарить за мой отзыв о «Еврейских песнях». 25 сентября 1950 года я приехал по приглашению Дмитрия Дмитриевича в Москву на день его рождения. Во время ужина я сидел рядом с Самуилом Яковлевичем Маршаком, и мы с ним в промежутках между тостами обменивались восторженными репликами, адресованными Шостаковичу. Вершиной вечера было исполнение в кабинете Дмитрия Дмитриевича его цикла «Из еврейской народной поэзии». Пели: Нина Львовна Дорлиак, меццо-сопрано Янко и тенор Белугин. Аккомпанировал Шостакович. Хотя вокалисты не успели отшлифовать свои партии, впечатление было грандиозным. С. Я. Маршак со слезами на глазах говорил мне, что этот цикл равен Шекспиру и что он напрасно высказывал недовольство работой переводчиков, так как музыка окрылила и подняла на громадную высоту тексты стихов.

С того памятного вечера прошло немало лет, пока эти песни не были публично исполнены в Ленинграде в Малом зале филармонии.

53

31.X.1950. Москва — 31 октября

Дорогой Исаак Давыдович. Сегодня я беседовал с А. И. Анисимовым[1]. Когда речь зашла об И. Э. Шермане, А. И. Анисимов сказал мне, что он «дал указание отделу кадров немедленно устроить работу И. Э. Шерману»[2]. Я в точности передаю тебе его слова. Он сказал мне, что считает необходимым устройство И. Э. и что он это сделает обязательно. Я надеюсь, что он сдержит свое слово и жизнь И. Э. Шермана наладится. Я лечу свой желудок. Сижу на диете. Забыл, что такое алкоголь, и вспомнить иной раз очень хочется.

Пишу прелюдии и фуги для рояля. Написал уже 5 прелюдий и 5 фуг[3]. Так идет моя жизнь. Крепко жму руку.

Твой *Д. Шостакович*

[1] Александр Иванович Анисимов (1905—1976) — хормейстер по профессии, занимал пост заместителя председателя Комитета по делам искусств.

[2] Исай Эзрович Шерман (1908—1972) — дирижер, работавший в Малом оперном и Кировском театрах. Служебные неприятности вынудили его уехать из Ленинграда, и я просил Шостаковича похлопотать за этого видного музыканта, дирижировавшего премьерой балета Прокофьева «Ромео и Джульетта» в Кировском театре. И. Э. Шерман также преподавал в Ленинградской консерватории. Дмитрий Дмитриевич, как видно из письма, незамедлительно откликнулся на мою просьбу.

[3] Летом 1950 года мы часто встречались с Дмитрием Дмитриевичем в Комарове, где он снимал дачу, следственно в переписке нужды не было. В ту пору он находился под сильным впечатлением от Баховских торжеств, на которых недавно присутствовал в Лейпциге. Шостакович без устали с горячей любовью говорил мне о Бахе, необыкновенном человеке, феноменальном мастеровом, именно мастеровом, и гениальном композиторе. Его также поразила пианистка Татьяна Николаева, блестяще сыгравшая на торжествах цикл прелюдий и фуг Баха. Таким образом этим летом 1950 года возник у Дмитрия Дмитриевича замысел 24-х прелюдий и фуг.

54

25.XII.1950. Москва — 25 декабря

Дорогой Исаак Давыдович.

Давно я не имел от тебя известий. Если будет время, то

напиши мне по адресу: Московская область. Старая Руза. Дом композиторов. Мне. До 14 января я там. Там очень хорошо. Я много гуляю и много сочиняю[1]. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом.

Крепко жму руку. Пиши. *Д. Шостакович*

[1] Дмитрий Дмитриевич продолжал работу над прелюдиями и фугами. Этому сочинению он придавал большое значение. Параллельно им создавались Десять хоровых поэм a cappella.

1951

55

17.III.1951. Москва 17 марта

Дорогой Исаак Давыдович.

Спасибо за письмо. Максим находится в больнице. Сегодня ему вырезали гланды. Предполагают, что от этого его сердце пойдет на поправку. Ужасно его жаль[1]. Но надо надеяться, что он поправится. Надеюсь скоро побывать в Ленинграде.

Крепко жму руку. *Д. Шостакович*

[1] Частые болезни малолетних детей Шостаковича — Галины и Максима — доставляли ему большие волнения и тревоги, которыми он всегда делился со мной.

56

5.IV.1951. Москва 5 апреля

Дорогой Исаак Давыдович.

Горячо поздравляю тебя с женитьбой. Дай Бог, чтобы твоя жизнь пошла хорошо и благополучно. Нина также тебя поздравляет и шлет лучшие пожелания. Поздравь также Веру Васильевну и передай ей, что ее выбор мы одобряем[1]. Несколько дней тому назад Максима выписали из больницы. Сейчас он в Рузе, откуда мы с Ниной только что приехали. Чувствует он себя лучше, хотя очень устает от всякого рода деятельности. С 15 апреля он пойдет в школу, чего я боюсь, т. к. в школе масса работы. Как бы ему не натрудить свое сердечко.

Мои музыкальные дела обстоят так: 25-го февраля я закончил свои 24 прелюдии и фуги. Этим opus'ом я в основном доволен. Главным образом доволен тем, что у меня хватило сил дописать его до конца[2]. Кроме того, я написал 10 хоров a cappella. Из них на слова Л. Радина — один, на слова Евг. Та-

расова — два, на слова неизвестного автора — один, на слова Алексея Гмырева — три, на слова А. Коца — два и на слова Тан-Богораза — один. Об авторах этих слов я расскажу тебе при встрече, когда, надеюсь, смогу продемонстрировать и этот opus[3]. 31-го марта я, при многочисленном стечении слушателей, сыграл 12 прелюдий и фуг в ССК. Завтра (5 апреля)[4] сыграю остальные двенадцать. Несколько раньше демонстрировал в ССК хоры. Музыкальная общественность тепло приняла хоры. Как она примет прелюдии и фуги, узнаю, очевидно, завтра, т. к. после исполнения первых двенадцати обсуждений не было[5]. С 7-го по 13-е апреля уезжаю концертировать в города Минск, Вильнюс и Ригу[6]. 13-го апреля сессия Верховного Совета РСФСР[7]. А с 20-го по 23-е апреля я буду в Ленинграде. Надеюсь повидать тебя и познакомиться с Верой Васильевной.

Крепко жму руку. *Д. Шостакович*

[1] Дмитрий Дмитриевич с мягким юмором воздает мне похвалу. «Выбор» сделала Вера Васильевна Антонова, певица, окончившая Ленинградскую консерваторию в 1949 году.

[2] Шостакович сообщает мне важное известие о завершении работы над громадным циклом прелюдий и фуг, но делает он это в присущей ему манере, то есть с предельной скромностью и сдержанностью.

[3] Это прекраснейшее произведение, проникнутое драматической силой и гневом, направленным против различных форм насилия, приобрело в начале 50-х годов острое современное звучание.

Шостакович пишет о нем в протокольном духе, деловито перечисляя имена авторов текстов.

[4] Шостакович ошибочно датировал данное письмо 5 апреля. Надо было 4 апреля.

[5] Дмитрий Дмитриевич представлял свои сочинения на суд коллег из Союза композиторов, терпеливо и всегда молча выслушивая любые суждения, в том числе и крайне несправедливые.

[6] В концертной поездке принимал участие Квартет имени Бетховена.

[7] Шостакович был избран депутатом Верховного Совета РСФСР в феврале 1951 года.

57

4.VII.1951. Москва — 4 июля

Дорогой Исаак Давыдович. Я задержался в Москве по следующей причине: мне должны сделать операцию (удаление гланд). И лишь 2-го июля положили для этого в больницу[1]. Удаление гланд, по мнению медиков, избавит меня от ангин и простуд, и жизнь моя станет еще лучше. Анекдот о гландах меня не пугает. Анекдот следующий:

А: Вы слышали, у Н. вырезали гланды!

Б: Ах, бедный! Он так хотел иметь детей.

Т. к. у меня уже двое детей, то перспектива больше не иметь детей, также меня не пугает[2]. Следовательно, все будет хорошо. Плохо только то, что эта операция меня пугает тем, что, говорят, в течение 3—4-х дней неслыханно болит горло. А если захочется, напр[имер], откашляться, то от мучений глаза лезут на лоб, и иной раз теряется сознание. Помоги мне Бог перенести это. Задержался я из-за того, что мое помещение в больницу ежедневно откладывалось.

Горячо поздравляю тебя и Веру Васильевну с новосельем[3]. Мне очень хочется у вас побывать и задним числом отпраздновать это значительное событие[4].

О моих предоперационных страхах никому не говори. Мне не хочется, чтобы волновалась моя мама. После операции я пролежу в больнице дней 10. Потом поеду в Комарово. До 20-го я буду в Москве. Напиши мне. Если я буду еще в больнице, мне передадут. А после 20-го буду в Комарове[5]. Вот точный адрес:

Ленинград. Курортный район. Комарово. Большой проспект, 24[6]. Очень хочется, чтобы это письмо застало тебя в Ленинграде[7].

Крепко жму руку. Привет Вере Васильевне.

Д. Шостакович

Пока что меня одолевает страх перед операцией (мне стыдно, т. к. операция пустяковая) и неслыханная скука. Ведь я совершенно здоров, а нахожусь в больнице. *Д. Ш.*

[1] Данное письмо написано в больнице.

[2] Стиль этого письма очень характерен для Шостаковича. Тревога, связанная с предстоящей операцией, сочетается у него с чувством юмора. Оно и в последующие годы не покидало его, когда он серьезно заболевал. Какой-то причудливой светотенью было пронизано его отношение к своему здоровью, но в общем мужество господствовало над страхами. Он зачастую над ними подтрунивал.

[3] Мы с женой переехали на новую квартиру, расположенную на проспекте Сталина, бывшем Международном, ныне Московском проспекте, близ Фонтанки.

[4] Ожидая операции, последствия которой Дмитрий Дмитриевич описывает с устрашающими подробностями, он, тем не менее, с удовольствием предвкушает трапезу по поводу моего новоселья. Его настроения отличались большой подвижностью: грусть быстро сменялась веселой улыбкой.

[5] Шостакович, как правило, твердо и безоговорочно называл даты своих предстоящих отъездов или приездов, не пользуясь толстовской формулой «е. б. ж.» («если буду жив»).

[6] Так называемую скуку Шостакович обычно переносил с завидным терпением и покорностью, но, находясь в больнице в знойные июльские дни (а лето 1951 года было в Москве очень жарким) и чувствуя себя здоровым, он пожаловался на «неслыханную скуку».

21.VII.1951. Москва 21 июля

Дорогой Исаак Давыдович.

Сегодня я уезжаю в Комарово. Чувствую себя хорошо. Немного побаливает горло, но скоро совсем заживет[1]. Очень буду рад, если ты напишешь мне о своем житье-бытье[2]. На обратном пути заезжай ко мне. Здесь будет или Феня или Паша, которым будет дано соответствующее указание о тебе[3]. У Левона Тадевосевича Атовмьяна будет заготовлен для тебя бланк с заказом для Вас билетов от Москвы до Ленинграда[4]. Его телефон К 4-41-55. Привет Вере Васильевне. Д. Шостакович

[1] См. предыдущее письмо от 4 июля 1951 года.

[2] В середине июля 1951 года моя жена и я отправились на месяц в Анапу. Дмитрию Дмитриевичу хотелось, чтобы я написал ему о своем житье-бытье в Анапе.

[3] Шостакович без моей просьбы трогательно заботился о моем возвращении из Анапы, в Ленинград с остановкой в Москве.

[4] Л. Т. Атовмьян — композитор, друг Шостаковича. У него был оставлен для меня бланк депутата Верховного Совета РСФСР, каковым был Дмитрий Дмитриевич.

59

18.VIII.1951. Комарово 18 августа

Дорогой Исаак Давыдович.

По моим расчетам ты уже должен быть в Ленинграде[1]. Позвони или дай о себе знать как-нибудь.

Очень хочу тебя видеть[2].

Передай привет Вере Васильевне.

Крепко жму руку. Д. Шостакович

[1] Я вернулся в Ленинград в середине июля. В Москве мне и моей жене был оказан очень хороший прием домработницей Феней, прекрасной женщиной, обожавшей Дмитрия Дмитриевича, следовательно, благоволившей к его друзьям.

[2] Мое свидание с Дмитрием Дмитриевичем несколько задержалось из-за последствий ангины, которую я подхватил в Анапе.

60

24.IX.1951. Москва 24 сентября

Дорогой Исаак Давыдович.

Спасибо за письмо. Дай Бог, чтобы жизнь у Гавриила Давы-

довича наладилась[1]. У меня все благополучно. Завтра я в скромнейшей обстановке буду праздновать свое 45-летие[2]. На душе грустно. Передай привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

Свешников репетирует мои хоры[3]. Получается неплохо. 10 октября они будут впервые исполняться. 11-го еду в концертную поездку в Баку, Ереван и Тбилиси. Вернусь к праздникам. Может быть, в первых числах октября приеду в Ленинград.

Д. Ш.

[1] Мой брат скульптор испытывал большие трудности с получением мастерской для работы.

[2] Дмитрий Дмитриевич имел обыкновение писать мне или в канун, или в день своего рождения, когда я не мог приехать в Москву, чтобы присутствовать на таком торжестве, иногда очень скромном, а иногда с приглашением изрядного количества гостей. Смотря по обстоятельствам.

[3] Александр Васильевич Свешников (1890—1980) — хормейстер. Под его управлением 10 октября 1951 года состоялась премьера Десяти поэм в Москве, в Большом зале консерватории.

61

9.X.1951. Москва — 9 октября

Дорогой Исаак Давыдович.

Передай большую благодарность Гавриилу Давыдовичу за его подарок. Очень мне нравятся обе его скульптуры[1]. Завтра играют, вернее поют мои поэмы для хора. Так я назвал это сочинение. Называть «хоры» не убедительно. Это все равно, что произведения для оркестра называть «оркестры»[2].

Очень мне неприятно, что ты хвораешь. Поправляйся. Привет Вере Васильевне.

Д. Шостакович

[1] Шостаковичу нравились скульптурные и живописные работы моего брата Гавриила Давыдовича. Он особенно ценил подаренный ему бюст Бетховена, украсивший его кабинет.

[2] Шостакович не любил надуманных, вычурных названий музыкальных произведений. Назвав свои глубоко драматичные хоры «поэмами», он подчеркнул их изобразительную поэтическую силу.

62

5.XII.1951. Москва — 5 декабря

Дорогой Исаак Давыдович.

Оба твои письма я получил. В отношении Гавриила Давы-

довича я сделаю все возможное. Хорошо было бы, если бы о нем поднял вопрос кто-нибудь из его коллег-скульпторов[1]. Очень тебе благодарен, что ты написал Нине письмо[2]. Она чувствует себя хорошо, но ужасно скучает.

Крепко жму руку.

Д. Шостакович

Передай привет Вере Васильевне.

[1] См. примечание 1 к письму 60 от 24 сентября 1951 года.
[2] Имеется в виду жена Дмитрия Дмитриевича — Нина Васильевна.

63

16.IX.1952. Москва 16 сентября

Дорогой Исаак Давыдович!

Если у тебя будет возможность, то приезжай 25-го в Москву[1]. Хоть у меня плохое сейчас настроение, но я решил отпраздновать свое 46-летие. Если ты решишь приехать, то привези с собой 2 сига и 2 угря (разумеется, копченых)[2]. Приобретай их за 1—2 часа до своего отъезда. Пришли мне телеграмму, в которой сообщи день и номер поезда. Я тебя встречу[3]. 25-го я устраиваю обед в 7 час. вечера [4]. Нужно ли говорить, как я буду рад, если ты приедешь. Привет Вере Васильевне.

Твой *Д. Шостакович*

[1] В день рождения.
[2] Дмитрий Дмитриевич был неприхотлив в еде, ел, что Бог пошлет, но у него были свои гастрономические пристрастия. Особым его расположением пользовались, например, пельмени, каковые с большим искусством изготовлялись его матерью Софьей Васильевной, копченые сиги и угри. Во время его частых приездов в Ленинград, когда он был в духе, то непременно покупал копченых сигов. Они водились в изобилии именно в Ленинграде, а в Москве были редкостью.

Дмитрий Дмитриевич, как мы читаем в его письме, со знанием дела, даже не без педантизма, указал мне, когда следует приобрести эти рыбки, чтобы довезти их до Москвы во всей свежести. Для него не существовало мелочей, когда он вникал в какие-либо дела — крупные или малозначащие, — отсюда его доскональность в разъяснении деталей.
[3] Шостакович поставил себе за правило встречать меня на вокзале и увозить к себе домой, где я всегда проживал, иногда несколько суток, а иногда и несколько недель. То было свидетельством исключительного благоволения к моей скромной особе, ибо Дмитрий Дмитриевич терпеть не мог сколько-нибудь продолжительного присутствия в своем доме посторонних, то есть не принадлежащих к кругу его семьи людей, как бы он им ни симпатизировал.

[4] Дмитрий Дмитриевич не случайно указывает время обеда. Дело в том, что он допускал опоздание гостей, приглашенных к обеду или ужину, на 15—20 минут, после чего начиналась трапеза, и сильно опоздавшие гости должны были пенять на самих себя.

64

14.X.1952. Москва 14 октября

Дорогой Исаак Давыдович.

С большой благодарностью возвращаю тебе тетрадку с конспектами[1]. В моей работе по изучению классиков марксизма-ленинизма мне очень помогло чтение твоих конспектов. Хотелось бы знать, как ты живешь. Моя жизнь идет хорошо[2]. Вернулась домой Нина. Но после праздников она опять уедет[3]. Возможно, я поеду вместе с ней. В Тбилиси, Баку и Ереване я буду знакомиться с новыми музыкальными произведениями[4]. А возможно, что и не поеду[5]. Все будет зависеть от обстоятельств. Передай привет Вере Васильевне и всем твоим.

Твой Д. Шостакович

[1] История с конспектом такова. Союз композиторов, озабоченный идейным воспитанием Шостаковича, решил избавить его от посещения кружков и предоставить ему возможность индивидуально изучать труды Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», а также «Экономические проблемы социализма в СССР». Они были опубликованы в 1950 и 1952 годах и изучались по всей стране с превеликим усердием, ибо в то время культ Сталина поднялся на головокружительную высоту.

Для того чтобы облегчить Шостаковичу изучение упомянутых трудов, к нему был направлен домой для «инструктажа» педагог. Это было, конечно, очень любезно со стороны Союза композиторов.

Я как раз жил у Дмитрия Дмитриевича, когда он не без волнения ожидал прихода наставника. В назначенный час раздался звонок и в кабинете появился человек почтенного возраста, старавшийся, как мне показалось, расположить к себе неофита Шостаковича. Однако беседа на общие темы не клеилась. Разговор о погоде быстро исчерпал себя. В моем представлении положение было явно трагикомическим.

Дмитрий Дмитриевич с подчеркнуто серьезной миной на лице приготовился слушать наставления и рекомендации непрошеного гостя, который в полной мере осознавал всю важность возложенной на него миссии. Она ему льстила и вместе с тем требовала от него возвышенно-вдохновляющих слов. Конечно, Шостакович — композитор знаменитый, но он совершил большие идейно-творческие ошибки. Для того чтобы ошибки не повторялись, необходимо поднять его идеологический уровень, чему он — наставник — будет всячески споспешествовать. Визитер внимательно оглядел кабинет, похвалил его устройство и затем в мягкой форме, даже с виноватой улыбкой выразил удивление по поводу того, что не видит на стенах кабинета

портрета «товарища Сталина». Время было тяжелое. Удивление прозвучало как упрек. Дмитрий Дмитриевич смутился, начал нервно ходить по комнате и выпалил, что он непременно приобретет портрет «товарища Сталина». (Правда, обещание осталось невыполненным, так как вскоре мода на сталинские портреты прошла.)

«Ну, вот и хорошо. А теперь приступим к делу», — сказал умиротворенный наставник.

Когда началась проповедь, я почувствовал себя лишним и быстро ушел в другую комнату.

По окончании визита мы обсуждали неожиданную ситуацию. Дело в том, что Шостаковичу было вменено в обязанность время от времени показывать наставнику конспекты изучаемых им трудов. Это Дмитрию Дмитриевичу не очень-то улыбалось, и я пообещал ему прислать из Ленинграда изготовленные мною конспекты вышеназванных трудов для «критического освоения», как было принято говорить в те времена.

Свое слово я, разумеется, сдержал, за что меня благодарил Шостакович.

Но лиха беда начало.

Примерно месяц спустя, в ноябре 1952 года возникла необходимость, причем самая неотложная, конспектировать высказывания Г. М. Маленкова о «типическом в художественном творчестве», вошедшие в текст его доклада на XIX съезде партии. Высказывания эти изучались создателями духовных и культурных ценностей, ибо без глубокого постижения оных высказываний художественное творчество не могло стать полноценным. Такова история с конспектами, случившаяся в достопамятном 1952 году.

[2] Когда Шостакович с некоторым вызовом сообщал мне, что его «жизнь идет хорошо», то он тем самым давал мне понять, что на душе у него плохо и настроение прескверное. Так уж повелось в нашей переписке. Несведущий читатель примет за чистую монету мажорную фразу Дмитрия Дмитриевича.

[3] Нина Васильевна, будучи астрофизиком, уезжала на продолжительные сроки в научные экспедиции в Армению.

[4] Дмитрий Дмитриевич любил путешествия, любил дорогу, у него была большая охота к перемене мест, приносившая ему, как это ни странно, душевный покой.

[5] Поездка была отложена на ноябрь 1952 года.

65

16.X.1952. Москва

16 октября

Дорогой Исаак Давыдович.

Вчера меня вызвали в Союз и предложили поехать в Ленинград на прослушивание произведений ленинградских композиторов. Я согласился. Приеду я 26-го октября. Может быть, к тому времени ты исполнишь мою просьбу. Как это было бы хорошо. Твои конспекты[1] я тебе переслал. Они мне очень

помогли. Итак, до скорой встречи. Всем твоим передай большой привет.

Твой Д. Шостакович

[1] См. примечание 1 к письму 64 от 14 октября 1952 года.

1953

66

11.IV.1953. Москва 11 апреля

Дорогой Исаак Давыдович.

Пересылаю тебе письмо, полученное мною от Ленгорздравотдела. Т. к. тебя этот вопрос интересует, то я и решил переправить тебе это письмо[1].

Очень я без тебя соскучился. 18-го уезжаю в Кисловодск на месяц.

Передай привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

Предыдущее письмо датировано 16 октября 1952 года. Некоторые письма у меня не сохранились. За минувшие шесть месяцев произошли тягостные события, а среди них одно трагическое: арест композитора М. С. Вайнберга — зятя знаменитого актера Соломона Михайловича Михоэлса, погибшего в 1948 году, имя которого впоследствии было осквернено черной клеветой.

Шостакович любил и высоко ценил М. С. Вайнберга как выдающегося композитора. Он мучительно переживал его арест. Писать на эту тему письма Дмитрий Дмитриевич в те времена, конечно, не мог. Нам приходилось довольствоваться устными беседами во время приездов Шостаковича в Ленинград и моих посещений Москвы.

[1] Дмитрий Дмитриевич как депутат Верховного Совета РСФСР ходатайствовал о присвоении звания «Заслуженный врач РСФСР» доктору В. А. Тарасову, который был моим сослуживцем по Малому оперному театру. В. А. Тарасов провел всю блокаду в Ленинграде, получил тяжелое ранение, и я был заинтересован в присвоении ему почетного звания. Однако Ленгорздравотдел отклонил ходатайство Шостаковича. К письму приложен отрицательный ответ Ленгорздравотдела.

67

27.IV.1953. Кисловодск 27 апреля

Дорогой Исаак Давыдович. Горячо поздравляю тебя, Веру Васильевну и всех твоих с Первым мая.

Вот уже 8 дней, как я нахожусь в Кисловодске. Здесь хо-

рошо. Санаторий, в котором мы живем, построен великолепно. Однако мне кажется, что обслуживание могло быть лучше. Возможно, что это лишь мой каприз. Хотелось бы более вежливого обращения с отдыхающими. Именно более вежливого, т. к. обращаются в общем вежливо, но не очень[1].

Последние дни вспоминаю тебя и артистов оркестра. Не хотелось бы мне быть на месте... впрочем, ты, вероятно, и сам догадываешься, на чьем месте мне не хотелось бы быть.

Пробудем мы в Кисловодске до 10-го мая. Если ты напишешь мне письмо и оно застанет меня в Кисловодске, то я был бы этому очень рад. Пиши по адресу: Кисловодск. Санаторий имени Орджоникидзе. Мне. Посылай письмо авиапочтой. Стоит это 1 рубль. Наклей на конверт марку в 1 рубль и над адресом напиши «авиапочтой»[2].

На днях вернулся домой М. С. Вайнберг, о чем он известил меня по телеграфу[3].

Какие у тебя планы на лето? Как было бы хорошо, если бы ты был в Комарове. Передай привет от нас Вере Васильевне и всем твоим.

Целую. *Д. Шостакович*

Письмо это проникнуто хорошим самочувствием и душевным покоем. Читая его, я видел лицо Дмитрия Дмитриевича, слышал интонации и подтекст, хотя в самом тексте нет ничего особенного.

Оно было написано в начале того нового периода в общественной жизни, который был метко назван И. Г. Эренбургом «оттепелью». Освобождение из тюрьмы ни в чем не повинного композитора М. С. Вайнберга принесло много радости Шостаковичу. Он поехал в Кисловодск с легким сердцем, и добрые надежды его не обманули.

[1] Дмитрий Дмитриевич был очень чувствителен к любым проявлениям грубости, потому что сам был безукоризненно вежлив, не допуская в общении с людьми ни амикошонства, ни сюсюканья.

[2] Читая эти заботливые наставления, я почему-то вспоминал Чехова, который также подробно объяснял своим корреспондентам, как надо надписывать конверт или составлять телеграммы в Мелихово или в Ялту.

[3] Моисей (или Мечислав) Самуилович Вайнберг прекрасно понимал, как Шостаковича волновала и тревожила его судьба, и, выйдя на свободу, он тотчас же известил об этом Дмитрия Дмитриевича.

68

6.V.1953. Кисловодск — 6 мая

Дорогой Исаак Давыдович.

Получил я твое письмо. Спасибо. Я очень рад тому, что ты предполагаешь лето провести в Комарове[1]. Я тебя еще не посвятил в состояние моего здоровья.

Дело в том, что мой желудок перестал высоко держать свою обязанность хорошо переваривать пищу. Особенно грустно то, что мне нельзя есть ряд вкусных вещей: свинину, баранину, копчености (сиг, угорь, колбаса, рыба).

Противопоказаны водка, вина, коньяки. Но все равно, пить я буду[2]. Правда, после вливания в себя алкоголя мне бывает весьма мерзко. Но те 1—2 часа, следуемые непосредственно за вливанием, искупают последующие страдания. Следовательно, в Комарове мы иногда с тобой будем выпивать и закусывать, но в меру[3].

12 мая мы отбываем из Кисловодска. Здесь красиво, но не люблю санаторную жизнь. В ясную погоду отсюда виден Эльбрус, или, как называет его подавляющее большинство отдыхающих, Эльбрус с ударением на Э. Вероятно, это идет от пóртфеля, квáртала, дóцента[4]. Очень хочется побывать в Ленинграде. Но для этого нужен предлог. Кланяйся всем твоим.

До встречи. *Д. Шостакович*

[1] С 1952 года я начал проводить свой отпуск в Комарове. Шостакович, горячо любя Ленинград и его окрестности, много раз приезжал на лето в Комарово. В 1947 году он поселился на государственной даче, а когда ему было отказано в дальнейшей аренде, он в 1950-м нанял помещение у своего тестя В. В. Варзара, построившего двухэтажный деревянный дом близ железнодорожной станции в обширном овраге (или обрыве), в котором росли в большом количестве высокие стройные сосны и ели. (Можно сказать, что этот дачный участок был отвоеван у леса.)

Дом не имел никаких удобств: ни уборной, ни ванной. Очень легкий на подъем, Дмитрий Дмитриевич один-два раза в неделю садился в поезд и отправлялся в город на квартиру к матери, где он принимал ванну.

Шостакович вместе с семьей занимал второй этаж, состоявший из трех комнат и маленькой застекленной веранды, служившей ему «кабинетом». В ней стоял простой стол самодельной работы и несколько стульев. Здесь мы сидели и отводили душу в бесконечных беседах. 50-е годы изобиловали новостями, и было о чем поговорить. Здесь изредка появлялись приезжие из Ленинграда или Москвы.

На веранде сочинялась первая часть Десятой симфонии, а впоследствии Первый виолончельный концерт и ряд других произведений.

Однажды Дмитрий Дмитриевич, придя ко мне, со смехом рассказал, что утром воробей, прилетев в растворенное окно, с испугу нагадил на партитуру Десятой симфонии, лежавшей на столе веранды. Моя матушка и Вера Васильевна уверяли, что птичка, сделав такой неделикатный сюрприз, тем самым предсказала успех нового сочинения. Дмитрий Дмитриевич раздумчиво покачал головой и, улыбаясь, сказал: «Дай Бог, чтобы это было так».

Дача, которую я снимал в течение семи лет, находилась в одном километре от Шостаковича, и мы с ним встречались каждый божий день, а часто и днем, и вечером, то у меня, то у него, чаще у него. Он любил оставлять меня ужинать на маленькой нижней веранде, рядом с кухней.

В конце августа овраг, объятый тьмой, приобретал таинственный вид, становился как бы незнакомым, загадочным, и Дмитрий Дмитриевич провожал меня наверх до дороги, по которой я возвращался к себе.

В 50-х годах поселок был довольно пустынным, антиавтомобильным, тихим, напоенным чудесным воздухом. На главной улице, ведущей к вокзалу, помимо «Гастронома», помещались пивной и газетный киоски, и Дмитрий Дмитриевич ранним утром аккуратно приходил покупать прессу, а днем нам обоим случалось отведывать пива за круглым столиком, стоявшим у синего киоска.

Так мы жили летом в Комарове, довольствуясь жильем, в котором отсутствовал какой бы то ни было комфорт, и это обстоятельство не очень-то нас смущало.

Шостаковича в ту пору ожидали зимние премьеры двух прекраснейших произведений, которые не могли быть исполнены в предыдущие годы, так как им ставились препоны. Это Первый скрипичный концерт и вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии».

[2] Одно время в околомузыкальных кругах распространялись слухи о том, что Шостакович много пьет, что не соответствовало действительности, что было измышлением недругов и обывателей.

Истины ради скажу, что Дмитрий Дмитриевич не был аскетом. Ему было приятно в дружеской компании осушить рюмку-другую.

[3] Шостакович, цитируя А. П. Чехова, говаривал, что вино, выпитое в меру, «веселит сердце и возбуждает ум».

[4] «В ясную погоду отсюда виден Эльбрус». Это хорошая, я бы сказал, чеховская фраза. (Известно, что Чехов нередко призывал начинающих писателей ценить лаконичное, простое выражение, вроде «шел дождь».)

Шостакович не присовокупил к своей скупой строке ни одной подробности о красоте пейзажа. Этого он вообще делать не любил, полагая, что до него было великое множество описаний Эльбруса. Характерно, что его смешило неверное ударение в названии знаменитой горной вершины и он шутливо вспомнил по ассоциации другие словечки с неверными ударениями, бывшие в широком обиходе.

69

24.VI.1953. Комарово — 24 июня

Дорогой Исаак Давыдович.

Я приехал в Комарово. Буду очень рад, если ты позвонишь мне (тел. 35) или приедешь ко мне[1]. На всякий случай, позвони моей маме, если соберешься приехать. Она будет в курсе моих передвижений и во всяком случае в курсе моего приезда в Ленинград. Передай привет Вере Васильевне.

Жду ответа.

Д. Шостакович

[1] На дачу в Комарово я обычно переезжал после экзаменационной сессии, в начале июля, но Дмитрий Дмитриевич пожелал встретиться до моего переезда.

70

22.VIII.1953. Москва 22 авгус

Дорогой Исаак Давыдович.

Вчера я получил твою телеграмму. Она меня с одной стороны обрадовала, а с другой огорчила. Очевидно, ты деньги получил лишь 21-го числа, хотя я перевел тебе их телеграфом 18-го. И вероятно задержка принесла тебе немало неприятностей. Извини меня, но я не виноват[1].

У меня все обстоит благополучно.

Возможно, что в начале сентября приеду в Ленинград.

Крепко жму руку. Д. Шостакович

Шостакович против обыкновения не стал дожидаться конца августа и уехал из Комарова в Москву в середине месяца.

[1] Щепетильность Шостаковича в денежных делах была велика до чрезмерности. Когда ему приходилось брать в долг, он возвращал его с исключительной аккуратностью и точностью, не терпя малейшего промедления.

Случилось так, что я ссудил его деньгами, каковые не прибыли из Москвы в Комарово в назначенный день. Никаких неприятностей я по этому поводу не испытал, но Дмитрий Дмитриевич был обеспокоен этим обстоятельством и счел необходимым оправдаться за ошибку, которую он не совершил.

71

28.VIII.1953. Москва 28 августа

Дорогой Исаак Давыдович.

Горячо поздравляю с началом нового учебного года и желаю тебе, чтобы он был для тебя еще более радостным, чем предыдущие. Я живу благополучно, но несколько скучаю: вся моя семья отбыла до 15 сентября в Крым. Я совершенно один[1]. Много занимаюсь общественной деятельностью и журналистикой[2]. Мало двигаю вперед симфонию, хотя вчера закончил вторую часть, коей недоволен[3].

У меня к тебе просьба: узнай, пожалуйста, где находится Галя Уствольская[4]. Вернулась ли она в Ленинград и здорова ли? У меня к ней целый ряд дел. Я ей много писал и телеграфировал. Зная ее аккуратность, беспокоюсь из-за отсутствия известий. Если это тебя не очень обременит, то узнай: где она и здорова ли? Передай привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] К одиночеству, по моим многолетним наблюдениям, Шостакович относился, что называется, по-философски. Оно его, как правило, не тяготило. Дмитрий Дмитриевич предпочитал одиночество, наполненное размышлениями или музыкальными замыслами, общению с неинтересными людьми.

[2] «Журналистика» Шостаковича порою вызывала у меня раздражение, о чем я ему откровенно говорил, и он со мною не спорил. Дело в том, что его осаждали бойкие журналисты, якобы не желавшие утруждать знаменитого композитора, а добивавшиеся лишь его подписи под готовыми статьями, которые услужливо клались на письменный стол. Случалось так, что Дмитрий Дмитриевич ставил свое имя под журналистскими опусами, желая поскорее избавиться от назойливых щелкоперов.

[3] Очень трудно понять авторское недовольство второй частью Десятой симфонии. Оно, вероятно, может быть названо «святым» недовольством, ибо это сверкающее, грозное, вихревое Скерцо принадлежит, как мне кажется, к подлинным шедеврам симфонического творчества Шостаковича.

[4] Галина Ивановна Уствольская (р. 1919) — композитор, обучавшаяся в Ленинградской консерватории у Шостаковича.

72

29.VIII.1953. Москва — 29 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

Моя просьба отпадает[1]. Я получил телеграмму и основания для моего беспокойства прошли.

Д. Шостакович

[1] Шостакович не допускал никакой небрежности во взаимоотношениях с людьми, тем более близкими.

Получив нужные сведения о Г. И. Уствольской (см. примечание 4 к письму 71 от 28 августа 1953 года), он тотчас написал мне об этом, чтобы не причинять мне хлопоты, даже самые минимальные.

1954

73

4.I.1954. Москва — 4 января

Дорогой Исаак Давыдович.

Поздравляю тебя и Веру Васильевну с Новым годом. Желаю всего лучшего, а главное, здоровья. Спасибо тебе за твое письмо. Я его много раз перечитал и оно меня весьма радовало и волновало[1]. Как известно, «поощрение столь же необ-

ходимо художнику, как канифоль смычку виртуоза» (К. Прутков). А твое поощрение для меня слишком дорого[2].

Крепко тебя целую.

Д. Шостакович

[1] Я писал Шостаковичу о Пятом квартете и только что исполненной в Ленинградской филармонии Десятой симфонии под управлением Е. А. Мравинского.

[2] Змеиное шипение о Десятой симфонии долетало до слуха Дмитрия Дмитриевича, и, вероятно, мой восторженный отзыв об этом прекрасном произведении был для автора существенной душевной поддержкой.

До своего письма я имел случай публично сказать похвальное слово новому сочинению. Это было на ужине, устроенном Шостаковичем в большом номере «Европейской гостиницы» сразу же после премьеры (17 декабря 1953 года) Десятой симфонии.

Присутствовавший на ужине Арам Ильич Хачатурян с энтузиазмом подхватил мой тост. Вскоре, через несколько месяцев (весной 1954 года) вокруг симфонии разгорелась баталия, болезненно воспринимавшаяся Шостаковичем. Лихие критики-ортодоксы обвиняли ее в смертных грехах: пессимизме, мрачности, истерии, формализме — этот бранный термин в писаниях о Десятой симфонии вдруг обрел свой былой пагубный смысл.

«Песнь о лесах» (нелюбимое Шостаковичем сочинение) противопоставлялась в качестве положительного образца «порочной» симфонии. Это, конечно, походило на скверный анекдот.

74

28.I.1954. Москва — 28 января

Дорогой Исаак Давыдович.

Отвечаю тебе с некоторым опозданием. Я должен был ехать в Ленинград и там повидать тебя и ответить на твои вопросы устно. Теперь моя поездка отложилась на несколько дней, и я решил тебе написать. Живу я хорошо. Очень хочу приехать в Ленинград и подробно с тобой поговорить. В моей жизни происходят интересные и приятные события[1]. В силу этого, у меня сейчас хорошее настроение и я полон энергии, творческих планов и т. п. Передай сердечный привет Вере Васильевне.

Крепко тебя целую.

Д. Шостакович

[1] Шостакович в описываемое время с большой энергией, с большим душевным подъемом хлопотал за реабилитацию безвинно сосланных и заключенных в лагеря знакомых ему людей. Хлопоты эти были успешными и радовали его безгранично.

К слову сказать, заботы Дмитрия Дмитриевича о репрессированных,

горячее сострадание к ним составляют прекрасную страницу в его еще по-настоящему не написанной биографии.

75

7.IV.1954. Москва — 7 апреля

Дорогой Исаак Давыдович.

Спасибо тебе за обещанное письмо.

Я ждал его с нетерпением.

У меня обстоит все хорошо. Дискуссия прошла оживленно и закончилась в мою пользу[1]. Несколько хуже обстоит в другом месте. Музыкальная секция легла костьми и перенесла мою симфонию на будущий год, оставив лишь кантату «Над Родиной нашей солнце сияет» и 24 прелюдии и фуги[2].

Возможно, что через 2—3 дня мне придется уехать. По возвращении буду тебе звонить.

Крепко жму руку. Привет Вере Васильевне.

Д. Шостакович

[1] Имеется в виду дискуссия о Десятой симфонии. Когда в 1936 и в 1948 годах шла проработка Шостаковича — «формалиста» и «антинародного» композитора, никто из его коллег не мог и не смел заступиться за него, а весной 1954 года при обсуждении Десятой симфонии у нее нашлись защитники в лице А. И. Хачатуряна и ряда других именитых музыкантов.

Времена изменились к лучшему, однако преданная в 1936 году анафеме опера «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова») все еще оставалась под запретом.

[2] Речь идет о выдвижении Десятой симфонии на соискание премии, но музыкальная секция Комитета по сталинским премиям воспротивилась этому: она «легла костьми», как пишет Дмитрий Дмитриевич.

76

25.VI.1954. Комарово — 25 июня

Дорогой Исаак Давыдович.

Я приехал в Комарово. Очень хочу тебя видеть[1]. Приезжай, если будет возможность и желание, но предварительно позвони (тел. № 35). Я думаю все время сидеть в Комарове. Однако, 30-го июня придется съездить в город.

Передай привет Вере Васильевне.

Жду известий.

Д. Шостакович

[1] Дмитрий Дмитриевич, приезжая на лето в Комарово, как правило, сразу же назначал мне свидание — письменно или по телефону, не дожидаясь моего переезда на дачу (в Комарово) в начале июля после экзаменационной сессии в консерватории.

77

18.IX.1954. Москва 18 сентября

Дорогой Исаак Давыдович![1]

Неприятные и неотложные дела задержали меня в Москве. Я приеду в Ленинград 27 или 28-го сентября[2].

Если ты не очень на меня сердишься, то сохрани для меня время: мне очень нужно тебя повидать.

Передай привет Вере Васильевне.

Крепко жму руку.

Д. Шостакович

[1] Шостакович, против своего обыкновения, обращаясь ко мне, поставил вместо неизменной точки восклицательный знак. Эту деталь я рассматривал как выражение тревожной эмоции, вызванной «неприятными», как он пишет, обстоятельствами.

[2] Дмитрий Дмитриевич должен был приехать в Ленинград не позже 20 сентября. Не имея возможности выполнить свое обещание, он с присущей ему аккуратностью и деликатностью известил меня об этом.

Конец 1954 года был для Шостаковича омрачен трагическими событием.

4 декабря в Ереване скончалась во цвете лет после операции Нина Васильевна — жена Дмитрия Дмитриевича — мать его детей. Срочно улетев в Ереван, он застал Нину Васильевну еще живой при последних часах ее жизни.

Тело покойной доставили самолетом в Москву для похорон на Новодевичьем кладбище. 7 декабря я приехал в Москву, дожидаясь Дмитрия Дмитриевича, прибывшего* 10 декабря поездом, именно поездом — таково было желание Нины Васильевны.

Рано утром в декабрьской мгле на вокзале собралось множество встречавших: родственники, композиторы, музыканты, физики — коллеги покойной. Среди последних мне запомнилась фигура известного ученого Л. Д. Ландау.

В мучительные часы, предшествующие похоронам, Дмитрий Дмитриевич несколько раз принимался рассказывать мне о последних минутах Нины Васильевны, и каждый раз его исхудавшее лицо начинало судорожно дергаться и из глаз струились слезы, но он большим усилием воли брал себя в руки, и мы обрывистыми фразами переходили на другие, ничего не значащие темы.

Через кабинет проходила длинная вереница людей, пожелавших проститься с покойной. Звучала музыка квартетов и Восьмой симфонии. Л. Т. Атовмьян для этой цели приладил магнитофон. Музыка исторгала у меня слезы. Я сидел на диване рядом с Дмитрием Дмитриевичем, который временами беззвучно плакал.

После похорон, состоявшихся во второй половине дня на заснеженном Новодевичьем кладбище, домработница Феня устроила поминки, на которых, кроме родных, присутствовали Л. Т. Атовмьян, Ю. В. Свиридов и я.

---

* Вместе с дочерью Галиной.

Мое расставание с Дмитрием Дмитриевичем было исполнено печали и скорби.

Ночью 10 декабря я вместе со Свиридовым уехал в одном купе в Ленинград.

Почти до самого утра мы с горячей любовью говорили о Шостаковиче, о его гениальном даровании, о его феноменальной творческой воле, которую ничто не способно сломить. Злые силы ее могут согнуть, но она снова выпрямится, подобно стальной пружине. Такую мысль развивал Ю. В. Свиридов.

1955

78

21.III.1955. Болшево

21 марта
Congrès des peuples pour la paix.
Vienne 1952[1]

Дорогой Исаак Давыдович!

По приезде в Москву, я сразу отправился на дачу в Болшево[2]. Изучаю клавир «Леди Макбет» и прежде всего пришел к мысли о желательности изменения текста в начале второй картины (стр. 42—55). Правда, в общем звучании здесь нельзя разъединять ни одного слова, но на глаз — очень неприятно. Может быть, главное внимание надо обратить на текст Аксиньи, т. к. это единственный женский голос в этом ансамбле, да еще на высоких нотах.

Может быть, придется изменить многократно повторяющиеся слова на стр. 109—110 («а мужика, а мужика»). Пуритански настроенные слушатели не любят такого грубого натурализма.

Мне кажется, что на стр. 161—162 надо придумать другие слова для Катерины Львовны. Вместо требования страстного поцелуя нужно что-нибудь другое. Я думаю, что здесь следует идти не от волшебно проведенной или волшебно проводимой ночи, а от того, что накануне Сергей был жестоко выпорот. Пусть Сергей поправляется от порки, а Катерина Львовна за ним ухаживает. Стр. 169—170: надо опять убрать мотив ненасытной самки. Стр. 171: упрек по адресу Сергея, что он спит, «когда любящие губы так близко» тоже надо убрать. Наоборот: пусть она радуется, что Сергей спит или засыпает. Значит, он поправляется после порки. На стр. 178 выбросить требование поцелуя. О тексте на стр. 198—199 мы уже с тобой говорили. Стр. 280. Хорошо бы в реплике Сергея обойтись без «сволочи».

Еще раз прошу тебя позвонить Донияху[3] и сказать ему, чтобы в партитуру был внесен текст изданного клавира. Перед изданием многое было кое-как исправлено мной. Те изменения, о которых я тебе сейчас написал, мне кажется, абсолютно

необходимы, но вообще просмотри весь текст критическим взором. И если ты найдешь нужным еще что-либо исправить, то исправляй.

Я пока еще нахожусь под впечатлением «Леди Макбет». Опять остро я ее вспоминаю. И считаю, что то, что произошло в Малеготе[4], факт сам по себе отрадный.

Передай привет Вере Васильевне.

Крепко жму руку.

Д. Шостакович

P. S. Возможно, что в свою поездку[5] я поеду через Ленинград. Тогда 30 или 31-го марта я буду в Ленинграде. 31-го хочу посмотреть «Войну и мир»[6]. *Д. Ш.*

Только что по радио услыхал о назначении тов. Н. А. Михайлова министром культуры СССР. Очень порадовался этому. Все помнят, как он по-боевому претворял в жизнь Исторические Постановления. Особенно рада прогрессивная музыкальная общественность, всегда возлагавшая на тов. Михайлова большие надежды[7].

Д. Ш.

Этому письму предшествовали события, о которых следует хотя бы кратко сказать.

23 декабря 1954 года приехавший в Ленинград Шостакович рассказал мне, что часы печального одиночества он скрашивает тем, что просматривает «Леди Макбет Мценского уезда» и исправляет партию Бориса Тимофеевича. Вот записанные мной его подлинные слова: «Я там заметил много недостатков. Кроме того, эта партия очень неудобна для певца. Второй и третий акты я оставляю в неприкосновенности. Хочу с тобой посоветоваться о финале оперы. Впрочем, я это делаю не для театра. Меня мало интересует сейчас вопрос: поставят ли снова оперу или нет. Ведь она покрыта таким количеством грязи и ругани».

О тексте либретто пока еще ничего не было сказано.

7 января 1955 года Шостакович приехал в Ленинград, чтобы посмотреть фильм «Овод» и спешно написать к нему музыку. Заказ этот был им выполнен в очень короткий срок. В замечательном виолончельном соло, нашла, по-моему, отражение скорбь по скончавшейся Нине Васильевне.

8 января 1955 года Дмитрий Дмитриевич обедал у меня, но во время продолжительной беседы он не упоминал о «Леди Макбет», хотя мысль о ней, как мне казалось, прочно засела у него в голове.

Шостакович, несколько оживившись, заговорил о предстоящем 15 января первом исполнении давно сочиненных «Еврейских песен» («Из еврейской народной поэзии»). Он восторженно отзывался о стихах этого цикла: «Ах, какие это прекрасные стихи», — восклицал Дмитрий Дмитриевич.

15 января 1955 года состоялась долгожданная премьера «Еврейских песен» в Малом зале филармонии. Шостакович — очень красивый, во фраке исполнял фортепианную партию, пели: Нина Дорлиак, Зара Долуханова, Алексей Масленников. Успех был ошеломляющим. Трио «Зима», Колыбельную, финальное трио бисировали по три раза.

17 января 1955 года мы беседовали о «Еврейских песнях». Дмитрий

Дмитриевич сказал: «Мне очень понравился твой тост (на вечере у Софьи Васильевны после концерта. — И. Г.), в котором ты говорил, что, слушая мои песни, ты чувствуешь себя евреем, русским, армянином, испанцем, итальянцем, то есть сыном всего человечества».

Потом он добавил: «В этих песнях мне многое удалось хорошо сделать».

22 января 1955 года Шостакович приехал в Ленинград. Он рассказал мне, что 20-го в Москве исполнялись «Еврейские песни». Что касается успеха, то если бы он мог быть большим, чем в Ленинграде, что почти невозможно, то он был, пожалуй, еще большим. Даже недруги, по словам Шостаковича, приходили толпами за кулисы и «тискали» его «в объятиях».

Между тем в это же время (зимой 1955 года) Ленинградский Малый оперный театр по инициативе его директора Б. И. Загурского задумал поставить «Леди Макбет Мценского уезда».

Затея эта оказалась трудной и сложной, ибо надо было получить в Министерстве культуры СССР разрешение на постановку оперы, которая не исполнялась с февраля 1936 года.

Наконец, в марте Шостакович был приглашен в Малый оперный театр, чтобы познакомить художественную коллегию с теми поправками, которые внесены в партитуру «Леди Макбет». 19 марта 1955 года Шостакович приехал в Ленинград. Вечером ему предстояло показать в Малом оперном театре новую музыкальную редакцию «Леди Макбет».

Примерно за три часа до заседания художественной коллегии Дмитрий Дмитриевич начал колебаться. Он сказал мне: «Да зачем играть всем известную, обгаженную оперу? Ни к чему!» Но чем больше Шостакович колебался, тем мне было яснее, что он пойдет в театр и будет играть не только два новых антракта, а сыграет всю оперу. Так оно и вышло! Мы вместе отправились в театр, где нас радушно встретили.

Дмитрий Дмитриевич играл с большим подъемом и силой. Слушатели были взволнованы. Было решено поставить оперу в сезоне 1955/56 года.

Мы ушли в несколько приподнятом настроении на Дмитровский переулок к Софье Васильевне, накормившей нас ужином.

20 марта 1955 года Дмитрий Дмитриевич передал мне клавир «Леди Макбет» и просил пересмотреть весь текст либретто.

Вот слова, сказанные им: «Слова совершенно срослись с музыкой, их не оторвешь, но когда смотришь глазами, а не ушами на текст клавира, то многое кажется безвкусным. Пересмотри, пожалуйста, весь клавир и исправь все, что найдешь нужным».

Я обещал это сделать в ближайшее время.

24 марта 1955 года я получил подробное письмо, в котором Дмитрий Дмитриевич указывал страницы клавира, которые особенно желательно изменить.

Отчего же Шостакович намеревался самым решительным образом отредактировать текст либретто «Леди Макбет»?

Я попытаюсь ответить на этот непростой вопрос и для того, чтобы опровергнуть досужие домыслы о том, что изменения в тексте оперы сделаны под внешним давлением, а не по внутреннему побуждению.

Дело в том, что на спектаклях Малого оперного театра Шостаковича очень огорчала неверная реакция некоторых зрителей на залихватские, вульгарные, ернические реплики Сергея и других пер-

сонажей, которые в большой мере соответствовали их психике, но когда они звучали в глубоко драматических местах, нередко раздавались смешки в зале, оскорбительные для авторского слуха. (Об этом мне много раз говорил Дмитрий Дмитриевич в те времена, когда «Леди Макбет» исполнялась в театре.) Какие-то натуралистические элементы в лексике либретто вызывали раздражение чересчур щепетильных и, как говорил Шостакович, «пуритански настроенных» зрителей, а другие по контрасту проявляли к ним, что называется, «нездоровый интерес». Дмитрий Дмитриевич, конечно, не думал угождать публике без разбора, подделываться к ее вкусам, но он не мог, при его чуткости, оставаться безучастным к восприятию своей оперы. Именно отсюда и возникла потребность отредактировать словесный текст. Вот почему, по моему убеждению, достойны всяческого порицания те режиссеры или дирижеры, которые, вопреки авторской воле, возвращают на сцену отдельные выдержки из текста первой редакции.

[1] Письмо написано на бланке Конгресса борцов за мир, состоявшегося в Вене. На нем присутствовал Шостакович.

[2] В течение нескольких лет Дмитрий Дмитриевич эпизодически *проживал в Болшеве под Москвой, на даче, подаренной ему государством.* То был небольшой кирпичный дом, расположенный на голом крохотном участке. (Я там несколько раз был.) Впоследствии он отказался от этого дара и приобрел дачу в Жуковке, хотя покупка эта была сопряжена с большими финансовыми трудностями.

[3] Георгий Анатольевич Дониях был в ту пору главным дирижером Малого оперного театра и должен был дирижировать оперой «Леди Макбет».

[4] МАЛЕГОТ — сокращенное название Малого оперного театра, бытовавшее в течение нескольких десятилетий. Шостакович поверил, что «Леди Макбет» будет поставлена в сезоне 1955/56 года, как это было решено на заседании художественной коллегии 19 марта. Однако премьера состоялась лишь через десять (!) лет, в 1965 году.

[5] Дмитрий Дмитриевич собирался в концертную поездку в конце марта 1955 года.

[6] Это намерение было осуществлено. 31 марта Шостакович вместе со мной смотрел только что возобновленную в Малом оперном театре «Войну и мир» в сводной редакции, состоящей из одиннадцати картин (дирижер Э. П. Грикуров). За девять лет до этого, в 1946 году он смотрел в этом же театре первую половину оперы, состоящую из восьми картин, под управлением С. А. Самосуда. Вторую половину «Войны и мира» показать в 1947 году не удалось, так как опера подверглась гонениям и была снята с репертуара.

Во время спектакля 31 марта 1955 года Шостакович несколько раз повторял: «Прокофьев великолепный мелодист!» Он вообще очень высоко ценил эту оперу, хотя ему меньше других картин понравились картины «Фили» и «Наполеон».

[7] Весь пассаж, относящийся к Н. А. Михайлову, выдержан в форме ложной (то есть иронической) похвалы.

79

21.IV.1955. Москва 21 апреля

Дорогой Исаак Давыдович!

Большое тебе спасибо за твой труд[1]. Я сейчас присобачиваю его к своему клавиру и страшно жалею, что свой труд ты выполнил лишь сейчас, а не 22 года тому назад[2].

Передай сердечный привет Вере Васильевне.

Крепко жму руку.

Д. Шостакович

[1] 15 апреля 1955 года я показывал Шостаковичу на Дмитровском переулке (на квартире его матери Софьи Васильевны) сделанные мною исправления в тексте «Леди Макбет Мценского уезда». Я прошелся по всем четырем актам оперы. Во время работы я не переставал удивляться тому, как это молодой композитор с такой проникновенностью изобразил звериную жестокость жизни, неуемную жажду счастья, приведшую простенькую купчиху к нравственному падению и в то же время к трагическому величию.

Дмитрий Дмитриевич с лихорадочной поспешностью перелистывал клавир, горящими от волнения глазами впивался в мою подтекстовку, говоря при этом: «Вот я смотрю на эту столь знакомую мне оперу и испытываю волнение».

Мои исправления текста ему понравились. Он сказал: «Очень хорошо ты это сделал. Спасибо тебе».

[2] Имелся в виду 1933 год, когда Шостакович готовил к постановке в Малом оперном театре «Леди Макбет».

80

13.VIII.1955. Москва 13 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

Через три часа отбываем в Крым. Очень прошу тебя пиши мне туда. Адрес такой: Крым. Мисхор. Санаторий «Мисхор» (он теперь так называется). Очень буду рад получить от тебя весточки. Передавай привет Вере Васильевне.

Крепко жму руку.

Д. Шостакович

Спасибо тебе, что помогал мне коротать время в Комарове[1].

Д. Ш.

[1] Лето 1955 года мы проводили с Шостаковичем в Комарове, встречаясь ежедневно, а то и по несколько раз в день.

В наших беседах мы часто возвращались к опере, которую хотел написать Дмитрий Дмитриевич. Он подумывал о Шекспире, пьесы которого его занимали, привлекали и, вместе с тем, озадачивали. Он говорил мне: «Ты бы помог мне подобрать что-либо из Шекспира».

81

25.VIII.1955. Мисхор — 25 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

Шлю тебе привет из Крыма. Как ты живешь? Как твои консерваторские дела?[1] Я писал тебе в Комарово, но ответа не имел. Мы пробудем здесь до 7 сентября. Если успеешь, то напиши сюда: Мисхор (Крым). Санаторий «Мисхор» (он теперь так называется). Учти, сколько времени будет идти до тебя эта авиаоткрытка (стоимость 60 коп.)[2] и тогда пиши мне сюда, или, если она идет долго, то в Москву. Возможно, что я 15/IX приеду на несколько дней в Ленинград.

Передай привет Вере Васильевне. Жму руку.

Д. Шостакович

[1] Шостакович знал, что на оперно-режиссерском факультете консерватории, доцентом коего я был, намечалось сокращение штатов, и его беспокоила моя педагогическая судьба.

[2] Дмитрий Дмитриевич обладал широкой натурой, но он с притворной расчетливостью указал на цену авиаоткрытки. Такая забавная игра с цифрами за ним водилась во многих случаях.

82

28.VIII.1955. Мисхор — 28 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо тебе за письмо. Твои весточки всегда меня радуют. Я слежу за ленинградской погодой и жалею тебя. Жарко в Ленинграде. Здесь тоже жарко, но иногда бывают дожди. Кроме того, можно купаться.

На днях слушал по радио свою 9-ю симфонию, исполненную А. В. Гауком. Плохо исполнил Гаук 9-ю симфонию. Не без некоторого радостного волнения я включил радио. Эта радость кое-как держалась во время 1-й части. Во второй части моя радость совсем угасла. Немного разгоралась в 3-й части и 4-й. И окончательно погасла в 5-й части. Этот же Гаук будет исполнять 9-ю симфонию 24 сентября на открытии сезона в Колонном зале. Бездарен каналья![1]

Ты не соглашаешься со мной. Ты считаешь, что все талантливы, в том числе и Гаук. Я так не считаю[2]. Я давно мечтал о том, как послушаю 9-ю симфонию и так меня огорчил каналья Гаук. Тошнит, как от проглоченной мухи. Мух, кстати, здесь очень много. Были и москиты, которые меня изрядно покусали.

Из-за мух очень плохо спится. Не высыпаюсь. Жарко. Впереди предстоит трудный сезон[3]. Если будешь мне писать, то пиши, пожалуй, на Москву, т. к. 7-го рано утром мы отсюда уезжаем.

Прекрасную музыку, как ни играть, все равно будет хорошо. Любую прелюдию и фугу Баха можно играть в любом темпе, с любыми динамическими оттенками или без таковых, и все равно будет прекрасно. Вот как надо писать музыку, чтобы ни одна каналья не могла ее испортить[4].

Передай сердечный привет Вере Васильевне. Надеюсь, что скоро увидимся.

Обнимаю тебя.

Д. Шостакович

[1] Шостакович был в течение многих лет в приятельских отношениях с А. В. Гауком — первым исполнителем Третьей симфонии, балета «Золотой век» и ряда других произведений Дмитрия Дмитриевича. (Они были на «ты».) Он ценил в Александре Васильевиче профессионализм и обширные знания в области симфонической музыки, но нередко подвергал сомнению его чисто художнический талант.

Шостакович никогда публично не порицал, не критиковал дирижерскую деятельность А. В. Гаука, но в тесном кругу, в присутствии И. И. Соллертинского, время от времени отпускал шутки по поводу более чем странных высказываний дирижера, проистекавших от наивности или некоторой ограниченности его ума. Он также высказывал недовольство трактовкой А. В. Гауком тех или иных сочинений. Но все это, повторяю, происходило в кругу друзей.

Что касается Девятой симфонии, которую Шостакович любил, то она, как известно, требует исключительно тонкого и продуманного до мельчайших подробностей истолкования, чего не смог полностью добиться А. В. Гаук. Ему, по словам Дмитрия Дмитриевича, удались лишь первая, третья и четвертая части, а вторая и пятая глубоко разочаровали автора.

Я хорошо помню, что даже у Мравинского не все ладилось перед премьерой этой во многом загадочной симфонии.

Мы с Шостаковичем присутствовали осенью 1945 года в Ленинградской филармонии на репетициях Девятой, и очень взыскательный автор говорил мне на ухо, что Е. А. Мравинский пока «блуждает в потемках». Правда, на премьере все встало на свои места.

Бранные эпитеты, адресованные А. В. Гауку, были написаны в минуты раздражения, следовательно, с неизбежными преувеличениями, которые не соответствуют объективному взгляду Шостаковича на маститого дирижера.

[2] В частных беседах мне нередко случалось защищать дирижерские работы А. В. Гаука от критики Шостаковича, который, вероятно, по доброте душевной мягко спорил со мной на паритетных началах, хотя его права великого музыканта были, конечно, несоизмеримы с моими крайне незначительными правами.

[3] Имеется в виду предстоявшая в октябре 1955 года премьера Первого скрипичного концерта Шостаковича.

[4] Дмитрий Дмитриевич в конце письма снова возвращается к Девятой симфонии и дает этой теме новый, неожиданный поворот.

Композитор, испытавший огорчение, слушая свою симфонию в дурной, с его точки зрения, трактовке, винит в первую очередь себя за то, что он не сумел создать художественно-совершенное произведение (наподобие Баха), которому не может повредить самое

скверное исполнение. Это признание, проникнутое благородством, делает, на мой взгляд, честь Шостаковичу — художнику и человеку.

83

16.XI.1955. Болшево

16 ноября

Дорогой Исаак Давыдович!

Сообщаю тебе новый номер телефона на даче в Болшеве, куда я выехал на 3—4 дня[1]. И 1-15-10 добавочный 93. Это на всякий случай[2].

Концертино для Р. М. Долговинер[3] я выслал. Передай сердечный привет Вере Васильевне.

Крепко жму руку.

Д. Шостакович

В октябре 1955 года Шостакович несколько раз приезжал в Ленинград, следовательно, отпала надобность в переписке.

В конце месяца предстояла премьера Первого скрипичного концерта, пролежавшего под спудом семь с половиной лет! В это нынче трудно поверить. Концерт был завершен 24 марта 1948 года — такова дата на последнем листе партитуры, которую мне показывал Шостакович. Концерт не был допущен к исполнению в виду своей «формалистической зловредности». Д. Ф. Ойстрах, опасаясь огласки, учил его тайком, прекрасно понимая, что он имеет дело с гениальным произведением. (Об этом он говорил мне неоднократно.) Концерт был окутан тайной, словно в нем была заложена бомба замедленного действия. Но вот, наконец, тайное сделалось явным.

18 октября 1955 года Шостакович вместе с Д. Ф. Ойстрахом приехали в Ленинград, чтобы показать концерт Мравинскому, который сразу же принялся работать с оркестром, работать с той скрупулезностью и тщательностью, которые свойственны этому замечательному дирижеру. 25 октября состоялась первая сводная репетиция. Дмитрий Дмитриевич вместе со мною присутствовал на ней.

Ойстрах играл бесподобно. Впечатление было потрясающим. После репетиции мы с Дмитрием Дмитриевичем отправились в Европейскую гостиницу, где он проживал. Перелистывая партитуру концерта и постукивая по ней пальцами, он промолвил: «А я все-таки достоин некоторого уважения». (Это его буквальные слова.)

Шостакович, произнося в некоторой задумчивости эту фразу, словно вспоминая довольно далекое прошлое, мгновенно погружаясь в него, имел в виду не достоинства музыки, а нечто другое. А именно то, что в тяжелое для него время (осень 1947 — март 1948 года), когда его имя подвергалось жестокому глумлению и шельмованию (в печати и на многочисленных собраниях), он безостановочно писал свой Скрипичный концерт. У другого композитора в этих обстоятельствах опустились бы руки, а могучий талант Шостаковича, преодолевая душевные страдания, выражал себя в музыке, поразительной по силе и красоте.

29 октября состоялся долгожданный концерт, имевший гигантский успех. Финал по настоянию публики бисировался.

После концерта Вера Васильевна и я были приглашены Дмитрием Дмитриевичем в его номер Европейской гостиницы, где мы отметили премьеру. Во время застольной беседы я пустился в абсолютно восторженные рассуждения о каждой части концерта, а Шостакович, поднимая до небес Ойстраха, вдруг сказал: «Для авторского уха некоторые места из Скерцо прозвучали ошеломляюще. Я тебе повторяю: для авторского уха». (Это его буквальные слова.) То есть, Дмитрий Дмитриевич никому, в том числе и мне, не навязывал свое мнение о Скерцо, а подчеркивал свое авторское восприятие музыки этой части.

30 октября концерт повторился. Овация была еще более мощной, чем на премьере. 30 октября я провожал на вокзале уезжавшего в Москву Шостаковича. На перроне он сказал мне: «Ты знаешь, сегодня Ойстрах в финале концерта кое-где допускал вольности. Некоторые ноты он играл не совсем так, как я бы хотел, но все равно это было очень интересно. Он экспериментировал, и все-таки это было очень интересно. Талант!»

[1] Шостакович не любил свою дачу в Болшеве. Она была расположена в скверном месте на крохотном, голом участке, поэтому он приезжал туда от случая к случаю.

[2] Сообщая мне переменившийся номер телефона на даче, куда Шостакович выехал лишь на несколько дней, он выказал присущую ему предупредительность.

[3] Р. М. Долговинер — преподавательница фортепиано, которая через мое посредство добивалась получения от Шостаковича Концертино для двух фортепиано с дарственной надписью автора.

84

28.XII.1955. Москва 28 декабря

Дорогой Исаак Давыдович!

Горячо поздравляю тебя с Новым годом. Я верю в то, что Новый год тебе придется прожить еще лучше, чем прошедший 1955 год.

Как всегда, приходится тебя тревожить просьбой. Сообщи мне пожалуйста, где, когда, в каком томе собрания сочинений А. П. Чехов написал: «Писатель никогда не должен быть помощником полиции и жандармерии». (Эту мысль я излагаю своими словами.) Дня два тому назад, беседуя с представителями прогрессивной литературной общественности, я сослался на эту мысль Чехова. Прогрессивные литераторы потребовали от меня доказательств (в каком томе, в каком издании и т. п.). Я пообещал представить доказательства через несколько дней.

Д. Шостакович

Просьба Шостаковича имеет свою предысторию. Она вкратце сводится к следующему.

Во времена культа личности Сталина иные писатели не только одобряли, но и приветствовали репрессии по отношению к ни в чем

неповинным людям. Это, разумеется, вызывало негодование и у Шостаковича, и у меня.

В печальных беседах на такого рода темы я однажды напомнил Дмитрию Дмитриевичу замечательное письмо А. П. Чехова, адресованное издателю «Нового времени» А. С. Суворину. В этом письме Чехов выступает защитником оклеветанного репрессированного Дрейфуса, восхищается доблестным поведением Эмиля Золя, резко порицает суворинскую газету, занявшую постыдную позицию, антидрейфусовскую. Когда после 1953 года наступила пора переоценки многих ценностей, Шостакович в разговоре с некоторыми московскими литераторами, которых он иронически называет «представителями прогрессивной литературной общественности», вспомнил о письме Чехова к Суворину, но собеседники Дмитрия Дмитриевича, у коих, вероятно, было рыльце в пуху, об этом письме ничего не знали и ничего не ведали.

Шостакович, будучи большим и тонким знатоком чеховского творчества, не мог, однако, вспомнить дату письма и обратился ко мне с просьбой указать ее. Я тотчас сообщил ему, что письмо, о котором мы давно говорили, было написано 6 февраля 1898 года из Ниццы, и в нем было сказано: «Дело писателей не обвинять, не преследовать... Обвинителей, прокуроров, жандармов и без них много».

Шостакович высоко ценил это чеховское письмо-кредо, на которое я ему указал в тяжелые времена.

1956

85

11.I.1956. Москва — 11 января

Дорогой Исаак Давыдович!

Посылаю тебе письмо, полученное мною от т. т. Николаевой и Коловского[1].

Посылаю для сведения и возможной твоей помощи[2]. Сегодня день твоего рождения. Горячо тебя поздравляю и очень жалею, что не могу быть в этот день с тобой. Передай сердечный привет Вере Васильевне.

Крепко жму руку.

Д. Шостакович

[1] И. К. Николаева — директор Ленинградского отделения Музгиза. О. П. Коловский — главный редактор. Они обратились с просьбой к Шостаковичу написать вступительную статью к готовящейся к изданию книге И. И. Соллертинского «Музыкально-исторические этюды», составленной и отредактированной М. С. Друскиным. Сборник этот вышел из печати в конце 1956 года со вступительной статьей Шостаковича.

[2] Дмитрию Дмитриевичу очень хотелось написать статью о своем друге И. И. Соллертинском, и он просил меня помочь ему справиться с этой непростой миссией.

Я, разумеется, сразу же откликнулся на просьбу Шостаковича и помог ему написать статью, за что он горячо отблагодарил меня телеграммой, которая, кажется, у меня сохранилась.

86

28.I.1956. Болшево 28 января

Дорогой Исаак Давыдович!

Пишу тебе сразу же после нашего с тобой телефонного разговора[1]. Забыл тебе сказать о следующем: (вернее, не сказать, а поделиться некоторыми своими мыслями).

Я выполнил просьбу Б. И. Загурского и имел беседу с В. М. Молотовым, который повторил свое указание о прослушании авторитетной комиссией «Леди Макбет»[2].

Вчера я видел т. т. Михайлова, Кафтанова, Кеменова и других руководящих работников Министерства культуры[3], но они, мило беседуя со мной, не затронули вопроса о «Леди Макбет». Сам же я не считаю удобным поднимать этот вопрос. Д. Б. Кабалевский сейчас болен и, по-видимому, ждут его выздоровления, чтобы создать соответствующую комиссию[4]. Мне кажется, что сейчас лучше было бы, чтобы настойчивость проявлял Б. И. Загурский, а не я. Никаких справок о том, когда будут прослушивать «Леди Макбет», я наводить не буду. Мне кажется, что я и так много сделал (см. начало этого письма).

Если комиссия соберется слушать «Леди Макбет», то я очень прошу тебя приехать. И не для защиты оперы, а просто так, в качестве дружеской руки[5].

Прими мои лучшие пожелания.

Передай привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

При случае, поговори с Загурским и изъясни ему мою точку зрения.

Д. Ш.

[1] Шостакович обычно говорил по телефону более чем кратко. Его лаконизму, как я шутил, позавидовал бы сам Юлий Цезарь.

[2] Как мною уже упоминалось, директор Ленинградского Малого оперного театра Борис Иванович Загурский добивался разрешения поставить «Леди Макбет» («Катерину Измайлову»), без которого опальная опера не могла появиться на сцене. Для этой цели он настойчиво просил Шостаковича лично обратиться к первому заместителю председателя Совета министров СССР Вячеславу Михайловичу Молотову.

Дмитрий Дмитриевич скрепя сердце выполнил эту просьбу, ибо он страх как не любил отстаивать свои интересы, хлопотать за себя, в особенности у высокопоставленных лиц. В результате встречи с В. М. Молотовым последовало распоряжение о создании комиссии для ознакомления со второй редакцией «Леди Макбет».

[3] Н. А. Михайлов занимал пост министра культуры СССР.

[4] Д. Б. Кабалевский, будучи членом коллегии Министерства культуры СССР, стал председателем упомянутой комиссии, в которую вошли композитор М. И. Чулаки, музыковед Г. Н. Хубов, дирижер В. В. Целиковский, возглавлявший отдел музыкальных театров Министерства культуры СССР. На заседание комиссии были приглашены из Ленинграда Б. И. Загурский, главный дирижер Малого оперного театра Г. А. Дониях и я — в качестве автора новых подтекстовок оперы.

Нельзя сказать, что Шостакович относился безучастно к предстоящему прослушиванию «Леди Макбет».

В начале февраля 1956 года он попросил меня приехать в Москву, чтобы поговорить о предстоящей процедуре и попутно присутствовать на московской премьере Первого скрипичного концерта с Ойстрахом и Мравинским, который, к слову сказать, имел громадный успех.

11 или 12 марта 1956 года состоялось, наконец, прослушивание «Леди Макбет». Министерству культуры понадобилось около трех месяцев, чтобы его организовать. Оно неспроста не торопилось. Мне кажется, что отрицательный результат был заранее предопределен.

Вероятно, по совету Д. Б. Кабалевского заседание происходило не в Министерстве культуры или в Союзе композиторов, а в квартире Шостаковича на Можайском шоссе (37/45, кв. 87). То был жест уважения к знаменитому автору.

Комиссия появилась в кабинете Дмитрия Дмитриевича после полудня в назначенный час. Все радостно приветствовали хозяина дома. Мне показалось, что ничто не предвещало провала всей затеи.

Шостакович, изрядно нервничая, роздал загодя перепечатанные на пишущей машинке экземпляры текста либретто в новой редакции. Дмитрий Дмитриевич был озабочен тем, чтобы вторая редакция «Катерины Измайловой» (и в музыкальном, и в словесном текстах) считалась дефинитивной, не подлежащей возвращению к первой редакции. Об этом он впоследствии сделал, в назидание дирижерам и режиссерам, категорическую надпись на титульном листе партитуры «Катерины Измайловой».

Затем он сел к роялю и прекрасно исполнил оперу.

После недолгого перерыва, во время которого члены комиссии сделались недоступно-суровыми, началось обсуждение.

Опера подверглась самой ожесточенной критике, в духе печально известной статьи «Сумбур вместо музыки».

Б. И. Загурский и Г. А. Дониях, потрясенные ходом обсуждения, хранили гробовое молчание. Шостакович слушал ораторов, сидя один на большом диване. Он прислонился к его широкой спинке, словно ища в ней опору*. Глаза его были закрыты. Ему, наверное, было невтерпеж смотреть на своих коллег, изощрявшихся в ругани. На его лице время от времени появлялась болезненная гримаса.

Я, к величайшему неудовольствию комиссии, говорил два раза, говорил взволнованно, горячо о необходимости незамедлительно поставить великую оперу, музыка которой двадцать лет тому назад была объявлена «сумбуром».

Г. Н. Хубов то и дело прерывал меня резкими визгливыми вы-

---

* Этот диван и поныне стоит в бывшем кабинете Д. Д. Шостаковича на улице Неждановой.

криками, пытаясь сбить меня. Ему это сделать не удалось, хотя, в конечном счете, речь моя осталась гласом вопиющего в пустыне.

Комиссия единодушно решила не рекомендовать к постановке «Леди Макбет» ввиду ее крупных идейно-художественных дефектов.

14 марта 1956 года я вернулся из Москвы домой, еще не очухавшись, не придя в себя от вторичной казни «Леди Макбет», на этот раз учиненной просвещенными музыкантами.

По горячим следам я сделал короткую запись об этом достопамятном заседании, о котором, по всей вероятности, биографы Шостаковича ничего не знают.

Я позволю себе процитировать эту запись, смягчая некоторые обороты и выражения, вырвавшиеся из-под моего пера в порыве гнева, смею заметить, справедливого.

Цитирую с некоторыми купюрами:

«Обсуждение „Леди Макбет" можно назвать постыдным. Хубов, Кабалевский и Чулаки все время ссылались на статью „Сумбур вместо музыки". Особенно усердствовали Хубов и Кабалевский. Они сравнивали отдельные куски музыки с разными абзацами этой статьи, наполненной бранью. Они при этом повторяли, что статью до сих пор никто не отменял и она сохранила свою силу и значение. (Еще бы! Ведь в ней говорится, что в опере „музыка ухает, крякает, пыхтит и задыхается".)

Кабалевский делал комплименты некоторым местам оперы, и это было вдвойне неприятно слушать. В заключение он сказал (в качестве председателя комиссии), что оперу ставить нельзя, так как она является апологией убийцы и развратницы, и его нравственность этим очень ущемлена... Я говорил довольно убедительно, но все мои доводы разбивались об эту статью, которой Кабалевский и Хубов размахивали, как дубинкой.

В конце прений Кабалевский просил высказаться Дмитрия Дмитриевича, называя его с дружеской фамильярностью Митей, но тот отказался говорить и с удивительным самообладанием поблагодарил „за критику". На душе у него кошки скребли. Мы с ним поехали в ресторан и изрядно напились не от горя, а от отвращения. Это было в ресторане „Арагви", в отдельном кабинете. Дмитрий Дмитриевич встал из-за стола, подошел ко мне и сказал: „Ты мой первый и самый верный и самый любимый друг. Спасибо". Он имел в виду и мое поведение на сегодняшнем заседании».

[5] Я, разумеется, протянул дружескую руку Шостаковичу, но не защищать обруганную «Леди Макбет» я не мог. Этому бы воспротивились и моя совесть, и мой долг.

Я страстно любил, люблю и поныне эту гениальную оперу.

87

29.V.1956. Москва — 29 мая

Дорогой Исаак Давыдович!

Большое тебе спасибо за возню с моей стенограммой[1]. Однако ты не петух, а стенограмма «навозная куча». Будь ты петухом, возможно ты и нашел бы жемчужное зерно.

Прошу извинения за моего секретаря, которая без согла-

сования со мной, в порядке служебного рвения, подсунула тебе навозную кучу на предмет извлечения из нее жемчужного зерна[2].

Сердечный привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] О какой стенограмме шла речь, мне выяснить не удалось.

[2] Секретарша по просьбе Дмитрия Дмитриевича неоднократно посылала мне его различные писания, нуждавшиеся в редактуре.

88

29.V.1956. Москва — 29 мая

Дорогой Исаак Давыдович!

Не могу удержаться от удовольствия послать тебе вырезки из газеты «Вечерняя Москва» за 29 мая 1956 г. В числе их (вырезок) статья некоего Ильина «Снова в Москве». Прочитав эту статью, я лишний раз убедился в преимуществе прогресса над реакцией[1].

Д. Шостакович

[1] Эти строки, выдержанные в ироническом тоне, Дмитрий Дмитриевич послал мне вслед за открыткой, датированной тем же днем (29 мая).

Статья И. Ильина «Снова в Москве» посвящена приезду спустя 38 лет в Москву из США семидесятичетырехлетнего художника и литератора Давида Давидовича Бурлюка с женой Марией Никифоровной. Если верить автору статьи, Бурлюк с восторгом отзывался об изобилии в столичных магазинах, о буйстве красок первомайской демонстрации, а особенно — о перестроенном центре Москвы: «Сколько понастроено! Сколько грандиозного сделано!» Дмитрия Дмитриевича рассмешил Бурлюк, который, словно ошалев от восторга, забыл о том, что Москва за сорок лет лишилась подлинных архитектурных жемчужин — церквей, соборов, особняков, и изумлялся, глядя на помпезный стандарт сталинской архитектуры, исказившей своеобразную красоту старой Москвы.

89

2.VI.1956. Москва — 2 июня

Дорогой Исаак Давыдович!

Посылаю тебе для твоего собирателя марок этот небольшой презент. И впредь буду посылать марки с иностранных писем[1].

Крепко жму руку.

Привет Вере Васильевне.

Д. Шостакович

[1] Узнав от меня, что по соседству со мной проживает мальчик,

усердно собирающий марки, Дмитрий Дмитриевич захотел сделать приятное незнакомому юному филателисту, которому я покровительствовал. Этот знак внимания очень характерен для Шостаковича.

90

15.VI.1956. Москва — 15 июня

Дорогой Исаак Давыдович!

Как видишь, я твою просьбу не выполняю и продолжаю пересылать тебе марки. Может быть, все-таки они пригодятся твоему юному коллекционеру[1].

Крепко жму руку.

Привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] «Юный коллекционер» сильно нашкодил, и я попросил Дмитрия Дмитриевича не утруждать себя присылкой марок, но он, как мы читаем, меня не послушал и продолжал посылать таковые.

91

27.VI.1956. Москва — 27 июня

Дорогой Исаак Давыдович!

Ты, как египтолог, наверное заинтересуешься той заметкой из газеты «Известия», которую ты не выписываешь, которую я для тебя вырезал и при сем прилагаю[1].

Вот уже неделя, как я болею воспалением легких. Сейчас мне уже лучше. Но это задерживает мою поездку в Комарово.

Передай сердечный привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] Дмитрий Дмитриевич в шутку называет меня «египтологом», имея в виду мой интерес к событиям в Египте после свержения короля. Пневмония не помешала ему сделать вырезку из газеты, связанную с египетскими делами, и послать мне таковую.

91а

13.IX.1956. Болшево — 13 сентября

Дорогой Исаак Давыдович!

Очень без тебя скучаю. Напиши мне, как идет твоя жизнь, как твое здоровье и как ты выколачиваешь на хлеб.

Позавчера беседовал о тебе с зам. нач. Гууз[1] тов. Ларчинским. Он очень любезен и обходителен в беседе.

Дома у меня проводится ремонт. Пока сломлен мой письменный стол и два книжных шкафа. Но зато необычайно роскошно

выглядят стены и потолки. Спать нельзя. Поэтому мы выехали в Болшево. А здесь тоже ситуация не вполне подходящая. Холодно, а дров уже нет. Хочется пить, а за водой ходить надо за тридевять земель[2].

Закончил я 6-й квартет и этим opus'ом доволен. Пока еще мне не удалось познакомить с ним музыкальную общественность. 24/IX будет происходить юбилейное мероприятие[3]. Дирижеры Аносов, Гаук и Иванов исполнят кантату «Над Родиной нашей солнце сияет», Скрипичный концерт (солист Вайман)[4] и 5-ю симфонию. 6-го и 7-го октября буду в Ленинграде: 6-го играю Квинтет, а 7-го «авторский вечер», в котором будет исполнен 6-й квартет[5].

Передай сердечный привет Вере Васильевне.

Крепко тебя целую.

Д. Шостакович

[1] Главное управление учебных заведений. Дмитрий Дмитриевич хлопотал об установлении мне ставки в консерватории, так как я временно преподавал по часовой оплате.

[2] Шостакович более или менее безропотно сносил бытовые неудобства и тяготы.

[3] В Москве готовился пятидесятилетний юбилей Шостаковича, к которому он сам относился с большим раздражением, скукой и тоской. Его заранее пугал поток юбилейных речей, в которых будет много фальши и лицемерия. Те, кто его травили, напялят маски горячих поклонников и будут его лобызать. Обо всем этом он мне говорил, когда я приехал в Москву в канун юбилея.

Вечер состоялся 24 сентября в переполненном зале консерватории. Дмитрий Дмитриевич находился на эстраде, окруженный корзинами цветов. Вид у него был отнюдь не счастливый. Мне он казался человеком, приговоренным к словесной пытке. Он делал усилия, чтобы с интересом внимать речам, которые ему были не интересны, не нужны. Каждый из ораторов в конце своей тирады пытался поцеловать его, но я заметил, как он ловко и вроде бы случайно локтем отталкивал от себя тех, кто ему был неприятен и антипатичен. На вечере, разумеется, выступали и любящие, и искренне почитавшие Шостаковича — человека и композитора.

На следующее утро Дмитрий Дмитриевич бросал рассеянный и какой-то отчужденный взгляд на груду сувениров, преподнесенных ему на юбилее. Подарки эти ему тоже казались неинтересными и ненужными.

За утренним чаем мы условились не говорить о юбилее, хотя ничего худого на нем не произошло.

25 сентября в доме Дмитрия Дмитриевича собралось интимное общество, и юбиляр себя чувствовал легко и привольно. 26 сентября Шостакович, подчиняясь ритуалу, дал банкет в ресторане «Прага» на 140 персон. Официальные лица приглашены не были, и атмосфера создалась простой и непринужденной.

[4] Скрипач Михаил Израилевич Вайман был после Д. Ф. Ойстраха одним из лучших исполнителей Первого скрипичного концерта Шостаковича.

[5] Концерты в Малом зале Ленинградской филармонии имели

гигантский успех. При появлении на эстраде Шостаковича восторженно настроенная публика вставала и устраивала овацию.

92

27.XII.1956. Болшево 27 декабря

Дорогой Исаак Давыдович!

Поздравляю тебя и Веру Васильевну с Новым годом и желаю Вам, чтобы Новый год принес Вам много счастья.

Старый год у нас кончается плохо. До сих пор болен Максим. Он перенес корь в очень тяжелой форме. Не поправился и сейчас. Я выехал на 3—4 дня в Болшево. Очень устал. Хочу немного отдохнуть.

Напиши мне.

Д. Шостакович

1957

93

31.III.1957. Болшево 31 марта

Дорогой Исаак Давыдович!

Очень я скучаю без тебя и беспокоюсь из-за отсутствия известий. Два раза звонил тебе, но телефон не ответил[1].

Я живу очень хлопотливо. Теряю много времени и никак не могу как следует заняться 11-й симфонией[2]. Последнее время сижу на съезде композиторов. Слушаю выступления разного рода ораторов.

Особенно мне понравилось выступление тов. Лукина. Он напомнил съезду о вдохновляющих указаниях А. А. Жданова о том, что музыка должна быть мелодичной и изящной[3]. «К сожалению, — сказал тов. Лукин, — мы не выполняем это вдохновляющее указание!» Много ценного и интересного было и в других выступлениях[4].

В середине апреля думаю приехать в Ленинград для творческой встречи с руководством Кировского театра по вопросам постановки «Леди Макбет»[5]. Очень хочу тебя тогда повидать.

29 марта К. И. Зандерлинг[6] очень хорошо продирижировал моей 5-й симфонией и скрипичным концертом (Ойстрах).

Вкратце о моей жизни: я очень занят. Эти пошлые слова тем не менее совершенно точно определяют мою жизнь.

Передай сердечный привет Вере Васильевне.

Твой *Д. Шостакович*

Дай о себе знать.

[1] Я не писал Дмитрию Дмитриевичу в течение двух месяцев, вероятно потому, что в январе и феврале мы виделись с ним в Ленинграде.

[2] Шостакович придавал большое значение задуманной Одиннадцатой симфонии. Ее программа ему представлялась острой и актуальной. 10 января 1957 года, будучи в Ленинграде, он рассказал мне, что начинает писать симфонию на тему 1905 года и многозначительно (текстуально) добавил: «Нет, она совсем не будет похожа на „Песнь о лесах"»! 24 февраля 1957 года он мне сообщил, что им написана первая часть или, «вернее сказать, вступление к новой симфонии». (Это его слова.) Это замечательное произведение было впервые исполнено 30 октября 1957 года в Москве под управлением Н. Г. Рахлина. Дмитрий Дмитриевич не без гордости сказал мне, что он выполнил точно в срок взятое на себя внутреннее обязательство.

[3] Шостакович прекрасно понимал, какой могущественной силой обладает мелодия в музыке, но само слово «мелодичность» он употреблял с пренебрежением и насмешкой, так как оно, это слово, было опошлено и изгажено Ждановым и ждановцами. То же относится и к эпитету «изящная».

[4] Шостакович надеялся на то, что через четыре года после кончины Сталина «вдохновляющие указания» А. А. Жданова о том, как надо сочинять музыку, будут преданы забвению. Но не тут-то было! Дмитрий Дмитриевич с отвращением слушал выступления на съезде тов. Лукина и подобных ему ораторов, но свои чувства он выразил в форме ложной похвалы, которой часто пользовался в своих письмах.

[5] В Театре оперы и балета имени С. М. Кирова возник проект постановки «Леди Макбет Мценского уезда». На собрании труппы (в моем присутствии) Дмитрий Дмитриевич прекрасно сыграл всю оперу, но вопрос о ее постановке повис в воздухе, ибо она не была одобрена ленинградскими властями.

[6] Курт Игнатьевич Зандерлинг, в описываемое время дирижер Ленинградской филармонии, впоследствии уехавший на свою родину в ГДР.

94

13.IV.1957. Москва

13 апреля

Дорогой Исаак Давыдович!

Посылаю тебе марки для твоего юного друга-филателиста[1].

Хотел приехать в Ленинград, но пока не удается.

Если будешь слушать симфонию Клюзнера[2], сообщи о своих впечатлениях.

Передай привет Вере Васильевне от всех нас.

Твой *Д. Шостакович*

[1] См. примечания к письмам 89, 90 от 2 и 15 июня 1956 года.

[2] Имеется в виду Вторая симфония композитора Бориса Лазаревича Клюзнера, к личности и творчеству которого Шостакович проявлял интерес.

15.IV.1957. Москва 15 апреля

Дорогой Исаак Давыдович!

Посылаю тебе марки и шлю свои лучшие пожелания.

Жизнь пока идет плохо. Трудно справляться с хозяйством. Больны Мария Дмитриевна и Феня[1].

Мы с Максимом тоже простужены. И вообще жизнь трудна. Но, авось, скоро и конец. Все-таки мне уже больше пятидесяти[2].

Впрочем, мое цветущее здоровье и мой могучий организм не позволяют мне надеяться на скорое свертывание земных дел[3].

Всем, кто меня любил, принадлежит моя любовь. Всем, кто мне делал зло, шлю свое проклятье[4].

Крепко тебя целую.

Сердечный привет Вере Васильевне.

Твой *Д. Шостакович*

[1] Домработницы, которые поочередно вели хозяйство у Шостаковича, относившегося к этим добрым и преданным женщинам с большой симпатией.

[2] Мрачные мысли о смерти неоднократно возникали у Дмитрия Дмитриевича в моменты душевных тревог и чрезмерной усталости.

[3] Говоря о своем «цветущем здоровье», Дмитрий Дмитриевич пользуется так называемым юмором висельника.

[4] Шостакович в разное время по-разному относился к окружающим его людям, делавшим ему зло. Нередко он говорил мне, что «рядовые» носители зла «не ведают, что творят», и поэтому по-христиански прощал их.

Сочиняя Одиннадцатую симфонию, а в апреле 1957 года работа была в разгаре, Шостакович слал «проклятье» насильникам не только далекого (1905 года), но и близкого прошлого.

96

23.IV.1957. Москва 23 апреля

Дорогой Исаак Давыдович!

При сем прилагаю [состав] юбилейной комиссии.

Я собираюсь послать юбилярам приветствие, но фамилию одного юбиляр[а] не могу разобрать[1]. Если читать сверху, то неясная фамилия пятого; между Гальпериным и Лившицем[2]. Если сможешь, узнай эту фамилию и сообщи мне. Дня через три буду звонить тебе по телефону. Если сможешь, то сообщи мне также имена и отчества прочих юбиляров, кроме Шальмана[3].

Я поражен тем безобразием, которое РЖУ устраивает с комнатой[4].

Не могу ли я чем помочь.

Твой Д. Шостакович

[1] Юбилейная комиссия готовила чествование оркестрантов, проработавших в оркестре филармонии 25 лет, и просила Шостаковича принять участие в этом празднестве, которое должно было состояться 28 апреля 1957 года.

[2] Речь шла о скрипаче Т. Н. Ерише, фамилия которого в пригласительном билете была написана от руки неразборчиво.

[3] Борис Григорьевич Шальман заведовал нотной библиотекой филармонии и был хорошо знаком Дмитрию Дмитриевичу, партитуры которого он переписывал с большой тщательностью.

[4] Районное жилищное управление (РЖУ) решило изъять у моей матери Фани Борисовны одну комнату из двух, занимаемых ею и взрослой внучкой, «в порядке уплотнения жильцов». Дмитрий Дмитриевич принял близко к сердцу эту неприятность, постигшую мою мать.

97

24.IV.1957. Москва 24 апреля

Дорогой Исаак Давыдович!

Может быть, депутатский запрос поможет и поликлиника даст справку о состоянии здоровья Фани Борисовны[1]. Кроме того, рекомендую тебе обратиться к директору Малого зала им. Глинки Николаю Григорьевичу Близнюку (точное имя, отчество и фамилию тебе даст Женя Шнеерсон[2]). Ее домашний телефон А 5-81-05. В свое время он помог с обменом Марусе[3]. Он является ближайшим другом тов. Баранова, начальника Горжилотдела.

Д. Шостакович

[1] Обеспокоенный судьбой моей матери (см. примечание 4 к предыдущему письму от 23 апреля), Дмитрий Дмитриевич, как депутат Верховного Совета, послал в Ленинград запрос, но, сильно сомневаясь в своем депутатском авторитете, рекомендовал обратиться к более влиятельному, чем он, человеку — директору Малого зала филармонии. Шостакович взирал на существующие порядки с исключительной трезвостью и прозорливостью.

[2] Евгения Владимировна Шнеерсон, занимавшая должность художественного руководителя Малого зала филармонии, близкая знакомая Шостаковича.

[3] См. примечание 5 к письму 1 от 30 ноября 1941 года.

98

15.VII.1957. Москва 15 июля

Дорогой Исаак Давыдович!

20 июля мы приедем в Комарово, о чем ставлю тебя в известность. Очень хочу тебя видеть. Очень соскучился.

Твой Д. Шостакович

99

11.IX.1957. Москва 11 сентября

Дорогой Исаак Давыдович!

15 сентября я приеду в Ленинград. Если будешь в городе, то ищи меня у Маруси[1]. Приеду я вместе с М. А. Мееровичем[2], который любезно согласился быть моим партнером по четырехручному исполнению симфонии[3]. М. С. Вайнберг довольно серьезно заболел. У него ослабление сердечной деятельности и крайнее переутомление. Очень его жалко. Передай привет всем твоим.

Твой Д. Шостакович

[1] См. примечание 5 к письму 1 от 30 ноября 1941 года.

[2] Михаил Александрович Меерович (р. 1920) — композитор и прекрасный пианист.

[3] Речь идет об Одиннадцатой симфонии, законченной в августе 1957 года. Дмитрий Дмитриевич собирался показать ее в Ленинграде.

100

10.XI.1957. Москва 10 ноября

Дорогой Исаак Давыдович!

В очередном номере «Литературной газеты» мне очень понравилась статья «В певучем тумане». Возможно, что тебе не попалась эта статья. Поэтому я решил ее тебе переслать[1]. Там же имеется и басня Сергея Владимировича Михалкова «Добрые советы». Хороша басня! Ух, хороша![2]

Но заметка Литератора все же мне нравится больше, нежели «Добрые советы». «Добрые советы» напоминают мне басню И. С. Баркова[3].

Пров Кузьмич был парень видный,
В среднем возрасте, солидный,
Остроумен и речист,
Только на... был не чист.

Впрочем, там был не Пров Кузьмич, а Пров Фомич.

Вот какие мысли появляются при чтении прессы. Если тебе попадется журнал, в котором помещен рассказ Д. Гранина «Певучий туман», сохрани его. Мне бы очень хотелось прочесть рассказ целиком, а не только в выдержках, которые любезно сообщает в своей статье Литератор.

Крепко целую. Д. Шостакович

[1] Дмитрий Дмитриевич нередко посылал мне вырезки из прессы, вызывавшие у него крайнее недовольство или гнев, но такое восприятие прочитанного он облекал в форму иронической похвалы. Посылая мне такого рода вырезки, он, конечно, был убежден в том, что я непременно разделю его мнение, в противном случае он бы этого не делал. Нас всегда объединяло единомыслие, без чего, по убеждению Дмитрия Дмитриевича, дружба невозможна.

В данном случае речь идет о статье за подписью «Литератор», которую опубликовала редактируемая в то время В. А. Кочетовым «Литературная газета». В ней подвергается шельмованию рассказ Даниила Гранина «Певучий туман». Заматерелый мастер зубодробительной критики, которая была обиходной в сталинское время, вспомнил былое, и его поток обвинений Д. А. Гранина в декадентстве, мещанстве, пошлости и прочих смертных грехах завершается политическим доносом на «Ленинградский альманах», опубликовавший рассказ «...в своем ноябрьском номере, специально посвященном сорокалетию Великой Октябрьской социалистической революции. Так сказать, в подарок!»

[2] Басня С. В. Михалкова поразила Шостаковича плоскостью и скудостью мысли. Но еще совсем недавно Михалков сделал гораздо более серьезные промахи, выходящие за пределы литературного стиля. Своей пьесой «Илья Головин» (1949) он объективно обслужил гонителей-ждановцев, учинивших погром великих музыкантов, в первую очередь — Прокофьева и Шостаковича.

[3] Иван Семенович Барков (1732—1768) — поэт, переводчик, автор многих скабрезных стихотворений.

101

10.XII.1957. Москва 10 декабря

Дорогой мой друг Исаак Давыдович!

Посылаю тебе вырезку из газеты «Советский спорт». Возможно, что ты не являешься подписчиком этой газеты и поэтому столь печальное событие прошло мимо тебя[1].

Зная, однако, твою любовь к разного рода выдающимся деятелям, я решил послать тебе эту вырезку («Советский спорт», № 214 (2950) от 10 декабря 1957)[2]. Как это печально. Жил Г. И. Федотов, забивал голы, а курносая забрала его к себе. Очень грустно. Спортивная общественность высоко ценила покойного. Гораздо выше многих других. К сожалению, покойный был

несколько аполитичен, в отличие от продолжающего жить В. Боброва[3]. Не могу я забыть, как он (Бобров) обозвал тов. Башашкина титовским прихвостнем, когда, из-за ошибки тов. Башашкина, югославы забили гол в наши ворота на олимпиаде в Хельсинки в 1952 году. Вероятно ты помнишь, что тогда команда Югославии выиграла у сборной СССР со счетом 3 : 1. Один из этих трех голов был забит из-за ошибки Башашкина, за что В. Бобров справедливо назвал его (Башашкина) титовским прихвостнем. Спортивная общественность до сих пор высоко оценивает этот патриотический порыв В. Боброва[4]. Но, к сожалению, покойный Федотов лишь забивал голы. Поэтому о его смерти сообщила лишь специальная пресса («Советский спорт»). В. Бобров благополучно здравствует и занимает высокое положение: он тренер и политрук футбольной команды. Башашкин еще с 1952 года уволен. Он был лишь хорошим центром защиты. Но политически подкован был недостаточно хорошо. Зато Бобров хорошо подкован.

А покойный Федотов лишь забивал голы, занятие, как известно, аполитичное.

12-го я уезжаю и вернусь в Москву 29-го декабря. Я надеюсь, что Вера Васильевна и ты поправились.

Твой *Д. Шостакович*

[1] Имеется в виду смерть футболиста Г. И. Федотова.

[2] Прочитав утром 10 декабря «Советский спорт», Дмитрий Дмитриевич в тот же день сделал вырезку из этой газеты и послал ее мне вместе с письмом — замечательным во многих отношениях. Ему захотелось поделиться со мной чем-то для него сокровенным. Это сказалось в его обращении ко мне: «Дорогой друг Исаак Давыдович!» (не просто имя и отчество).

[3] Слова «несколько аполитичен» исполнены иронии. Ею же проникнута формула о том, что футболист Башашкин «политически подкован был недостаточно хорошо».

[4] Смерть футболиста Г. И. Федотова становится для Шостаковича поводом для воспоминаний о событиях пятилетней давности, связанных с футбольным матчем между советской и югославской командами. Этот, казалось бы, заурядный эпизод из спортивной жизни неожиданно получил очень громкий, постыдный резонанс. Дело в том, что травля, преследования ни в чем не повинных людей, будь то близкие Шостаковичу музыканты, писатели, поэтессы, будь то далеко отстоящие от него врачи, биологи или футболисты, вызывали в его душе не только острую жалость к ним, но и бурю негодования, усмиряемую безмерной сдержанностью, которая побуждала его пользоваться трагической иронией, пронизывающей текст и данного письма.

Тогда, спустя несколько дней после матча, мне повстречался композитор Ходжа-Эйнатов. Он сетовал по поводу того, что бедный Дмитрий Дмитриевич, очевидно, мучительно переживает поражение советских футболистов. Я не мог сказать славному Леону Александровичу правды. А на самом деле все обстояло так: рано утром, услышав по радио о победе югославской команды, Дмитрий Дмитриевич помчался ко мне на дачу, которую мы снимали в Комарове, чтобы

поделиться со мной этим радостным известием, и мы по этому случаю выпили бутылку коньяка «Финьшампань» за столиком, расположенным неподалеку от железнодорожной станции. Парадокс этой ситуации состоит в том, что, будучи поклонником советской сборной футбольной команды, Дмитрий Дмитриевич, тем не менее, рассматривал ее поражение как торжество справедливости, как вызов сталинскому террору по отношению к Югославии.

Упомянутый футбольный матч, вопреки элементарному здравому смыслу, приобрел актуальный политический характер. На волю вырвались темные шовинистические страсти, так как Югославия по прихоти Сталина считалась враждебной страной, а ее лидер Броз Тито назывался гестаповцем, палачом, агентом иностранных разведок. Именно таким его изображали и газетчики и карикатуристы. Исходя из такой, с позволения сказать, «концепции», многочисленная чернь различных рангов и положений исключала поражение советской команды, ибо оно заранее расценивалось, как предательство. Дмитрий Дмитриевич и я сочувствовали югославским футболистам, разумеется, не питали к ним никакой вражды, так как они представляли малую обиженную и оскорбленную страну. Нашим игрокам не повезло. Они, при всем своем старании, проиграли, и тогда квасные патриоты подняли невероятно злобную кампанию, в которой выделялся голос мракобеса В. С. Боброва, назвавшего своего коллегу Башашкина, невольно совершившего в игре какую-то ошибку, «титовским прихвостнем». Ни больше ни меньше! Провокаторская выходка Боброва могла по тем временам очень дорого стоить Башашкину. И несказанно возмущенный Дмитрий Дмитриевич был встревожен судьбой неведомого ему футболиста. Шостакович был глубоко уязвлен и тем, что после Сталина бобровы не только в спортивной среде, но и в сфере музыки и литературы по-прежнему блаженствуют на свете.

102

11.XII.1957. Москва 11 декабря

Дорогой Исаак Давыдович!

А. А. Холодилин[1] вернулся только вчера, и пока я его не смог поймать. Завтра (12.XII) уезжаю и вернусь в Москву лишь 29.XII. Пока написал А. А. письмо с просьбой дать надлежащий ход заявлению Веры Васильевны[2]. Я надеюсь, что Вы оба здоровы и благополучны.

Крепко жму руку. *Д. Шостакович*

[1] Александр Александрович Холодилин заведовал музыкальным отделом Министерства культуры СССР, близкий знакомый Шостаковича.

[2] Речь шла о тарификации моей жены, певицы Веры Васильевны Антоновой, работавшей в концертном бюро Ленинградской филармонии.

18.XII.1957. Львов 18 декабря

Дорогой Исаак Давыдович!

Я совершаю большую концертную поездку по следующему маршруту: Киев, Львов, Кишинев, Одесса[1]. Вернусь в Москву 30-го декабря. В каждом из этих городов даются два концерта по одинаковой программе: «Праздничная увертюра», 2-й концерт для фортепиано с оркестром (солист я) и 11-я симфония. К сожалению, не имею времени для осмотра достопримечательностей: репетиции и концерты отнимают всю энергию. Пока испытал удовольствие лишь в Киеве. Там превосходный оркестр и все-таки очень хороший Рахлин[2]. Во Львове оркестр хуже, а дирижер совсем слабый (Стасевич)[3]. Он же будет дирижировать в Одессе. В Кишиневе будет местный дирижер. Много времени провожу в поезде. Сегодня после концерта в 5 ч. утра еду опять в Киев. Встретил во Львове несколько старых ленинградских знакомых. Музыковед Котляревский[4], органистка Бакеева[5], болельщик футбола вокалист Филатов, одна из сестер пианиста Боровского и др.[6]. Все они живут хорошо. Имеют квартиры и получают [жалованье], но очень тоскуют по Ленинграду. В Киеве был свободный вечер. Благодаря настойчивым требованиям композитора Г. Майбороды, истратил этот вечер на на посещение его оперы «Милана»[7]. Посмотрев эту оперу, убедился в том, что гопак в украинских операх должен быть лихим, обычным и популярным[8].

После пребывания в Киеве, мое мнение о Рахлине-дирижере резко изменилось в лучшую сторону[9].

Я надеюсь, что Вера Васильевна и ты здоровы. Очень было грустно видеть тебя больным.

Крепко жму руку.

Сердечный привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] Шостакович с юных лет любил путешествовать. Его неудержимо привлекала дорога. Он почти никогда не жаловался на неудобства, связанные с поездками. Не роптал на скверные гостиницы, неблагоустроенные вагоны, принимая это как должное и неизбежное.

В различных городах страны, куда приезжал Дмитрий Дмитриевич, местные музыканты, известные и малоизвестные, добивались встречи с ним, и это было ему зачастую в тягость, хотя он и вида не показывал, соблюдая в некоторых случаях чуть-чуть натянутую вежливость обхождения.

[2] Натан Григорьевич Рахлин (1906—1979) — выдающийся дирижер. 30 октября 1957 года он дирижировал в Москве премьерой Одиннадцатой симфонии Шостаковича. Характерно, что Дмитрий Дмитриевич ни одним словом не обмолвился об успехе своих концертов, а он выступал в них и в качестве солиста. Было бы естественно сообщить мне, как его принимали не в Киеве или Одессе (там его хорошо

знали), а, скажем, в Кишиневе или Львове. Но не тут-то было! Он считал неинтересным и даже неприличным говорить о своем успехе. Но случись маловероятное, и какой-либо из концертов потерпел неудачу, то он бы непременно написал мне об этом.

[3] Абрам Львович Стасевич (1907—1971). Впоследствии Дмитрий Дмитриевич был об этом дирижере более высокого мнения.

[4] Арсений Николаевич Котляревский (р. 1910).

[5] Вера Николаевна Бакеева.

[6] Известный пианист Александр Кириллович Боровский (1889—1968).

[7] Георгий Илларионович Майборода (р. 1913). Его опера «Милана» была поставлена в Киеве в 1957 году.

[8] Шостакович высоко ценил оркестр, вокалистов, дирижеров Киевского оперного театра, в особенности дирижера К. А. Симеонова, но относился более чем сдержанно к композиторам, писавшим для этого театра, что подтверждается многозначительной шуткой по поводу «гопака».

[9] Шостакович после первого прослушания Одиннадцатой симфонии под управлением Н. Г. Рахлина на московском концерте (30 октября 1957 года) находил немало дефектов в работе замечательного дирижера. Говорил он об этом в очень узком кругу.

104

24.XII.1957. Одесса — 24 декабря

Дорогой Исаак Давыдович!

Сегодня я узнал, что Можайское шоссе переименовано в Кутузовский проспект. Поэтому мой адрес теперь такой: Москва Г-151. Кутузовский проспект 37/45, кв. 87[1].

Моя поездка подходит к концу. 30-го буду в Москве. Поздравляю тебя и всех твоих с наступающим Новым годом.

Твой *Д. Шостакович*

30-го буду в Москве, а 3.I.1958 вылетаю на 3 недели в Болгарию[2].

Д. Ш.

[1] Шостакович со свойственной ему необычайной аккуратностью, не дождавшись возвращения в Москву, поспешил сообщить мне из Одессы о новом названии Можайского шоссе, на котором он жил, чтобы я, невзначай, не писал на старый адрес.

[2] После утомительного концертного турне по Украине очень легкий на подъем Шостакович сразу же отправился в Болгарию, где выступал в концертах как исполнитель своего Второго фортепианного концерта.

29.XII.1957. Одесса 29 декабря

Дорогой Исаак Давыдович!

Приехал я в Одессу в день всенародного праздника 40-летия Советской Украины. Сегодня утром я вышел на улицу. Ты, конечно, сам понимаешь, что усидеть дома в такой день нельзя. Несмотря на пасмурную туманную погоду, вся Одесса вышла на улицу[1]. Всюду портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также т. т. А. И. Беляева, Л. И. Брежнева, Н. А. Булганина, К. Е. Ворошилова, Н. Г. Игнатова, А. И. Кириленко, Ф. Р. Козлова, О. В. Куусинена, А. И. Микояна, Н. А. Мухитдинова, М. А. Суслова, Е. А. Фурцевой, Н. С. Хрущева, Н. М. Шверника, А. А. Аристова, П. А. Поспелова, Я. Э. Калнберзина, А. П. Кириченко, А. Н. Косыгина, К. Т. Мазурова, В. П. Мжаванадзе, М. Г. Первухина, Н. Т. Кальченко[2].

Всюду флаги, призывы, транспаранты. Кругом радостные, сияющие русские, украинские, еврейские лица. То тут, то там слышатся приветственные возгласы[3] в честь великого знамени Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также в честь т. т. А. И. Беляева, Л. И. Брежнева, Н. А. Булганина, К. Е. Ворошилова, Н. Г. Игнатова, А. И. Кириченко, Ф. Р. Козлова, О. В. Куусинена, А. И. Микояна, Н. А. Мухитдинова, М. А. Суслова, Е. А. Фурцевой, Н. С. Хрущева, Н. М. Шверника, А. А. Аристова, П. А. Поспелова, Я. Э. Калнберзина, А. П. Кириленко, А. Н. Косыгина, К. Т. Мазурова, В. П. Мжаванадзе, М. Г. Первухина, Н. Т. Кальченко, Д. С. Коротченко[4]. Всюду слышна русская, украинская речь. Порой слышится зарубежная речь представителей прогрессивного человечества, приехавших в Одессу поздравить одесситов с великим праздником. Погулял я и, не в силах сдержать свою радость, вернулся в гостиницу и решил описать, как мог, всенародный праздник в Одессе.

Не суди строго.

Крепко целую.

Д. Шостакович

[1] Весь абзац, как бы заимствованный из стандартного газетного репортажа тех дней, исполнен острой иронии. Вообще все письмо выдержано в сатирическом плане.

[2] Когда из года в год перед майскими и ноябрьскими праздниками во всех городах и весях вывешивались для всеобщего обозрения и, вероятно, любования громадные портреты членов Политбюро, то этот «иконостас» неизменно вызывал у Шостаковича отрицательную реакцию. «Зачем и во имя чего это делается?» — спрашивал он меня. Но и после смерти Сталина эта парадная казенщина неукоснительно соблюдалась. «Иконостас» непрерывно обновлялся по мере того, как из него исчезали никому не ведомые деятели, выставляемые напоказ, и вместо них появлялись другие неведомые лица.

Дмитрий Дмитриевич с нарочитым комическим педантизмом перечисляет по алфавиту, не опуская инициалы, фамилии этих лиц.

[3] Шостакович высмеивает фальшивое ликование городской толпы, заполнившей улицы Одессы.

[4] Повтор, или в музыкальном искусстве — реприза, мощно усиливает юмористический эффект изображения.

1958

106

5.I.1958. Москва — 5 января

Дорогой Исаак Давыдович!

Я говорил с А. А. Холодилиным. Он сказал, что с Верой Васильевной все в порядке, что 7-го января все будет подписано и ей выслано[1].

Крепко целую. Д. Шостакович

[1] См. примечания 1, 2 к письму 102 от 11 декабря 1957 года.

107

2.II.1958. Болшево — 2 февраля

Дорогой Исаак Давыдович!

По возвращении из Болгарии звонил тебе, но не застал тебя. Вернее: телефон не ответил. Поздравляю тебя с прошедшим днем рождения[1]. Будь всегда здоров и счастлив. После поездки я очень устал. Уехал на два дня в Болшево. Если тебе попадется роман Леонгарда Франка «Ученики Иисуса» (издательство «Иностранная литература». Москва, 1957), прочти его. По-моему, это очень хорошая книга[2].

Адрес у меня переменился: дом перенумеровали. Теперь адрес такой: Москва Г-151. Кутузовский проспект, д. 27, кв. 87.

Передай всем твоим привет.

Твой Д. Шостакович

[1] День моего рождения 11 января, и Дмитрий Дмитриевич неизменно поздравлял меня.

[2] Шостакович, будучи человеком очень начитанным, прекрасно знавшим произведения русских и зарубежных классиков, следил за новинками современной литературы и неоднократно рекомендовал мне для прочтения появляющиеся книги различных авторов, хорошо зная, что мы с ним полностью сойдемся в их оценках. И на этот раз, впрочем, как всегда, тонкий художественный вкус Дмитрия Дмитриевича не об-

манул его. Я прочел указанный им роман «Ученики Иисуса» с захватывающим интересом.

108

20.III.1958. Москва 20 марта

Дорогой Исаак Давыдович!

Статья твоя получена. Она написана с великолепным блеском и с большой любовью к покойному. Читая статью, я вспомнил А. С. Рабиновича и видел его, как живого[1]. Вспомнил его талантливые, благородные, чистые остальные высказывания. Вспомнил, что его нет в живых[2]. Вспомнил, что я еще жив, но мне уже 51 год.

Сердечный привет Вере Васильевне.

Крепко целую. Д. Шостакович

[1] В начале 1958 года готовился к печати сборник статей замечательного ленинградского музыковеда Александра Семеновича Рабиновича (брата моего близкого друга дирижера Николая Семеновича). Шостакович дал согласие написать вступительную статью к сборнику (Избранные статьи и материалы. М., 1959) и обратился ко мне с просьбой помочь ему в этой литературной работе.

Я, разумеется, сразу откликнулся на просьбу Дмитрия Дмитриевича и в середине марта 1958 года послал ему статью об А. С. Рабиновиче, к которому испытывал большую симпатию.

[2] А. С. Рабинович скончался в 1943 году, сорока трех лет от роду.

109

5.V.1958. Горький 5 мая

Дорогой Исаак Давыдович!

Пишу тебе из Горького, куда вечером прибыл концертировать. Дирижер Гусман[1] сыграл мою 11-ю симфонию. Он творческий человек и поэтому во многих местах переменил темпы и динамические оттенки. Из-за этого многое получилось очень плохо. Сегодня этот концерт повторится, и сегодня же еду в Москву. Сам я играю 2-й концерт. Играю плохо. Почему-то сильно отстает правая рука[2]. Видимо, 7-го или 8-го отбываем в Италию, а потом во Францию[3]. Вернемся в первых числах июня. Май богат событиями. 10-го день рождения Максима, 30-го день рождения Гали. 19-го мая исполнится 25 лет моей женитьбы на Нине. И все эти даты я буду на чужбине.

Предстоящая поездка меня не радует. Я чувствую себя очень усталым. Мне надо сидеть дома и раскладывать пасьянсы[4].

Итак, если поездка почему-либо не отменится, то я с тобой прощаюсь до июня. Будь здоров, благополучен и счастлив. Передай сердечный привет Вере Васильевне и всем твоим.

Крепко тебя целую. *Д. Шостакович*

[1] Дирижер Израиль Борисович Гусман из города Горького, с большой любовью относившийся к творчеству Шостаковича, тем не менее назван иронически «творческим человеком» за дирижерское своеволие и стремление показать себя любой ценой в трактовке Одиннадцатой симфонии.

[2] Впоследствии это недомогание прошло, но, по-видимому, не бесследно.

[3] Весной 1958 года на Шостаковича, как из рога изобилия, посыпались почетные награды. 22 апреля он стал лауреатом Ленинской премии. 12 мая в Италии ему был вручен диплом члена Академии Святой Цецилии. 30 мая в Париже он был провозглашен Командором Ордена искусств и литературы. Однако Дмитрий Дмитриевич ничего не писал мне об этих событиях, не придавая им большого значения. Честолюбие было ему чуждо. Когда он говорил о наградах, то нередко цитировал Экклезиаста: «Все суета и томление духа». Именно поэтому он без всякой охоты отправлялся за границу за почетными званиями и написал характернейшую для него фразу: «Мне надо сидеть дома и раскладывать пасьянсы». Вообще официальные торжества были Шостаковичу в тягость. Он предпочитал семейные праздники вроде дня рождения детей: Максима и Галины, о чем он и пишет в письме.

[4] Любовь к пасьянсам Дмитрий Дмитриевич унаследовал от матери Софьи Васильевны.

110

3.VI.1958. Москва — 3 июня

Дорогой Исаак Давыдович!

Вчера мы вернулись домой после трудной и утомительной поездки[1]. Если у тебя будет время, напиши мне. Очень без тебя скучаю.

Передай привет всем твоим.

Твой *Д. Шостакович*

[1] Имеется в виду поездка в Италию и Францию, которая названа лишь «трудной и утомительной», и не сказано ни одного слова о почетных наградах, полученных в торжественной обстановке. Иной человек писал бы об этом восторженно и радостно, а Шостаковичу вся помпа показалась «суетой и томлением духа», о чем он сказал при встрече.

111

22.VI.1958. Болшево 22 июня

Дорогой Исаак Давыдович!

Завтра отправляюсь в Лондон, а затем в Оксфорд, где будет происходить церемония присуждения мне степени доктора. Церемония будет происходить 25 июня. А 27-го июня отправляюсь домой[1].

Полечу на этот раз один, т. к. Маргарита[2] занята экзаменами. Напиши мне, какие у тебя планы на лето. У нас дело обстоит так: Галя до августа уезжает на практику в Рыбинск. Остальные, плюс сестра Маруся поедут в Рузу. В Комарово в этом году не поедем. Кланяйся всем твоим.

Твой Д. Шостакович

[1] Не прошло и трех недель после возвращения Шостаковича из Италии и Франции, как ему пришлось полететь в Англию, снова за наградой. Но на этот раз поездка ему понравилась и вовсе не потому, что он стал доктором Оксфордского университета, хотя это звание он уважал. Дмитрий Дмитриевич с увлечением рассказывал мне о традициях, нравах, обычаях, существующих испокон веку в Оксфорде. Добродушно улыбаясь, он показывал мне докторскую мантию, в каковую со всей серьезностью и церемонностью его облачали.

«Да, — сказал Шостакович, — в Англии умеют хранить вековые традиции, чего не скажешь о нашей стране».

[2] Маргарита Андреевна Кайнова — вторая жена Шостаковича. Дмитрий Дмитриевич состоял в браке с М. Кайновой на протяжении трех лет (1956—1959).

112

10.VII.1958. Репино 10 июля

Дорогой Исаак Давыдович!

14 августа[1] мы с Маргаритой Андреевной приедем дня на 2—3 в Ленинград. Очень хотим с тобой встретиться.

Звони нам и мы будем тебе звонить.

Д. Шостакович

[1] Описка Шостаковича. Он имел в виду 14 июля, а не августа.

113

17.VII.1958. [Ленинград] 17 июля

Дорогой Исаак Давыдович!

Маргарита и я приглашаем Веру Васильевну и тебя 26-го

июля к 5 часам на праздничный обед в честь 2-летия нашего бракосочетания. Обед имеет быть в Ленинграде на Марусиной квартире[1]. Приходите обязательно.

Д. Шостакович

[1] Имеется в виду квартира сестры Шостаковича Марии Дмитриевны, в которой он иногда останавливался, приезжая на короткий срок в Ленинград. Дмитрий Дмитриевич, будучи очень хорошо воспитанным человеком, строго соблюдал правила дружеского обхождения, не допуская никакой небрежности в приглашении на какие-либо большие или малые праздники, каковым он неизменно придавал большое значение, что, в частности, подтверждается чуть-чуть торжественным тоном пригласительной записки, написанной загодя, чтобы дать возможность гостям рассчитать свое время.

Обед состоялся в точно назначенный срок. Из посторонних присутствовал кинорежиссер Фридрих Маркович Эрмлер, с которым Шостакович поддерживал приятельские отношения, начиная с фильма «Встречный», для коего он написал свою известную песню «Нас утро встречает прохладой».

114

24.VIII.1958. Москва — 24 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

Я тебе говорил, что когда я вижу Мишу Шнеерсона (Женино сына)[1], то я всегда вспоминаю рассказ Куприна «Блаженный». Прочти этот рассказ[2]. Он напечатан в Собрании сочинений. Том первый, стр. 508. Государственное издательство художественной литературы. Москва, 1957.

Завтра я ложусь в больницу лечить правую руку[3].

Твой Д. Шостакович

Передай привет всем твоим. *Д. Ш.*

[1] Имеется в виду дефективный мальчик Евгении Владимировны Шнеерсон, занимавшей должность художественного руководителя Малого зала Ленинградской филармонии — близкой подруги первой жены Шостаковича — Нины Васильевны.

[2] Дмитрий Дмитриевич на протяжении многих лет то и дело рекомендовал мне книги, подлежащие прочтению, став в известной мере моим литературным наставником. Я, в свою очередь, тоже нередко указывал или называл разного рода вещи, с которыми ему следовало бы познакомиться.

[3] Шостакович, на первых порах без комментариев, без всяких жалоб сообщает мне о предстоящем лечении правой руки. Тучи над ним сгустятся гораздо позже, хотя рука по непонятным причинам теряла силу с весны 1958 года.

115

6.IX.1958. Москва 6 сентября

Дорогой Исаак Давыдович!

В больнице пробуду по крайней мере до начала октября. Так позавчера решил консилиум из профессоров — жрецов науки[1]. У меня ослабела правая рука. По ней часто бегают мурашки. Не могу поднимать тяжести. Пальцами могу зацепить любой чемодан. А вот повесить пальто на вешалку мне трудно. Трудно чистить зубы. Когда пишу, то рука очень устает. Играть могу лишь медленно и pianissimo. Заметил я это, когда был в Париже. Я там еле-еле играл на концертах. Не обратил внимания. Жрецы науки на мой вопрос, как называется эта болезнь, ничего толком не ответили и приговорили меня к пребыванию в больнице до начала октября. На всякий случай тренирую руку. Каждый день упражняюсь в писании всех букв алфавита, всех цифр и разного рода фраз, вроде «Маша ест кашу», «Поп чешет пуп»[2]. Но, Боже мой, до чего это трудно. Никаких успехов, никакого движения вперед. Очень у меня отсталая левая рука. Я завидую В. Я. Шебалину, который совсем потерял правую руку, но вытренировал левую: он пишет левой рукой совершенно свободно. Более того: он левой рукой, откликаясь на исторические указания о том, что искусство должно быть ближе к жизни, ближе к народу, написал левой рукой оперу о наших современниках, победно идущих под руководством Партии к сияющим вершинам нашего будущего, к коммунизму[3].

Если у тебя будет время и желание, пиши мне. Мой адрес: Москва К-9. Ул. Грановского, 2. Больница 4-го управления Министерства здравоохранения СССР. Мне.

Находиться мне здесь хорошо. У меня очень тихая палата. Нахожусь я в ней один. Здесь прекрасные сестры, санитарки, официантки. Прекрасные, честные труженицы. Общаюсь с А. И. Хачатуряном, который лежит здесь уже два месяца с язвой желудка. Чувствую себя хорошо. Очень скучаю. Лечат меня так: каждый день три укола в задницу и массаж обеих рук. Задница исколота до чрезвычайности. Боюсь, что скоро не смогу сидеть.

Всем твоим передай привет от меня.

Крепко жму руку. Пиши.

Д. Шостакович

[1] Шостакович очень критически относился к медикам, особенно именитым, работающим в привилегированных лечебницах. В письмах своих он шутливо называл их «жрецами» или «светилами» науки.

[2] Грусть и печаль, одолевавшие Дмитрия Дмитриевича в больнице, сочетались у него с исконным чувством юмора, не покидавшим его и в трудные времена.

[3] Шостакович высмеивает пропагандистские штампы, набившие ос-

комину призывы и кличи, неумолчно звучавшие изустно и печатно после смерти Сталина.

116

12.IX.1958. [Москва] 12 сентября

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо тебе за письмо. Спасибо за радостные новости, а главное за то, что ты меня не забываешь и хоть редко, но балуешь меня своими письмами. Я чувствую себя хорошо. Рука улучшается, но очень устает, когда пишу[1].

В больнице хорошая библиотека. С огромным восторгом читал, вернее, перечитывал «Путешествия Гулливера», «Робинзона Крузо» и с истинным восторгом ряд других книг[2]. С большим интересом прочитал сборник рассказов американских писателей. Особенно интересно предисловие к этому сборнику. Автор предисловия (забыл его фамилию) пишет о том, в каких трудных условиях приходится работать американским прогрессивным писателям. Автор прямо пишет: «В своей работе „Литература и действительность" Говард Фаст[3] писал, что создание образа положительного героя-коммуниста является главной задачей американской литературы». Прекрасно сказано[4]. Но трудно, очень трудно выполнить эту задачу в условиях разгула реакции в США. Советую почитать эту книгу «Рассказы американских писателей». Государственное издательство художественной литературы. Москва, 1954. От души советую почитать также книгу прогрессивного американского писателя Альберта Мальца[5] «Длинный день в короткой жизни». А также Эптона Синклера «Столица»[6]. Все это очень интересно.

Я пробуду в больнице еще около двух недель. Пиши обязательно.

Целую. Д. Шостакович

[1] По выходе из больницы, Шостакович много писал, преодолевая усталость руки, а также довольно много играл на рояле.

[2] Шостакович любил перечитывать давно прочитанные книги, открывая в них новые достоинства. Так случилось с произведениями Свифта и Дефо. Этим замечательным писателям, вызвавшим у Дмитрия Дмитриевича восторг, он противопоставляет современных американских писателей, которые до поры до времени носили у нас звание «прогрессивных».

[3] Произведения Говарда Фаста широко издавались и пропагандировались в Советском Союзе, главным образом, за их обличение американской действительности. В 1953 году ему была присуждена Международная сталинская премия «За укрепление мира между народами». Впоследствии он был у нас разжалован и обруган за критику советской действительности.

[4] Шостакович иронизирует над этим тезисом Говарда Фаста.

[5] Альберт Мальц приобрел у нас известность за обличение американской капиталистической системы.

[6] Эптону Синклеру очень у нас досталось за то, что после войны он занял «реакционную позицию». Над этими превратностями судьбы американских «прогрессивных» писателей Дмитрий Дмитриевич едко смеялся.

117

19.IX.1958. Москва — 19 сентября

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо тебе за то, что ты мне пишешь. Мне здесь очень скучно, а каждое твое письмо радует меня. Порадовало и последнее письмо.

Твой рассказ о твоем собутыльнике в Комарово вызвал у меня некоторые размышления. Я высоко ценю Иисуса Христа. Особенно высоко я ценю легенду (притчу) о чаше весов. Распятый с двумя разбойниками Христос, учитывая предсмертное покаяние разбойника, решил взять его с собой в Царствие небесное. Его предсмертное покаяние перевесило чашу весов, на другой чаше которых находились жестокие злодеяния разбойника. «Тяготение от лжи», как ты пишешь, заставило тебя высоко оценить лицо, тяготящееся ложью. Прав ли ты, прав ли в аналогичном случае Христос? Вероятно, оба вы правы. Прав и я, когда думал о том, что автор ряда мелодичных и изящных произведений, существо до некоторой степени человекоподобное. Это доказывает и твоя с ним беседа в Комаровском кабаке.

Дай Бог, чтобы он не лгал и не делал отвратительных подлостей и впредь. А в этом я не уверен. Будет ли это? Поживем — увидим[1].

Мое пребывание в больнице подходит к концу. Думаю, что числа 25-го буду уже дома. Рука моя чувствует себя лучше. Однако, концертной деятельностью в ближайшее время вряд ли мне придется заниматься. В свободное время (а у меня его много) думаю о своих произведениях «Леди Макбет» и 4-й симфонии. И очень мне захотелось послушать и то и другое[2]. В удовольствие от прослушивания оперы я мало верю. Уж больно много там (в театре. — *И. Г.*) околачивается бездарных и неквалифицированных исполнителей: певцов, режиссеров, художников и т. п. А 4-я могла бы прозвучать. Я не очень верю в то, что эти произведения прозвучат, но балую себя воображением и внутренним слухом.

Передай всем твоим сердечный привет.

Крепко целую. *Д. Шостакович*

Пиши мне домой, а не в больницу. Из дому мне всегда перешлют твои письма. Несколько дней тому назад я познако-

мился с симфонией В. Баснера. Я исхлопотал встречу с ним, а также с М. Вайнбергом и Б. Чайковским, которые исполнили ее в 4 руки на местном рояле. Симфония мне понравилась. Автор ее несомненно талантлив.

Д. Ш.

[1] Дмитрий Дмитриевич хорошо знал Библию и вспомнил евангельскую притчу по прочтении моего письма, в котором я рассказал об одном видном ленинградском композиторе, пригласившем меня для беседы и глотка горячительного в комаровский ресторанчик. Во время ничего не значащего разговора он вдруг затронул тему лжи и, сделав неожиданную модуляцию, покаялся в том, что в дни гнусной кампании по борьбе с так называемыми космополитами, по чужой подсказке, обвинил меня публично в смертных грехах, за что приносит извинение, пусть запоздалое.

Мне понравилось это покаяние, свидетельствующее о совестливости моего собеседника. Шостакович колебался в своей нравственной оценке композитора, коего он с иронией назвал автором «ряда мелодичных и изящных произведений». Вместе с тем он пожелал ему морально очиститься от лжи — пособницы зла.

Шостакович в своей многотрудной жизни никогда не мстил обидчикам. Он испытывал к ним презрение, смешанное с жалостью. Именно с жалостью, говоря о них словами Яна Гуса: «Они не ведают, что творят». Он ненавидел главных творцов зла, развернутого в масштабах всей страны. Он также ненавидел доносчиков, погубивших безвинных людей.

[2] Находясь в больнице, Дмитрий Дмитриевич не без грусти думал о двух своих запрещенных произведениях: «Леди Макбет» и Четвертой симфонии. Он мало верил в их скорое исполнение, хотя минуло пять лет со дня смерти Сталина и на дворе стояла «оттепель». Он ощущал ее ненадежность и хрупкость.

Понадобилось еще три длинных года, чтобы, наконец, в Москве состоялась триумфальная премьера Четвертой симфонии под управлением Кирилла Петровича Кондрашина. (Я присутствовал на ней.) После концерта, когда мы вернулись домой, взволнованный Дмитрий Дмитриевич под мощным воздействием прослушанной музыки сказал мне, что Четвертая принадлежит к самым лучшим его сочинениям и превосходит даже Восьмую. Сказано это было сгоряча и вряд ли соответствует точным критериям, ежели такие вообще возможны в сравнительных оценках музыкальных произведений очень высоких достоинств. Тем не менее похвала в честь опальной симфонии была произнесена автором, чья скромность не нуждается в комментариях. Между тем в течение 25 лет Шостакович ни разу не опровергнул, не дезавуировал укоренившуюся легенду о том, что именно он по доброй воле снял симфонию с исполнения во время репетиций осенью 1936 года. Больше того: 20 лет спустя в статье «Думы о пройденном пути» (Сов. музыка. 1956. № 9) Шостакович как бы утвердил правомерность легенды, назвав симфонию несовершенной, страдающей «манией грандиоза».

А на самом деле все обстояло иначе, гораздо сложнее. Душу Дмитрия Дмитриевича саднила мысль о неуслышанной симфонии, и ему приходилось «проигрывать» ее в памяти своей, вслушиваться в

нее «внутренним слухом». То была ситуация, исполненная глубокого драматизма, но Шостакович рассказывает мне о ней, как о беде, которую отвратить невозможно. Отсюда безгневный, безропотный тон изложения.

118

11.XI.1958. Москва — 11 ноября

Дорогой Исаак Давыдович!

Письмо твое получил. Если Малегот хочет ставить мою оперетту, пусть ставит. За нотным материалом надо обратиться в Московский театр оперетты (Москва. Площадь Маяковского)[1].

Передай сердечный привет всем твоим.

Очень без тебя скучаю. *Д. Шостакович*

[1] Речь идет об оперетте «Москва — Черемушки». Шостакович по настоятельным, неотступным просьбам главного дирижера Московского театра оперетты Г. А. Столярова согласился скрепя сердце написать оперетту «Москва — Черемушки». Это вынужденное согласие было в известной мере обусловлено давнишним творческим содружеством Дмитрия Дмитриевича с Г. А. Столяровым, дирижировавшим «Катериной Измайловой» в московской постановке Вл. И. Немировича-Данченко. Воспоминания о прошлом сыграли свою роль, и Шостакович, не желая обижать Столярова, оказавшегося в театре оперетты, сочинил в кратчайший срок «Москву — Черемушки», сюжет которой отнюдь не радовал его.

Ленинградский Малый оперный театр вознамерился поставить «Москву — Черемушки» и обратился ко мне с просьбой содействовать получению нотного материала оперетты.

119

19.XII.1958. Москва — 19 декабря

Дорогой Исаак Давыдович!

Я аккуратно посещаю репетиции моей оперетты. Горю со стыда. Если ты думаешь приехать на премьеру, то советую тебе раздумать. Не стоит терять время для того, чтобы полюбоваться на мой позор. Скучно, бездарно, глупо. Вот все, что я могу тебе сказать по секрету[1].

Крепко жму руку.

Д. Шостакович

[1] Я был встревожен этим письмом, полном жесточайшего самобичевания, и отправился в Москву, чтобы присутствовать на репетициях и, по возможности, поддержать дух Дмитрия Дмитриевича, который, по словам одного выдающегося дирижера, «не мог писать

музыку плохо, просто не мог в силу своего необыкновенного таланта». Придя в театр, я убедился в правоте этого дирижера. Мне понравилась музыка — и лирическая, и юмористическая. «Гвоздем» спектакля была обширная вокально-танцевальная сюита, написанная с блестящим остроумием и, разумеется, великолепно инструментованная.

Талантливая актриса Татьяна Шмыга прекрасно исполняла центральную роль Лидочки, отличавшуюся сложностью эмоциональных состояний. Мое восприятие оперетты несколько взбодрило Дмитрия Дмитриевича, и он не столь мрачно начал взирать на все представление, хотя по-прежнему порицал музыку, но особенно ему претили разговорные диалоги, засоренные вульгарными оборотами, жаргонной, «блатной» фразеологией. В этом плане я полностью разделял его мнение.

Рецензии на спектакль были очень похвальные, но он не удержался в репертуаре, и Шостакович не жалел об этом.

Примерно через два года я предложил Ленфильму поставить картину на материале оперетты. Предложение было принято, и Шостакович дал согласие на постановку фильма, получившего название «Черемушки». Ставил картину замечательный кинорежиссер Герберт Морицевич Рапопорт, буквально влюбившийся в музыку оперетты. Фонограмму мастерски записал дирижер Николай Семенович Рабинович. Я стал консультантом и редактором фильма. Значительные купюры, сделанные в словесном тексте и частично в партитуре, придали сценарию стройность и выразительность. В процессе съемок Шостакович, по просьбе режиссера, написал несколько отличных кусков музыки.

В 1963 году, перед выходом «Черемушек» на экран, Дмитрий Дмитриевич вместе со мной смотрел картину в просмотровом зале Ленфильма. По ходу сюжета он, наклонившись ко мне, несколько раз вполголоса произнес: «Интересно!», «Здорово!». Ему понравилось услышанное и увиденное. Он публично одобрил и похвалил картину.

Таким образом, произошла разительная перемена в оценке написанного им произведения. Шостакович был, конечно, далек от преувеличения достоинств своей оперетты, но горечь, испытанная им во время репетиций в театре, уступила место хорошему настроению, потому что кинематографическая версия «Москвы — Черемушек» во всех ее компонентах оказалась более убедительной и художественно полноценной, нежели театральная. Более высокая форма выражения пришла на помощь содержанию.

1959

120

2.II.1959. Болшево — 2 февраля

Дорогой Исаак Давыдович!

По случаю предстоящего 100-летия Ленинградской консерватории, я обещал написать несколько слов, страницы на четыре пишущей машинки. Я очень прошу тебя помочь мне в этом деле.

Тезисы таковы:

1. Я — студент консерватории, получивший вместе с другими

студентами солидное музыкальное образование. Упомянуть Л. В. Николаева, М. О. Штейнберга, А. К. Глазунова[1].
2. Все прочее, что придет в голову.

Буду тебе от всей души благодарен за помощь.

Передай привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] Я выполнил просьбу Шостаковича, сообразуясь с теми тезисами, которые были им сформулированы в письме ко мне.

121

6.II.1959. Москва — 6 февраля

Дорогой Исаак Давыдович!

Большое тебе спасибо за Гилельса[1].

Крепко жму руку.

Твой Д. Шостакович

[1] Эмиль Григорьевич Гилельс, с которым я был в приятельских отношениях, горячо желал, чтобы к готовящейся о нем книге непременно написал предисловие Шостакович. Об этом он неоднократно напоминал мне.

Дмитрий Дмитриевич, очень высоко ценивший пианистический талант Гилельса, просил меня помочь ему в написании небольшого предисловия. Я выполнил его просьбу.

Эмиль Григорьевич был растроган и глубоко благодарен за лестные строки, написанные о нем не каким-нибудь музыковедом, а великим композитором.

122

20.V.1959. Москва — 20 мая

Дорогой Исаак Давыдович!

Давно не имею от тебя известий. Сообщи о себе. У меня особых новостей нет. Выходит книжка о Гилельсе. По этому поводу получил гонорар (4000 р.).

На улице не валяются.

Передай привет Вере Васильевне.

Пиши, не забывай.

Д. Шостакович

123

26.V.1959. Москва 26 мая

Дорогой Исаак Давыдович!

За А. С. Рабиновича будет особый гонорар[1]. Эти деньги за книгу о Гилельсе[2]. Высокая сумма полагается именитому автору. 31-го улетаю на 10 дней в Прагу. В середине июня надеюсь быть в Ленинграде.

Д. Шостакович

[1] См. примечание 1 к письму 108 от 20 марта 1958 года.

[2] Дмитрий Дмитриевич с радостью переслал мне четыре тысячи рублей (это было до девальвации 1961 года), считая эту солидную сумму гонораром за небольшую статью об Эмиле Гилельсе, каковую я помог написать. Он при этом шутливо заметил, что так платят «именитому автору». Но то была ошибка. Через день-другой выяснилось, что деньги (4000 рублей) были получены Шостаковичем из другого источника его скромных доходов. Я, разумеется, вернул ему часть не полагающегося мне гонорара. Впоследствии при встрече мы весело посмеялись над этим финансовым казусом.

124

27.V.1959. Москва 27 мая

Дорогой Исаак Давыдович!

Видимо я действительно запутался в своих расчетах. В прилагаемом при сем договоре, я в четвертом пункте увидел сумму 4000 руб. После этого я навел справку и мне сообщили, что гонорар за статью переведен мне на сберкнижку. Тогда, не задумываясь, я переслал тебе деньги (4000), которые у меня были в наличии, т. к. Большой театр, уволив меня, произвел со мной полный расчет[1]. Получив твое письмо, я послал тебе открытку, что все в порядке[2]. Оказывается, не все. Кроме 4-го пункта в договоре есть 1-й пункт, в котором указан размер статьи (0,56 авт. л.). А 4000 платится за целый авторский лист. При сем посылаю тебе договор, в котором все указано[3]. Деньги мне обратно не возвращай. Вычти из них причитающиеся и тебе. Держи остаток до моего приезда у себя или передай моей сестре Марусе.

Извини меня.

Крепко тебя целую.

Д. Шостакович

[1] Шостакович состоял консультантом Большого театра и увольнение с этой должности он воспринял смиренно, как должное.

[2] В своем письме я высказал мнение, что издательство, вероятно,

ошиблось, выплатив гонорар за статью о Гилельсе значительно больший, чем полагается.

[3] Зная невероятную пунктуальность Шостаковича в денежных расчетах, я не очень удивился тому, что он прислал мне договор, хотя в нем, конечно, решительно не было никакой нужды, и мне показалась эта щепетильность чрезмерной, но таков был характер Дмитрия Дмитриевича.

125

15.VI.1959. Москва — 15 июня

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо тебе за письмо. Жалею, что не был на концерте, но я не знал о том, что [он] имел быть[1].

В Москве невыносимая жара была все время[2].

Сегодня похолодало. Дышится легче.

Сообщи о своих летних планах. Возможно, мы будем жить в Комарове.

Привет всем твоим.

Твой Д. Шостакович

[1] О каком именно концерте идет речь, мне установить не удалось.

[2] Дмитрий Дмитриевич с большим, мучительным трудом переносил жару. Она его всегда пугала.

126

25.VIII.1959. Москва — 25 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

Моя сестра Мария Дмитриевна сказала, что полное собрание сочинений Л. Андреева имеется у Фоминых[1]. Если ты не сможешь эти сочинения достать, позвони ей и обязательно прочти рассказ «Губернатор»[2].

Передай сердечный привет всем твоим.

Твой Д. Шостакович

[1] Имеется в виду архитектор Игорь Иванович Фомин, дочь которого была замужем за племянником Шостаковича Дмитрием Всеволодовичем Фредериксом.

[2] Я уже неоднократно писал о том, что Дмитрий Дмитриевич нередко называл мне книги, подлежащие прочтению. На этот раз ему хотелось, чтобы я прочел «Губернатора» Леонида Андреева. Этот замечательный рассказ произвел на него большое впечатление, о чем он мне подробно говорил в июле 1959 года.

Шостаковичу было важно, а порою очень важно узнать, разделяю

ли я его мнение о том или ином литературном произведении, которое оставило глубокий след в его душе и памяти. Сходный интерес он проявлял к моим скромным суждениям о различных вещах и в сфере музыки.

127

8.X.1959. Москва 8 октября

Дорогой Исаак Давыдович!
Спасибо тебе сердечное за телеграмму[1].
Твой Д. Шостакович

[1] О какой именно телеграмме идет речь, мне установить не удалось, но, судя по отклику на нее, она ему доставила удовольствие.

128

20.X.1959. Москва 20 октября

Дорогой Исаак Давыдович!
Прилагаю при сем записку к С. В. Ельцину. Мне бы очень хотелось, чтобы ты воспользовался этой запиской[1]. Телефон С. В. Ельцина Ж 32120.
Крепко тебя целую.
Передай сердечный привет Вере Васильевне.
Твой Д. Шостакович

Зовут Ельцина Сергей Витальевич.

[1] Осенью 1959 года Театр оперы и балета имени Кирова готовил постановку «Бориса Годунова» в инструментовке Шостаковича. Дмитрию Дмитриевичу хотелось, чтобы я посещал репетиции будущего спектакля и сообщал ему о своих впечатлениях о работе дирижера С. В. Ельцина, об игре и пении актеров.

Опасаясь, что у меня могут возникнуть трудности, связанные с посещением театра (хотя их и не было), он обратился с просьбой к дирижеру спектакля, занимавшему в ту пору пост главного дирижера театра, *не препятствовать моим появлениям на репетициях*. В ноябре 1959 года Шостакович приехал на премьеру «Бориса Годунова», оперы, которую он с горячей и преданной любовью инструментовал еще перед войной. На спектакле мы с Дмитрием Дмитриевичем сидели в партере рядом и с волнением слушали гениальную музыку, представшую в замечательном и блестящем оркестровом наряде.

1960

129

11.II.1960. Москва 11 февраля

Дорогой Исаак Давыдович!

Нахожусь в больнице, где собираются лечить мою правую руку. Очень скучаю. Действительно скучно, будучи совершенно здоровым, пребывать в больнице. Прошлый раз меня веселила вера в то, что руку вылечат. Теперь этой веры у меня нет ни на йоту.

Встретил в больнице одного знакомого, который дал мне почитать напечатанный в двадцатых годах роман Сергея Семенова «Наталья Тарпова». Я горячо рекомендую тебе перечитать этот роман, если ты его читал. Если не читал, прочти обязательно. Главное и огромное достоинство этого романа в том, что те времена (20-е годы) описаны удивительно точно.

Перечитывая сейчас этот роман, я очень многое «сопережил» с его героями. Найди эту книгу, как бы трудно это не было бы[1]. Неплохая «Наталья Тарпова» до такой степени лучше ряда произведений, вышедших в сороковые и пятидесятые годы, что диву даешься. Смутно мне вспоминается и критика этого романа. Критика обвинила автора в том, что он «биологическое» показал выше «партийного». Хотя автор и осуждает отсекра, женившегося на беспартийной инструкторше драмкружка, хотя он, устами партийцев, осуждает секретаря фабкома Наталью Тарпову за то, что она решила «полакомиться беспартийным спецом», тем не менее эти осуждения неубедительны, ибо и у отсекра и у Натальи Тарповой биологическое взяло верх над партийным. Много еще удивительных проблем, волновавших наши умы в то время, имеются в «Наталье Тарповой». Обязательно перечитай этот роман. Если будет время, напиши мне. Я очень скучаю вообще и без тебя, в частности.

Передай сердечный привет Вере Васильевне.

Твой *Д. Шостакович*

Шостакович, следивший за новинками советской литературы, отрицательно относился к беллетристике 40-х и 50-х годов, проникнутой, по его мнению, фальшью и ложью. Исключения лишь подтверждали это правило. А писатели 20-х годов, связанные с традициями русской литературы, еще не научились фальшивить и лгать.

Таким прозаиком он считал Сергея Семенова, чей роман «Наталья Тарпова» вышел в 1929 году. Книга эта, при всех ее художественных дефектах и слабостях, которые ясно осознавал Шостакович, тем не менее поразила его жизненной правдой, стремлением автора изобразить мироощущение, быт и нравы людей в послереволюционном Петрограде, которые более или менее были знакомы Дмитрию Дмитриевичу с отроческих лет.

Затронутая Сергеем Семеновым проблема любви, брака, взаимоотношений полов вызвала нападки тупоголовых критиков — вульгарных социологов, и Шостакович остроумно высмеивает их дикие и нелепые суждения.

[1] Шостакович в данном письме с исключительной настойчивостью просит и требует, чтобы я прочел «Наталью Тарпову», надеясь на то, что я полностью разделю его мнение об этом романе и при встрече подробно поговорим о различных превратностях в судьбе советской литературы и искусства (так это и случилось).

Дмитрий Дмитриевич в 1960 году перечитывал роман Сергея Семенова с волнением, к которому примешивались и ностальгические мотивы. Как-никак, он ощущал себя младшим современником того «беспартийного спеца», которым решила «полакомиться» секретарь фабкома Наталья Тарпова. Он вспоминал, хотя и смутно, физиономии критиков, ополчившихся на романиста и сохранивших боевой пыл на протяжении нескольких десятилетий.

130

17.II.1960. Москва 17 февраля

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за письмо. Я очень скучаю в больнице. Нет ничего скучнее, как находиться в больнице, будучи совершенно здоровым человеком. По-видимому, я пробуду в больнице еще неделю. Я рад, что ты согласен с моими соображениями относительно «Натальи Тарповой». И я совершенно согласен с тобой, что это сочинение гораздо лучше, и чище ряда других произведений. Перечитай эту книгу. В ней есть еще одно, я бы сказал, огромное достоинство: в ней правдиво описано время, в котором происходят события (20-е годы, Петроград, не Ленинград, а еще Петроград). Большое достоинство лит. произведения, когда оно дает **пеструю картину** (подчеркнуто автором. — И. Г.) жизни нашей страны, нашего народа. Пожалуй, лишь Зощенко[1] и, может быть, еще два-три писателя создавали свои произведения так, что получалась ясная картина жизни. А порой читаешь актуальные произведения на современную тему и думаешь: не было этого. 〈...〉

Давно я тебя не видел. В жизни многое произошло и происходит. А мы с тобой даже не беседовали давно об этом[2].

Передай привет Вере Васильевне.

Будь здоров. Твой Д. Шостакович

[1] Шостакович очень высоко ценил и любил творчество Михаила Михайловича Зощенко, стремился иметь у себя все сборники его рассказов и вообще все, что вышло из-под пера этого выдающегося писателя.

Когда в августе 1946 года по жесточайшей прихоти Сталина над Зощенко разразилась катастрофа и он был объявлен живым трупом,

то есть исключен из Союза писателей и из Литфонда, выдававшего продовольственные карточки, когда само имя его стало запретным (оно, как и имя Анны Ахматовой, не попало в трехтомный энциклопедический словарь, вышедший в 1953—1954 годах), Дмитрий Дмитриевич тяжело переживал эту расправу.

В десятую годовщину со дня кончины М. М. Зощенко за мной заехал на машине Дмитрий Дмитриевич и мы отправились в Сестрорецк, к могиле писателя, чтобы почтить его память. У меня хранится фотография, на которой мы, погруженные в грустную думу, сняты у могилы. Я отчетливо помню, что в те минуты из далекого громкоговорителя неожиданно зазвучал Первый фортепианный концерт Чайковского. Шостакович сказал: «Эта музыка здесь уместна. Она по-своему утверждает Михаила Михайловича. Он безвременно умер, но как хорошо, что он пережил своих палачей — Сталина и Жданова».

Таковы были подлинные и такие многозначительные слова Шостаковича, произнесенные у могилы многострадального замечательного писателя. Было бы некоторой натяжкой назвать М. М. Зощенко близким другом Дмитрия Дмитриевича. Их личные отношения были хорошими, но ограниченными в общении, в свиданиях и встречах. Вот почему я не думаю, что Михаилу Михайловичу, при всей его проницательности, был вполне доступен сложный внутренний мир Шостаковича, которого он глубоко чтил. Помнится, что Дмитрий Дмитриевич был тронут благородным поступком Зощенко, связанным с публикацией позорной статьи «Сумбур вместо музыки» (январь 1936 года). Незадолго до этого вышла «Голубая книга» Зощенко, и он по прочтении статьи тотчас же принес свою книгу Софье Васильевне (Дмитрий Дмитриевич еще не вернулся из архангельской гастроли) с подчеркнуто полемической по отношению к статье надписью, в которой автор изничтоженной оперы был назван «гениальным композитором». Не будь этой статьи, возмутившей Михаила Михайловича, он бы, вероятно, сделал более нейтральную дарственную надпись, ибо патетическая интонация, по-моему, была чужда его стилю.

[2] Мы не виделись два месяца — срок, показавшийся Дмитрию Дмитриевичу долгим, что свидетельствует о дружеских ко мне чувствах. Он приехал 12 декабря 1959 года в Ленинград из Америки и привез мне оттуда в дар прекрасные золотые часы какой-то знаменитой фирмы «Шафгаузен» и дневник («Diary») на пять лет в кожаном переплете. Меня растрогало, что он расписал все дни на пять лет, сказав мне: «Я сидел по вечерам и писал названия дней. Я люблю такого рода работу».

18 декабря мы вместе были в филармонии и слушали Восьмую симфонию, приведшую меня в восторг. После концерта мы довольно долго разговаривали о сущности этой симфонии. Затем Дмитрий Дмитриевич уехал в Москву и вскоре снова оказался в больнице.

131

26.II.1960. Москва 26 февраля

Дорогой Исаак Давыдович!

Письмо твое получил. Я думаю, что будет очень хорошо,

если музыку к кинофильму «Кроткая»[1] напишет В. П. Соловьев-Седой или Г. Н. Носов[2]. При создании того или иного кинофильма всегда идет на пользу, если режиссер и композитор являются родственными душами, и оба любят мелодичную и изящную музыку[3].

Вряд ли Г. Уствольская сумеет угодить постановщику фильма[4]. Впрочем, хотелось бы, чтобы она заработала. Сколь философски не относиться к нищете, в конце концов она (нищета) становится невыносимой[5]. Мне кажется, что самоуничижение и самомнение не являются самыми главными качествами того или иного деятеля. Конечно, «скромность это лучшее качество большевика», как учил нас тов. Сталин[6]. Но, в конце концов, можно было простить Бетховену, если бы он зазнался, сочинив свои симфонии. Можно было простить Гречанинову, если бы он зазнался, сочинив «Добрыню Никитича»[7]. Но ни тому, ни другому, никому нельзя было простить аморальный, лакейский, душевно-лакейский opus. Я думаю, что автор оратории[8] получит награду, уже хотя бы потому, что он встал в один ряд с такими мастерами, как В. Кочетов, А. Софронов, К. Симонов, и другими выдающимися представителями искусства социалистического реализма[9].

Самомнение самомнению рознь. Но самомнение и «зазнайство» Бетховена (если бы таковое было) куда более простительно самомнению и зазнайству Ф. Булгарина, автора «Ивана Выжигина»[10]. Не знаю, ясно ли я выражаю свои мысли?

В больнице я пробуду еще долго. Не меньше двух недель. Консилиум, который 3 дня тому назад так постановил. После выхода из больницы приеду в Ленинград, так как получил письмо от Г. М. Коркина[11] о том, что в театре намечена премьера «Леди Макбет» в конце сезона. Нужно мое присутствие на спевках, репетициях и т. п.

Не рассчитываю, что эта премьера, если она состоится, принесет мне большую радость[12]. Силы в театре исполнительские не на очень высоком уровне.

Рука моя, как будто, улучшается. Однако, если у меня портится настроение, или я волнуюсь, то начинаю чувствовать слабость руки. Отсюда следует: не надо волноваться и расстраиваться.

В больнице невыносимо скучно. Пиши мне. Из дому мне аккуратнейшим образом доставляют письма.

Я тебе не сообщил еще, что жду внука или внучку. Событие огромной важности. Конечно это меня очень радует, и в то же время очень волнует. Галя ждет прибавления через 5 месяцев. Пока все обстоит благополучно. Передай Вере Васильевне и всем твоим сердечный привет.

Пиши. Твой *Д. Шостакович*

[1] В Ленфильме в 1960 году готовилась картина «Кроткая» по одноименному рассказу Ф. М. Достоевского. Я был консультантом и редактором фильма, постановщик которого, известный актер А. Ф. Борисов, предоставил мне право пригласить композитора для написания музыки на сложный сюжет «Кроткой».

Мой выбор пал на Г. И. Уствольскую, чей талант высоко ставил ее бывший учитель Д. Д. Шостакович. Характер композиторского дарования Уствольской, манера ее письма были, как мне казалось, в pendant рассказу Достоевского, проникнутому изощренным психологизмом. Я написал о моем намерении Дмитрию Дмитриевичу.

[2] Шостакович в шутку называет имена композиторов, очень далеких от стиля Достоевского.

[3] Шостакович с язвительной иронией воспроизводит формулу о «мелодичной и изящной музыке», получившую широкое хождение после печально известного постановления о «Великой дружбе» В. И. Мурадели.

[4] Г. И. Уствольская от участия в создании фильма «Кроткая» отказалась вследствие своей чрезмерной скромности, граничившей с некоторой долей самоуничижения. Вместо нее музыку написал Л. А. Пригожин.

[5] Г. И. Уствольская жила в трудных материальных условиях.

[6] Цитируя Сталина, Дмитрий Дмитриевич прибегает, как он это часто делал, к шуточному словоупотреблению, основанному на полном несоответствии реальности и камуфляжа.

[7] Здесь дается ироническое сопоставление Бетховена и Гречанинова — автора посредственной, с точки зрения Шостаковича, оперы «Добрыня Никитич».

[8] О какой оратории идет речь, выяснить не удалось.

[9] Названные писатели представлялись Шостаковичу одиозными фигурами, занимавшими обскурантские позиции в литературно-общественной жизни страны.

[10] Фаддей Венедиктович Булгарин (1789—1859) — реакционер и доносчик, автор бульварного романа «Иван Выжигин», вышедшего в 1829 году.

[11] Георгий Михайлович Коркин — директор Театра оперы и балета имени С. М. Кирова.

[12] План постановки «Леди Макбет Мценского уезда» был отменен решением ответственных работников Смольного. В беседе со мной секретарь обкома партии тов. Богданов в категорической форме заявил, что оперу Шостаковича надо ставить не в Кировском театре, а в Малом оперном.

132

14.III.1960. Москва

14 марта

Дорогой Исаак Давыдович!

Я уже дома и скоро собираюсь приехать в Ленинград для выполнения своих депутатских обязанностей[1]. Очень хочется тебя повидать. Много, по выходе из больницы, свалилось забот на мою голову. Прямо не знаю, как я с ними управлюсь.

Д. Шостакович

Передай привет Вере Васильевне и горячую благодарность за хлопоты с шапкой[2].

Д. Ш.

[1] Шостакович был депутатом Верховного Совета РСФСР, а затем СССР.

[2] Моя жена Вера Васильевна приобрела добротную меховую шапку для Дмитрия Дмитриевича, в каковой он нуждался.

133

21.III.1960. Москва — 21 марта

Дорогой Исаак Давыдович!

28-го марта я собираюсь приехать в Ленинград. Очень хочу тебя повидать. Пробуду в Ленинграде до 31-го.

За время пребывания в Ленинграде будут у меня следующие неотложные дела: 29-го прием избирателей[1]. 30-го «Борис Годунов»[2]. 31-го в филармонии буду слушать симфонию Салманова[3].

Хорошо бы встретиться 28-го или 29-го.

Крепко тебя целую.

Д. Шостакович

[1] Депутатский прием избирателей был всегда сопряжен у Шостаковича с большим нервным возбуждением, так как он ощущал свое бессилие помочь людям, приходящим к нему, как правило, по делам, связанным с квартирами, в которых они остро нуждались. Ходатайства Дмитрия Дмитриевича, написанные на депутатских бланках, в подавляющем большинстве случаев оказывались безрезультатными.

[2] Опера «Борис Годунов» в инструментовке Шостаковича исполнялась в Театре оперы и балета имени С. М. Кирова.

[3] Речь идет о Второй симфонии В. Н. Салманова, впервые исполненной 30 марта 1960 года под управлением Е. А. Мравинского.

134

8.IV.1960. Москва — 8 апреля

Дорогой Исаак Давыдович!

Ужасно жаль, что ты так мало времени провел в Москве. Посылаю тебе две мексиканских марки. Очень прошу тебя помочь в деле написания предисловия к книжке о Рихтере.

14 апреля на 3 дня я приеду в Ленинград.

Передай Вере Васильевне сердечный привет.

Твой *Д. Шостакович*

135

30.IV.1960. Москва 30 апреля

Дорогой Исаак Давыдович!

Не пришлось ли тебе познакомиться с творческими планами Б. А. Фенстера и П. Э. Фельдта? Если познакомился, то какое это на тебя произвело впечатление? Оба они (П. Э. Фельдт и Б. А. Фенстер) в восторге от своих творческих планов. Особенно их волнует соединение лучшего, талантливейшего поэта нашей эпохи с моими балетными сюитами[1].

Если ты еще не познакомился с их творческими замыслами, то я очень прошу тебя: познакомься и выскажи свое мнение мне, а может быть и Б. А. Фенстеру, к которому ты так тепло относишься[2].

Я нахожусь сейчас под большим впечатлением [от] Скрипичного концерта М. С. Вайнберга, который великолепно исполнил скрипач-коммунист Л. Б. Коган[3]. Это прекрасное произведение. В подлинном смысле этого слова. И скрипач-коммунист великолепно его исполняет. Если в Ленинграде ты увидишь это произведение на афише, обязательно найди время, чтобы его послушать[4].

Квартет имени Бетховена сейчас разучивает 7-й квартет. Репетиции мне доставляют много радости.

А в общем, жизнь идет очень трудно. Хочется, очень хочется позвать на помощь ту Старушку, которую вдохновенно описал поэт в поэме «За далью даль», опубликованной в ЦО «Правда» от 29.IV.1960[5].

Крепко тебя целую. Будь здоров и благополучен.

Твой Д. Шостакович

Передай сердечный привет Вере Васильевне. Д. Ш.

[1] Балетмейстер Борис Александрович Фенстер и дирижер Павел Эмильевич Фельдт задумали поставить одноактный балет на музыку Шостаковича, положив в основу либретто сценарий В. В. Маяковского «Барышня и хулиган». Дмитрий Дмитриевич, не называя Маяковского по фамилии, пользуется с ироническим подтекстом характеристикой поэта, данной ему Сталиным и ставшей на долгие годы непререкаемой и канонической.

Шостакович не очень верил в затею Фенстера и Фельдта, но скрепя сердце дал согласие на сочинение балета. В разговоре со мной он просил меня следить за тем, чтобы авторы спектакля не допускали, как выразился Дмитрий Дмитриевич, «пошлости и безобразий».

[2] Шостакович знал П. Э. Фельдта по консерватории, будучи его соучеником, но ему был неизвестен Б. А. Фенстер, с которым я сотрудничал, работая заведующим литературной частью Малого оперного театра, а он состоял его главным балетмейстером. Я высоко ценил талант Бориса Александровича и с большой симпатией относился к нему как человеку.

Постановка «Барышни и хулигана» не состоялась из-за безвременной внезапной кончины Б. А. Фенстера, но замысел его не остался втуне. Спектакль был прекрасно поставлен в Малом оперном театре балетмейстером К. Ф. Боярским и имел большой длительный успех. По просьбе театра я написал либретто на музыку Девятой симфонии Шостаковича под названием «Встреча», и этот одноактный балет в постановке К. Ф. Боярского исполнялся вместе с «Барышней и хулиганом».

[3] Л. Б. Коган был не прочь подчеркивать свою партийность. Отсюда шутливая характеристика известного скрипача.

[4] Шостакович был самого высокого мнения о композиторском таланте М. С. Вайнберга, о чем он неоднократно в самых энергичных выражениях говорил и писал. В последний раз он это сделал в рецензии на оперу Вайнберга «Мадонна и солдат», поставленную в Ленинградском Малом оперном театре.

[5] «Старушка» — образ смерти, нарисованный Александром Твардовским в главе «Так это было» из поэмы «За далью даль». Дмитрий Дмитриевич читал эту главу, как он указывает, в газете «Правда» за один день до написания данного письма (дата публикации названа точно).

Вероятно, он исподволь думал о смерти — избавительницы от жизненных тягот — и под влиянием прочитанного (абсолютно вне контекста письма) ему захотелось призвать на помощь «Старушку». Такие наплывы мрачных мыслей были свойственны Шостаковичу и в молодости, но они участились в годы его тяжелой болезни.

136

18.VI.1960. Москва. 18 июня

Дорогой Исаак Давыдович!

У меня на даче[1] установлен телефон. Его номер Д 8-66-40. Сообщаю его тебе на случай, если тебе понадобится срочно связаться со мной.

Очень без тебя соскучился.

Сердечный привет Вере Васильевне.

Пиши, не забывай.

Твой *Д. Шостакович*

[1] Шостакович вернул подаренную ему государственную дачу в Болшеве, малопригодную для отдыха и работы, и купил в рассрочку хорошую дачу в Жуковке — живописном месте под Москвой.

29 марта 1960 года, будучи в Ленинграде, Дмитрий Дмитриевич рассказывал мне историю этой покупки при отсутствии денег. Затем, с блуждающей улыбкой на устах, он сказал следующее (воспроизвожу его слова текстуально): «Я пустился во все тяжкие, заключил два договора на кинофильмы и договор на балет „Овод". Овод, кажется, хромал. Это, как сам понимаешь, весьма кстати для балета! Придется пустить в ход свою киномузыку к „Оводу"». Но вскоре Дмитрий Дмитриевич отказался от этой затеи, которую считал нелепой, и как-то свел концы с концами.

19.VII.1960. Жуковка 19 июля

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо тебе большое за то, что ты выручил деньгами моего Максима. Хочется верить, что ты живешь в Зеленогорске хорошо и пребывание в этом райском месте пойдет тебе на пользу.

Я вернулся из поездки в Дрезден. Смотрел материалы кинофильма «5 дней, 5 ночей», создаваемого Л. Арнштамом. Надо сказать, что многое мне очень понравилось. Прет наружу очень добрая душа Лелина[1]. И в этом главное значение этого кинопроизведения.

Меня там очень хорошо устроили для создания творческой обстановки. Жил я в городе Горлице, также на курорте Горлиц, что под городком Кенингштейном, в 40 километрах от Дрездена. Место неслыханной красоты. Впрочем, ему и полагается быть таковым: это место называется «Саксонская Швейцария». Творческие условия оправдали себя: я сочинил там 8-й квартет. Как я ни пытался выполнить вчерне задания по кинофильму, пока не смог. А вместо этого написал никому не нужный и идейно порочный квартет. Я размышлял о том, что если я когда-нибудь помру, то вряд ли кто напишет произведение, посвященное моей памяти. Поэтому я сам решил написать таковое. Можно было бы на обложке так и написать: «Посвящается памяти автора этого квартета». Основная тема квартета ноты D. Es. C. H., т. е. мои инициалы (Д. Ш.). В квартете использованы темы моих сочинений и революционная песня «Замучен тяжелой неволей». Мои темы следующие: из 1-й симфонии, из 8-й симфонии, из Трио, из виолончельного концерта, из Леди Макбет. Намеками использованы Вагнер (Траурный марш из «Гибели богов») и Чайковский (2-я тема 1-й части 6-й симфонии). Да: забыл еще мою 10-ю симфонию. Ничего себе окрошка. Псевдотрагедийность этого квартета такова, что я, сочиняя его, вылил столько слез, сколько выливается мочи после полдюжины пива[2]. Приехавши домой, раза два попытался его сыграть, и опять лил слезы. Но тут уже не только по поводу его псевдотрагедийности, но и по поводу удивления прекрасной цельностью формы. Но, впрочем, тут, возможно, играет роль некоторое самовосхищение, которое, возможно, скоро пройдет и наступит похмелье критического отношения к самому себе[3].

Сейчас я отдал квартет переписать и надеюсь начать его разучивать с теми же бетховенцами.

Вот и все, что произошло со мной в Саксонской Швейцарии.

Передай сердечный привет Фане Борисовне и прими мои лучшие пожелания.

Д. Шостакович

Вот что предшествовало сочинению Восьмого квартета.

В 20-х числах июня 1960 года Дмитрий Дмитриевич приехал в Ленинград и поселился не в Европейской гостинице, как он обычно делал, а в квартире сестры Марии Дмитриевны. Как выяснилось позже, этот поступок был совершен неспроста.

28 июня я нанес Дмитрию Дмитриевичу короткий визит. Он сообщил мне, что им недавно написаны «Пять сатир на стихи Саши Черного» и он надеется познакомить меня с этим опусом. Но завтра — 29 июня рано утром — Дмитрий Дмитриевич позвонил мне и попросил немедленно прийти к нему. Когда я мельком взглянул на него, меня поразило страдальческое выражение его лица, растерянность и смятение. Дмитрий Дмитриевич поспешно повел меня в маленькую комнату, где он ночевал, бессильно опустился на кровать и принялся плакать, плакать громко, в голос. Я со страхом подумал, что с ним или с его близкими произошло большое несчастье. На мои вопросы он сквозь слезы невнятно произносил: «Они давно преследуют меня, гоняются за мной...» В таком состоянии я никогда не видел Дмитрия Дмитриевича. Он был в тяжелой истерике. Я подал ему стакан холодной воды, он пил ее, стуча зубами, и постепенно успокаивался. Примерно час спустя Дмитрий Дмитриевич, взяв себя в руки, начал мне рассказывать о том, что с ним случилось некоторое время тому назад в Москве. Там было решено по инициативе Хрущева сделать его председателем Союза композиторов РСФСР, а для того чтобы занять этот пост, ему необходимо вступить в партию. Такую миссию взялся осуществить член Бюро ЦК по РСФСР П. Н. Поспелов.

Вот что говорил мне (текстуально) Дмитрий Дмитриевич в июньское утро 1960 года, в разгар «оттепели»: «Поспелов всячески уговаривал меня вступить в партию, в которой при Никите Сергеевиче дышится легко и свободно. Поспелов восхищался Хрущевым, его молодостью, он так и сказал — „молодостью", его грандиозными планами и мне необходимо быть в партийных рядах, возглавляемых не Сталиным, а Никитой Сергеевичем. Совершенно оторопев, я, как мог, отказывался от такой чести. Я цеплялся за соломинку, говорил, что мне не удалось овладеть марксизмом, что надо подождать, пока я им овладею. Затем я сослался на свою религиозность. Затем я говорил, что можно быть беспартийным председателем Союза композиторов по примеру Константина Федина и Леонида Соболева, которые, будучи беспартийными, занимают руководящие посты в Союзе писателей. Поспелов отвергал все мои доводы и несколько раз называл имя Хрущева, который озабочен судьбой музыки, и я обязан на это откликнуться. Я был совершенно измотан этим разговором. При второй встрече с Поспеловым он снова прижимал меня к стенке. Нервы мои не выдержали, и я сдался».

Рассказ Дмитрия Дмитриевича несколько раз прерывался моими взволнованными вопросами. Я напомнил ему, как он часто говорил мне, что никогда не вступит в партию, которая творит насилие. После больших пауз он продолжал: «В Союзе композиторов сразу узнали о результате переговоров с Поспеловым, и кто-то успел состряпать заявление, которое я должен как попугай произнести на собрании. Так знай: я твердо решил на собрание не являться. Я тайком приехал в Ленинград, поселился у сестры, чтобы скрыться от своих мучителей. Мне все кажется, что они одумаются, пожалеют меня и оставят в покое. А если это не произойдет, то я буду сидеть здесь взаперти.

Д. Шостакович и И. Гликман. Ленинград, 1958 г.

Д. Шостакович и И. Соллертинский в Новосибирске

Ч. Айтматов и Д. Шостакович

Барвиха. 21 января 1971 г.

Мне так хорошо было побывать в гостях у
Вашем, Дмитрий Дмитриевич
Д. Айтматов

Н. В. и Д. Д. Шостаковичи в Праге. 1946 г.

Д. Шостакович с группой музыкантов в Армении

Д. Шостакович и И. Гликман у могилы М. Зощенко

Дмитрий Дмитриевич и Ирина Антоновна на прогулке в г. Кургане

Е. Мравинский и Д. Шостакович в Новосибирске

Д. Шостакович и Н. Рахлин. Киев, 1957 г.

Вечер памяти Соллертинского на Ленинградском телевидении:
Д. Шостакович, Ю. Вайнкоп, П. Серебряков, М. Друскин

Ю. Вайнкоп, П. Серебряков, И. Андроников, И. Гликман

Л. Арнштам и Д. Шостакович на репетиции «Носа»

Р. Бунин, Кара Караев и Д. Шостакович

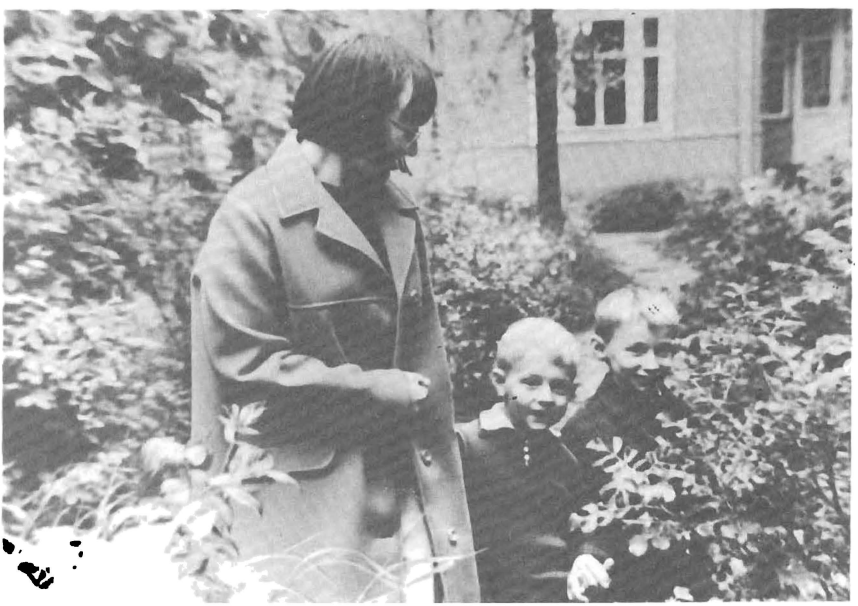
Максим и Митя Шостаковичи за роялем

Д. Д. Шостакович и О. Ю. и М. С. Вайнберги в артистической Большого зала консерватории (Москва) после премьеры Пятнадцатой симфонии

Д. Шостакович, Е. Светланов, М. Ростропович после премьеры Второго виолончельного концерта

Г. Вишневская на записи «Катерины Измайловой» в Киеве

Галина Шостакович с детьми в Репине

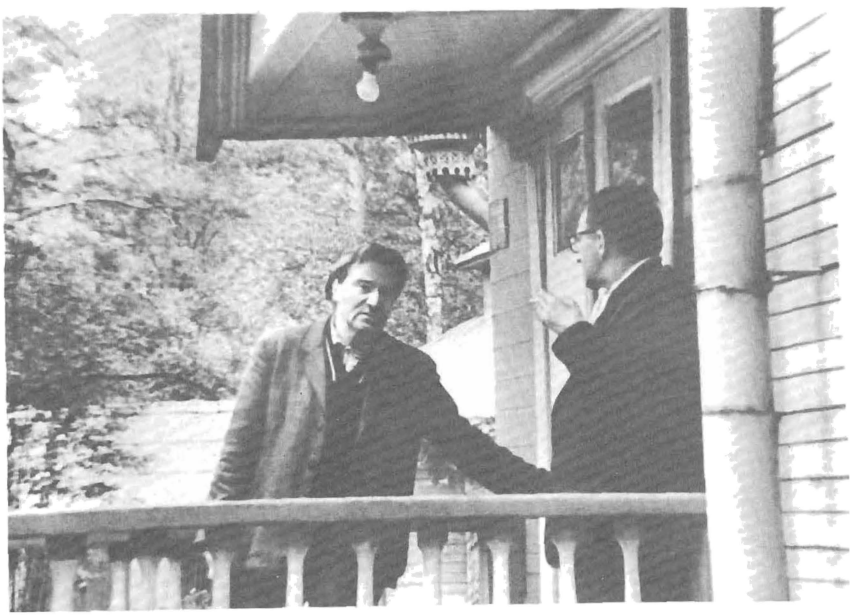


И. Гликман и М. Шостакович

Н. Рабинович и Д. Шостакович

На записи музыки к к/ф «Король Лир»: И. Шостакович, И. Гликман, Д. Шостакович, Г. Козинцев

Б. Клюзнер и Д. Шостакович в Репине



И. А. и Д. Д. Шостаковичи на концерте. 1962 г.

Д. Шостакович во время плавания в Кижи

Б. Тищенко

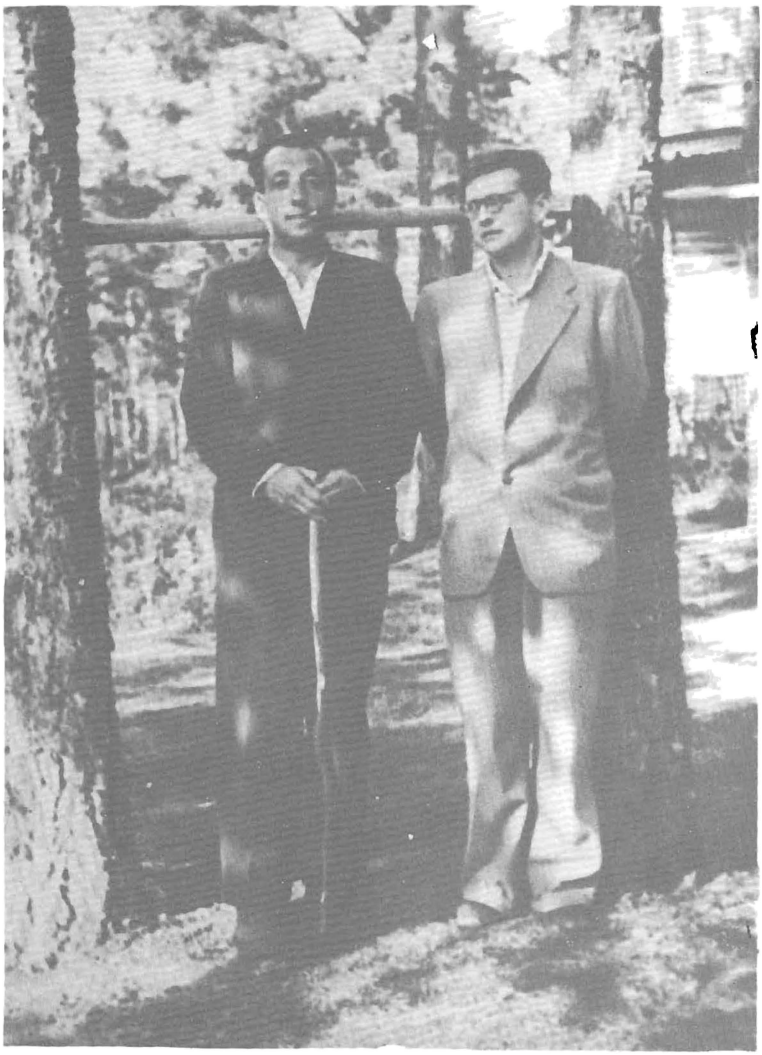
На Щучьем озере: М. И. Вайман, Д. Д. и И. А. Шостаковичи, В. Е. Баснер

Г. Илизаров

И. Гликман. Июль 1930 г.

Г. Д. и И. Д. Гликманы. Ленинград, Дом культуры промкооперации, 1934 г.

И. Гликман. 1939 г.



И. Гликман и Д. Шостакович. Комарово, 1954 г.

Д. Шостакович с Галей и Максимом и И. Гликман.
Комарове, начало 50-х гг.

М. Друскин и И. Гликман. Малый зал филармонии, 70-е гг.

Премьера Первого скрипичного концерта: Е. Мравинский, Д. Ойстрах, Д. Шостакович. Ленинград, 1955 г.

В Малеготе: Д. Шостакович, Б. Тищенко, И. Богачева, И. Гликман. Март 1975 г.

Вера Васильевна Антонова-Гликман. 1976 г.

После концерта: И. Гликман, В. Баснер, Е. Мравинский

Д. Шостакович.

Дорогому другу Исааку Давыдовичу Гликману, от горячо любящего Д. Шостаковича. 12 II 1943 Куйбышев

Соч. 62.

ШЕСТЬ РОМАНСОВ

ДЛЯ БАСА.

Союз Советских Композиторов
Музыкальный Фонд
Союза С.С.Р.

Дорогому другу, Исааку Давыдовичу Гликману,
от горячо любящего Д. Шостаковича.
12 II 1943. Куйбышев

Посвящается И.Д. Гликману.

МАКФЕРСОН перед КАЗНЬЮ.

С. Маршак.

(из Роберта Бернса)

Д. Шостакович

ор. 62 № 3.

Allegretto.

Но вот вчера вечером прибыли телеграммы с требованием моего приезда. Так знай, что я не поеду. Меня могут привезти в Москву только силком, понимаешь, только силком».

Сказав эти слова, звучавшие, как клятва, Дмитрий Дмитриевич вдруг совершенно успокоился. Своим, как ему казалось, окончательным решением он как бы развязал тугой узел, стянувший его горло. Первый шаг был уже сделан: своей неявкой он сорвал готовившееся с большой помпой собрание. Обрадованный этим, я попрощался с Дмитрием Дмитриевичем и отправился в Зеленогорск, где снимала дачу моя матушка, и обещал на днях навестить отшельника. Однако он, не дождавшись меня, сам без предупреждения приехал 1 июля поздно вечером ко мне в Зеленогорск с бутылкой водки. Шел дождь. Дмитрий Дмитриевич выглядел измученным, вероятно, после бессонной ночи с ее душевными переживаниями.

Дмитрий Дмитриевич, едва переступив порог нашей хижины, сказал: «Извини, что так поздно. Но мне захотелось поскорее увидеть тебя и разделить с тобой мою тощищу». Я тогда не знал, что эту грызущую его «тощищу» он через несколько недель изольет в музыке Восьмого квартета и таким образом сумеет отвести душу.

Захмелев от выпитой водки, Дмитрий Дмитриевич заговорил не о фатальном собрании, а о могуществе судьбы и процитировал строку из пушкинских «Цыган»: «И от судеб защиты нет». Слушая его, я вдруг с грустью подумал, не склонен ли он покориться судьбе, сознавая невозможность сразиться с ней и победить ее. К сожалению, так и случилось. Собрание, походившее на трагифарс, было организовано вторично, и Дмитрий Дмитриевич, сгорая от стыда, зачитал сочиненное для него заявление о приеме в партию.

Думая об этом, я вспоминаю название одной замечательной хоровой поэмы Шостаковича — «Они победили!» Оно могло бы стать эпиграфом к рассказанной мною истории, как Дмитрий Дмитриевич вступал в партию.

Творческое, художническое бесстрашие Шостаковича сочеталось в нем со страхом, взращенным сталинским террором. Многолетняя духовная неволя опутала его своими сетями, и не случайно в автобиографическом Восьмом квартете так надрывно, драматично звучит мелодия песни «Замучен тяжелой неволей».

[1] Шостакович с юных лет называл своего друга — музыканта и кинорежиссера Льва Оскаровича Арнштама «Лелей».

[2] Этим грубовато шутливым сравнением Шостакович нарочито снижал драматизм своих переживаний, связанных с сочинением Восьмого квартета. С такой же целью он называет квартет «псевдотрагедийным», хотя эта ирония носит защитный характер.

[3] «Самовосхищение», о котором чуть-чуть насмешливо пишет Шостакович, было свойственно многим великим художникам, проливавшим слезы, слушая свои произведения. В этом плане вспоминается рассказ Н. Д. Кашкина. Когда он вместе с Чайковским смотрел «Евгения Онегина» и когда в конце письма на тремоло оркестра в виолончелях появилась в C-dur тема любви Татьяны, Петр Ильич прошептал: «Какое счастье, что здесь темно! Мне это так нравится, что я не могу удержаться от слез».

Тем не менее очень взыскательный к себе Шостакович, также как Чайковский, нередко выказывал недовольство собой.

138

19.VIII.1960. Москва

19 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

Если твой юный друг продолжает интересоваться марками, то пусть эти марки доставят ему радость[1].

Твой Д. Шостакович

[1] Дмитрий Дмитриевич без моих напоминаний держал в памяти несколько лет некоего мальчугана (моего соседа по дому), собиравшего почтовые марки.

139

3.XI.1960. Москва

3 ноября

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за письмо. О смерти Ю. А. Балкашина я узнал вчера из письма моей сестры, и сегодня из твоего письма. Мои московские друзья скрыли от меня это ужасное известие. М. С. Вайнберг рассказал мне и об обстоятельствах его трагической гибели[1]. Я его мало знал, но он мне очень нравился своей большой культурностью, настоящей музыкальностью, добротой, сердечностью. Галя, наверное, тяжело переносит его кончину. И она, наверное, именно сейчас полюбила его[2]. При его жизни она его тоже любила, но замуж не пошла. «Не тебя люблю, страдание твое люблю». Мне кажется, что эта, несколько достоевская черта ее характера главенствует в ее бытии. А сейчас я представляю, как ей тяжело. Я очень боюсь за ее будущее. Освободившаяся после смерти Ю. А. Балкашина жилплощадь подлежит заселению, кого-то поселят к ней?[3] Каковы были их отношения, я точно не знаю, но жили они дружно и Галя никогда не жаловалась на обременительность его соседства.

В общем, смерть Ю. А. меня потрясла и выбила из колеи не меньше, а гораздо больше, чем все события моей жизни, включая сломанную ногу[4]. Нога у меня болит. 11 ноября переменят гипс. И в новом гипсе придется находиться еще три недели. Затем костыли и уже в конце декабря выход из больницы. Простейшие отправления организма стали очень сложными. Без помощи сиделки не проходит ни один «стул». При моем эстетизме и любви к чистоте[5] плюс стыдливость, все это не украшает мою жизнь[6].

А грязен я до сверхъестественности. Ходи осторожно, смотри под ноги.

Крепко тебя целую. Сердечный привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

Пиши мне. Твои письма меня радуют.

Д. Ш.

[1] Ленинградский композитор Ю. А. Балкашин (1923—1960) скоропостижно скончался во время припадка эпилепсии на тридцать восьмом году жизни.

[2] Имеется в виду композитор Галина Ивановна Уствольская.

[3] Шостакович, наученный своей депутатской деятельностью, хорошо знал жестокие правила распределения жилплощади.

[4] В конце октября 1960 года я приехал в Москву, чтобы навестить Дмитрия Дмитриевича в больнице, где он лежал со сломанной ногой.

[5] Шостакович всю свою жизнь отличался исключительной чистоплотностью и относился очень брезгливо к людям, не соблюдавшим правила гигиены.

[6] Во время моего посещения больницы Дмитрий Дмитриевич поразил меня безропотным тоном своего рассказа о поврежденной ноге. Он несколько раз повторял фразу: «Меня, наверное, Бог наказал за мои прегрешения, например, за вступление в партию».

140

19.XII.1960. Москва — 19 декабря

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо тебе за письмо о «Хованщине»[1]. От меня зависит теперь срок моего пребывания в больнице. Как только я выучусь ходить на костылях, меня отправят домой. Учусь я этому уже 4 дня. Ужасно трудно и успехов не видно. Все это сильно портит настроение. При всех обстоятельствах буду инвалидом до 26 января, когда мне снимут гипс. Ходить на костылях с одной ногой, невыносимо трудно.

Передай сердечный привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] Я писал о своих впечатлениях о «Хованщине» в инструментовке Шостаковича, поставленной в Театре оперы и балета имени С. М. Кирова под управлением дирижера С. В. Ельцина.

141

31.XII.1960. Москва — 31 декабря

Дорогой Исаак Давыдович!

С Новым годом, с новым счастьем!

27/XII я вышел из больницы и сразу поселился на даче. 21.I возвращаюсь в больницу обратно, сроком на две недели. Там мне снимут гипс. После этого будут производить различные процедуры для того, чтобы «восстановить работоспособность левой ноги». Сейчас я с трудом передвигаюсь на костылях. Надеюсь, это искусство не смогу довести до совершенства,

и после вторичного пребывания в больнице не буду наслаждаться в котильоне.

В общем встану на ноги лишь в середине февраля.

Очень скучаю и льщу себя надеждой, что 1961-й год будет еще лучше, чем 1960[1].

Крепко целую.

Поздравь с Новым годом Веру Васильевну и всех твоих.

Д. Шостакович

[1] Говоря о 1960 годе, омраченном долгим пребыванием в больнице, как о хорошем, Шостакович, разумеется, шутил, и с таким же мрачноватым юмором он взирал на 1961 год.

1961

142

1.II.1961. Москва — 1 февраля

Дорогой Исаак Давыдович!

Я опять нахожусь в больнице. Вместо гипса на ноге «лонгетка». Особой разницы не ощущаю. Мне сейчас разрабатывают ногу. Ступать на ногу не позволяют. Передвигаюсь на костылях. Скоро домой на неделю. А потом опять в больницу для окончательного излечения. Чувствую себя хорошо[1]. Очень скучаю. Ничего не могу делать. Упадок работоспособности. Спасибо тебе за письмо. Квартет Баснера и романсы Чистякова[2] я знаю и очень высоко ценю эти сочинения.

Пиши, не забывай.

Кланяйся всем твоим.

Д. Шостакович

[1] Этой формулой Шостакович часто пользовался для того, чтобы замаскировать истину: больница стала для него юдолью страданий.

[2] Вероятно, имеются в виду Третий квартет В. Е. Баснера (1960) и вокальный цикл «Песни мужества» на слова Н. Хикмета В. П. Чистякова (1958).

143

26.II.1961. Москва — 26 февраля

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо тебе за письмо. Если у тебя будет время, пойди 3-го марта на концерт Г. Вишневской в зале им. Глинки. В этом концерте она будет исполнять мои романсы на слова

Саши Черного. Мне бы очень хотелось, чтобы ты их послушал[1].

Всем твоим передай сердечный привет.

Твой Д. Шостакович

Я хожу на двух ногах, но с тросточкой. Нога немного побаливает, но, как говорят врачи, через 6—8 месяцев смогу танцевать.

Д. Ш.

Больницу покинул неделю тому назад.

[1] 28 июня 1960 года Шостакович, будучи в Ленинграде, рассказал мне, что он только что написал романсы на слова Саши Черного, что его заинтересовали не только стихи, но и биография этого поэта. Он сказал (текстуально): «Меня поразила смерть Саши Черного. Он тушил какой-то пожар, а потом взял и умер. Прекрасная смерть». Слова эти были произнесены таким тоном, будто Дмитрий Дмитриевич завидовал Саше Черному.

Четыре дня спустя (2 июля) Шостакович сыграл мне (на квартире сестры — Марии Дмитриевны) цикл романсов, названный им «Сатиры (картинки прошлого)». Я нашел этот цикл очень остроумным и блестящим.

144

27.II.1961. Москва

27 февраля

Дорогой Исаак Давыдович!

Сегодня я узнал, что концерт Г. П. Вишневской и М. Л. Ростроповича, который должен был состояться 3.III, и который я просил тебя посетить, переносится на начало мая[1]. Хочу все же попытаться 3.III приехать в Ленинград на «Хованщину». Очень хочу тебя видеть.

Твой Д. Шостакович

[1] Верный себе, очень обязательный Дмитрий Дмитриевич счел необходимым предупредить меня об отмене концерта, на каковой, упаси Боже, я мог прийти зря.

145

30.IV.1961. Москва

30 апреля

Дорогой Исаак Давыдович!

Вениамин Ефимович Баснер повез в Ленинград очень приличную запись моих романсов на слова Саши Черного. Мне бы очень хотелось, чтобы ты нашел время и послушал их[1]. У него

есть магнитофон, и я думаю, что он не откажется их прокрутить. Правда, живет он очень далеко, его адрес: Ленинград, М-142. Алтайская ул., д. 41, кв. 26. Телефона у него нет. Следовательно, ты можешь отправить ему открытку.

Я ему написал, что очень хочу, чтобы эти романсы прослушали Галя Уствольская и ты[2]. Он, наверное, будет тебе звонить.

Передай привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] Шостаковичу хотелось, чтобы я услышал романсы не только в авторской интерпретации, но и в исполнении Галины Вишневской, вокально-драматическое искусство которой он высоко ценил. (Ей мастерски аккомпанировал на рояле Мстислав Ростропович.) На концертах Г. П. Вишневской романсы имели громадный успех, и она, как правило, бисировала весь цикл.

[2] С художественным вкусом Галины Ивановны Уствольской Дмитрий Дмитриевич очень считался.

146

6.V.1961. Москва — 6 мая

Дорогой Исаак Давыдович!

Считай, что ты меня уговорил. Хоть и страсть как не хочется, я песню все же напишу[1]. Для этой цели у меня проектируется творческая встреча с соавторами либретто[2].

Крепко жму руку.

Д. Шостакович

[1] Будучи консультантом Ленфильма, я предложил экранизировать оперетту Шостаковича «Москва — Черемушки» (впоследствии картина называлась «Черемушки»). Мое предложение было принято. Постановщик фильма кинорежиссер Герберт Морицевич Рапопорт попросил Дмитрия Дмитриевича (через мое посредство) написать добавочный вокальный номер.

[2] Либреттисты и сценаристы «Черемушек» — драматурги В. Масс и М. Червинский.

147

14.V.1961. Москва — 14 мая

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за добрые слова по адресу моих романсов на слова Саши Черного[1]. Живу я сейчас очень трудно. И как будто теряю столь свойственное мне чувство юмора. В этой связи приходят в голову разные грустные мысли.

Крепко тебя целую, друг мой.

Д. Шостакович

[1] Шостаковичу было важно мое горячее одобрение романсов на слова Саши Черного, написанных, как мне представляется, в духе замечательных рассказов М. М. Зощенко. Вокруг них поднялся, под сурдину, шум. Официальные лица были крайне недовольны романсом «Потомки», а сухари-пуристы, ругавшие в свое время Зощенко, упрекали Шостаковича в легкомыслии, непозволительном озорстве и дурном вкусе. Правда, такого рода суждения в печать не попали, но они были частично известны Дмитрию Дмитриевичу.

148

15.VIII.1961. Жуковка — 15 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

Очень давно не имею от тебя известий. Беспокоюсь, хотя и вспоминаю французскую поговорку, которую ты любишь напоминать: «Нет новостей — хорошие новости».

Моя семья увеличилась. У Максима и Лены благополучно родился сын, которого они решили назвать Дмитрием. В этом вопросе я стоял на принципах невмешательства. Сегодня Галя сообщила, что через пять месяцев у меня будет еще внук или внучка. Все это приятно, но хлопот много. Начинаю понемногу ощущать нехватку жилплощади[1]. Но меня радует, что через 10 лет я буду удовлетворен жилплощадью в основном, а через двадцать полностью[2].

Вероятно, через неделю или две закончу 12-ю симфонию. 1-я часть в основном удалась. 2-я и 3-я почти полностью, 4-я, вероятно, не удастся. Пишу ее с трудом. Вот и все мои новости.

Остро стоит проблема кадров. Феня очень стара и слаба. Нашел Марию Терентьевну, да ее не прописывают. Поэтому с должным страхом поглядываю на милиционеров[3].

Вот, в общем, и все.

Пиши мне.

Передай привет всем твоим и особенно Вере Васильевне и Фане Борисовне лучшие пожелания.

Твой *Д. Шостакович*

Пишу тебе в Ленинград. Наверное ты уже вернулся или скоро вернешься. *Д. Ш.*

[1] Шостакович в указанное время проживал с семьей на Кутузовском проспекте (д. 27, кв. 87).

[2] Шутка, характерная для Дмитрия Дмитриевича, которого не покидало чувство юмора.

[3] Будучи в указанное время неженатым, Шостакович был обременен семейными и хозяйственными заботами, которые очень тяготили его. А страх перед милиционерами и дворниками был ему свойствен с молодых лет. Депутатское звание отнюдь не избавляло его от этого страха, о чем он мне много раз говаривал.

149

20.VIII.1961. Жуковка 20 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

Дня три тому назад[1] я послал тебе письмо в Ленинград, а вот вчера получил твое письмо из Сестрорецка. Я очень рад, что ты все еще в Сестрорецке. Гуляй, отдыхай, набирайся сил для предстоящего трудового сезона.

Внука я еще не видел. У Лены были очень трудные роды и ее до сих пор не выписывают из родильного дома. Она там находится с 9-го августа. Сейчас ей лучше, и мы надеемся, что скоро ее выпишут. Очень мы тут все волновались за нее. Особенно Максим. Но, слава богу, все теперь в прошлом. И ждем мы ее с сыном домой с нетерпением. Я заканчиваю 12-ю симфонию. Предварительно я ее отрецензировал в предыдущем письме[2]. Сейчас буду делать фортепианное переложение. А потом буду кланяться в ножки Евгению Александровичу[3]. Очень я без тебя скучаю. Стал вспоминать то время, когда мы проводили лето в Комарове и часто встречались с тобой.

Крепко жму руку.

Твой Д. Шостакович

[1] Неточность: предыдущее письмо было послано пять дней тому назад — 15 августа.

[2] Шостакович, за редким исключением, не любил предварять ознакомление с его очередным опусом разговором о его содержании, стиле, форме. Это оставалось авторской тайной. В предыдущем письме от 15 августа Дмитрий Дмитриевич известил меня о скором завершении Двенадцатой симфонии, ограничившись двумя строчками, названными в данном случае не в шутку «рецензированием».

[3] Имеется в виду Мравинский, который сам готов был «кланяться в ножки» Шостаковичу, чтобы получить из его рук новое сочинение. Знаменитый дирижер из года в год (начиная с Пятой симфонии) с волнением и радостью ожидал новую симфонию Дмитрия Дмитриевича.

150

18.XI.1961. Москва 18 ноября

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо тебе за письмо и за твое неизменно доброе ко мне отношение. Оно меня очень поддерживает в столь трудный для меня период моей слишком сильно затянувшейся жизни[1].

Новостей у меня особенных нет. Закончил я 9-й квартет, но очень им недоволен. Поэтому в припадке здоровой самокритики я сжег его в топке. Это второй случай такого рода в моей «творческой практике». Впервые я такой номер выкинул в 1926 году, когда сжег все свои рукописи.

Передай сердечный привет Вере Васильевне и прими мои самые лучшие пожелания.

Д. Шостакович

[1] Письмо это было написано Шостаковичем в часы душевной депрессии, вызванной, быть может, сожжением Девятого квартета. Такой, крайне решительный акт (второй в его жизни!) был, вероятно, предварен мучительными сомнениями в своих творческих силах, которые с годами якобы убывают.

Такая тема сомнений впоследствии будет неоднократно возникать в сознании Шостаковича, приобретая порою очень острый характер и омрачая временами его жизнь (об этом он писал мне). Подобное тягостное состояние продолжалось до тех пор, пока не требовал Шостаковича «к священной жертве Аполлон».

151

20.XI.1961. Москва — 20 ноября

Дорогой Исаак Давыдович!

Посылаю тебе мой opus[1].

Получение его подтверди.

Хорошо было бы, чтобы больше не нужно было бы дописывать, а то сегодня я говорил по телефону с Г. М. Рапопортом: он полон творческих задумок[2].

Твой *Д. Шостакович*

[1] Имеется в виду кусок новой музыки, написанный по просьбе кинорежиссера Г. М. Рапопорта для готовящегося фильма-оперетты «Черемушки» (я был редактором этой картины). Дмитрий Дмитриевич с большой неохотой делал дописки, но делал их превосходно. Они обогатили партитуру первоначальной театральной версии оперетты «Москва — Черемушки».

[2] Шостакович с мягким юмором отзывался о напористой энергии постановщика фильма, мастерство и музыкальность которого он, впрочем, ценил.

152

13.XII.1961. Москва — 13 декабря

Дорогой Исаак Давыдович!

Посылаю тебе партитуру и клавир заключительного аккорда будущего киношедевра[1]. А кроме того, посылаю 8-й квартет, только что вышедший из печати.

Сегодня я прилетел из Свердловска, где провел 11 дней, из которых 8 проболел. И сейчас я чувствую себя неважно. Появляется несомненная изношенность организма.

Крепко тебя целую.

Твой *Д. Шостакович*

[1] Имеется в виду кусок замечательной оркестровой музыки для финала кинофильма «Черемушки».

153

19.XII.1961. [Москва] 19 декабря

Дорогой Исаак Давыдович!

23-го декабря я на один день приеду в Ленинград. Очень хочу тебя повидать. Хорошо было бы с тобой встретиться в этот день вечером, часов в 8—9.

Твой Д. Шостакович

Шостакович очень просил меня приехать в Москву на премьеру Четвертой симфонии, намеченную на 30 декабря 1961 года под управлением дирижера К. П. Кондрашина — инициатора этого концерта. Дмитрий Дмитриевич очень волновался, сомневаясь в успехе симфонии, пролежавшей под спудом целых 25 лет! И мне передалось волнение автора. Ведь я, как никак, был свидетелем репетиций Четвертой и ее секретного запрета осенью 1936 года. Я, конечно, в Москву поехал и присутствовал на этом незабываемом триумфальном концерте.

1962

154

27.I.1962. Москва 27 января

Дорогой Исаак Давыдович!

Сегодня я посмотрел оперу Г. М. Шантыря «Город юности»[1]. Свое краткое суждение об этой опере я сообщу ниже.

Сейчас мне необходимо поделиться с тобой впечатлениями о беседе с Л. Д. Михайловым, главным режиссером театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В опере Шантыря три акта, т. е. два антракта. В антрактах Л. Д. Михайлов уединился со мной в кабинет и вдохновенно, горячо, брызжа слюной и размахивая руками, делился со мной своей режиссерской концепцией постановки «Леди Макбет». Уж на что я привычен, да тут так был поражен пытливостью режиссерской мысли.

«Для того, чтобы утеплить (?) образ Катерины Львовны, надо обыграть ее беременность. Ее мечту о н а ш е м (с Сергеем) ребенке. Пусть она поет о нем, мечтает о нем. Для ее мечты нужно переделать слова в существующих ариях и обязательно сочинить еще две-три». На эту тему он говорил горячо и вдохновенно.

Я напомнил ему суждение И. И. Соллертинского о том, что в разных советских операх часто бывают баллады, ария

или каватина о «младенце, еще не родившемся, но имеющим быть рожденным». При этом И. И. [Соллертинский] приводил в пример «Тихий Дон», «Броненосец Потемкин», «В бурю». Уже я могу к этому списку прибавить «Город юности» Шантыря. В этой опере есть дуэт о еще не родившемся младенце. Эта моя реплика не произвела должного впечатления на Л. Д. Михайлова и в обоих антрактах он развивал эту мысль до второго звонка. Я же уныло слушал[2].

Спектакль «Город юности» поставлен прилично, но не интересно. Дирижер Проваторов в общем справляется со своими обязанностями[3]. Сама опера Шантыря лучше «Тихого Дона», «В бурю», «Декабристов», «Великой дружбы», «От всего сердца» и других вершин советской оперной классики.

Однако, человек он тихий, скромный, не занимает высоких постов; по-видимому, поэтому об его опере как-то меньше творческих дискуссий и восторженных похвал.

Вот о чем я хотел тебе написать. У нас больны гриппом внуки Андрей и Дмитрий, Мария Дмитриевна, Феня, а сейчас заболел и я. Галя вернулась из родильного дома и принесла очень хорошего мальчика, которого назвали Николаем. Молю Бога, чтобы грипп не распространился на нее.

С 8-го по 12-е февраля состоятся в Ленинграде гастроли Кондрашина с его оркестром. В программе гастролей будет 4-я симфония Вайнберга. Горячо рекомендую тебе послушать это прекрасное сочинение.

Передай сердечный привет Вере Васильевне и всем твоим. Крепко жму руку.

Твой Д. Шостакович

[1] Премьера состоялась 17 декабря 1961 года в Театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (постановка Л. Михайлова и П. Златогорова. Дирижер К. Абдулаев. Художник А. Лушин).

[2] В 1961 году Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко решил после двадцатипятилетнего запрета первым в стране возобновить «Леди Макбет Мценского уезда». Ставить гениальную оперу взялся Л. Д. Михайлов, хорошо зарекомендовавший себя на режиссерском поприще.

Однако беседа с ним поразила, ошеломила, удручила Шостаковича, привыкшего на своем веку к различным завиральным «концепциям» режиссеров-«новаторов». Но на этот раз речь шла о «Леди Макбет». Дело не шуточное! И Дмитрий Дмитриевич испытал острую необходимость поделиться со мною сразу же после этой достопамятной беседы. Чрезвычайно характерно поведение Шостаковича во время «откровений» режиссера. Вместо того чтобы, по совету Кочкарева из гоголевской «Женитьбы», закричать: «Пошли вон, дураки!», он пытался урезонить Михайлова, мягко поиронизировать над штампами о «неродившемся младенце», призвав на помощь шутку И. И. Соллертинского. Но все было тщетно! Предельно разгоряченный режиссер, «брызжа слюной и размахивая руками», как насмешливо пишет Дмитрий Дмитриевич, развивал свою «идею», и автор его «уныло слушал». Я бы добавил: слушал терпеливо, несмотря на отвращение.

Дело в том, что Л. Д. Михайлов, забыв, с кем он имеет дело, стремился с лучшими намерениями «усложнить», «обогатить», «утеплить» образ Катерины Львовны, которому, по его мнению, очень многого не хватало, то ли по вине, то ли по недосмотру композитора. Режиссеру это виднее, нежели автору, который должен быть счастлив, что его опера принята для постановки. Именно так рассуждали, рассуждают и поныне многие режиссеры, соглашающиеся ставить произведения современных композиторов, которые должны стать послушными исполнителями режиссерской воли. Такой скверный обычай с давних пор укоренился в советском оперном театре. Само собой разумеется, что беседа Л. Д. Михайлова с автором в конечном счете осталась без всяких последствий, и «Леди Макбет» была им хорошо поставлена в полном соответствии с партитурой Шостаковича, не подвергшейся никаким изменениям. Дмитрий Дмитриевич защитил свое детище.

[3] Спектакль, на котором присутствовал Шостакович, шел под управлением Г. П. Проваторова, которому предстояло дирижировать «Леди Макбет».

155

10.IV.1962. Москва — 10 апреля

Дорогой Исаак Давыдович!

Я сейчас переезжаю на новую квартиру. Вот новый адрес: Москва К-9, ул. Неждановой, д. 8/10, кв. 23. Тел. 2-29-95-29. Улица Неждановой — это бывший Брюсовский переулок. Нежданова — это ныне покойное колоратурное сопрано. Переезжать ужасно грустно. Много связано с ныне покидаемой квартирой[1].

Передай сердечный привет Вере Васильевне и всем твоим.

Крепко целую. Д. Шостакович

[1] Шостакович переезжал в свою третью и, увы! — последнюю московскую квартиру. До нее он жил на улице Кирова, а затем на Можайском шоссе, переименованном в Кутузовский проспект. На обеих квартирах я всегда живал, будучи в Москве, и отчетливо помню о событиях — творческих и житейских, печальных и радостных, которые составляли многотрудное бытие Дмитрия Дмитриевича.

156

31.V.1962. Москва — 31 мая

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за письмо, за отношение к «Бабьему Яру»[1]. Нахожусь в некотором смятении. Не знаю, кто его сможет спеть. Ведерникова[2] в Италии переучили на bel canto и, как мне сказала Г. Вишневская, он потерял все свои качества. У Гмыри[3] голос высокий. И. И. Петров очень глуп. А пока мне пришла

мысль в голову еще кое-что написать в этом же роде на слова Евтушенко. Томик его стихов наводит меня на мысль написать симфонию, в которой «Бабий Яр» будет первой или второй частью. Когда увидимся, я покажу те стихи, которые я выбрал для двух частей, и надеюсь, что Евтушенко сейчас сочинит мне просимое стихотворение. Вот так намечается 13-я симфония. Выйдет ли она? Поживу — увижу[4].

Возможно, что через 2—3 дня лягу в больницу. Жрецы науки, составившие консилиум, говорят, что это совершенно необходимо для моего здоровья и процветания.

Передай сердечный привет Вере Васильевне и всем твоим.

Твой *Д. Шостакович*

[1] 16 апреля 1962 года Шостакович, будучи в Ленинграде, сообщил мне, что им написан «Бабий Яр» (пока в клавире). «Пьеса получилась неплохой», — сказал он в раздумье и перешел на другие темы. 24 мая 1962 года Шостакович, приехав в Ленинград, сыграл мне законченный в партитуре «Бабий Яр». И музыка, и текст взволновали меня до слез. Мы думали-гадали, кто бы мог спеть сольную партию. Перебрали всех известных нам басов и ни на ком не остановились. Дмитрий Дмитриевич решительно сказал: «Дурак-певец для этого не годится!»

А начало всей Тринадцатой симфонии было положено в сентябре 1961 года. 20 или 21 числа этого месяца я принес Шостаковичу, жившему в Европейской гостинице, поразившее меня своим драматизмом и силой стихотворение Евгения Евтушенко «Бабий Яр», напечатанное 19 сентября в «Литературной газете». Мы сели в номере гостиницы обедать, и Шостакович обещал попозже прочесть полюбившееся мне стихотворение. Вечером он позвонил мне и сообщил, что разделяет мое высокое мнение о «Бабьем Яре» и непременно напишет на этот текст вокально-симфоническую поэму. Так на первых порах и произошло.

[2] Александр Филиппович Ведерников (р. 1927) — солист Большого театра.

[3] Борис Романович Гмыря (1903—1969) — солист Киевской оперы, голос и музыкальность которого ценил Шостакович.

[4] Решив написать грандиозную Тринадцатую симфонию, Дмитрий Дмитриевич не мог в конце мая 1962 года предполагать, какие камни преткновения встретятся на ее пути.

157

24.VI.1962. Москва 24 июня

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за письмо. Сейчас я нахожусь в больнице. Еще раз делают попытку вылечить мне руку. Пребывание в больнице меня не веселит[1]. Особенно во время медового месяца[2]. Мою жену зовут Ирина Антоновна. Знаю я ее больше двух лет. У нее есть лишь одно отрицательное качество: ей 27 лет. Во

всем остальном она очень хороша. Она умная, веселая, простая и симпатичная. Она меня навещает каждый день и это меня радует. Ко мне она относится очень хорошо. Думается, что мы с ней будем жить хорошо[3]. Пользуясь свободным временем — творю. Пишу сейчас еще одно произведение на слова Евтушенко. Называется оно «Юмор». Будет ли это 2-я часть симфонии или еще одна симфоническая поэма, сказать трудно[4]. Начал писать и 3-ю часть (или 3-ю симфоническую поэму) «В магазине». 4-ю часть мне обещал написать Евтушенко, но он куда-то исчез. Звоню ему каждый день, но он не отвечает. В общем будут четыре части. Создадут ли они симфонию или «вокально-симфоническую» сюиту, будущее покажет.

Написал письмо Б. Р. Гмыре с просьбой поинтересоваться моим новым опусом. С трепетом жду ответа[5]. Пожалуй, это единственный бас, который мог бы спеть этот opus. Когда выйду из больницы, хочу вместе с Ириной Антоновной приехать в Ленинград дня на три. Предварительно тебя извещу. Я очень хочу нанести Вере Васильевне и тебе визит вместе с Ириной Антоновной. Вероятно, это будет во второй половине июля[6].

Я очень рад, что ты уехал в Сестрорецк. Отдыхай. Набирайся сил.

Передай сердечный привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] Шостакович пишет в примирительном тоне о больнице потому, что драматическая ситуация, связанная с пребыванием в «узилище», скрашивалась сочинением музыки. Он писал Тринадцатую симфонию с неистовым порывом, воодушевлением и быстротой.

[2] 16 июня 1962 года из Москвы позвонил Шостакович, сделавший сенсационное сообщение о своей женитьбе. Сенсационное потому, что в мае месяце он уверял меня, что больше никогда не женится, но быстрые, неожиданные решения — стиль его жизни.

Дмитрий Дмитриевич сказал (текстуально) следующее: «Я женился! Мне хочется приехать в Ленинград и показать тебе мою избранницу. Это надо было, конечно, сделать до женитьбы, но все хорошо. Я, кажется, счастлив».

Мне лишь от всей души осталось поздравить пока по телефону молодожена.

[3] Он, к счастью, не ошибся. Так оно и было.

[4] В предыдущем письме Шостакович писал о своем окончательном решении сочинить симфонию, но по ходу работы, вероятно, возникли какие-то сомнения насчет формы произведения.

[5] Ожидания автора Тринадцатой были обмануты. Во время концертных выступлений Б. Р. Гмыри в Ленинградской филармонии он в разговорах со мной восторженно отзывался о Шостаковиче. Певец часто и охотно исполнял Пять романсов на слова Евг. Долматовского, но когда дело дошло до Тринадцатой симфонии, он, что называется, струхнул. Гмыря обратился за советом к украинским властям, которые настойчиво рекомендовали ему отказаться от участия в симфонии из-за крамольного «Бабьего Яра». Певец, репутация которого считалась

небезупречной (он оставался в Киеве в период немецкой оккупации), покорно подчинился указаниям начальства.

Дмитрий Дмитриевич на банкете по случаю столетнего юбилея Ленинградской консерватории, состоявшемся 20 сентября 1962 года, показал мне, молча (мы сидели рядом), письмо Гмыри, в коем тот объяснял свой, якобы вынужденный, отказ. Мне стало грустно, а Шостаковичу тем паче.

[6] Свое намерение Шостакович осуществил, приехав вместе с Ириной Антоновной ко мне в Сестрорецк, где я жил со своей матерью Фаней Борисовной (в это время Вера Васильевна находилась на юге). Избранница Дмитрия Дмитриевича очень понравилась моей матери и мне. Она оказалась удивительно симпатичной и обворожительной особой.

158

2.VII.1962. Москва 2 июля

Дорогой Исаак Давыдович!

Продолжаю находиться в больнице. Очень рад был получить твою весточку. И очень хочу тебя повидать. Если мы с Ириной приедем в Ленинград, то я тебя заранее о сроке приезда извещу. Планы у нас такие. По моем выходе из больницы, съездить дня на три в Ленинград. Затем мы вернемся в Москву и поедем к Ирининым родственникам под Рязань. Она утверждает, что там очень хорошо, и что ее тетя будет рада нас принять, кормить, поить и т. д. Поездка туда недели на 2—3. А дальше — будущее покажет. Видимо, я поеду в Эдинбург на фестиваль. Вообще сейчас у меня настроение посредственное. В больнице скучаю. Однако, возможно, что эта скука заставляет активизироваться творческий процесс. Я написал уже 2-ю и 3-ю части 13-й симфонии. 2-я часть: «Юмор» и 3-я часть: «В магазине». Я не рассчитываю на полное признание этого сочинения, но не писать его я не могу[1]. Если тебе попадется книга стихов Евтушенко, называемая «Взмах руки», то эти стихи почитай. «Юмор» на 121-й странице. «В магазине» — на 109 странице. «Карьера» на 52 стр.

А еще одно стихотворение Евтушенко обещал мне написать. Куда-то он пропал. По телефону не отвечает. Не отвечает и Гмыря.

Я с тобой согласен: Бернс, конечно, гений, а Евтушенко — талант[2]. Но Евтушенко еще очень молод, но... при встрече я выскажу свои мысли о Евтушенко. Все-таки у него жизнь, видимо, более сложная, чем у Бернса. Меня привлекает в его творчестве наличие мысли и несомненной гуманности. Разговор о том, что он «стиляга», «будуарный поэт» вызваны в немалой степени завистью. Он гораздо талантливее многих своих коллег, стоящих на правильных позициях[3].

Ирина очень смущается, встречаясь с моими друзьями. Она очень молода и скромна. Она служит лит. редактором в издательстве «Советский композитор». С 9 до 17 она сидит на службе. Она близорука. «Р» и «Л» не выговаривает[4]. Отец ее поляк, мать еврейка. В живых их нет. Отец пострадал от культа личности и нарушения революционной законности[5]. Мать умерла. Воспитывала ее тетка со стороны матери, которая и приглашает нас к себе под Рязань. Как называется это место под Рязанью, я забыл. Родом она из Ленинграда. Вот краткие о ней сведения. Была она и в дет. доме и в спец. дет. доме[6]. В общем, девушка с прошлым[7].

Меня здесь тщательно исследуют. Делали мне капилляроскопию. Что это такое — это неважно. Капилляроскопию мне делала доктор Л. Ф. Тимошук. Ты, наверное, помнишь эту фамилию. Я ее тоже помню, и потому заинтересовался этой процедурой[8]. Л. Ф. Тимошук похожа на драматурга Мурашкину, которую описал в рассказе «Драма» Чехов[9]. С большим любопытством я смотрел на Л. Ф. Тимошук. Хотел взять у нее интервью, но промолчал. Много у меня мыслей появилось в голове после капилляроскопии[10].

Ну вот, пока и все.

Отдыхай, набирайся сил и здоровья.

Передай привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] Вот признание настоящего художника, каким был до кончика ногтей Шостакович.

[2] В своем письме я с большой похвалой отозвался о стихотворении Евтушенко «Юмор», смысл и сюжет которого, на мой взгляд, перекликается с гениальной вещью Роберта Бернса «Джон — Ячменное зерно».

[3] Шостаковича раздражали и злили придирки различного рода зубоскалящих чистюль-педантов к стихотворному тексту Тринадцатой симфонии. Он не давал в обиду Евтушенко, рассматривая симфонию в неразрывном единстве слова и музыки. А когда поэт такое единство нарушил и начал самостоятельно вносить поправки в текст «Бабьего Яра», то это вызвало резкое недовольство Шостаковича.

[4] Шостакович не пожелал присовокупить, что Ирина Антоновна картавит очень мило. Вообще портрет жены он нарисовал в столь свойственной ему сдержанной манере.

[5] Шостакович нарочито пользовался бытовавшей после смерти Сталина шаблонной формулой, долженствовавшей заменить понятия произвола и террора.

[6] Имеется в виду детдом, в котором помещали детей так называемых «врагов народа».

[7] Имеется в виду трагически проведенное детство.

[8] Шостакович мастерски вводит в письмо зловещую фигуру Л. Ф. Тимошук, сыгравшую роль провокатора в чудовищном «деле врачей».

[9] Шостаковичу доктор Тимошук напомнила отвратительную Мурашкину с «красным, мясистым лицом и мужским тенором».

[10] После смерти Сталина Л. Ф. Тимошук лишили ордена, полу-

ченного за провокацию, но оставили на службе в Кремлевской больнице, что, конечно, уязвило и оскорбило Шостаковича — человека и подлинного гражданина.

159

7.VII.1962. Москва 7 июля

Дорогой Исаак Давыдович!

Время идет, а я все еще в больнице. Вчера был консилиум, который определил, что мне надо пробыть в больнице до 21-го июля. Заповедь Достоевского «Смирись, гордый человек» очень подходит для меня. Мне надо было бы сразу слушаться, когда у меня стала плохо работать правая рука. Тогда бы не надо было бы смиряться сейчас (т. е. смирно ждать 21-го июля). После 21-го июля, когда я закончу 13-ю симфонию, съезжу в Киев, к Гмыре, от которого получил любезное, ни к чему не обязывающее письмо[1]. Потом обязательно в Ленинград. Я очень хочу тебя повидать, и поэтому надо заранее договориться о возможности встречи[2]. Если ты не будешь возражать, если тебе это не будет затруднительно, то мы с Ириной нанесли бы тебе визит в Сестрорецк. Для того, чтобы такой визит осуществить, я прошу тебя о следующей помощи. Выйди к автобусной остановке и перепиши для меня автобусы, следующие из Ленинграда в Сестрорецк. Пошли мне этот свой труд вместе с твоим указанием, до какой станции надо доехать и как искать Среднюю улицу[3]. Дня за два я извещу тебя телеграммой о нашем приезде. Остановимся мы у Маруси[4]. Если по приезде в Ленинград у Маруси не будет нас ожидать твое письмо о том, что ты не сможешь нас принять в Сестрорецке, то мы сразу же выедем к тебе. Отнимем у тебя часок-другой, вернемся в Ленинград, а затем в Москву. После этого поедем недельки на 2—3 в Солотчу (Рязанской области). Туда меня повезет Ирина погостить к своей тете. Посмотрю и поеду. Посмотрю, что это за Солотча, и что за тетя.

Если же тебе будет невозможно принять нас в Сестрорецке, то обязательно выезжай в Ленинград, чтобы встретиться с нами[5]. Итак, жду от тебя автобусного расписания. Если же к тебе лучше ехать поездом, то сообщи расписание поездов. Вот сколько забот я тебе навалил.

Передай сердечный привет Вере Васильевне и всем твоим.

Твой *Д. Шостакович*

Конечно, мне очень хочется показать тебе 13-ю симфонию (симфонию ли?)[6]. Три части совсем готовы. Пишу 4-ю и 5-ю. Может быть, это благодаря пребыванию в больнице и полному безделью[7].

Д. Ш.

Ирина шлет Вам лучшие свои пожелания. *Д. Ш.*

[1] Певец Б. Р. Гмыря еще не обращался к киевским властям за разрешением исполнять Тринадцатую симфонию с «Бабьим Яром». Он это сделает несколько позже.

[2] Находясь в больнице, Дмитрий Дмитриевич горел желанием познакомить меня и с Ириной Антоновной и с Тринадцатой симфонией, работа над которой близилась к концу.

[3] Я жил на Средней улице в доме № 30.

[4] См. примечание 5 к письму 1 от 30 ноября 1941 года.

[5] Предстоящая встреча со мною волновала и, вероятно, чем-то радовала Дмитрия Дмитриевича. Этим можно объяснить его беспокойство, связанное с простейшей поездкой в Сестрорецк, пригород Ленинграда.

[6] Колебания Шостаковича в определении жанра создаваемого замечательного произведения продолжались и после написания трех частей.

[7] Шостакович прихотливо снижает пафос сочинения симфонии, сводя гигантский вдохновенный труд к наличию свободного времени, уготованного больницей.

160

9.VII.1962. Москва 9 июля

Дорогой Исаак Давыдович!

В своем последнем письме ты выражаешь неудовольствие поведением Е. А. Евтушенко[1]. Это оказалось несправедливо. Поэт прислал мне на выбор 5 стихотворений. Пожалуй, полностью меня ни одно из них не устраивает. Но он уехал в Батум. Я сижу в больнице и «творческий потенциал» пока действует. И я выбрал стихотворение, которое называется «Страхи». Стихотворение длинное, несколько многословное. Но в нем есть первая половина, которая меня почти полностью устраивает. Есть много хорошего и во второй половине[2]. Впрочем, все эти разговоры мои бессмысленны. Вот уже встречусь с тобой в 20-х числах июля, и тогда покажу тебе полный opus. Видимо, я этот opus назову «13-я симфония». Было бы крайне для меня желательно встретиться с тобой за роялем. Может быть, ты смог бы выехать для этого в город часика на два?[3]

В общем, я тебе за два дня до нашего приезда в Ленинград пришлю телеграмму. И тогда мы договоримся о дальнейшем. Может быть, мы нанесем тебе визит в Сестрорецк, а ты отдашь нам таковой в Ленинграде у Маруси. Поездка в Ленинград вызвана исключительно горячим желанием повидать тебя и познакомить в какой-то степени с 13-й симфонией.

Крепко жму руку.

Твой *Д. Шостакович*

Передай сердечный привет Фане Борисовне. Очень жалею, что не застану Веру Васильевну[4].

Д. Ш.

[1] Высоко ценя дарование Е. А. Евтушенко, я осуждал его в своем письме за недостаточно уважительное отношение к Шостаковичу, которому приходилось гоняться за поэтом, не понимавшим, что он имеет дело с гениальным композитором.

[2] Это стихотворение было дорого Шостаковичу за изображение страхов, под властью которых вынуждены были существовать люди в сталинскую эпоху.

[3] В течение многих лет Шостакович показывал мне свои новые сочинения. Это было для него какой-то потребностью, а для меня наслаждением и большой честью.

Но почему он проявлял такое настойчивое, горячее, а при его сдержанности, прямо-таки страстное желание познакомить меня с Тринадцатой? Мне кажется, что это было обусловлено новизной и необычностью ее тематики. Дмитрий Дмитриевич впервые с поразительной художественной смелостью ввел в Тринадцатую стихотворные тексты острейшего, злободневного, животрепещущего звучания, и ему, вероятно, хотелось на мне проверить воздействующую, впечатляющую силу симфонии.

[4] Моя жена в это время уехала на юг.

161

14.VII.1962. Москва 14 июля

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за письмо. Я все еще нахожусь в больнице. Выйду 20-го июля. 21-го вместе с Ириной Антоновной поедем в Киев на свидание с Гмырей. 23-го вылетим в Ленинград. Если в Ленинграде мы будем не очень поздно, скажем часов в 12—14, то в тот же день приедем к тебе в Сестрорецк. Из Киева я пришлю тебе телеграмму, т. к. только там смогу узнать расписание самолетов. Мне очень хочется тебя повидать в столь серьезный период моей жизни (женитьба и окончание 13-й симфонии)[1], но мне очень не хочется доставлять Фане Борисовне и тебе беспокойство. Мы с Ириной привезем поллитра «Столичной», килограмма полтора любительской колбасы, приедем к тебе, выпьем, закусим и отправимся обратно в Ленинград к Марусе[2].

Насчет симфонии я перехватил. Она еще не кончена, но обязательно 20-го или даже раньше будет кончена[3]. «В магазине» вышло, пожалуй, сильнее других частей. Я восхищен этим стихотворением предельно[4].

Очень хотел бы в Ленинграде встретиться с Мравинским. Вряд ли, однако, это удастся. Он в Усть-Нарве.

В Ленинграде не хочется задерживаться. Хочу все провер-

нуть в два дня (визит к тебе, ознакомление тебя и Мравинского с симфонией и отъезд в Москву)[5].

Хочется скорее уехать в Солотчу (Рязанской области) и немного отдохнуть. Сочиняя симфонию в больнице, я очень устал. Старею[6].

Крепко тебя обнимаю.

Твой Д. Шостакович

Спасибо за расписание автобусов. Возможно, что из Киева я протелеграфирую тебе, каким автобусом мы поедем. Если сможешь, выходи встречать. Если не сможешь, доберемся сами.

Передай сердечный привет Фане Борисовне и Вере Васильевне (по почте).

Д. Ш.

Ирина очень хорошая. Однако, с моими друзьями она от смущения ведет себя как школьница, попавшая в компанию взрослых. Ну, да это скоро пройдет. Поэтому не обижайся на молчаливость и смутительность.

Д. Ш.

[1] Шостакович считал чрезвычайно важным представить на мой суд свою молоденькую жену и Тринадцатую симфонию. Оба совершенные им деяния (женитьба и симфония), казалось бы, столь несхожие меж собой, нуждались, по убеждению Дмитрия Дмитриевича, в моей оценке. Об Ирине Антоновне я уже высказал свое мнение в примечаниях к одному из предыдущих писем, а симфония, показанная мне в Ленинграде, привела меня в полный восторг.

[2] Щепетильность и деликатность Шостаковича по отношению даже к близким ему людям (а я, несомненно, принадлежал к их числу) мне всегда казались чрезмерными. Но, повинуясь своим чувствам, он с трогательной наивностью привез с собой в Сестрорецк «сухой паек» (*формула военного времени*) — водку и «любительскую колбасу» — его любимый «демократический» сорт колбасных изделий. Меня это и рассмешило и растрогало.

Моя мать Фаня Борисовна, конечно, не рассчитывала на этот курьезный, «студенческий», как она выразилась, «взнос натурой» и приготовила прекрасный обед, на котором не нашлось места любительской колбасе. По этому поводу Дмитрий Дмитриевич застенчиво хохотнул, а Ирина Антоновна, еще не знавшая досконально характера своего мужа, мило улыбалась.

[3] Тринадцатая симфония была завершена в точно назначенный Шостаковичем срок — 20 июля 1962 года.

[4] Авторская оценка третьей части симфонии сама по себе представляет большой интерес. Иные музыковеды держались прямо противоположного мнения о стихотворении Евтушенко. Они порицали поэта и в известной мере композитора за изображение «низменного» быта. Такие строки, как «пахнет луком, огурцами, пахнет соусом „Кабуль"», страшно шокировали критиков-пуристов.

[5] Шостакович, *после некоторого колебания, отправился в* Усть-Нарву к Е. А. Мравинскому и познакомил его с Тринадцатой симфонией. Судя по дальнейшему ходу событий, дирижер принял новое сочинение без

обычной восторженности и горячности. То ли он не понял его формы, то ли не сочувствовал его духу. Ответить на эти вопросы трудно, но вел он себя в последующие недели не лучшим образом, отделываясь фигурой умолчания. 7 октября 1962 года Шостакович позвонил мне из Москвы по телефону и попросил узнать у Мравинского, собирается ли он получить партитуру Тринадцатой. Евгений Александрович говорил со мной уклончиво. Я решительно не узнавал его. Он завел разговор о предстоящих гастролях в Америке и о всякой всячине, но ничего определенного не сказал о партитуре. Я был фраппирован таким оборотом дел.

В этой конфузной ситуации Дмитрий Дмитриевич держал себя благородно, с большим достоинством, не произнес ни одного худого слова о Мравинском, но решил передать симфонию К. П. Кондрашину, принявшему ее с восторгом.

[6] Жалобы на старость, уже давно звучавшие в устах Шостаковича, мне представлялись надуманными, чтобы не сказать смехотворными. О какой старости могла идти речь, когда за каких-нибудь 15—20 дней Дмитрий Дмитриевич, находясь в больнице, написал четыре части могучей Тринадцатой симфонии!

162

16.VII.1962 Москва 16 июля

Дорогой Исаак Давыдович!

Вчера пришла телеграмма от Гмыри, в которой он просит меня приехать в Киев 21-го июля. А я собирался к нему 22-го. Поэтому все передвигается на один день. 21-го я буду в Киеве, а 22-го вылечу в Ленинград. Из Киева я тебе протелеграфирую, в котором часу буду в Ленинграде. Если рано, то приедем к тебе 22-го, если поздно, то 23-го. Если у тебя будет возможность, то вечером 22-го позвони мне к Марусе.

Твой Д. Шостакович

Шостакович настойчиво продолжал уточнять до мельчайших подробностей процедуру приезда ко мне в Сестрорецк. Он опасался каких-либо оплошностей или недоразумений, каковые были маловероятны, так как Сестрорецк расположен в 35 км от Ленинграда.

Приезд этот состоялся в двадцатых числах июля (см. примечания к письму 161 от 14 июля). Любопытно, что Дмитрий Дмитриевич почему-то решил не нанимать такси и совершил вместе с Ириной Антоновной путешествие (в Сестрорецк и обратно) в переполненном автобусе, «как все добрые люди» — сказал он мне на прощание, втискиваясь в автобус.

3.VIII.1962. Солотча 3 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

Ирина и я до сих пор с радостью вспоминаем наш визит к вам, в Сестрорецк. Для нее, а тем более для меня это был самый приятный визит за время пребывания в Ленинграде и Усть-Нарве[1].

Сейчас мы живем в Солотче, где пробудем до 12.VIII. 16.VIII вместе с Максимом отбываю в Англию. Вернусь, видимо, только 15—20 сентября.

Живем мы хорошо. Здесь прекрасная природа. Гуляем. Довольно много работаю. Соркестровал «Песни и пляски смерти» Мусоргского[2]. Корректировал 4-ю симфонию и «Хованщину», которые должны выйти из печати. Сейчас делаю переложение в 4 руки 13-й симфонии[3].

Вот такие дела.

Передай привет Фане Борисовне и сердечную благодарность за гостеприимство. Ирина тоже шлет свои лучшие пожелания.

Твой Д. Шостакович

До 12 августа наш адрес такой:

Рязанская область. Солотча. Дом Совнархоза. Мне.

Д. Ш.

[1] Имеется в виду поездка к Е. А. Мравинскому. Шостаковичу все понравилось на нашей сестрорецкой даче, которую мы снимали. То была избушка на курьих ножках, стоящая на берегу Разлива, того самого Разлива, изображенного во второй части Двенадцатой симфонии. Глядя из окошка на водный простор, Дмитрий Дмитриевич с улыбкой заметил: «Попробуй, изобрази это в звуках!»

Ему понравился вкусный обед, а главным образом, беседа, по которой мы оба соскучились. Она текла непринужденно, то серьезно, то с юмором, на который Дмитрий Дмитриевич был большой мастер.

[2] На фоне прекрасной, безмятежной природы Солотчи у, казалось бы, счастливого молодожена по контрасту возникает интерес к трагедийному вокальному циклу Мусоргского, проникнутому темой торжествующей смерти. Причем интерес не созерцательный. Дмитрию Дмитриевичу захотелось погрузиться в нее и инструментовать ее. Быть может, он таил в душе какие-то скорбные думы и предчувствия.

[3] Безмерно устав от сочинения Тринадцатой симфонии, Шостакович, приехав на краткий отдых, работал, не покладая рук, поэтому его жалобы на старость нельзя принимать всерьез.

1963

164

6.I.1963. Москва 6 января

Дорогой Исаак Давыдович!

Посылаю тебе «Новую редакцию „Бабьего Яра"». Скобками обведены те строки, которые поэт сделал в ответ на вдохновляющую критику[1].

Обнимаю тебя.

Д. Шостакович

[1] В декабре 1962 года, незадолго до премьеры Тринадцатой симфонии, назначенной на 18 число, Н. С. Хрущев на собрании творческой интеллигенции, на коем присутствовали и Дмитрий Дмитриевич, и Е. А. Евтушенко, высказал недовольство тем, что композитор Шостакович сочинил «какую-то симфонию „Бабий Яр"», подняв никому не нужный «еврейский вопрос», хотя фашисты убивали не только евреев.

Как известно, в ту пору Хрущев обладал неограниченной властью, и любое его критическое замечание приобретало силу закона. Таким образом, выражаясь словами Пушкина, «гром грянул из тучи, а не из навозной кучи».

Исполнение симфонии, о которой шумела вся Москва (и не только музыкально-театральная), было на грани запрета.

Я приехал в Москву на премьеру, и утро 18 декабря было крайне тревожное. Генеральная репетиция была остановлена, но не отменена. В эти томительные часы Дмитрий Дмитриевич испытывал страшное волнение. Мне было больно смотреть на его изможденное лицо, на его подергивающиеся губы, на страдальческое выражение глаз.

Примерно к полудню последовал звонок из высоких партийных сфер, и репетицию, следовательно премьеру, разрешили. Разрешили скрепя сердце, из опасения, что запрет Тринадцатой вызовет отрицательную реакцию на Западе. (В Большом зале консерватории на концерте присутствовали дипкорпус и представители иностранной прессы.)

Перед тем как отправиться на концерт, Шостакович пожал левой рукой мою левую руку «на счастье» и сказал: «Если после симфонии публика будет улюлюкать и плевать в меня, не защищай меня: я все стерплю» (это текстуально!). Я, конечно, знал, что ничего подобного не произойдет, но мы шли в консерваторию в расстроенных чувствах: сказалась утренная тревога. Что творилось в зале, передать словами очень трудно. Музыка напоминала, при наличии блестящего юмора, возвышенную литургию. После финала вся публика встала и началась неистовая овация, длившаяся бесконечно. Московская пресса не откликнулась ни одним словом на концерт. Ей было велено хранить гробовое молчание о крамольной симфонии.

Любопытно, что «Юманите», известная своей исключительной лояльностью к нашим порядкам, все же опубликовала 20 декабря статейку, которую я случайно прочел в Москве. Она называлась «Succès triomphale de la 13-e symphonie de Shostakovitch» («Триумфальный успех 13-й симфонии Шостаковича»).

20 декабря Тринадцатая была повторена с таким же громовым успехом. На обоих концертах появление Евтушенко вслед за Шостаковичем на эстраде встречалось публикой восторженно. Этого поэта очень многие любили, и было за что любить.

Но вот что с ним произошло после премьеры Тринадцатой. Запомнив строгую нотацию Хрущева, Евтушенко, не дав себе труда договориться с Шостаковичем, вставил в текст «Бабьего Яра» 40 новых строк, в которых к расстрелянным евреям присоединились русские и украинцы. Одна такая вставка начиналась стихами:

Я тут стою, как будто у криницы,
Дающей веру в наше братство мне.
Здесь русские лежат и украинцы,
С евреями лежат в одной земле.

Поэт полагал, что своей редакцией текста он выполнил указание Хрущева. Но это не устраивало Шостаковича, который не мог разрушать форму первой части симфонии.

Композитору пришлось вступить в творческий спор с поэтом, правда, заочно.

165

7.I.1963. Жуковка — 7 января

Дорогой Исаак Давыдович!

Заваливаю я тебя поэзией. Посылаю тебе еще один opus Е. А. Евтушенко[1]. Это стихотворение сочинено под впечатлением премьеры «Катерины Измайловой» и посвящено мне[2].

В свое время, Николай 1-й, знакомясь с оперой Глинки «Иван Сусанин», всемилостивейше заявить изволил:

«Музыка не имеет значения. Важен сюжет».

По поводу «Второго рождения» я хотел бы повторить эту августейшую мысль с той, однако, разницей, что стих в этом opus'е Евтушенко очень хорош, как и сюжет[3].

Мне не нравится заглавие «Второе рождение». Моя музыка никогда не умирала и поэтому ей не надо было второй раз рождаться[4]. Это замечание мне не удалось высказать поэту, т. к. он отбыл на два месяца в Западную Германию, Францию и другие страны. По этой же причине я не смог поделиться с ним моими впечатлениями о новой редакции «Бабьего Яра».

Твой Д. Шостакович

[1] Стихотворение, носящее заглавие «Второе рождение». В предыдущем письме от 6 января Шостакович прислал мне полный текст «Бабьего Яра» в новой редакции Евтушенко.

[2] Премьера «Катерины Измайловой» в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоялась 26 декабря 1962 года.

[3] В стихотворении, написанном сразу же после услышанной оперы,

действительно имеются замечательные строфы. Например, вторая строфа:

И тридцать лет почти пылились ноты,
И музыка средь мертвой полутьмы,
Распятая на них, металась ночью,
Желая быть услышанной людьми.

[4] Мысль о втором рождении оперы чрезвычайно важна. Она никому не пришла в голову, кроме Шостаковича. При всей необыкновенной скромности он осознавал художественную ценность «Катерины Измайловой» — любимейшего своего произведения.

Музыку нельзя умертвить. Она может сама умереть, состарившись и отжив свой век. Таких примеров много, но «Катерина Измайлова» обладала неувядаемой свежестью, она была полна юных сил. Это отчетливо знал ее творец. Именно поэтому ему захотелось сделать замечание талантливому поэту.

166

28.I.1963. Жуковка — 28 января

Дорогой Исаак Давыдович!

На 10 и 11-е февраля назначены очередные исполнения 13-й симфонии. Я сделал две поправки[1].

Вместо:

Мне кажется, сейчас я иудей.
Вот я бреду по древнему Египту.
А вот я на кресте распятый гибну,
И до сих пор следы гвоздей на мне.

Будет:

Я тут стою, как будто у криницы,
Дающей веру в наше братство мне.
Здесь русские лежат и украинцы
С евреями лежат в одной земле.

Вторая поправка.

Вместо:

И сам я как сплошной беззвучный крик
Над тысячами тысяч погребенных.
Я каждый здесь расстрелянный старик,
Я каждый здесь расстрелянный ребенок.

Будет:

Я думаю о подвиге России,
Фашизму преградившей путь собой.
До самой наикрохотной росинки
Мне близкой всею сутью и судьбой.

Музыка осталась прежней. Изменены лишь слова. Как говорил когда-то Николай 1-й: Музыка значения не имеет. Важен сюжет[2].

У меня к тебе просьба. Мое занятие графоманией подходит к концу. Привожу в полный порядок партитуру «Леди Макбет»[3]. Не следует ли переименовать квартального в урядника. Квартальный — это полицейский чин в городах. В уездах, волостях, округах был как будто урядник. Если ты эрудирован в этих вопросах — напиши мне твое мнение.

Вере Васильевне и всем твоим передай сердечный привет.

Твой Д. Шостакович

[1] Двухкратное исполнение симфонии состоялось в назначенные дни. Шостакович сообщил мне об изменениях в тексте «Бабьего Яра» для того, чтобы они меня не застали врасплох. Я присутствовал на обоих концертах и ужасно жалел об изъятии восьми драгоценных строк из первоначального текста, но, как выяснилось, от появления новых стихов, сочиненных по высочайшему повелению, зависела судьба симфонии.

[2] Шостакович с болью душевной делал вынужденные изменения в тексте симфонии и с горьким юмором снова (как в предыдущем письме) вспомнил изречение Николая I.

[3] Шостакович, по его собственным словам, был снедаем «демоном графомании», то есть он любил заниматься механической или полумеханической работой, отвлекающей его от неприятных мыслей. Несмотря на нездоровую руку, он заново переписал партитуру «Леди Макбет» и собирался делать клавир оперы, прося меня более выразительно сформулировать ремарки.

167

22.II.1963. Москва

22 февраля

Дорогой Исаак Давыдович!

Вероятно я приеду в Ленинград в первых числах марта.

Вряд ли я смогу чем-либо помочь Донияху. Дело у него трудное[1].

Твой Д. Шостакович

[1] Имеется в виду дирижер Малого оперного театра Г. А. Дониях, уволенный вследствие семейно-бытового, адюльтерного скандала. Я просил Шостаковича, по возможности, помочь Г. А. Донияху.

168

14.IV.1963. Москва

14 апреля

Дорогой Исаак Давыдович!

13 апреля я много выпил, заснул и чуть-чуть не опоздал на поезд[1].

Вероятно, ты ко мне звонил или стучал, но я ничего не слышал. Извини меня, ради Бога, если это действительно так.

Кроме того, я досадую, что из-за этого безобразия я не передал тебе мой скромный подарок. Подарок этот — мои Шесть романсов на слова английских поэтов, из которых («Макферсон перед казнью») посвящен тебе. Эти романсы я сочинил очень давно, а сейчас их издали[2].

Еще раз прошу тебя на меня не сердиться. Завтра я ложусь в больницу лечить руку. Коли будет время, напиши мне.

Передай сердечный привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] Шостакович не был трезвенником, но не любил и не жалел пьяниц. Когда ему случалось выпить лишнее, он на следующий день всегда осуждал себя и называл свое корректное поведение безобразным, как он это делает в данном письме. Дмитрий Дмитриевич извиняется передо мной, ни в чем не провинившись, но покоряясь изощренному чувству деликатности.

[2] Романсы были напечатаны Музфондом во время войны на стеклографе. Один из экземпляров Шостакович с дарственной надписью послал мне в Ташкент.

169

6.V.1963. Москва — 6 мая

Дорогой Исаак Давыдович!

Вернувшись из Ленинграда, я на другой же день поместился в больницу, где пробуду до 15 мая. 17 мая я приеду в Ленинград, где пробуду до 20-го включительно. Очень хотелось бы в эти дни повидать тебя.

Чувствую себя хорошо, из-за чего очень скучаю. Лечат мне здесь руку. С тем же успехом, что и в прошлые разы[1].

Вспоминаю свое последнее пребывание в больнице, примерно, «имевшее быть» год тому назад. Вспоминаю, как я целыми днями писал 13-ю симфонию, как захватывающа была эта работа[2]. Вспоминаю, как сразу же после выхода из больницы, я с Ириной направился в Киев на встречу с Б. Р. Гмырей. Как из Киева мы прилетели в Ленинград, как побывали у тебя в Сестрорецке, как побывали у Е. А. Мравинского в Усть-Нарве. До чего было все это великолепно[3]. Сейчас я ничего не пишу. Голова пустая. Творческих замыслов нет. Т. е. они есть, но нет сил, нет «вдохновения»[4]. Это естественно. Я уже стар.

Вот скоро выйду из больницы, скоро приеду в Ленинград, потом вернусь в Москву. «А дальше что?», как говаривал покойный А. М. Житомирский[5].

Итак, до скорого свидания, как я надеюсь.

Передай сердечный привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] Шостакович недоверчиво относился к известным врачам, лечившим его руку.

[2] Дмитрий Дмитриевич, оглядываясь назад, с душевным волнением называет свою работу над Тринадцатой симфонией «захватывающей». Между тем в письмах из больницы он с большой сдержанностью, без всяких эмоций, в деловом тоне сообщал мне о завершении очередной части симфонии, но по прошествии года прошлое, пусть недалекое, озарилось радужным светом.

[3] Живая и разнообразная деятельность, связанная с предстоящей премьерой Тринадцатой симфонии, представлялась Шостаковичу год спустя привлекательной и «великолепной». Ему не хотелось вспоминать недобрым словом трусливое поведение певца Гмыри или уклончивость Мравинского. Это осталось для него в житейской обыденности, над которой высилась Тринадцатая.

[4] Шостакович не пользовался высокими словами для характеристики своего композиторского труда. Даже слово «вдохновение» он берет в кавычки.

[5] Имеется в виду профессор Ленинградской консерватории, ученик Римского-Корсакова, Александр Матвеевич Житомирский, имевший обыкновение с угрюмым видом спрашивать собеседника: «Ну, я профессор, а дальше что?» Он не питал никаких иллюзий насчет будущего, и на его вопрос напрашивался ответ: «Дальше — ничего».

Это мрачноватое изречение А. М. Житомирского Дмитрию Дмитриевичу в мае 1963 года захотелось применить к себе. Не сочиняя музыку, он видел в круговороте жизни однообразие, бессмыслицу и «ничего». Такой упадок духа, как правило, длился недолго и сменялся противоположным состоянием — подъемом душевных сил.

170

28.VI.1963. Москва — 28 июня

Дорогой Исаак Давыдович!

Я перевел тебе 65 рублей за воспоминания о Маяковском[1]. Когда эти деньги получишь, подтверди по адресу: Армянская ССР, гор. Дилижан, Дом композиторов. Для скорости пиши авиапочтой.

Крепко жму руку.

Д. Шостакович

[1] Крайняя щепетильность в денежных расчетах побудила Шостаковича перевести мне деньги за незначительную помощь, которую я ему оказал при написании небольшой статьи о В. В. Маяковском.

171

7.VII.1963. Дилижан — 7 июля

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за весточку. Кстати, я получил ее на третий день.

Следовательно, авиапочта доставляет письма скорее, чем поезд, но медленнее, чем самолет. Как я узнал, от Ленинграда до Еревана самолет летит 4 часа 15 мин. Я также радуюсь, что мечта лучшего, талантливейшего народа стала дивной реальностью[1].

Мы очень хорошо живем в Дилижане. Точнее, в 8 километрах от Дилижана, который, в свою очередь, находится примерно на полпути между Ереваном и Тбилиси. Среди прекрасной дикой природы построены 12 коттеджей со всеми удобствами, включая сюда и газ. Поэтому отсутствует проблема бани. В любой момент можно зажечь газ, мыться в ванной, принимать душ. Надо сказать, что армянские музфондовцы сделали все великолепно. Воздух горный, густые леса. Ходить трудно, т. к. территория не выровнена. Или в гору, или под гору. Тем не менее мы много гуляем, хотя это и очень трудно, принимая во внимание мою сломанную ногу. Однако хожу в тщетной надежде сбить брюхо, которое у меня непрерывно растет.

Побывав недавно в Киргизии и находясь сейчас в Армении, прихожу к убеждению, что нет ничего прекраснее Земли. Беспрерывно вспоминаю «Песню о земле» Малера[2]. Зреет и своя «Песня о земле», но пока лишь в неясных мечтаниях[3].

13-го июля думаем выехать в Ереван и послушать в оперном театре «Царя Эдипа» Стравинского. 13-го и 14-го будут подряд два спектакля[4]. Молодцы армяне! Пробудем мы здесь до 28-го июля, после чего, отдохнувшие и поздоровевшие, полные творческих сил и энтузиазма, вернемся домой[5].

20-го июля думаю отпраздновать годовщину окончания моей спорной 13-й симфонии. Здесь в каждом коттедже имеется магнитофон. Пленку мы привезли. Прокрутим, после чего выпьем, закусим помидорами, огурцами и чесноком, к которому я пристрастился, и завалимся спать. Праздновать будем в одиночестве.

Вспоминаю, как год тому назад я вышел из больницы. В тот же день мы направились в Киев к Гмыре, потом в Ленинград и Усть-Нарву к Мравинскому, как нанесли визит к тебе в Сестрорецк. Много воды утекло[6].

Вспоминаю размышления Н. И. Пейко о том, что нельзя говорить про юмор, что он мужественный человек. Ведь юмор — не человек. Что нельзя говорить: «Я делаю себе карьеру тем, что не делаю ее». Хи-хи-хи. Много есть на свете мыслителей[7].

В общем я многое вспоминаю, о многом думаю. И тем не менее, занимаюсь физкультурой, много хожу по пересеченной, неблагоустроенной, неровной местности, т. к. если мне положено много жить, то не хочу быть инвалидом. Поэтому занимаюсь физтренировкой. Не пью. Погода здесь разнообразная. Часто льют дожди. Жары нет. Это очень хорошо.

Итак — да здравствует карьера,
Когда карьера такова,
Как у Шекспира и Пастера,
Ньютона и Толстого Льва![8]

Мы с Ириной шлем тебе, Вере Васильевне, всем твоим наши самые лучшие пожелания.

Твой Д. Шостакович

[1] Ирония над национальным бахвальством, которое по-прежнему бытовало в прессе.

[2] Шостакович, горячо любя Малера, боготворил его «Песню о земле».

[3] Трудно сказать, что именно имел в виду Шостакович, какой музыкальный замысел созревал в нем. Во всяком случае, ипохондрия, владевшая им в начале мая, сменилась бодростью и добрыми надеждами. По выходе из больницы, в середине месяца, он приехал в Ленинград. 18 мая 1963 года Дмитрий Дмитриевич за обедом сообщил мне о своем намерении написать новое произведение на стихи Евгения Евтушенко. Он сказал (текстуально): «Я еще не знаю, какова будет форма этого сочинения, но его содержание будет посвящено совести, человеческой совести». Быть может, Шостакович думал о последней, потрясающей части «Песни о земле» с ее темой одиночества и смерти? Тем не менее, в упомянутой беседе со мной, имя Малера произнесено не было.

[4] Шостакович восхищался музыкой Стравинского, но отнюдь не его личностью. Он, конечно, был обрадован возможностью послушать «Царя Эдипа» и предвкушал удовольствие от предстоящих спектаклей.

[5] Шостакович шутливо приукрашивает действительное положение вещей.

[6] Дмитрий Дмитриевич с сердечным умилением возвращается к событиям, уже изложенным в письме ко мне от 6 мая 1963 года, так как он находился под властью воспоминаний о Тринадцатой симфонии. Воспоминания эти, как я уже отметил, были, вопреки реальным фактам, озарены радужным светом (см. примечание 2 к письму 169 от 6 мая 1963 года).

[7] Шостакович неоднократно высмеивал благоглупости и пошлости, высказанные различного рода педантами о тексте Тринадцатой. В данном письме мишенью его едкой насмешки стал композитор Николай Иванович Пейко, к музыке которого он относился с симпатией.

[8] Так как пребывание Шостаковича в Дилижане было в большой мере овеяно воспоминаниями о Тринадцатой, вероятно, поэтому он горделиво и, я бы даже сказал, победоносно заключает свое письмо великолепными строками из великолепной последней части симфонии.

172

24.VII.1963. Дилижан — 24 июля

Дорогой Исаак Давыдович!

Письмо твое я получил. Столь рекордно медленный путь

моего письма к тебе объясняется частными неполадками. Ближайшая почта от Дома композиторов находится в Дилижане, что в восьми километрах. Видимо, из-за рассеянности местных работников, письма завалялись в почтовом ящике Дома композиторов. Что касается до обратного адреса, то я руководствуюсь следующими соображениями. Откуда бы я ни писал письма, я всегда на конверте пишу мой постоянный московский адрес. Делается это для того, что если мое письмо не дойдет до адресата, то пусть мне его вернут в Москву. Представь себе, что мое письмо из Дилижана не дошло бы до тебя. Напр[имер], ты уехал из Сестрорецка раньше времени. И тогда из-за ненахождения адресата, почта его вернула бы в Дилижан. А из Дилижана я бы уже уехал. Тогда это письмо пришлось бы направить мне в Москву.

Поэтому я руководствуюсь следующим принципом: всегда на конверте пишу мой постоянный адрес[1].

28 июля мы вылетаем в Москву. Очень мне понравилась жизнь в Дилижане. Возможно, что в августе я побываю в Ленинграде. Тогда пришлю тебе депешу.

Будь здоров и счастлив.

Сердечный привет от Ирины и меня Вере Васильевне и всем твоим.

Д. Шостакович

[1] По всей вероятности, я спросил Шостаковича (из-за задержки его письма), почему он указывает на конверте свой московский адрес, находясь в Дилижане. На этот малозначащий вопрос последовал исполненный логики, обстоятельный ответ, что было свойственно Дмитрию Дмитриевичу, имевшему целый ряд своих житейских правил, коих он строго придерживался.

173

1.VIII.1963. Жуковка — 1 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

10-го августа мы с Ириной приедем на два дня в Ленинград. Очень хочу тебя повидать. Если будет у тебя возможность, перепиши расписание автобусов, идущих из Ленинграда в Сестрорецк, и пошли это расписание мне на московский адрес. Там же сообщи, что ты выйдешь нас встретить к автобусу, выходящему из Ленинграда тогда-то. Я хочу выехать из Ленинграда в Сестрорецк примерно в 12 часов, чтобы провести с тобой некоторое время и успеть вернуться в Ленинград, чтобы со «Стрелой» уехать в Москву.

Все это я проектирую проделать 11-го августа[1]. Если в письме ты укажешь, что выйдешь к такому-то автобусу, то мы этим

автобусом и приедем. Очень желательно, чтобы этот автобус выехал из Ленинграда, как я уже написал, в 12 часов или около этого времени[2].

Я получил пластинку Реквиема Бенджамина Бриттена. Я кручу ее и восхищаюсь гениальностью этого творения. Это на уровне «Песни о земле» Малера и ряда других великих созданий человечества[3]. Слушая Реквием Б. Бриттена как-то мне веселее, еще радостнее жить[4].

Твой Д. Шостакович

Если это письмо будет долго до тебя идти, то ответ свой отправь по адресу: Ленинград Д-88. До востребования. Даю такой адрес по той причине, что ни Маруси, ни Мити нет в Ленинграде.

Передай всем твоим сердечный привет, от Ирины тоже.

Д. Ш.

[1] «Проект» был успешно осуществлен. 11 августа 1963 года Шостакович вместе с Ириной Антоновной приехал ко мне в Сестрорецк. Я встретил дорогих гостей у автобусной остановки в точно назначенный час, и мы отправились ко мне на дачу, которую я снимал, как и в прошлом году.

За обедом говорили о драматической судьбе Тринадцатой симфонии, которая занимает чрезвычайно Дмитрия Дмитриевича. Затем он перешел к трагической судьбе Шумана. Восхищался гениальностью этого композитора и принялся мне объяснять, почему он соркестровал его Виолончельный концерт.

Дмитрий Дмитриевич сказал (текстуально): «Мне кажется, что Шуман инструментовал его в состоянии тяжелой депрессии и болезни, вот почему я позволил себе такую вольность».

[2] Свойственная Шостаковичу пунктуальность (в контрастном сочетании с рассеянностью) дает о себе знать в подробностях разработки маршрута из Ленинграда в Сестрорецк, куда в общем-то рукой подать. Как и в прошлом году, Дмитрий Дмитриевич не пожелал нанимать такси для поездки в Сестрорецк. Это было бы куда как просто.

[3] Любовь к Бенджамину Бриттену Шостакович сохранял до конца своих дней. Не случайно он посвятил ему свою Четырнадцатую симфонию — самое задушевное свое произведение.

[4] Слова «еще радостнее» наделены ироническим подтекстом.

174

27.VIII.1963. Жуковка — 27 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

6-го и 7-го сентября я буду в Ленинграде. Очень хочу тебя видеть. 6-го я буду занят с 12-ти до 14-ти, 7-го — тоже с 12-ти до 14-ти. Привезу с собой пластинку Реквиема Б. Бриттена. Очень хочу продемонстрировать тебе это произведение[1].

Может быть, у кого-нибудь из твоих знакомых есть проигрыватель. Тогда мы бы с тобой пошли бы туда и прокрутили. Длительность Реквиема полтора часа. Ответь мне, возможно ли это будет сделать.

Твой Д. Шостакович

[1] Шостаковичу хотелось, чтобы я непременно и как можно скорее послушал Военный реквием Бриттена и вместе с ним оценил это великое произведение. Через два с половиной года — 9 апреля 1966 года Дмитрий Дмитриевич преподнес мне с дарственной надписью пластинку английской выделки, на которой был превосходно записан Военный реквием.

175

1.IX.1963. Москва — 1 сентября

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за ответ. К сожалению, я не знаю адреса М. И. Вайман. Поэтому я очень прошу тебя передать ему мой сердечный привет, и попросить его предоставить возможность воспользоваться его проигрывателем и прокрутить Реквием[1]. Хорошо было бы это проделать 6.IX в 19 часов. Реквием длится 1 ч. 30 м. Обязательно будь свободен в это время.

Твой Д. Шостакович

Вчера первый раз в сезоне шла «Катерина Измайлова». Изрядно рассыпалась за лето[2].

Д. Ш.

[1] Имеется в виду замечательный ленинградский скрипач Михаил Израилевич Вайман, с которым я договорился о предоставлении Шостаковичу и мне проигрывателя у него на квартире. М. И. Вайман сказал мне, что он сочтет за большую честь оказать гостеприимство Дмитрию Дмитриевичу, чей Первый скрипичный концерт он играл и играет с неизъяснимым наслаждением.

[2] Имеется в виду спектакль в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

176

9.X.1963. Москва — 8 октября

Дорогой Исаак Давыдович!

По слухам, докатившимся до меня, опера Молчанова «Ромео, Джульетта и тьма» была в Ленинграде справедливо и вдохновляюще раскритикована «Ленинградской правдой»[1]. Я был бы тебе очень благодарен, если бы ты смог выслать мне статью «Лен.

правды», справедливо и вдохновляюще критикующую оперу Молчанова[2].

Прости меня за то, что я тебя беспокою. Но, как ты догадываешься, творчество Молчанова всегда меня очень интересовало и волновало.

Твой *Д. Шостакович*

[1] Премьера оперы К. В. Молчанова «Ромео, Джульетта и тьма» состоялась в Малом оперном театре 27 мая 1963 года (дирижер А. Найденов, режиссер Ю. Петров, художник Э. Штенберг).

9 июня 1963 года в «Ленинградской правде» была напечатана рецензия А. Владимирской на этот спектакль под красноречивым заголовком «Почему победила тьма?» Автор рецензии резко упрекала композитора и театр за пессимистическую и мрачную трактовку темы, за отсутствие в музыке мелодического начала.

[2] Ирония Шостаковича.

177

31.XII.1963. Жуковка — 31 декабря

Дорогой Исаак Давыдович!

Горячо поздравляю тебя и всю твою семью с Новым годом.

Пусть 1964 год принесет тебе, Вере Васильевне и всем твоим здоровье и счастливое существование. В ночь с 1-го на 2-е января мы с Ириной отбываем в город Загреб (Югославия), где 7.I состоится премьера «Катерины Измайловой».

Я не жду особенных творческих радостей от этой поездки[1]. Меня больше влечет любопытство.

Я никогда не бывал в Югославии. Очень интересно побывать в этой стране[2]. Вернемся мы 10-го января. Едем поездом, т. к. прямое сообщение с Белградом на самолете бывает раз в неделю.

Через четыре часа наступит Новый год. Я встречаю его лишь в своей семье. Возможно, что прибудут Г. Вишневская и М. Ростропович. Они наши дачные соседи.

Крепко жму руку.

Твой *Д. Шостакович*

[1] В зарубежных постановках «Катерины Измайловой», а их было множество, Шостаковича чаще всего не удовлетворяло режиссерское истолкование оперы.

[2] Шостакович проявлял интерес к личности руководителя Югославии Тито после того, как он начал подвергаться жесточайшим нападкам со стороны Сталина.

1964

В начале 1964 года (январь — февраль) Шостакович часто бывал в Ленинграде в связи с его работой над музыкой к фильму «Гамлет» в постановке Г. М. Козинцева.

Будучи консультантом и редактором этой картины, я вместе с Дмитрием Дмитриевичем дважды просматривал весь отснятый материал.

Шостакович, кстати говоря, несколько раз просил меня написать либретто на какую-нибудь пьесу (исключая «Отелло») Шекспира. Однажды он сказал мне (текстуально): «Я как-нибудь хочу побеседовать с тобой о Шекспире. Я им восхищаюсь, а с другой стороны, начинаю иногда смотреть на него глазами Льва Толстого». (Он, конечно, имел в виду парадоксальную толстовскую оценку Шекспира.)

В марте и апреле 1964 года Шостаковича серьезно занимала написанная им музыка к «Гамлету». Он спрашивал меня, стоит ли на ее основе сочинять поэму. 10 апреля 1964 года он звонил мне из Москвы с просьбой всячески ускорить запись на магнитофонную ленту музыки к «Гамлету».

Вскоре, однако, он потерял интерес к своей великолепной музыке к «Гамлету» и принялся писать Девятый квартет взамен уничтоженного. 28 мая квартет был завершен, о чем Дмитрий Дмитриевич известил меня, приехав в Ленинград 29 мая 1964 года.

178

16.VII.1964. Дилижан — 16 июля

Дорогой Исаак Давыдович!

Скоро время идет. Вот уже 10 дней мы живем в Дилижане, в этом прекрасном месте земного шара. Здесь все хорошо, включая самое главное — погоду.

29-го июля будем покидать это дивное место. Живем мы хорошо. Здоровы. Я написал две части еще одного квартета, десятого. Наверное, за время пребывания в Дилижане закончу его.

В каждом коттедже здесь есть магнитофон. Ежедневно, по два, три раза кручу «Курские песни» и поражаюсь их неслыханной красоте[1].

Возможно, что после Дилижана мы с Ириной поедем на озеро Балатон в Венгрию. Значит, мы не скоро увидимся. Очень я жалею, что не повстречались мы во время твоего столь короткого пребывания в Москве.

Передай от нас с Ириной всем твоим самые лучшие пожелания. Напиши мне, учтя время пребывания в пути авиаписьма. 29-го мы отсюда уезжаем в Москву.

Твой Д. Шостакович

Адрес: Армянская ССР. Дилижан. Дом композиторов. Мне.

[1] Имеется в виду кантата для хора и симфонического оркестра Г. В. Свиридова.

178-а

21.VII.1964. Дилижан — 21 июля

Дорогой Исаак Давыдович!

У меня слово не расходится с делом: вчера я закончил еще один квартет. Десятый. Посвящается М. С. Вайнбергу. Он написал девять квартетов, тем самым обогнав меня (у меня их было восемь).

Я поставил задачу догнать и перегнать Вайнберга, что и сделал[1].

Вчера по этому поводу, а также в связи со второй годовщиной окончания 13-й симфонии, мы кутнули[2].

Сейчас чувствую себя гадко, мерзко. Радуюсь, что у тебя все обстоит благополучно, и жизнь в Сестрорецке идет хорошо.

Мы вернемся в Москву 29-го июля.

Ирина и я шлем тебе и всем твоим самые лучшие пожелания.

Твой Д. Шостакович

[1] Шостакович чрезвычайно высоко ценил талант М. С. Вайнберга и без всякой задней мысли ставил его вровень с собой.

[2] Неостывающая любовь Шостаковича к Тринадцатой симфонии подогревалась тем, что она находилась в опале: ее не исполняли по указанию высоких инстанций.

179

15.IX.1964. Жуковка — 15 сентября

Дорогой Исаак Давыдович!

Вот и окончилось лето. Наступил сезон трудной жизни. Очень я без тебя скучаю. Может, приеду на два-три дня в Ленинград 20 сентября. Недавно я хворал. Чем-то отравился, потом простудился.

Однако, творческий понос продолжается[1]. Вчера я закончил большую симфоническую поэму вроде «Бабьего Яра» для баса, смешанного хора и оркестра. Называется она «Казнь Степана Разина». Поэт тот же — Е. Евтушенко. Длительность этого opus'a — 38 минут. Продолжения не будет, хотя сначала я и думал сделать что-то вроде 13-й симфонии. Поэзия Евтушенко меня привлекает, хотя и в «Казни Степана Разина» есть то, над чем охотно посмеется Николай Иванович Пейко[2].

Интересно следующее. Когда я сочинял 13-ю симфонию, я был абсолютно согласен почти с каждым словом поэта. В «Казни Степана Разина» имеется целый ряд стихов, которые вызывают мой протест (см. поэму), и я как бы полемизирую с этими стихами.

Есть в этой поэме и просто слабые стихи, которые я выкинул. Е. А. Евтушенко сейчас нет в Москве и поэтому я не имел с ним «творческого контакта»[3]. Все-таки я попрошу его кое-что переделать. Если он не согласится, а он не согласится, то останется так, как есть. Но пусть он знает, с чем я категорически не согласен[4]. Изучая поэму, учти мои знаки. Крест (+) означает, что с теми стихами, где он поставлен, я категорически не согласен. Ноль (0) означает, что эти стихи я выбросил (скупюровал). Черточка (-) поставлена перед стихами, которые вызовут чистосердечный смех Н. И. Пейко[5]. Вопросительный знак — будущие цензурные затруднения. Эти пометки я делал карандашом. Сотри их. Возможно, придется показывать слушателям. Пусть они следят по тексту, ничем не отвлекаясь.

Поэма написана мною в стиле рюсс. Для доброжелательной и суровой критики есть материал. Например, — часто я впадаю в грубый натурализм[6]. Натурально отображен зуд в ляжках срамных девок. Натурально изображены блохи, перескакивающие с армяков на шушуны, и т. д. Не говорю уже об общей порочной концепции. В общем почитай прилагаемую поэму[7].

Вот пока и все.

Будь здоров.

Твой Д. Шостакович

Всем твоим передай от нас сердечный привет.

Д. Ш.

[1] Шостакович, говоря о своих произведениях, часто нарочито снижал возвышенную лексику, связанную с его творчеством. Делал он это в духе пушкинского Моцарта.

Когда Сальери называет Моцарта богом, тот, снижая пафос своего поклонника, отвечает: «Но божество мое проголодалось». А Шостакович пишет о «творческом поносе»*.

[2] См. примечание 7 к письму 171 от 7 июля 1963 года.

[3] Шостакович берет в иронические кавычки расхожий штамп, которым он не пользовался.

[4] Шостаковичу резко не понравились такие, например, свирепые строки из поэмы Евтушенко:

Нет, не тем я, люди грешен,
Что бояр на башнях вешал —
Грешен я в глазах моих
Тем, что мало вешал их.

Но Евтушенко туго поддавался на уговоры Дмитрия Дмитриевича.

[5] См. примечание 7 к письму 171 от 7 июля 1963 года.

[6] Здесь Шостакович как бы надевал маску шаблонного музыкаль-

---

* Впрочем, сам Пушкин пользовался нарочито сниженными, грубоватыми выражениями, говоря о своих сочинениях. 3 сентября 1831 года он писал П. А. Вяземскому: «На днях испразнился сказкой в тысячу стихов».

ного критика своего времени, у которого всегда были в запасе готовые ярлыки: «натурализм», «формализм» и прочие «измы».

[7] Дмитрию Дмитриевичу очень хотелось как можно скорее узнать мое мнение о «Казни Степана Разина».

20 сентября 1964 года, приехав в Ленинград, он тотчас же позвонил мне и пригласил на квартиру сестры — Марии Дмитриевны, чтобы показать поэму и затем пообедать. Вместе со мною присутствовал композитор В. Е. Баснер. Я сидел у рояля и перелистывал ноты. Когда Дмитрий Дмитриевич играл, он в некоторых местах плакал. Обильные слезы текли из его глаз. Я невольно вспомнил Чайковского, плакавшего над участью созданного им Германа. Складывалось впечатление, что Шостакович слушал не свою, а чужую, чрезвычайно взволновавшую его музыку. Поэма поразила меня своей мощью, яркостью, красотой. В ней, как мне показалось, изумительно воссоздан музыкой и словом пестрый, подвижный, многоликий фон Москвы, на котором к своему смертному часу движется Степан Разин. Судьба героя глубоко драматична и очень трогательна.

Теме Разина противостоят темы Толпы и Власти. В этом столкновении заключен внутренний и внешний конфликт всей вещи в целом, в этом ее современность. Причем замечательна роль Толпы. Поначалу она, ликуя, рвется на площадь, чтобы развлечься на казни Степана Разина, но впоследствии происходит потрясающий перелом в ее настроении: она духовно прозревает...

В конце письма — пробел. Несколько строк вырезано.

180

24.IX.1964. Жуковка 24 сентября

Дорогой Исаак Давыдович!

Продолжаю писать красным цветом. Кончилась черная ручка, а запаса нет. Спасибо за письмо и за очень справедливые слова по адресу Евтушенко[1]. Я высоко ценю этого поэта.

Меня привлекает этическое начало в его поэзии. А дыры в мозгу рано или поздно заштопаются[2]. Я думаю, что отрицателей поэзии Евтушенко не легион, а гораздо меньше. Среди них есть отрицатели с эстетических позиций. «Дескать, что это за рифма!» К сожалению, такие отрицатели начисто не воспринимают этическое начало поэзии, и не только у Евтушенко, а у многих других поэтов. И среди них есть много культурных, образованных людей.

Помню, как способный и культурный А. И. Канкарович[3] остроумно высмеял стихи Гмырева, Радина, Тарасова, Коца, на которые я написал свои хоровые поэмы. Делал он это с блеском[4]. Помню, как многие культурные и интеллигентные [люди] говорили мне, что их удивляет ужасное либретто «Леди Макбет»[5].

Явление это очень сложное. Качество рифмы, количество модуляций весьма сложно определить. Так, напр[имер], мне больше нравится рифма «страшны» — «зрачки» (Евтушенко), нежели

...делать жизнь с кого?
С Дзержинского.

(Маяковский. Стихи о Дзержинском)[1]

В былые, очень далекие времена, музыке отводилась исключительно развлекательная миссия. Такого рода явление в общем имеет полное право на существование. ⟨...⟩

«Музыку приятно слушать», «на картину приятно смотреть, повесть приятно читать». А за этой приятностью стоит обыватель, невежда, пошляк. ⟨...⟩

В общем, дело сейчас обстоит плохо.

Вообще, когда завтра исполняется 58 лет, возникают разного рода мысли.

А все-таки Евтушенко настоящий, большой поэт[6]. А дырки в мозгу заштопаются.

26.IX уезжаю на неделю в Уфу. «Казнь Степана Разина» отдал в переписку. После Уфы приеду в Ленинград, заниматься с аспирантами. Трое из них (Белов, Окунев, Мнацаканян) кончают аспирантуру и 17.X должны сдавать экзамен.

Твой *Д. Шостакович*

[1] После прослушания «Казни Степана Разина», состоявшегося 20 сентября в Ленинграде, я написал подробное письмо Дмитрию Дмитриевичу, в котором высказал свое мнение об этой великолепной поэме, о ее музыке и тексте.

[2] Имеются в виду неожиданные повороты мысли, идущие вразрез со взглядами Евтушенко, высказываемыми им в его лучших поэтических произведениях. Такие идейные зигзаги снискали ему в некоторых кругах репутацию конъюнктурщика и конформиста, каким он, по убеждению Шостаковича, по сути своей не был.

[3] Анатолий Исаакович Канкарович (1885—1956) — композитор, дирижер, музыкальный критик.

[4] Шостакович часто с негодованием говорил мне о литературном чистоплюйстве, о людях холодных, чопорных, безразличных к содержанию и идее того или иного произведения. Таким чистоплюем выглядел в глазах Дмитрия Дмитриевича А. И. Канкарович, совершенно не понявший глубокого драматического смысла Десяти хоровых поэм a cappella, написанных кровью сердца в 1951 году, в период жестоких сталинских репрессий, поэм, обличающих насильников не только прошлого, но и настоящего.

Шесть из десяти поэм насыщены аллюзиями, перекличками с современностью, но чистоплюю А. И. Канкаровичу до этого не было никакого дела.

[5] Шостаковича раздражали и злили литературные чистоплюи, с насмешкой отзывавшиеся о либретто его великой оперы, не осознавшие художественной силы замечательного рассказа Н. С. Лескова.

[6] Шостакович упорно и последовательно защищал Е. А. Евтушенко от нападок ненавистных ему литературных чистоплюев. Само собой разумеется, что ему были очень дороги и поэты других направлений и стилей. Он тончайшим образом постигал и воплощал в своей музыке стихи Александра Блока, Марины Цветаевой, Гийома Аполлинера,

Райнера Марии Рильке, Роберта Бернса, не говоря уже о Пушкине и Шекспире.

181

13.XII.1964. Москва 13 декабря

Дорогой Исаак Давыдович!

Очень советую тебе прочесть небольшую повесть Ю. Нагибина «Далеко от войны». Очень эта повесть произвела на меня сильное впечатление. Если в Ленинграде ты ее не найдешь, то я привезу ее с собой[1]. Издана эта повесть издательством «Советская Россия». Возможно, что имеется в продаже.

22-го начинаются репетиции «Степана Разина». 28-го назначен концерт[2].

Д. Шостакович

[1] Шостакович, следивший за литературными новинками, обратил внимание на талантливую повесть Юрия Нагибина и по своему обыкновению захотел, чтобы я с нею непременно познакомился.

[2] Дмитрий Дмитриевич пригласил мою жену Веру Васильевну и меня на премьеру «Казни Степана Разина». 27 декабря мы уехали в Москву, а утром 28 декабря я отправился вместе с Дмитрием Дмитриевичем на генеральную репетицию, на которой произошло чрезвычайное происшествие. Вельможный солист Большого театра Иван Иванович Петров, репетировавший партию Степана Разина, без предупреждения на генеральную репетицию не явился. Предусмотрительный певец сообразил, что поэма Шостаковича вряд ли встретит одобрение начальства, оскорбил Дмитрия Дмитриевича и дирижера К. П. Кондрашина.

Петрова срочно заменил Громадский, и концерт состоялся, но утро 28 декабря было наполнено волнениями и тревогой, которые вызвал недостойным своим поведением певец Петров.

Поэма имела грандиозный успех. После первой волны оваций, окатившей Шостаковича, хлынула вторая волна, вынесшая на своем гребне Евтушенко.

Московские газеты не откликнулись ни одной строкой на премьеру «Казни Степана Разина». Предчувствие И. И. Петрова оправдалось. Тем не менее 5 января 1965 года поэма исполнялась во второй раз.

1965

182

27.I.1965. Москва 27 января

Дорогой Исаак Давыдович!

Вчера я вышел из больницы, где провел 21 день.

Получил твое письмо. Очень меня огорчает болезнь Веры Васильевны. Надеюсь, что она скоро поправится, и все у вас

пойдет хорошо. Нет ничего хуже болезни. В больнице я провел время очень скучно. В Москве грипп и поэтому посетителей не пускали. По телефону можно было звонить лишь с 16 до 21 часа. Больных много, телефон один. Спасибо тебе за известие об А. Прокофьеве. Узнал я о его временных неудачах из твоего письма. Я не оговорился: я думаю, что то, что с ним произошло — временная неудача. Истина восторжествует[1].

Я мало знаю, вернее совсем не знаю, кто такой Дудин[2], и узнать не у кого. Я сразу из больницы приехал на дачу. Здесь меня не навещают. Сам не хочу ехать в Москву. После больницы у меня весьма сильный упадок энергии. Ничего не хочется делать. А впереди работа над музыкой к кинофильму «Карл Маркс»[3].

Видимо, 31-го января я поеду с Ириной в Вену, где 12-го февраля состоится премьера «Катерины Измайловой». Ехать не хочется.

В Белоруссии была декада русского искусства. В Минске и Гомеле исполнялась «Казнь Степана Разина». Выезжал туда оркестр во главе с Кондрашиным, хор во главе с Юрловым. Солистом был Громадский. 5.I «Степан» исполнялся во второй раз в Москве. А 24-го в Горьком (дирижер И. Гусман). В Ленинграде намечено исполнение на 27 марта. Кондрашин поедет гастролировать.

«Братскую ГЭС» Евтушенко сняли из первого номера журнала «Юность»[4]. Поэт в истерическом состоянии сейчас пребывает[5].

Вот так идет жизнь.

Передай привет и лучшие пожелания Вере Васильевне.

Твой *Д. Шостакович*

[1] Поэт Александр Андреевич Прокофьев в течение многих лет занимал пост первого секретаря Ленинградской писательской организации, но в январе 1965 года на перевыборах его забаллотировали. Маститый поэт, привыкший к почету, очень болезненно переживал этот вотум недоверия своих коллег.

Шостаковичу нравились стихи раннего Прокофьева, отмеченные свежестью интонаций и красок. Он сочувствовал ему, когда на него обрушился сумасбродный гнев Сталина за перевод с украинского языка «зловредного стихотворения» Владимира Сосюры «Люби Украину».

Впоследствии произошла резкая перемена в отношении к А. А. Прокофьеву. Дмитрий Дмитриевич был возмущен его бестактным поведением на похоронах М. М. Зощенко, его оскорбительной речью, обращенной к покойному писателю — жертве сталинского произвола.

Следовательно, слова Шостаковича «истина восторжествует» таят в себе скрытую иронию.

[2] Михаил Александрович Дудин (р. 1916) — поэт, занявший после А. А. Прокофьева пост первого секретаря Ленинградской писательской организации.

[3] Работу над музыкой к фильму Шостакович завершил в июне 1965 года.

[4] Поэма «Братская ГЭС», откуда взята глава «Казнь Степана Разина», была запрещена и изъята из январьского номера журнала «Юность». Шостаковича глубоко опечалило то обстоятельство, что через двенадцать лет после смерти Сталина его традиции продолжали то и дело проявлять себя в литературной практике.

[5] Правда, пять месяцев спустя «Братская ГЭС» была «реабилитирована» и опубликована в майском номере «Юности». Дмитрий Дмитриевич был обрадован и прислал мне этот журнал.

183

23.IV.1965. Жуковка — 23 апреля

Дорогой Исаак Давыдович!

Болезнь приковала меня к даче. Я никуда не хожу и стараюсь побольше гулять. В жизни все приходит к концу. Видимо, я кончаюсь, как композитор[1]. Никак не могу написать музыку к кинофильму «Карл Маркс». Рошаль[2] неистовствует. Пишу же я тебе вот по какому поводу. В четвертом номере журнала «Советская музыка» напечатана безусловно очень хорошая статья С. Слонимского[3] о «Казни Степана Разина». Если тебе попадется этот журнал, прочти эту статью.

В четвертом номере журнала «Октябрь» есть статья А. Дремова, которая называется «Начало положено. А дальше?..» В этой статье подвергается вдохновляющей критике творчество Е. Евтушенко, в особенности его спекулятивное стихотворение «Бабий Яр». Почитай и расширь свой кругозор[4].

Передай сердечный привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] Шостакович в очередной раз жаловался на полный упадок творческих сил, на кризис, который ему казался не только реальным, но и необратимым. Такое гнетущее его ощущение, как было мною указано в примечаниях к другим письмам, он испытывал неоднократно.

[2] Григорий Львович Рошаль (1899—1983) — кинорежиссер, постановщик фильма «Карл Маркс».

[3] Сергей Михайлович Слонимский (р. 1932) — композитор и музыковед.

[4] Шостакович с негодованием читал злокозненные статьи, направленные против поэта Евтушенко. Его особенно возмутило, что заушательской критике подверглось замечательное стихотворение «Бабий Яр», на которое он написал музыку.

184

19.VI.1965. Москва — 19 июня

Дорогой Исаак Давыдович!

Прости, что пишу на такой бумаге. Другой нет под рукой. А. И. Хачатурян уже делился со мной своими впечатлениями

о сценарии. Он высоко его оценивает[1]. Правда, он считает, что недостаточно внимания уделено Историческому Постановлению об опере «Великая дружба». Он хочет внести в сценарий такого рода кадры: Историческое Постановление выходит и действует[2], а композитор в это время сочиняет Скрипичный концерт и «Еврейские песни»[3]. Это соответствует исторической правде[4]. Он хотел тебе об этом написать[5]. С Чулаки мне пока не удалось побеседовать, и его мнение о сценарии мне неизвестно.

Как будто бы я закончил свою очень тяжелую работу над музыкой к «Карлу Марксу». 21.VI будет последняя запись. Лавровых листов в мой венок эта работа вплетет чрезвычайно мало.

Какие у тебя планы на лето? Мы с Ириной в конце июля поедем в Беловежскую пущу.

Передай самый сердечный привет всем твоим.

Крепко жму руку.

Твой Д. Шостакович

[1] Имеется в виду киносценарий «Дмитрий Шостакович», написанный мною в сотрудничестве с композитором Александром Абрамовичем Черновым и сценаристом Юрием Алексеевичем Непомнящим для «Леннаучфильма» к шестидесятилетию Дмитрия Дмитриевича. Киностудия отправила сценарий для отзыва Араму Ильичу Хачатуряну и композитору Михаилу Ивановичу Чулаки.

[2] Постановление ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 года об опере «Великая дружба» Мурадели.

[3] Пожелание А. И. Хачатуряна соответствовало моим намерениям, и в сценарии также наличествовали драматические эпизоды, связанные с печально известной статьей «Сумбур вместо музыки», но Госкино РСФСР, в ведении которого находился «Леннаучфильм», потребовало изъятия всего материала, омрачавшего жизнь Шостаковича. То было время (при Л. И. Брежневе), когда запрещались любые упоминания о сталинском произволе в сфере искусства и литературы (впрочем, не только в этой сфере!). Я категорически отверг требования Госкино РСФСР и отказался от фальшивого изображения творческой жизни Шостаковича в плане идиллии. Вследствие этого фильм поставлен не был.

[4] Дмитрий Дмитриевич был заинтересован исторической правдой. Конечно, он мог гордиться тем, что не подчинился диктату постановления с его нелепыми указаниями, как сочинять музыку. Он шел своей дорогой и писал так, как властно требовали его душа и интеллект.

[5] Такое письмо А. И. Хачатуряна мною было получено.

185

3 июля 1965. [Репино] 3 июля

Дорогой Исаак Давыдович!

Я приехал в Дом композиторов в Репино, где пробуду до 12-го июля. Было бы хорошо, если бы мы смогли встретиться.

Д. Шостакович

186

6.VII.1965. Репино — 6 июля

Дорогой Исаак Давыдович!

Получил твою весточку[1]. Буду очень рад, если в воскресенье приедешь в Репино.

Приезжай к обеду, который происходит в 2 часа.

Обязательно приезжай.

Д. Шостакович

В понедельник я уже уеду.

Д. Ш.

[1] Хотя я жил летом в Сестрорецке, примерно в десяти километрах от Репино, но мы по укоренившейся у Шостаковича привычке вели переписку.

187

3.VIII.1965. Каменюки — 3 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

Не сумел я с тобой повидаться перед отъездом.

Прибыли мы с Ириной в Беловежскую пущу. Видели зубров, кабанов, оленей[1]. Все это интересно, однако здесь плохая погода и большей частью приходится сидеть дома, т. к. без перерыва льет сильный дождь.

Однако, здесь очень красиво.

Пробудем здесь мы до 14-го августа. Если пришлешь весточку, буду очень рад. Адрес такой:

Брестская область. Каменецкий район. Почтовое отделение Каменюки. Гостиница. Мне.

Ирина и я шлем тебе и всем твоим самые лучшие пожелания.

Д. Шостакович

[1] Шостакович любил собак, но любил сдержанно, без сюсюканья и сентиментов; восторгался красотой лошадей, но для меня было полной неожиданностью его желание полюбоваться зубрами и кабанами.

188

16.VIII.1965. Москва — 16 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

Твое письмо я получил. От Беловежской Пущи я в большом восторге[1]. Очень хочу, чтобы и ты там побывал. Видел я зубров. Это очень внушительно и даже страшно. Очень приятно иметь дело с непуганными оленями, таранами (вид лошади), кабанами и др.

Жду с волнением наступления будущего сезона. 20 сентября будет исполнена моя 13-я симфония, что явилось для меня приятной неожиданностью[2]. Громадский освежает в памяти свою партию, Юрлов уже репетирует с хором. Машина запущена. Кондрашин тоже готовится.

Вот пока и все новости.

Крепко жму руку.

Твой Д. Шостакович

Может быть, в 20-х числах приеду в Ленинград.

[1] Дмитрий Дмитриевич до конца своих дней сохранял способность восторгаться открытиями, которые он для себя делал не только в искусстве, но в мире природы с ее тайнами и чудесами, тому свидетельство впечатления от Беловежской пущи.

[2] Тринадцатая симфония находилась в течение долгого времени под неофициальным запретом, и предстоящее ее возвращение на филармоническую эстраду обрадовало и взволновало автора. В период запрета Тринадцатой он в беседах со мной считал ее одним из лучших своих сочинений. Это вовсе не значит, что он всегда так думал. Дмитрий Дмитриевич не менял своих убеждений, но менял мнения о своих произведениях. Тринадцатая ему была по-особому дорога, когда ее преследовали. 21 июля 1965 года Шостакович попросил меня приехать в Репино, чтобы отметить трехлетие со дня окончания Тринадцатой симфонии. Это событие было обставлено весьма торжественно. В коттедже были зажжены 13 свечей. Мы вспоминали историю создания Тринадцатой и выпили за ее жизнь на эстраде.

Дмитрий Дмитриевич уважал и любил обряды. 20 сентября 1965 года Тринадцатая, как это было намечено, исполнялась в Москве в Большом зале консерватории. По приглашению Шостаковича я поехал на концерт, имевший грандиозный успех. Симфония, словно живое существо, еще больше возмужала и похорошела.

189

4.IX.1965. Москва 4 сентября

Дорогой Исаак Давыдович!

В журнале «Крокодил» № 24(1782) от 30 августа 1965 года напечатаны некоторые забавные мелочи.

Из них я выбрал пять и положил их на музыку для баса в сопровождении рояля[1].

Возможно, что ты не выписываешь «Крокодил», и поэтому я перепечатал эти тексты и посылаю их тебе[2].

Для каждого из них я придумал названия. Первые три взяты из раздела «Нарочно не придумаешь», последние две из раздела «Листая страницы». По поводу четвертого номера («Иринка и пастух») у нас в семье произошел конфликт. Ирина Антоновна просит заменить Иринку Маринкой или Анюткой; а то, как она говорит, общественность подумает, что это я про нее написал. Хотя это и не про нее, я, в крайнем случае, готов

на соответствующую замену, тем более, что принципиального значения эта замена не будет иметь.

В музыкальном языке этого opus'a использованы народное творчество (русская народная песня «Во саду ли, в огороде») и классическое наследие (опера Чайковского «Пиковая дама»). Кроме того, использовано «Dies irae». Сочиняя эти романсы, я пользовался методом социалистического реализма[3].

Предстоит трудное начало сезона.

Поездка в Киев, Ленинград, 13-я симфония 20-го сентября.

Вот, пока все.

Ты уже наверное вернулся в Ленинград. В Москве сейчас ливневые дожди и сильные грозы. «Люблю грозу в начале сентября».

Всем твоим горячий сердечный привет. Ирина также шлет тебе самые лучшие пожелания и надеется, что ты уговоришь меня заменить Иринку на Маринку или Анютку.

Твой Д. *Шостакович*

Очень хочется мне познакомить тебя с моим новым opus'ом[4].

Д. Ш.

[1] Вслед за драматической поэмой «Казнь Степана Разина» Шостакович испытывал потребность высказаться в совершенно контрастном юмористическом жанре. Так было и весной 1942 года, когда после грандиозной Седьмой симфонии он принялся сочинять комическую оперу «Игроки» по пьесе Н. В. Гоголя.

Пять романсов на тексты из «Крокодила» Дмитрий Дмитриевич написал в веселом расположении духа, что называется, в один присест: 30 августа 1965 года он читал журнал, а 2 или 3 сентября романсы были написаны. Шостакович обладал феноменальным умением по-особому читать неприметные для других тексты, высекать из них искру и обнаруживать потенцию для сочинения музыки. Так, например, он открыл стихотворения Саши Черного или стихи капитана Лебядкина из «Бесов» Достоевского и создал замечательные музыкальные памфлеты.

[2] Шостакович прислал мне тексты на пяти отдельных листках и заботливо исправил сделанные им опечатки.

[3] Шутливая формула Шостаковича.

[4] Это желание было вскоре осуществлено: 16 сентября 1965 года Дмитрий Дмитриевич, приехавший в Ленинград, показал мне романсы. Меня ужасно рассмешили эти чудные пьески, искрящиеся блестящим юмором и пародией. Шостакович создал колоритнейшие музыкальные зарисовки комических фигур, чья декламационная мелодика тесно связана с интонациями живой человеческой речи.

190

10.IX.1965. Жуковка — 10 сентября

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за письмо. Ирина благодарит тебя за твою соли-

дарность с ней в споре об Иринке[1]. Я продолжаю упорствовать. Если Иринку заменить на Маринку, то сможет обидеться музыковед Марина Сабинина. Если заменить Иринку Анюткой, то сможет обидеться Анна Караваева[2]. Стоя на таких позициях, можно необоснованно обижаться, напр[имер] всем коллежским регистраторам или шоферам, о чем уже писали тов. тов. Гоголь и Румянцев[3]. Завтра мы уезжаем в Киев. 15-го прилетим в Ленинград. Была уже репетиция 13-й симфонии. Пока играл только оркестр. Помнят хорошо, и я знаю, что 20-го ее сыграют хорошо. Сегодня заболел Кондрашин: он лишился голоса и поэтому ведет репетиции шепотом. Это не серьезно, и завтра или послезавтра голос к нему вернется.

Дай бог, чтобы не заболел Громадский. Как мне говорил А. А. Юрлов, хор тоже помнит хорошо свою партию.

В общем, поживем — увидим.

Волнений у меня много. Почему-то пока без энтузиазма отношусь к экранизации «Катерины Измайловой»[4]. Волнуюсь также и за Максима с 10-й симфонией[5].

Живу на даче. Мария Дмитриевна[6] уехала в санаторий лечить свои трудные болезни. Заедает быт. У маленького Мити (Максимова сына) нет няньки и его, как футбольный мяч, кидают то к бабке, то к прабабке в Вышний Волочок. В детский сад устроить его оказалось очень трудно. Очень хочу с тобой увидеться.

Твой *Д. Шостакович*

[1] См. письмо 189 от 4 сентября 1965 года.

[2] Анна Александровна Караваева (1893—1979) — писательница.

[3] Фамилия Румянцева и то, что он писал, мною не выяснены.

[4] Предстоящие съемки «Катерины Измайловой» внушали Шостаковичу глухую тревогу. 15 октября 1964 года мы с ним присутствовали на заседании художественного совета 3-го объединения «Ленфильма», на котором обсуждался сценарий фильма-оперы «Катерина Измайлова». Кинорежиссер М. Г. Шапиро и я, в качестве консультанта и редактора картины, оказывали Дмитрию Дмитриевичу содействие в сценарной разработке оперы (в титрах он значился автором сценария). Картина, в которой Галина Вишневская исполняла (пела и играла) заглавную роль, была завершена в сентябре 1966 года и по общему мнению получилась интересной, яркой, и она понравилась Шостаковичу.

[5] Максиму Шостаковичу предстояло впервые дирижировать Десятой симфонией. Отцовские чувства никогда не мешали Дмитрию Дмитриевичу со строгой объективностью относиться к профессиональным и художественным данным сына.

191

24.IX.1965. Москва 24 сентября

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо тебе за письмо и за газетную вырезку. Пусть тебя не терзает стыд[1].

Все было очень хорошо и симпатично.

Передай сердечный привет Вере Васильевне. Надеюсь, что скоро увидимся в Ленинграде.

Твой Д. Шостакович

[1] Имеется в виду маленький прием, устроенный мною в честь Дмитрия Дмитриевича, и я счел его неудачным.

192

26.XI.1965. Москва — 26 ноября

Дорогой Исаак Давыдович!

Ужасно огорчен тем, что с Ольгой Пантелеймоновной такое ужасное несчастье[1]. Буду хлопотать, чтобы Музфонд помог ей. Хотя помощь разовая, нерегулярная вряд ли сможет решить вопрос о ее материальном положении.

Крепко жму руку.

Д. Шостакович

С твоей оценкой романа «Тля» я согласен[2]. *Д. Ш.*

[1] Вдова Ивана Ивановича Соллертинского повредила позвоночник в результате падения и лишилась возможности продолжать свою работу в качестве пианистки.

[2] Имеется в виду наделавший много шума бульварный, шовинистический роман Ивана Шевцова.

1966

193

16.II.1966. Жуковка — 16 февраля

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо тебе за письмо, за твои суждения о «Казни Степана Разина». Все, что ты пишешь об этом opus'e, мною было так и задумано[1].

Не совсем так я представлял себе то место, где лихо играют дудочники[2], специально приглашенные на это мероприятие. Я думал, что народ на площади не заплясал, согласно данному ему указанию («Что, народ, стоишь, не празднуя? Шапки в небо и пляши»). Заплясали лишь артисты Ансамбля песни и пляски того времени[3]. Народ же застыл в ужасе.

Видимо, это у меня не получилось, раз тебе показалось, что народ заплясал, а уж потом ужаснулся[4].

Я собираюсь поехать дней на десять в Репино. Эта поездка, вероятно, не пройдет мне даром. 19-го февраля откроется Пленум Правления Союза советских композиторов СССР, на

котором прозвучат яркие новые произведения многих композиторов[5].

Я обещал на этом Пленуме присутствовать, но сил на это у меня нет. Кроме того, я начал сочинять 14-ю симфонию. Может быть, в Репине мне это будет делать легче, чем в Москве. И за отъезд с Пленума мне попадет, наверное, очень сильно.

Было бы здорово, если бы ты навестил меня в Репине, где я буду находиться с 19-го февраля.

Только обязательно созвонись. А то вдруг я уеду в город или в Москву, или совсем не приеду.

Передай сердечный привет Вере Васильевне.

Твой *Д. Шостакович*

[1] Работа над вокально-симфонической поэмой на стихи Евгения Евтушенко для баса, смешанного хора и оркестра была завершена 14 сентября 1964 года (см. письмо 179 от 15 сентября 1964 года).

[2] Тему «дудочников» замечательно озвучивают гобои, кларнеты, флейты, бубен.

[3] В этом шутливом названий дудочников дается проекция на нашу современность.

[4] У Шостаковича, одолеваемого чрезмерной скромностью, все «получилось» наилучшим образом. Он прекрасно воплотил свою идею. Недоразумение возникло, по-видимому, от того, что я в своем письме недостаточно ясно изложил свою мысль. Я имел в виду начало поэмы, в котором с огромным размахом выражен глум толпы («Нынче праздник! Стеньку Разина везут!»).

[5] Формула ложной похвалы, которой нередко пользовался Дмитрий Дмитриевич. Он, вероятно, не без оснований предполагал, что на пленуме будет исполняться немалое количество слабых или посредственных сочинений, и слушать таковые ему было бы очень трудно, в особенности в те дни, когда его голова и сердце были поглощены трагедийной Четырнадцатой симфонией, которой он придавал очень большое значение. Об этом мы узнаём в одном из писем ко мне после завершения этого замечательного произведения.

194

20.III.1966. Жуковка — 20 марта

Дорогой Исаак Давыдович!

Все мы тебя горячо поздравляем с новосельем[1]. Временные неполадки исчезнут. Будет тепло, светло. На газе Вера Васильевна когда-нибудь приготовит нечто волшебное, достойное ее кулинарного гения. Наконец, возможность ходить без очереди в уборную или ванную — это великое счастье[2]. В общем, я тебя поздравляю. Очень хочу скорее приехать в Ленинград и посмотреть твое жилище.

Только что в своей адресной книжке зачеркнул твой старый адрес и записал новый. В адресной книжке, которая служит

мне с 1944 года, имеется много твоих адресов: Ташкент, Ульяновская ул. 18; Ленинград, Ломанский пер. 2, кв. 57; ул. Дзержинского, 63, кв. 2; Ленинград, Московский пр. 6, кв. 3. И с каждым этим адресом у меня (и, наверное, у тебя) связано много воспоминаний[3].

Сам я, по возвращении в Москву, захворал. Скакнуло кровяное давление и ослабела сердечная деятельность. Я уже стал инвалидом 7-й степени. Наверное, скоро стану инвалидом 1-й степени люкс[4]. Тем не менее, не унываю. Сочинил «Предисловие к полному собранию моих сочинений и краткое размышление по поводу этого предисловия». Слова и музыка мои. Текст этого opus'a см. на обороте[5].

Мараю я единым духом
лист.
Внимаю я привычным ухом
свист.
Потом всему терзаю свету
слух.
Потом печатаюсь и в Лету
бух!

Такое предисловие можно было написать не только к полному собранию моих сочинений, но и к полному собранию сочинений многих, очень многих композиторов, как советских, так и зарубежных. А вот и подпись: Дмитрий Шостакович. Народный артист СССР. Очень много и других почетных званий. Первый секретарь Союза композиторов РСФСР, просто секретарь Союза композиторов СССР, а также очень много других весьма ответственных нагрузок и должностей.

Ознакомлением тебя с текстом моего нового произведения я заканчиваю письмо.

Я сочинил еще 11-й квартет, о чем тебя и извещаю.

Сейчас пишу 2-й концерт для виолончели с оркестром.

Заканчиваю первую часть.

Не грусти.

Твой *Д. Шостакович*

[1] 13 марта 1966 года я переехал в дом № 44 на Большой Пушкарской. По загадочному стечению обстоятельств, дом этот расположен наискосок к дому № 37 по той же улице, в коем находилась последняя ленинградская квартира Шостаковича, та самая квартира, в которой Дмитрий Дмитриевич в августе 1941 года сыграл мне вступление к Седьмой симфонии и тему нашествия. Я счел это перстом судьбы.

Впоследствии, проходя бесчисленное количество раз мимо осиротевшего для меня дома, я всегда испытываю чувство грусти. Мне он кажется сумрачным, нахмуренным, угрюмым, словно затаившим какую-то думу о своем чудесном обитателе, покинувшем его навсегда. Говорю я это не ради красного словца, а с абсолютной искренностью выражаю свои ощущения, которые могут иным моим

читателям показаться неправдоподобными, но я не стану с ними спорить.

[2] До новоселья, о котором идет речь, моя жена и я жили в коммунальной квартире. И Дмитрий Дмитриевич по доброте душевной радовался больше, нежели я, моему переезду. Нечто подобное происходило с ним, когда в довоенные годы Иван Иванович Соллертинский обрел отдельную квартиру.

[3] Дмитрий Дмитриевич, перечисляя мои различные адреса, явно испытывал волнение от нахлынувших на него воспоминаний о прошедших годах, наполненных множеством драматических, а порой и радостных событий, которые мы вместе переживали, но он, по своему обыкновению, не давал волю эмоциям, а ограничился лаконичной фразой.

[4] Шостакович в шутливом тоне говорит о своих, отнюдь не шуточных физических недомоганиях, потому что в те дни он оседлал Пегаса, и забил источник ключом творческого вдохновения: создавались произведения различных стилей и жанров (они названы в письме), и боли утихомирились. Таким был этот великий художник.

[5] Текст представляет собой парафразу на эпиграмму Пушкина «История стихотворца». Шостакович, надевая на себя маску злополучного поэта, написал чрезвычайно оригинальную по замыслу и выполнению уморительно-смешную музыкальную юмореску в духе романтической иронии, когда автор смотрит на себя со стороны, охваченный чувством самокритики. По словам Фридриха Шлегеля — теоретика немецкого романтизма, — романтическая ирония утверждает принцип самопародирования. Замечательна длиннющая подпись к полному собранию сочинений, в которой Шостакович с комической важностью перечисляет свои почетные звания, посты и должности.

194-а

30.III.1966. Москва — 30 марта

Дорогой
Исаак Давыдович!

Я радуюсь, что у тебя теперь имеется ключ от почтового ящика, и что корреспонденция теперь будет до тебя доходить во-время. Хочется скорее получить от тебя другие приятные известия о твоем новоселье: включен газ, беспрерывно горит свет, поставлен телефон и т. п.[1].

Д. Шостакович

[1] Меня трогала озабоченность добрейшего Дмитрия Дмитриевича о моем благоустройстве в новой квартире.

195

5.IV.1966. Москва — 5 апреля

Дорогой Исаак Давыдович!

9-го и 10-го апреля я буду в Ленинграде. Очень хочу к тебе зайти и посмотреть твое новое жилище[1].

Позвони к Марусе и назначь время. Занят я буду 9-го от 12 до 15.

Д. Шостакович

Только что выяснилось, что 10-го мне необходимо быть в Москве. Поэтому в Ленинграде я буду лишь один день 9-го апреля. *Д. Ш.*

[1] Шостакович вместе с Ириной Антоновной приехал ко мне, как было условлено, 9 апреля в 4 часа. Он привез подарки к новоселью: большой радиоприемник с радиолой и проигрывателем, а также пластинки с его Первой, Пятой, Восьмой, Девятой симфониями, сюиту из музыки к кинофильму «Гамлет» и Военный реквием Бриттена, снабженные дарственными надписями.

Таков был его выбор из множества имеющихся у него пластинок. Дмитрий Дмитриевич был в хорошем, приподнятом настроении. Ему все понравилось в нашей более чем скромной квартире. Перед тем как сесть за обеденный стол, он неожиданно попросил у Веры Васильевны гвоздь и молоточек, вытащил из кармана десятирублевый банкнот и приколотил его к стене. «Это для того, — сказал он, улыбаясь, — чтобы у вас всегда водились деньги». Дмитрий Дмитриевич с уважением относился к обрядам, преданиям, приметам, хотя и не был суеверен, как Пушкин. За обедом он рассказывал, что сочинил три части Второго виолончельного концерта, но третья часть, по его словам, ему показалась «очень плохой», и он решил написать ее заново.

196

19.IV.1966. Москва 19 апреля

Дорогой Исаак Давыдович!

Сегодня мы уезжаем в Крым.

Вернемся 15 мая. Если вдруг я понадоблюсь, то мой адрес такой: Крым. Ялта. Объединенный санаторий Нижняя Ореанда. Мне.

Твой *Д. Шостакович*

197

27.IV.1966. Нижняя Ореанда 27 апреля

Дорогой Исаак Давыдович!

У меня вошло в привычку извещать тебя о моих новых opus'ax.

Только что я закончил 2-й концерт для виолончели с оркестром[1]. Т. к. в этом произведении нету литературного текста и программы, то затрудняюсь хоть что-либо написать об этом opus'е.

По размерам он длинный. В нем три части. 2-я и 3-я части идут без перерыва. Во второй части и в кульминации третьей имеется тема, очень похожая на одесскую песню «Купите бублики»! Никак не сумею объяснить, чем это вызвано. Но очень похоже[2]. Когда сочинял, то, конечно, думал об изумительном М. Ростроповиче. Рассчитываю на его исполнение.

28-го и 29-го мая в зале имени Глинки будут два моих концерта по одной программе. Вот она:

1-е отделение

1. Предисловие к полному собранию моих сочинений (в 1-й раз)
2. 5 юморесок на слова из «Крокодила»
   Исполняют Е. Нестеренко и я (sic!?!)[3].
3. Сонет 66 на слова Шекспира в переводе Пастернака
4. «Дженни». Слова Бернса в переводе Маршака
5. 5 сатир на слова Саши Черного
   Исполняют Вишневская и я (sic!?!).

2-е отделение

1-й квартет
11-й квартет (в 1-й раз)
Исполняет Квартет имени Бетховена.

За свое участие в концерте я ужасно волнуюсь. Но очень хочу попробовать[4]. Боюсь, однако, что с «Потомками» (Саша Черный) и с «Иринкой и пастухом» я не справлюсь.

Когда начинаю думать, что концерт не за горами, правая рука начинает отказывать[5].

Пробудем мы с Ириной здесь до 13-го мая. 14-го уже будем в Москве.

Как идет у Вас с Верой Васильевной жизнь в новой квартире? Освоил ли ты «Эстонию»?[6] Очень хотелось бы иметь от тебя весточку. Адрес: Крым. Ялта. Санаторий Нижняя Ореанда. Мне. Есть и телефон прямо в комнате. Но это на какой-либо неотложный случай. Номер телефона: 1-53-05.

Крепко тебя целую. Твой *Д. Шостакович*

Ирина и я шлем сердечный привет Вере Васильевне и тебе.

В «Новом мире» № 3 напечатана повесть Чингиза Айтматова «Прощай, Гюльсары!». Почти вся повесть произвела на меня огромное впечатление. Обязательно прочти[7].

Видимо, Ч. Айтматов обладает огромным талантом. *Д. Ш.*

[1] Третья часть концерта, которой Шостакович остался недоволен, была написана заново.

[2] Эта структурно завершенная мелодия была с изумительным мастерством разработана Шостаковичем и приобрела большую выразительность и очарование.

[3] Латинское sic, то есть «так», Дмитрий Дмитриевич снабжает восклицательным, вопросительным и снова восклицательным знаками,

тем самым он акцентированно, настойчиво просит меня не удивляться тому, что им принято решение исполнять фортепианную партию на предстоящих концертах, несмотря на то что это сопряжено с немалым риском из-за болезни правой руки.

[4] После долгого отсутствия на концертной эстраде в качестве пианиста, да еще какого! Первоклассного! А в 1966 году его обуял страх. И строки эти горестно читать.

[5] Быть может, болезнь руки обострялась из-за нервных перегрузок на протяжении многих лет.

[6] Так называется подаренный мне Шостаковичем к новоселью радиоприемник.

[7] Шостакович, внимательно следивший за литературными новинками, сразу же оценил с безошибочным чувством вкуса выдающиеся художественные достоинства великолепной повести Чингиза Айтматова.

198

4.V.1966. Нижняя Ореанда — 4 мая

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за письмо. Наше пребывание в Крыму подходит к концу. 13-го мая мы отсюда выезжаем. 24-го мая приеду в Ленинград, где буду репетировать свой концерт.

Меня концерт беспокоит тем, что правая рука моя очень слаба, и я боюсь, что на эстраде, тем более, от волнения она совсем откажет, и тогда будет большой конфуз[1].

Когда я закончил свой концерт, то сразу почтой отправил его в Москву на предмет переписки[2].

Очень волновался, дойдет ли, не потеряется ли?[3] Концерт дошел благополучно по адресу. Спасибо почте. Прямо хоть благодарственную песнь пиши[4].

Я согласен с твоей оценкой симфоний Пейко[5] и Уствольской. Жалею, что сам не послушал этих opus'ов. Но мне кажется, что в Ленинграде прозвучали и некоторые другие произведения, достойные похвалы. Мне, напр[имер], понравилась поэма А. Петрова[6], скрипичное произведение В. Успенского и некоторые другие.

Самочувствие мое прекрасное, хотя ноги ходят плохо[7].

В Крыму очень красиво и, к счастью, не жарко. В общем, жизнь идет своим чередом. Посещаю я места моей молодости. Я ведь часто бывал весной в Крыму, в Гаспре. Очень много появилось воспоминаний, и очень ясно я почувствовал свой солидный возраст.

Ирина и я шлем Вам с Верой Васильевной самые лучшие пожелания.

Д. Шостакович

[1] О своих тревогах, связанных с концертом, Дмитрий Дмитриевич сообщал мне в предыдущем письме.

[2] Имеется в виду Второй виолончельный концерт.

[3] Шостакович сильно сомневался в надежной работе почты, которая нередко его подводила.

[4] Шостакович всегда беспокоился о судьбе своих рукописей, но, как это ни парадоксально, он не умел, в отличие, скажем, от Сергея Сергеевича Прокофьева, сохранять и беречь их.

[5] Речь идет о Четвертой симфонии Н. И. Пейко и Первой симфонии Г. И. Уствольской.

[6] Имеется в виду Поэма памяти погибших в годы блокады Ленинграда для четырех труб, двух фортепиано, органа, струнных и ударных инструментов А. П. Петрова.

[7] Эту противоречивую фразу следует понимать как нежелание Шостаковича жаловаться на свое состояние, которое было отнюдь не «прекрасным».

199

8.V.1966. Нижняя Ореанда — 8 мая

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за письмо, за вырезку из Лит. газеты.

Правда, я уже читал речь, которая в ней напечатана, но такие речи полезно читать еще и еще раз[1].

Я рад, что ты в общем хорошо отнесся к «Прощай, Гюльсары!». Хочу тебе сказать, что эту повесть я прочитал три раза и лишь в четвертый раз нашел в себе силы, что[бы] прочитать то место, в котором рассказывается о кастрировании Гюльсары. А предыдущие три раза я пропускал это место, чувствуя, что читать его будет неслыханно трудно. Так и получилось. С трудом я сдержал себя, чтобы не впасть в истерику после прочтения этого места...[2]

Вероятно, тебя огорчили те же места, что и меня. Но эти огорчения искупаются всей повестью в целом.

Один певец-мыслитель решил спеть мои крокодильные юморески. Он пришел ко мне и прочел их. Прочел неплохо. Будучи не просто певцом, а певцом-мыслителем, он задал мне вопрос. Тут я немного отвлекусь и напишу цитату из романса «Иринка и пастух».

«Пастуху Иринка не видна. Коренастый, широкоплечий, он сидит к ней спиной и лупит яйцо.

А Иринка ужасно хочет его потискать».

Певец-мыслитель спросил меня: «Мне неясно, кого Иринка хочет потискать? Пастуха или яйцо?»

Я ответил ему так: «В наше время зритель или слушатель активно смотрит или слушает. Поэтому они сами поймут, кого хочет потискать Иринка».

Певец-мыслитель со мной согласился, правда, не сразу.

Думается мне, что наряду с певцами-мыслителями существуют и читатели, которые очень хорошо понимают, что хо-

рошо и что плохо. Думаю, что некоторые писатели помнят о таких читателях. В их числе, как мне кажется, и Чингиз Айтматов и некоторые другие.

Время в Крыму мы провели хорошо. 14-го вернемся в Москву. 24-го приедем в Ленинград[3].

Будь здоров и счастлив.

Д. Шостакович

[1] Речь идет о докладе тов. Н. Г. Егорычева «По-ленински бороться за коммунизм!» на заседании в честь 96-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина, опубликованном в «Литературной газете» 23 апреля 1966 года. В этой речи мы оба услышали замаскированные мотивы реабилитации сталинского режима, что было для нас предзнаменованием конца «оттепели».

[2] Шостакович имел привычку по несколько раз перечитывать понравившиеся ему вещи, в том числе и письма. В этом плане он был читателем редкостным, исключительным. Мне неизвестно, знает ли Чингиз Айтматов, что Дмитрий Дмитриевич три раза кряду читал его замечательную книгу, а сцена кастрации, написанная с беспощадной художественной силой, довела его чуть ли не до истерики.

Помнится, и у меня не хватило мужества читать эти страницы, хотя я понимал, что они имеют глубокий и печальный смысл. Жена героя повести говорит примерно следующее: «Гюльсары не первый и не последний». То есть именно кастрированные жеребцы составляют основной костяк, силу и цвет лошадиного племени.

Если бы Гюльсары не был кастрирован, то его новому седоку, одному из начальников, пришлось бы худо, ибо он привык ездить на укрощенных, покорных конях. В этом, по-моему, сокровенный смысл сцены, о чем в общих чертах я писал Шостаковичу, и он со мной полностью согласился.

[3] Дмитрий Дмитриевич приехал в Ленинград в назначенный срок. Мы с ним встречались в Европейской гостинице. 27 мая он сказал мне, что ему трудно унять волнение перед выступлением на эстраде.

Наступил день концерта — 28 мая 1966 года. В Ленинграде стояла удушливая, какая-то влажная, липкая жара, которую Шостакович вообще переносил с очень большим трудом.

В Малом зале филармонии дышать было нечем. Я мучился в легком пиджаке, каково же было Дмитрию Дмитриевичу, облаченному во фрак и пластрон! Но в довершение к этому ему пришлось пережить на эстраде сильный стресс. Молодой в ту пору певец Евгений Нестеренко, разволновавшись (и было отчего, ему ведь аккомпанировал великий композитор!), дважды вовремя не вступил. На лице Шостаковича изобразился страх, чтобы не сказать, ужас. Огромным усилием воли он овладел собой.

Концерт, в общем, прошел успешно. Одиннадцатый квартет бисировался. Но имел неожиданно тяжелые последствия. Анафемский зной и чрезмерное волнение сделали свое пагубное дело. Ночью Дмитрию Дмитриевичу стало дурно. Врачи констатировали инфаркт.

Поздним утром, узнав о страшной беде, я помчался в гостиницу. У подъезда толпились люди, стояла машина Скорой помощи. При виде распластанного на носилках Дмитрия Дмитриевича меня охватила смертельная тревога. Мне стало его нестерпимо жалко. Я не смог удержаться от слез.

Когда Дмитрия Дмитриевича внесли в машину, он заметил меня, улыбнулся своей характерной улыбкой и, вытащив руку из-под одеяла, приветственно помахал мне ею. И мне на мгновение стало не так страшно. Двери машины захлопнулись, и она, безучастная к своему пассажиру, быстро набрав скорость, скрылась из глаз.

Я остался в полном оцепенении стоять на тротуаре. Некому было слово молвить. Ирины Антоновны не было со мною, она уехала вместе с Дмитрием Дмитриевичем в больницу.

Но вдруг у гостиницы появился М. Л. Ростропович в одной летней сорочке, похожий на трубочиста. Узнав по телефону о случившемся несчастье, он немедленно примчался из Москвы и, не найдя у аэропорта такси, примостился к случайному мотоциклисту, вскочил на заднее сиденье и, обдаваемый облаком пыли, добрался до «Европейской». Вот почему он выглядел трубочистом. Таким стремительным, находчивым был знаменитый виолончелист в свои молодые годы.

Я обрадовался Ростроповичу, и мы вместе с А. А. Холодилиным отправились в Свердловскую больницу для привилегированных пациентов (наподобие Кремлевской лечебницы в Москве). Нам сообща удалось вытребовать из дома, несмотря на воскресный день, известного профессора, подтвердившего диагноз.

В последующие дни и ночи меня не покидал страх за здоровье Дмитрия Дмитриевича. 3 июня Мария Дмитриевна (сестра Шостаковича) сообщила мне, что Дмитрий Дмитриевич спрашивал обо мне, и ему захотелось повидать меня, но врачи не советуют тревожить больного. Две недели спустя я получил от него открытку. Вот ее текст.

200

14.VI.1966

14 июня

Дорогой Исаак Давыдович, буду очень рад, если ты меня посетишь в любой день от 17 до 19 час[ов] в больнице им. Свердлова, 1-е терапевтич. отд., палата № 11. Накануне предупреди Марусю, чтобы я мог заказать тебе пропуск.

Д. Шостакович[1]

Писано под диктовку Дм. Дм. — Ириной Антоновной.

И. Шостакович

[1] Дмитрий Дмитриевич приложил свою руку к открытке и подписал свое имя. 16 июня 1966 года, по получении открытки, я тотчас же отправился в больницу и с большим волнением переступил порог палаты № 11. Дмитрий Дмитриевич встретил меня своей излюбленной фразой: «Я чувствую себя прекрасно». Эта емкая, имевшая множество нюансов фраза часто приводила в замешательство собеседников, плохо знавших загадочный характер Шостаковича.

Мы говорили о всякой всячине. Речь почему-то зашла о Моцарте. Дмитрий Дмитриевич сказал, что из всех опер гениального композитора он больше всего ценит «Свадьбу Фигаро». Затем он прибавил: «Если сравнивать Реквием Моцарта с Военным реквиемом Бриттена, то я отдаю предпочтение Бриттену».

Такова была его точка зрения, которая может озадачить иных

музыкантов, но он не нуждался в чужой поддержке, когда высказывал о музыке свое мнение.

Мой первый визит продолжался больше часа, хотя мне было отведено Ириной Антоновной 10—15 минут.

21 июня в филармонии открылся фестиваль, посвященный творчеству Шостаковича. Оркестр под управлением Мравинского превосходно сыграл Шестую и Десятую симфонии. Мне было очень грустно. Я почти физически ощущал отсутствие Дмитрия Дмитриевича.

23 июня я снова был в больнице. Дмитрия Дмитриевича волнует предстоящее исполнение Тринадцатой симфонии. Он не без грусти сказал: «Обидно, что мне не удастся присутствовать на Тринадцатой, ведь она за четыре года впервые исполняется в Ленинграде».

25 июня в филармонии исполнялись Тринадцатая симфония и Первый виолончельный концерт при гигантском скоплении публики, которая настойчиво вызывала приехавшего из Москвы Евгения Евтушенко (автора текста). Поэт вскочил на эстраду и обратился к притихшему залу с такими словами: «Главного виновника сегодняшнего успеха — Дмитрия Дмитриевича нет в зале, он в больнице. Похлопаем ему, и он нас услышит». После этих слов овация усилилась. Мне стало ужасно жалко Дмитрия Дмитриевича. Я рассказал ему об этом волнующем эпизоде, и он был им растроган.

4 июля. Сегодня был в больнице. За минувшую неделю я посетил его в третий раз. Дмитрий Дмитриевич говорил о странностях музыкального вкуса следующее: «У меня в юные годы был один знакомый — очень хороший музыкант, который ставил Мейербера выше всех оперных композиторов мира».

Я по этому поводу заметил, что четвертый акт из «Гугенотов», на мой вкус, выше всех похвал и ничуть не уступает лучшим страницам Верди.

Дмитрий Дмитриевич ответил мне: «Это, пожалуй, верно, но сколько у Мейербера всякой дряни. Впрочем, гении знают, сколько надо сочинить хорошего и сколько посредственного».

Последняя фраза мне показалась очень интересной и оригинальной. Больше того: я услышал в ней скрытый автобиографический мотив.

Дмитрий Дмитриевич читает в больнице «Дневник Анны Франк». Он опубликован через 15 лет после западных изданий. «Весьма похвальная медлительность», — сказал Шостакович с грустной иронией.

Я регулярно посещал Дмитрия Дмитриевича в больнице, вплоть до начала августа, перед его переездом в Мельничий Ручей — для окончательного выздоровления.

201

29.VII.1966. Ленинград 29 июля

Дорогой Исаак Давыдович!

Если ты знаешь имя и отчество работницы телевидения М. Дубенской, то сообщи их мне[1]. Она прислала мне фотографии передачи об И. И. Соллертинском[2], и я должен ее за это поблагодарить.

Д. Шостакович

Ответ пиши на Марусин адрес: Ленинград Д-88, ул. Перовской, 9, кв. 126.

[1] Майя Дубянская, а не Дубенская — музыкальный режиссер.

[2] 28 февраля 1966 года на Ленинградском телевидении состоялась передача, посвященная памяти И. И. Соллертинского. В ней приняли участие: Д. Д. Шостакович, И. Л. Андроников, Ю. Я. Вайнкоп, И. Д. Гликман, М. С. Друскин, П. А. Серебряков. Фотоснимок участников передачи был послан Дмитрию Дмитриевичу, вероятно, в больницу.

202

6.VIII.1966. Мельничий Ручей — 6 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

Вчера (5.VIII) мы благополучно переехали в Мельничий Ручей.

Устроились мы хорошо здесь.

Есть городской телефон: Ж 8-19-14, добавочный дача № 1.

У меня создалось такое впечатление, что, не имея своего транспорта, сюда добраться трудно. Пока дойдет открытка, я все подробно узнаю[1]. Когда будет возможность, позвони[2]. Адрес такой: Ленинградская область. Мельничий Ручей. Санаторий обкома КПСС. Дача № 1.

Твой Д. Шостакович

[1] Дмитрию Дмитриевичу хотелось, чтобы я его навестил в Мельничьем Ручье. С этой целью он стремился сообщить мне наиболее удобный маршрут.

[2] В указанное время я находился в Репине, в Доме творчества кинематографистов, и звонить оттуда было нелегко.

203

13.VIII.1966. Мельничий Ручей — 13 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за письмо. Я хочу сообщить тебе, что с 29-го августа мы будем в Доме композиторов в Репине. Пробудем там недели две. А уже потом домой[1].

О своих передвижениях ты держи меня в курсе. Долго ли ты пробудешь в Доме кино? Вернешься ли потом в Ленинград или еще куда-нибудь поедешь?

Твой Д. Шостакович

[1] Шостакович пробыл в Репине, в Доме творчества композиторов до 16 сентября 1966 года. А 25 сентября он отмечал свое шестидесятилетие в Москве, куда я приехал вместе с Верой Васильевной по приглашению юбиляра.

204

9.X.1966. Жуковка 9 октября

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за письмо. Как всегда, твои письма меня радуют. Даже тогда, когда в них нет ничего веселого.

В последнем же письме было много веселого. Я все время живу на даче. В Москву вернулось лето. Днем градусник показывает 20 градусов; на солнце дело доходит до тридцати. Комары, мухи жужжат, летают и отравляют жизнь не хуже, чем в июле, августе.

Очень советую тебе достать журнал «Простор» №№ 7 и 8 за 1966 год и почитать напечатанную в этих номерах повесть Марка Поповского «1000 дней академика Вавилова». Действующие лица этой повести академики Н. И. Вавилов, Т. Д. Лысенко, Б. М. Завадовский и ряд других деятелей биологической науки, как то И. И. Презент и др. Читается с волнением и даже с ужасом[1].

Журнал «Простор» издается на русском языке в Казахстане. Поэтому в Москве или в Ленинграде его достать не очень легко.

Видимо, Марку Поповскому, в свою очередь, было не очень легко напечатать свою повесть в Москве или в Ленинграде, вот он и напечатал ее в Алма-Ате в «Просторе», ежемесячном литературно-художественном и общественно-политическом иллюстрированном журнале Союза писателей Казахстана.

Звонил мне из Лондона Слава Ростропович и сообщил, что с успехом играл мой 2-й виолончельный концерт, о котором я также получил очень милую телеграмму от Б. Бриттена. Телеграмма меня порадовала, т. к. мне кажется, что Бриттен очень хороший композитор и понимает в музыке[2].

Передай сердечный привет Вере Васильевне и всем твоим.

Твой *Д. Шостакович*

Низ конверта украшен скромным подарком, который я принял: не дорог подарок, дорога любовь[3].

Д. Ш.

[1] Шостакович, читая журнал «Простор», несомненно вспомнил о том, что мы с ним испытывали еще больший ужас восемнадцать лет назад. Я приехал к нему в Комарово на казенную дачу, из которой его вскоре выселили. Это было в августе 1948 года, когда происходила сессия ВАСХНИЛ. Мы принялись с отвращением и священной ненавистью читать «Правду», в которой был напечатан доклад Лысенко и прения по докладу. Нам казалось, что газетные страницы залиты кровью разгромленных и умерщвленных генетиков, над которыми глумились лысенковцы. И от этого нам сделалось страшно.

Помнится, что один из лысенковцев задал своему шефу хорошо рассчитанный вопрос: одобрен ли товарищем Сталиным доклад Трофима Денисовича? И когда последовал утвердительный ответ, возникла (по газетной ремарке) буря аплодисментов. Высочайшее одобрение означало полную, триумфальную победу над вейсманистами.

Совсем недавно, в феврале этого же года, была учинена расправа над Шостаковичем, Прокофьевым и другими композиторами в связи с постановлением об опере «Великая дружба» В. И. Мурадели. Раны, нанесенные Дмитрию Дмитриевичу, еще не зажили, и они начали кровоточить, когда он услышал торжествующие вопли сталинских погромщиков из лагеря Лысенко.

Читая с ужасом «Правду» в августе 1948 года, мы вспоминали Зощенко и Ахматову, которых два года назад распинали в той же главной газете страны...

Шостакович братался с писателями, врачами, биологами, когда они становились жертвами террора. Безучастных, равнодушных к чужим страданиям он считал соучастниками преступлений. Этому принципу он оставался верен всю свою жизнь.

[2] Шостакович с любовью относился к Бриттену не только как к композитору, но и как человеку. Не случайно он посвятил ему свою Четырнадцатую симфонию.

[3] Имеется в виду штамп, на котором напечатаны фамилия, имя и отчество и адрес Шостаковича. Этот штамп Дмитрий Дмитриевич с детской радостью приложил на конверт своего письма ко мне на месте «адреса отправителя».

205

10.XI.1966. Жуковка — 10 ноября

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за письмо. Я тебе давно ничего не сообщал о себе, т. к. нечего, пожалуй, было сообщать.

5-го ноября я вышел из больницы, где провел 18 дней. Причина пребывания в больнице была вызвана настойчивостью профессора Ф. П. Работалова, который с 1958-го года лечит мою правую руку. Он сказал, что побыть в больнице мне необходимо для восстановления моих сил. В частности, он заметил, что и по лестнице я смогу хорошо ходить. Не наблюдая в течение 18 дней никакого улучшения в моей способности ходить по лестницам, мы, проф. Работалов и я, пришли к согласию, что мне стало значительно лучше и что я могу бодро и радостно идти домой.

За время пребывания в больнице, меня смотрел профессор Михельсон (хирург) и проф. Шмидт (невропатолог). Оба они чрезвычайно были довольны моими руками и ногами. В конце концов то, что я не могу играть на рояле и с колоссальным трудом хожу по лестницам, это не имеет значения. На рояле можно и не играть, а ходить по лестницам не надо; дома надо сидеть, нечего шляться по лестницам, да по скользким тротуарам. И верно: вот вчера я погулял, упал и сильно расшиб колено. А ведь, сиди я дома, ничего подобного не произошло бы. В остальном все обстоит тоже очень хорошо[1]. По-прежнему я не пью и не курю. Соблазны были. Но дурацкий страх оказался сильнее соблазнов. Курить же я просто не хочу и не

соблазняюсь табаком. А выпить иной раз очень хочется, но (см. выше насчет страха).

Прочие физические нагрузки, видимо, мне тоже перестали быть доступными. Я думаю, что не смогу приехать в Ленинград на премьеру моего концерта для виолончели[2] из-за моего слабосилия. А ведь лестницы везде: и в большом зале консерватории в том числе[3].

Конечно, мне это очень грустно.

Видимо, в Ленинград я приеду не скоро, а, может быть, и совсем больше не буду приезжать[4].

Опус Бунина на слова Шекспира я знаю. Это хорошее произведение[5]. Здесь Бунин приложил все свои силы и способности. В общем, кое-как получилось. Отдельные места просто хороши. Дай Бог ему здоровья и успехов. Трудно он живет. И как-то нету просвета...

Приезжай в Москву. Очень я без тебя скучаю.

Если я себя почувствую лучше, то, может быть, приеду в Ленинград, хотя это и очень сомнительно.

Твой Д. Шостакович

[1] Весь текст письма, касающийся болезни, представляет собой блестящую по сарказму и вместе с тем горькую, как полынь, насмешку над бессилием именитых врачей, делающих хорошую мину при плохой игре; а ведь сам Дмитрий Дмитриевич является покорной жертвой этой игры, которую он не решается назвать бессовестной.

[2] Имеется в виду Второй виолончельный концерт, намеченный для исполнения в конце ноября 1966 года в Ленинградской консерватории. Этот концерт был организован мною. Произошло это на банкете, устроенном М. Л. Ростроповичем ночью 25 сентября по случаю шестидесятилетия Дмитрия Дмитриевича (юбиляр на этом торжестве не присутствовал из-за слабого физического состояния). Зная, что Ростропович находится в контрах с Ленинградской филармонией, отказавшейся исполнить Второй виолончельный концерт Шостаковича (в этом был, к сожалению, повинен Е. А. Мравинский), я предложил сыграть концерт в Ленинградской консерватории силами студенческого оркестра под управлением дирижера Николая Семеновича Рабиновича с участием Мстислава Леопольдовича.

Мой проект был одобрен всеми присутствующими на упомянутом банкете и, в первую очередь, Ростроповичем. Через два месяца состоялась с колоссальным успехом ленинградская премьера Второго виолончельного концерта не в филармонии, а в консерватории. Ситуация была необычной, озадачившей филармонических оркестрантов и любителей музыки.

[3] Шостакович еще не знал, что концерт должен был состояться не в Большом, а в Малом зале консерватории.

[4] Это мрачное предчувствие, к счастью, не оправдалось. Дмитрий Дмитриевич, преодолевая физические трудности, много раз приезжал в Ленинград.

[5] Имеется в виду цикл романсов Р. С. Бунина — ученика Шостаковича по Московской консерватории, о которых я отозвался с большой похвалой в письме Дмитрию Дмитриевичу.

206

2.XII.1966. Жуковка 2 декабря

Дорогой Исаак Давыдович!

Письмо твое меня обрадовало и растрогало. Приятно и радостно знать (как иной раз было принято говорить), что твои думы, выраженные в звуках, доходят, производят впечатление[1].

Слава Ростропович с большим восторгом рассказывал мне о великолепном участии студенческого оркестра и Н. С. Рабиновича[2].

У меня все обстоит более или менее благополучно. Стараюсь жить на даче, где удивительно хорошо. Последнее время у меня появляется общая черта с Е. А. Мравинским: я начинаю любить природу[3].

Плохо то, что ничего не сочиняю. Из-за этого мозг покрывается ржавчиной. Для поддержания сил и энергии много занимаюсь физкультурой и 3 часа в день гуляю: утром час, днем час и вечером час.

В журнале «Юность» № 11 печатается начало повести Николая Чуковского «Ранняя рань». Мне понравилось. В № 12 будет окончание, которое мне еще не известно. Начало очень симпатичное и грустное. Если тебе попадется «Юность» № 11, почитай эту повесть.

Передай самый сердечный привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

Я надеюсь, что в твоем доме все обстоит благополучно. Газ горит, отопление работает и т. д. Подтверди это. А то я иногда начинаю волноваться, вспоминая про эти временные неполадки[4].

Д. Ш.

[1] Имеется в виду мое письмо, в котором я сообщал о восторженном приеме Второго виолончельного концерта, исполненного в Малом зале Ленинградской консерватории.

[2] См. примечание 2 к предыдущему письму.

[3] Е. А. Мравинский после войны каждый год проводил все лето на Карельском перешейке в лесной глуши, наслаждаясь природой. Самым любимым писателем Евгения Александровича был М. М. Пришвин, замечательными книгами которого он в те годы зачитывался.

[4] Заботливость Шостаковича о близких ему людях была совершенно исключительной.

207

26.XII.1966. Москва 26 декабря

Дорогой Исаак Давыдович!

Поздравляю тебя с Новым годом. Пусть Новый год унесет все неприятности и хлопоты старого года, пусть в новом году будет все хорошо.

У меня в общем все обстоит благополучно. Меня очень обрадовало твое письмо, где ты сообщаешь о прошедшем исполнении 13-й симфонии[1].

Вчера в Большом зале [консерватории] Питер Пирс и Бенджамин Бриттен очень порадовали меня своим концертом. Они исполнили «Любовь поэта» Шумана[2], «7 сонетов Микеланджело» Бриттена[3]. Его же обработка английских, французских песен. Я получил большую радость от их концерта.

Не собираешься ли ты приехать в Москву? Было бы хорошо, если бы такое у тебя было намерение.

Я в Ленинград скоро не приеду: слабосилие.

Передай сердечный привет Вере Васильевне.

Крепко жму руку.

Твой Д. Шостакович

[1] Шостаковича беспокоила судьба Тринадцатой симфонии, которой должен был дирижировать Игорь Иванович Блажков в середине декабря 1966 года.

9 декабря Дмитрий Дмитриевич звонил из Москвы и попросил меня присутствовать на репетициях и сообщать ему о своих впечатлениях. Сам он из-за болезни ноги приехать в Ленинград не смог, о чем очень сожалел.

Концерт прошел с большим успехом. Симфонию испортить почти невозможно. Она действует на слушателей неотразимо. Об этом я и писал Дмитрию Дмитриевичу.

[2] Шостакович очень любил Шумана. Мне помнится, как перед войной он случайно оказался в капелле на дневной репетиции и, встретив меня, сказал: «Я только что слышал „Грезы" Шумана. Что за восхитительную музыку написал этот композитор с такой несчастной судьбой». (Это его подлинные слова.)

[3] Быть может, это произведение Бриттена послужило творческим импульсом для Шостаковича, создавшего восемь лет спустя, в 1974 году замечательную Сюиту на стихи Микеланджело Буонарроти для баса и симфонического оркестра.

1967

208

24.1.1967. Москва — 24 января

Дорогой Исаак Давыдович!

Очень давно не имею от тебя известий. Надеюсь, что ты здоров, что все у тебя обстоит благополучно.

Как было бы хорошо, если бы ты приехал в Москву.

Очень давно я тебя не видел и очень соскучился[1].

У меня особых перемен в жизни нет. Чувствую себя хорошо. Каждый день пытаюсь что-нибудь сочинить. Но ничего не получается, от этого мало оптимизма. С другой стороны, вспоминаю биографию Сибелиуса. Последние многие годы своей жизни

он ничего не сочинял и занимал лишь должность Гордости финского народа[2]. Эта должность превосходно оплачивалась: квартира, дача, достойная субсидия и т. п. Сам же Сибелиус хлестал коньяк и слушал разного рода музыку на пластинках. Вот мне бы так[3].

А забот у меня много. Очень много. Сил мало.

Вырвался бы ты в Москву, да приехал ко мне на дачу. Одно только скажу, что я не собутыльник. До сих пор, после болезни, я не пью. Я также и не курю[4].

Потерял я с этим очень много. Однако возобновлять питье и курение не могу из-за какого-то дурацкого страха.

Напиши мне и приезжай.

Вере Васильевне передай самый сердечный привет.

Твой Д. Шостакович

[1] По моим расчетам, мы не виделись около четырех месяцев. Этот срок представлялся слишком длинным Дмитрию Дмитриевичу, нуждавшемуся в более частом и регулярном общении со мной.

[2] Я твердо не знаю, принадлежит ли это шутливое и остроумное наименование выдающегося финского композитора Шостаковичу, или оно было, что называется, продуктом «коллективного творчества».

[3] В этой фразе, напоминающей комический вздох, тем не менее, отчетливо звучит жажда более легкой и не обремененной тяжелыми заботами жизни.

[4] Имеется в виду инфаркт, который Дмитрий Дмитриевич перенес летом 1966 года.

209

3.11.1967. Москва 3 февраля

Дорогой Исаак Давыдович!

Много думаю о жизни, смерти и карьере[1]. Так, вспоминая о жизни некоторых известных (я не говорю великих) людей, прихожу к заключению, что не все они вовремя померли. Напр[имер]: Мусоргский умер преждевременно. То же можно сказать и о Пушкине, Лермонтове и некоторых других. А вот П. Чайковский должен был умереть раньше. Он немного зажился и потому смерть, вернее последние дни его жизни были ужасны.

То же относится к Гоголю, Россини, может быть, к Бетховену. Они, а также и многие другие, как известные (великие), так и неизвестные люди пережили тот рубеж жизни, когда она (жизнь) уже не может приносить радость, а приносит лишь разочарование и ужасные события.

Читаешь ты эти строки, и небось, думаешь: к чему это он так пишет? А к тому, что я, несомненно, зажился. Я в очень многом разочаровался и жду очень много ужасных событий[2].

Разочаровался я в самом себе. Вернее, [убедился] в том, что я являюсь очень серым и посредственным композитором. Огляды-

ваясь с высоты своего 60-летия на «пройденный путь», скажу, что дважды мне делалась реклама («Леди Макбет Мценского уезда» и 13-я симфония)[3]. Реклама, очень сильно действующая. Однако же, когда все успокаивается и становится на свое место, получается, что и «Леди Макбет» и 13-я симфония фук, как говорится в «Носе»[4].

На эту тему, может быть, мне и удастся с тобой покалякать. Однако, мысль, которую я сейчас изложил, ужасная мысль. Т. к. мне осталось жить еще 10 лет[5], то тянуть эту ужасную мысль в течение этих лет... Нет! Не хотелось мне быть на моем месте.

Однако, сочинение музыки — влечение рода недуга — преследует меня. Сегодня я закончил 7 романсов на слова А. Блока. Если у тебя есть Блок в двух томах (Государственное издательство художественной литературы. Москва. 1955), то в первом томе на стр. 11 есть «Песня Офелии». Это первый романс. Далее идут «Гамаюн — птица вещая» (стр. 13). Сразу же на 13-й стр. есть стихотворение, которое начинается словами «Мы были вместе». Потом «Город спит» (стр. 17). Потом «О, как безумно за окном» (стр. 17). Потом «Разгораются тайные знаки» (стр. 74). И, наконец, «В ночи, когда уснет тревога» (стр. 67). Романсы написаны для сопрано, скрипки, виолончели и рояля. Хочу, чтобы их исполняли Г. Вишневская, Д. Ойстрах, М. Ростропович и я. Партию рояля я написал в расчете на свои очень скромные возможности.

Вот, пока и все.

Твой *Д. Шостакович*

[1] Думы о жизни и смерти, которые сильно занимали Шостаковича, обусловили, на мой взгляд, концепцию Четырнадцатой симфонии, хотя по свидетельству автора ее замысел конкретно связан с «Песнями и плясками смерти» Мусоргского.

[2] То были размышления Шостаковича о трагической участи художников, к числу которых он относил и себя.

[3] В приступе черной меланхолии Дмитрий Дмитриевич предался безмерному самоуничижению, приписывая свою известность «рекламе». Здесь он пользовался вымыслами своих злокозненных недругов, которые в 30-х годах без умолку твердили о «рекламе», создающейся вокруг его имени.

[4] Шостакович вводит в свое письмо тему отречения от своих великих произведений, которые были ему очень дороги.

«Фук» — словечко гоголевского Собакевича, означающее вздор, пустяк. Оно перекочевало из «Мертвых душ» в оперу «Нос».

[5] Занявшись исчислением срока своей жизни, Шостакович ошибся на два года.

210

18.II.1967. Москва — 18 февраля

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо тебе за хлопоты. Я думаю, что С. М. Гершов и есть

тот Саша Гершов, друг художников В. В. Дмитриева, М. Б. Эрбштейна и др.[1].

Написал ему письмо. Что это за Ивановская ул. в Ленинграде? Она, как мне известно, переименована в Социалистическую. Или эта какая-нибудь другая Ивановская? В общем, если я получу от С. М. Гершова ответ, то все прояснится.

Шлю Вере Васильевне привет и лучшие пожелания.

Твой *Д. Шостакович*

Посетил меня вчера композитор Б. Тищенко. Он познакомил меня со своей 3-й симфонией. Многое из этой симфонии мне чрезвычайно понравилось.

Позавчера побывал на спектакле «Жизнь Галилея» Бертольта Брехта. Кое-что меня огорчило и [в] самой пьесе и в спектакле[2].

Д. Ш.

[1] Дмитрий Дмитриевич просил меня разузнать адрес художника С. М. Гершова — приятеля в годы его молодости.

[2] Шостакович намеревался написать оперу на сюжет «Жизни Галилея», но после просмотра спектакля в театре «На Таганке» от этого намерения отказался.

211

13.III.1967. Жуковка

13 марта

Дорогой Исаак Давыдович!

Очень давно не имел от тебя известий. Имел известие о тебе, что у тебя болят зубы и ты их сейчас лечишь. Имел также грустное известие о Гаврииле Давыдовиче, будто он лежит в больнице и лечит грыжу[1]. Очень все это печально. Болезнь — это большое горе для болеющих и для их друзей. Напиши мне о том, как ты живешь и как твои зубы.

У меня все обстоит более или менее благополучно. Пытаюсь еще что-нибудь сочинить, но пока сочинил один романс на слова Пушкина:

Весна, весна, пора любви,
Как тяжко мне твое явленье

и т. д.

Очевидно, уже в десятый раз пытаюсь сочинить «Памятник», да ничего не выходит[2].

Сел я, кажется, в калошу по материальным делам. Ну, авось как-нибудь выкручусь.

Здоровье мое прекрасно[3]. Вопрос лишь в том, нужно ли мне такое прекрасное здоровье? Ведь жизнь на радость нам дана. А какие уж тут радости, если плохо хожу, задыхаюсь, не могу носить тяжести и т. д.?

Очень без тебя скучаю.

Твой *Д. Шостакович*

Вере Васильевне и всем твоим шлю самые лучшие пожелания.

Д. Ш.

[1] Мой брат-скульптор перенес операцию пупковой грыжи.

[2] Я из чувства суеверия настоятельно рекомендовал Дмитрию Дмитриевичу не писать музыку на текст «Памятника» («Я памятник себе воздвиг нерукотворный»), напоминая ему, что Пушкин этим стихотворением подводил творческий и жизненный итог, скончавшись через полтора года после создания своего шедевра.

[3] Обычная формула ложной похвалы, которой часто пользовался Шостакович.

212

22.III.1967. Жуковка 22 марта

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за письмо. Очень я тебя жалею, что ты страдаешь зубной болью. Ну, авось, теперь ты уже вылечился и все страдания в прошлом.

Может быть, я приеду в Репино.

Сегодня уезжаю на два дня в Горький. Это моя первая далекая поездка после болезни[1]. Если путешествие в Горький мне не повредит, то в первых числах апреля приеду в Репино. Об этом я тебя извещу заранее.

Очень бы хотелось тебя повидать. Было бы хорошо, если бы ты посетил меня в Репине. Перед поездкой в Горький очень волнуюсь. Поедем мы с Ириной дневным поездом. Ночной поезд, хотя и очень комфортабельный, однако он идет туда всего шесть часов. Нельзя выспаться: пока поезд тронется, пока проводник постелит постель, глядишь, уже около двух часов ночи. А в шесть утра проводник уже начнет будить. А дневной поезд отходит в 17 часов и прибывает в 23. Следовательно, в гостинице можно выспаться. Правда, мягкого вагона в этом поезде нет. А я человек балованный — вот и волнуюсь, как пройдет путешествие[2].

23-го и 24-го буду принимать избирателей[3], и 24-го дневным поездом поеду в Москву.

Шлю тебе самые лучшие пожелания.

Твой Д. Шостакович

Передай сердечный привет Вере Васильевне и всем твоим.

Д. Ш.

[1] Имеется в виду перенесенный Дмитрием Дмитриевичем инфаркт летом 1966 года.

[2] В молодые годы Шостакович ездил в любых вагонах, никогда не претендуя на комфорт. Характер его остался прежним, но многочисленные болезни сделали его «балованным».

[3] В качестве депутата Верховного Совета СССР.

213

8.IV.1967. Жуковка — 8 апреля

Дорогой Исаак Давыдович!

Вчера отправил тебе мою челобитную о Николае Семеновиче[1]. Торопился, и поэтому ничего тебе не написал. В Канн я не поеду[2]. Не позволяет состояние здоровья, а также полное отсутствие желания принимать столь тяжкое путешествие.

Все никак не могу решиться поехать в Репино. Поездка в Горький показалась мне трудноватой.

Очень медленно, с трудом, выжимая из себя ноту за нотой, пишу Скрипичный концерт[3]. В остальном все обстоит благополучно.

Твой Д. Шостакович

Вчера мне звонил Р. И. Тихомиров[4]. Он и, по его словам, ты просите меня написать предисловие к книге, названия которой я не расслышал. Может быть, ты сообщишь мне, что это за книга[5].

Д. Ш.

[1] Имеется в виду ходатайство о присвоении ученого звания профессора дирижеру Н. С. Рабиновичу.

Дмитрий Дмитриевич высоко ценил его как музыканта и как человека.

[2] Имеется в виду Каннский кинофестиваль, на котором должен был показываться фильм-опера «Катерина Измайлова». На этот фестиваль были приглашены Дмитрий Дмитриевич и постановщик картины М. Г. Шапиро.

[3] Имеется в виду Второй скрипичный концерт, который был завершен через пять недель, в середине мая во время пребывания Шостаковича в Репине.

[4] Роман Иринархович Тихомиров (1915—1984) — оперный и кинематографический режиссер.

[5] «Жизнь в музыкальном театре» — название книги, написанной известным оперным режиссером Э. И. Капланом.

214

24.IV.1967. Жуковка — 24 апреля

Дорогой Исаак Давыдович!

Музыкальный деятель по фамилии Геронимус просит меня написать отзыв о его музыкальной деятельности. Он преподает в консерватории. Узнай, пожалуйста, его имя и отчество и сообщи мне[1].

Твой Д. Шостакович

[1] Имеется в виду пианист Александр Ефимович Геронимус.

215

6.V.1967. Ленинград — 6 мая

Дорогой Исаак Давыдович!

Мы с Ириной поедем в Репино в Дом композиторов. Хочу тебя видеть. Звони мне в 9, 14 или 19 часов.

Телефон узнай в Музфонде. Там теперь все номера переменились.

Твой Д. Шостакович

Телефон Дома композиторов узнал. Репино 27-45

216

14.VI.1967. Жуковка — 14 июня

Дорогой Исаак Давыдович!

Получил сегодня твое письмо. Очень я без тебя скучаю. Очень хочу видеть тебя.

Может быть, скоро приеду в Ленинград дня на три, хотя мне такие поездки даются с трудом.

Я с радостным чувством вспоминаю наше посещение вашего с Верой Васильевной дома и жалею, что очень мало выпил[1]. По-прежнему мне не позволяют пить, курить и т. п. Это не прибавляет мне ни здоровья, ни оптимизма.

Здоровье мое, слава Богу, хорошее.

Дня два тому назад Г. Вишневская, Д. Ойстрах, М. Ростропович и я в первый раз репетировали мои романсы на слова Блока. Для первого раза было довольно прилично. Эта репетиция доставила мне много радости, и я на некоторое время перестал остро и болезненно воспринимать разного рода острые и болезненные события[2].

Мой Скрипичный концерт еще не переписан, поэтому не могу дать его Д. Ф. Ойстраху для ознакомления и для моего погружения в мир звуков.

Передай большой привет Вере Васильевне.

Крепко жму руку.

Д. Шостакович

[1] 19 мая 1967 года Шостакович вместе с Ириной Антоновной и сестрой Марией Дмитриевной приехали ко мне на ужин.

Дмитрий Дмитриевич был в очень хорошем настроении. По случаю окончания Второго скрипичного концерта он выпил со мной по рюмке водки. Ему захотелось сыграть концерт, но этому помешали: расстроенное пианино и сытный ужин. В общем, в этот вечер Шостакович понравился мне бодростью духа и недурным физическим состоянием. После ужина он отправился в Москву, имея в портфеле прекрасное сочинение, которому предстояло большое будущее и в нашей стране, и за рубежом.

[2] В блоковском цикле Шостакович, по-моему, с особой проникновенностью раскрыл свою мятущуюся душу. Трагическим романсам: «Гамаюн — птица вещая», «О, как безумно за окном» противостоят

овеянные элегической лирикой романсы, а последний из них «В ночи, когда уснет тревога» проникнут поразительной лучезарной красотой.

Помнится, что Дмитрий Дмитриевич пригласил меня в начале февраля 1967 года в Москву, чтобы познакомить с этим циклом.

10 февраля в Жуковке, в сумеречном свете догорающего дня он сыграл мне романсы, произведшие на меня громадное впечатление. Они мне показались исповедью Шостаковича, сохранившего, несмотря на страдания, надежду и веру в жизнь. Мне понятна радость Дмитрия Дмитриевича, услышавшего в живом звучании блоковский цикл.

Чудесная музыка и слова юного поэта отрешили его от каждодневных треволнений и забот.

217

1.VII.1967. Жуковка — 1 июля

Дорогой Исаак Давыдович!

С 5-го июля я вновь буду в Репине. Очень бы хотелось тебя повидать. По приезде буду тебе звонить. Звони и ты мне по телефону Репино 28-45.

Твой Д. Шостакович

Звони в 9, 14 и 19 часов.

218

11.VIII.1967. Каменюки — 11 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

21-го августа выезжаем домой. На всякий случай сообщаю тебе мой адрес: Брестская область. Каменюки. Гостиница «Беловежская Пуща», № 12. Здесь прекрасно, хотя было несколько невероятно жарких дней и, что хуже всего, жарких ночей.

Я очень много здесь работал. Написал симфоническую поэму «Октябрь». Чувствую себя очень усталым.

К сожалению, осталось жить мне здесь только десять дней. Предыдущие семь дней я работал без передышки[1].

Хочется надеяться, что у тебя все обстоит благополучно, и что ты хорошо живешь в Репине. Мы с Ириной здесь хорошо устроены. Начали много гулять. Поражают меня своим величием зубры. Поражает их взгляд, сочетающий и спокойствие, и свирепость. Очень симпатичны олени, кабаны, косули и т. п. животный мир[2]. Т. к. охота здесь категорически запрещена, они не боятся людей. Тем не менее, от зубров рекомендуется быть подальше.

Перед возвращением в Москву, испытываю большие волнения. Предстоят премьеры моих новых opus'ов. А это всегда очень беспокойно[3].

Ну, вот пока и все.

С 22-го августа буду в Москве.

Ирина шлет привет.

Твой Д. Шостакович

[1] Когда Шостакович задавал себе творческий «урок», он, как правило, выполнял его во чтобы то ни стало, невзирая на чрезмерную усталость. Так произошло и с поэмой «Октябрь», которую он закончил в срок.

[2] Для Шостаковича животный мир обладал большой притягательной силой. Он любил собак, обитавших в его доме, но относился к ним, я бы сказал, с суровой нежностью; без сюсюканья.

[3] В конце сентября предстояли премьеры симфонической поэмы «Октябрь» в Ленинграде и Второго скрипичного концерта с участием Д. Ф. Ойстраха в Москве.

219

30.VIII.1967. Жуковка — 30 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

Поздравляю тебя с началом нового учебного года.

Два дня тому назад послал тебе в качестве скромного подарка сборник моих романсов[1]. Там, конечно, есть и очень слабые пьески, но есть и такие, которые более или менее получились[2].

Не могу похвастать своей жизнью, в Беловежской Пуще жилось лучше. Там дивный климат. Кроме того, общество оленей, зубров, кабанов всегда очень радовало. Если бы я там бездельничал, то совсем был бы доволен пребыванием.

Но работал там я много.

Вернувшись домой, предаюсь волнениям. Предстоят премьеры[3]. Может быть, с 23-го по 30-е сентября буду в Ленинграде на концертах «Музыка Советской России». Здоровье мое не очень благополучно. Все хуже и хуже ходят ноги. Это, несмотря на ежедневную гимнастику и длительные прогулки. Что же касается до прочего (сердце и т. п.), то тут все обстоит хорошо.

Много бытовых хлопот. Надо устраивать в больницу Иринину тетю, которая очень плоха. Ее берут в больницу, держат там ее некоторое время, потом просят забрать обратно домой. Она не отвечает за свои поступки и ухаживать за ней очень трудно.

Из творческих достижений отмечу еще одно: выпускают кинофильм Эйзенштейна «Октябрь». А. А. Холодилин подобрал к нему музыку из моих сочинений. Этот кинофильм я смотрел. Моя музыка его более или менее украшает. Сам фильм мне не нравится. И вообще мне не понятно, почему Эйзенштейн, да и Довженко считаются гениями. Ихняя творческая продукция мне не нравится. Это, вероятно, относится к моему недомыслию, т. к. сведущие люди считают их гениями[4].

Из эстетических впечатлений отмечу пластинку с цыганским пением. Это великолепно, хотя и очень грустно. Эту пластинку купила Ирина. Поет певица Волшанинова и цыганский хор. Поет изумительно. Слушая ее, льются слезы и появляется желание выпить и закусить[5].

Прошу тебя, передать привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] Имеется в виду Сборник вокальных сочинений Шостаковича, вышедший в 1967 году.

[2] Шостакович с явно преувеличенной суровостью оценивает свои романсы, отмеченные исключительным богатством художественно-выразительных средств, широким диапазоном чувств и мыслей.

[3] См. примечание 3 к письму 218 от 11 августа 1967 года.

[4] Отношение Дмитрия Дмитриевича к С. М. Эйзенштейну и А. П. Довженко отличалось большой сложностью. Он, конечно, горячо им сочувствовал, когда на них обрушились гонения и преследования. Ему нравились многие сцены из «Броненосца „Потемкина"», знаменитая лестница. Он с удовольствием писал музыку к фильму «Мичурин», поставленному Довженко в печальной памяти 1949 году. Помнится, как Дмитрий Дмитриевич рассказывал мне, с каким замечательным мастерством и поэтическим чувством Довженко воссоздал на экране картины пробуждающейся весны, и признался в том, что ему, кажется, удалось откликнуться своей музыкой на эти прекрасные пейзажи, играющие важную роль в фильме.

Однако Шостакович, обвиняя себя в «недомыслии», не принимал те или иные эстетические принципы, которыми руководствовались Эйзенштейн и Довженко.

Так, например, свойственная им изощренность метафорического языка казалась ему чрезмерной, мешающей сопереживанию с героями сюжета, соучастию в их судьбах, а без этого искусство вряд ли способно выполнить в полном объеме свою высокую миссию.

Шостаковича огорчил фильм Эйзенштейна «Иван Грозный», в особенности вторая серия под характерным для сталинской эпохи названием «Боярский заговор». Он сознавал, что картина сделана большим мастером, но содержание претило ему, так как над ним из-за тенденциозного показа исторического прошлого и Ивана Грозного реял дух сталинизма.

Дмитрий Дмитриевич ненавидел Ивана Грозного и, к слову сказать, удивлялся тому, как Римский-Корсаков разукрасил в «Псковитянке» образ этого изверга.

Что касается гениев в кинематографическом искусстве, то, по мнению Шостаковича, на этот титул может претендовать только один человек — Чарли Чаплин. Именно поэтому он много раз с одинаковым наслаждением смотрел его фильмы.

[5] Отзыв о пении Рады Волшаниновой неожиданно завершается шутливой фразой, по-моему, для того, чтобы несколько умалить похвалу цыганской певице, которая показалась Дмитрию Дмитриевичу чрезмерной.

220

2.IX.1967. Жуковка — 2 сентября

Дорогой Исаак Давыдович!

Ужасно меня огорчило твое письмо[1]. Думаю, что в первую очередь в опечатке виноват я. Корректура у меня была. Прямо

не понимаю, как я мог пропустить такое безобразие. Если можешь, то прости мне это, а ноты выброси в помойку.

Д. Шостакович

Видимо, главное внимание я обратил на Сашу Черного[2]. Но, *а там в восьмом такте «Крейцеровой сонаты»* имеется безобразная опечатка (Саша Черный до сих пор не издавался. Остальное все издавалось. Поэтому на остальное я уделил мало внимания).

Д. Ш.

Все это можно объяснить старением. *Я старею. Д. Ш.*

[1] Речь идет о письме, в котором я поблагодарил Дмитрия Дмитриевича за присланный мне Сборник его вокальных сочинений и пошутил *по поводу комической опечатки, вкравшейся в посвящение мне романса* «Макферсон перед казнью». Мое имя и отчество выглядело в печатном тексте так: «Иссаку Довидовичу». Но Шостаковичу было не до шуток. *Он болезненно, с большим раздражением воспринял* незамеченную им опечатку и обвинил себя в недосмотре. Ошибочно решив, что я почувствовал себя оскорбленным этой опечаткой, он в сердцах просил меня «выбросить сборник в помойку».

В своем следующем письме я, снова шутя, объяснил Дмитрию Дмитриевичу, что опечатка вполне закономерна, ибо такие имена, как Исаак и Давид, в наших газетах не встречаются, а Библию корректоры никогда не читают. Шостакович со мной согласился, но продолжал сердиться (и что характерно для него) не на корректоров, а на себя.

Во втором издании Сборника вокальных сочинений инцидент, как говорил Маяковский, был «исперчен». Мое имя и отчество были напечатаны правильно. Шостакович бдительно за этим следил.

[2] Имеются в виду «Сатиры („Картинки прошлого") на слова Саши Черного», ор. 109. «Крейцерова соната» — последний номер цикла.

221

30.IX.1967. Кунцево[1] 30 сентября

Дорогой Исаак Давыдович!

Прости, что не отвечаю на твои письма, которые меня радуют и которые вызывают у меня горячую к тебе благодарность[2].

Рапортую:

Есть 75%

(Правая нога сломана, левая нога сломана, правая рука дефективная. Теперь надо повредить левую руку и тогда все 100% конечностей будут не в порядке)[3].

Пока писать мне трудно и ты не сердись, что на твои письма не отвечал. Не сердись и продолжай мне писать, не ожидая моих ответов.

Вере Васильевне передай мои запоздалые поздравления с днем ангела[4].

Твой *Д. Шостакович*

[1] Письмо помечено Шостаковичем новым адресом, так как он оказался в Кунцевской больнице.

В начале сентября он сломал себе ногу. Злая судьба обрушивала на него удар за ударом.

[2] Предыдущее письмо Дмитрия Дмитриевича датировано 2 сентября 1967 года.

[3] Письмо, написанное с огромным мужеством, отравлено горечью и юмором висельника. Я читал его со слезами на глазах.

[4] Находясь в больнице, испытывая страдания, Дмитрий Дмитриевич не забыл, что моя жена Вера Васильевна отмечает по традиции 30 сентября — день Веры, Надежды и Любови.

222

16.X.1967. Жуковка 16 октября

Дорогой Исаак Давыдович!

Твое письмо я получил. Спасибо. Меня отпустили домой до праздников. После праздников я вернусь в больницу, где с меня снимут гипс и начнут меня учить гулять.

23-го октября будут исполняться мои романсы на слова Блока, а 29-го октября Ойстрах будет играть Скрипичный концерт[1]. Мария Дмитриевна чего-то напутала, извещая тебя о том, что концерт исполняться не будет.

Если приедешь — извести[2].

Передай привет Вере Васильевне.

Твой *Д. Шостакович*

[1] Имеется в виду Второй скрипичный концерт Шостаковича.

[2] Я поехал в Москву, чтобы повидать Дмитрия Дмитриевича и присутствовать на концерте, состоявшемся 23 октября 1967 года в Большом зале консерватории.

Романсы на слова Александра Блока пела Г. П. Вишневская в сопровождении трио в составе Д. Ф. Ойстраха, М. Л. Ростроповича, М. С. Вайнберга. Я получил большое наслаждение от первоклассного исполнения изумительных романсов, но у меня изболелась душа, когда я думал о том, что Дмитрий Дмитриевич не сидит на эстраде и не играет фортепианную партию, приспособленную им для его возможностей, а слушает по радио свою музыку, сидя в Жуковке. После концерта, имевшего громадный успех, мы с Ириной Антоновной отправились на машине, которой она умело управляет, в Жуковку. Там она красиво сервировала ужин при свечах (в романтическом духе юного Блока). Дмитрий Дмитриевич с посторонней помощью спустился со второго этажа в столовую и принял участие в трапезе. Настроение у него было приподнятое. Ему понравилось исполнение романсов. «Я их, видимо, не зря сочинил», — сказал он, приподняв рюмку. На следующий день мы много беседовали на разные темы, по преимуществу, грустные, но с проблесками юмора, без коего он не обходился.

223

29.XI.1967. Москва 29 ноября

Дорогой Исаак Давыдович!

Вчера узнал о кончине Владимира Васильевича Лебедева. Очень это грустное известие. Он был удивительно прекрасный художник. Я плохо понимаю в живописи, плохо чувствую живопись, но его творчество всегда производит на меня сильное впечатление. Последние 25 лет я с ним совсем не встречался. Однако моя привязанность к нему не угасла. Человек он, как мне всегда казалось, был хороший и порядочный [1].

Так я грустил, а сегодня получил твое письмо со столь грустным сообщением о твоей травме. Лечи руку, не торопись давать ей полную нагрузку. Хочу надеяться, что скоро у тебя рука поправится и ты забудешь об этой неприятности.

Я пока еще в больнице. Обещают числа 5—7 декабря снять гипс. А сегодня Мария Александровна (лечащий врач) сказала, что, может быть, еще на одну неделю положат новый гипс. Объясняла она это тем, что возраст у меня такой, что кости срастаются медленнее, чем в юном возрасте.

Несколько раз по радио мне приходилось слышать певицу Юреневу. Слушал я ее также и в камерных концертах. Очень она мне понравилась.

Я послал ей ноты блоковских романсов с челобитной, в которой прошу ее эти романсы исполнить [2].

Меня волнует, кто будут ее партнеры. Если за скрипачей можно быть абсолютно спокойным (напр[имер] М. Вайман или Б. Гутников), то за виолончелиста я беспокоюсь. Есть в Ленинграде выдающийся виолончелист, вроде Ростроповича?

Ты вращаешься в музыкальных кругах. Посоветуй. Но, конечно, сперва надо получить согласие Н. Юреневой и уж тогда сколачивать ансамбль.

Юренева пленяет меня своей музыкальностью, красивым голосом и почти безупречной дикцией.

Жизнь в больнице очень скучна.

Поправляйся скорее и береги себя.

Крепко целую.

Твой *Д. Шостакович*

Сердечный привет Вере Васильевне.

Д. Ш.

[1] Как уже упоминалось, В. В. Лебедев был не только замечательным художником, но и заядлым спортсменом. Вместе с Шостаковичем и со мною он систематически в довоенные годы посещал футбольные матчи. Мы с Дмитрием Дмитриевичем ходили в гости к Владимиру Васильевичу, любовались его картинами и оставались у него ужинать. Жил он в обширной мастерской на верхнем этаже высокого дома на улице Белинского, близ Фонтанки. Человеком он был обаятельным.

[2] Блоковские романсы Надежда Юренева штудировала несколько месяцев и исполнила их в присутствии Шостаковича 17 апреля 1968 года в Малом зале Ленинградской филармонии.

224

8.XII.1967. Москва 8 декабря

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за письмо. Мне показалось, что ты скептически относишься к певице Юреневой[1]. Мне не много приходилось ее слышать. Однако мне очень понравился ее голос и у нее очень хорошая дикция (дикция у Вишневской хромает, хотя певица она поразительная). Дикцию Юреневой я оценил, когда слушал в ее исполнении произведения, с которыми не был знаком раньше, т. е. которые слушал в первый раз. И я понимал каждое слово[2]. Что касается до ее обета безбрачия и сохранения девственности, то это временное и, пожалуй, к ее дарованию не имеет прямого отношения[3].

Я в больнице пробуду до Нового года. Поэтому пиши мне чаще. Твои письма меня радуют.

Много читаю в прессе об опере «Тихий Дон» И. И. Дзержинского. Если ты смотрел эту оперу — прорецензируй мне ее[4].

В больнице я очень скучаю. Запасаюсь терпением. Медленно заживают мои сломанные кости. Старым костям так и полагается[5].

На мое большое счастье, я нахожусь в палате один. Соседа у меня нет.

Есть телевизор, спидола, проигрыватель и магнитофон. Ирина приносит мне пластинки. Я их кручу и часто поражаюсь необычайной красоте одних музыкальных произведений и бездарности других. Как образец безобразия и скуки меня поразило произведение Ференца Листа «Via crucis»[6]. Хотя, может быть, я и не разобрался [в] этом произведении.

Благодаря большому количеству свободного времени, на меня наваливаются в большом количестве воспоминания. Я много думаю об ушедшем навсегда времени, об ушедших навсегда людях, друзьях, знакомых. Но лучше иметь мало свободного времени, тогда воспоминания не беспокоят. Но, Боже мой, какое изумительное явление — эти воспоминания[7].

Передай сердечный привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] Я ценил музыкальность и вокальное мастерство Надежды Юреневой, но мне казалось, что Дмитрий Дмитриевич несколько преувеличивает достоинства этой певицы, о чем я писал ему в очередном письме.

[2] Шостакович придавал громадное значение слову, которое должно быть не только услышано, но непременно понято аудиторией. Именно поэтому он настаивал на том, чтобы «Катерина Измайлова» испол-

нялась не по-русски, а на языке той страны, в которой она ставилась, даже если перевод и не отвечает самым высоким требованиям.

[3] Острота Дмитрия Дмитриевича вызвана моим шуточным сообщением о том, что Надежда Юренева внезапно отказалась от своего жениха после помолвки, на которой я присутствовал.

[4] Опера «Тихий Дон» (вторая часть) была поставлена в ноябре 1967 года в Кировском театре (дирижер К. А. Симеонов, режиссер Р. И. Тихомиров). Я рассказал в подробном письме о своих впечатлениях от этого спектакля.

[5] В словах Дмитрия Дмитриевича поражает смиренный тон, безропотная покорность жестокой судьбе.

[6] Имеется в виду «Крестный путь» — произведение для хора в сопровождении органа. Шостакович, конечно, понимал значение Листа в истории мировой музыки, но в зрелые годы он относился к его творчеству без энтузиазма. Помнится, ему нравились романсы «Как дух Лауры», «Лорелея». Резкость его суждения о «Крестном пути» смягчается признанием, что он «может быть, не разобрался в этом произведении».

[7] В беседах со мной Дмитрий Дмитриевич вспоминал о множестве людей, с которыми ему доводилось встречаться.

Я замечал, что он совершенно беззлобно говорил о тех, кто причинял ему зло, руководствуясь формулой: «Они не ведали, что творили», но он был абсолютно непримирим к доносчикам, погубившим безвинных, и к фигуре главного губителя — Сталина.

225

26.XII.1967. Москва — 26 декабря

Дорогой Исаак Давыдович!

Очень я тебе завидовал, читая твое письмо из Репина. Как там хорошо! И в любое время года.

Поздравляю тебя с Новым 1968-м годом. «Что год грядущий нам готовит?» Я думаю, что он будет еще лучше, еще счастливее, нежели прошедший год[1].

Жизнь идет своим чередом. За последнее время, примерно, раз в семилетку появляется Владимир Григорьевич Брагин. Всегда, хоть и стареющий, но сияющий огнем вдохновенных творческих порывов. Вот и сейчас получил я от него длиннейшее письмо, полное вдохновенных творческих планов.

По выходе из больницы, придется с ним встретиться. А потом опять, после моих кислых речей о нежелании писать либо оперу, либо балет, либо радиооратории, либо кинофеерию, в зависимости от того, чем он сейчас «загорелся», опять расстанемся с ним на 7—8 лет. В высказываниях В. Г. Брагина появилась большая теплота по адресу своего творчества. Так, по его мнению, лучшая опера Кабалевского «Мастер из Кламси» потому хорошо ему — Кабалевскому удалась, что либретто сделал он — В. Г. Брагин.

В общем, читая письмо В. Г. Брагина, несмотря на его бодрый тон, я сильно загрустил[2].

Я чувствую себя хорошо. Надеюсь 29-го декабря быть дома.

Передай сердечный привет и горячие поздравления Вере Васильевне.

Крепко жму руку.

Твой Д. Шостакович

[1] Обычный иронический рефрен Шостаковича, ибо уходящий 1967 год был для него полон невзгод и физических страданий.

[2] В. Г. Брагин — либреттист оперы Д. Б. Кабалевского «Кола Брюньон» («Мастер из Кламси»). В предвоенные годы В. Г. Брагин с большой настойчивостью добивался сотрудничества с Шостаковичем.

Юмористический тон письма, заканчивающегося грустной нотой, объясняется крайней экзальтированностью характера В. Г. Брагина, постоянно строившего воздушные замки, предлагавшего композиторам несбыточные планы и проекты.

Я лично знал этого простодушного прожектера, не лишенного, впрочем, литературных способностей.

1968

226

25.1.1968. Жуковка — 25 января

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за письмо. Я уж давно не имел от тебя известий. Начал уже беспокоиться. Но вот письмо пришло, и я радуюсь тому, что ты здоров и благополучен.

Я живу хорошо, только довольно скучно. По театрам не хожу, по концертам тоже самое. Правда, недавно был в Большом театре, где слушал «Евгения Онегина» под управлением М. Ростроповича. Слава был очень хорош и лишний раз убедил меня в своей феноменальной одаренности. Поразил меня исключительно низкий уровень вокала. Кроме Вишневской (Татьяна) все остальные были в лучшем случае посредственны. Очень слаб Ленский. Видимо, его исполнитель, некогда хороший певец, Масленников, то ли пропил, то ли потерял свой голос по какой-либо иной причине. Совершенно непристоен Гремин (Огнивцев). 2-го февраля собираюсь пойти на «Песню о земле» Малера, которую будет исполнять дирижер Пауль Клецки[1]. Некоторую радость доставляют радиопередачи по УКВ. Вчера я слушал гениальную оперу Даргомыжского «Каменный гость»[2].

Сам я живу почти безвыездно на даче и думаю, как буду жить дальше, ибо поступления (денежные) резко снизились[3].

Будь здоров.

Твой Д. Шостакович

Передай привет Вере Васильевне. Ирина также шлет самые лучшие пожелания.

Д. Ш.

[1] Шостакович неоднократно говорил мне, что, слушая «Песню о земле», он каждый раз испытывает потрясение, а последняя часть — «Прощание» — вызывает у него слезы.

[2] Горячая любовь к «Каменному гостю» у Шостаковича была долголетней, постоянной и неизменной. Его крайне удивляло, почему эта опера не исполняется на московской и ленинградской сценах.

[3] Материальное положение Шостаковича было не стабильным. В отдельные периоды он терпел нужду, которая сменялась значительными доходами за издания и исполнение его сочинений.

227

12.V.1968. Жуковка — 12 мая

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо тебе за письмо. Я радуюсь, что майские праздники ты провел в Репине. Весной там очень хорошо. Поздравить меня можно за получение 1-й премии за пластинку моей оперы «Катерина Измайлова». Эту премию мне присудила французская академия пластинок (есть и такая)[1]. Во франках и рублях это ничем не выражено[2]. Получил я лишь довольно красивый альбом.

В Москве сейчас очень жарко и я плохо себя чувствую. Однако, в город приходится ездить довольно часто.

Тебе шлет привет Ирина. Я шлю тебе мои самые лучшие пожелания.

Ирина и я шлем привет Вере Васильевне.

Твой *Д. Шостакович*

Возможно, что июль буду проводить в репинском Доме композиторов.

Д. Ш.

[1] Шостаковича рассмешило наличие во Франции такой академии.

[2] Франки и рубли ему были бы в ту пору очень кстати.

Перерыв в переписке (с 25 января по 12 мая) объясняется тем, что Дмитрий Дмитриевич в эти месяцы часто приезжал на концерты в Ленинград, и мы систематически с ним встречались.

19 февраля он вместе с Ириной Антоновной обедал у меня.

Со 2 по 20 марта он жил в репинском Доме композиторов, где завершил Двенадцатый квартет.

9 марта (в Репине) он с улыбкой сказал мне и моей жене Вере Васильевне: «Может быть, это смешно, но мне всегда кажется, что я не успею дописать свой очередной опус. Вдруг я умру и вещь останется неоконченной».

Но, слава Богу, ничего не случилось и 16 марта Дмитрий Дмитриевич сыграл (в Репине) мне и В. Е. Баснеру глубоко драматичный Двенадцатый квартет. Настроение у него было приподнятое.

17 апреля он присутствовал в Малом зале филармонии на концерте Надежды Юреневой, хорошо исполнившей романсы на слова Блока.

228

15.VI.1968. Майори — 15 июня

Дорогой Исаак Давыдович!

Мы с Ириной прибыли сегодня на Рижское взморье. Пробудем здесь до 8-го июля. Жарища нестерпимая[1].

Вчера в Союзе композиторов РСФСР показал свой 12-й квартет. Играл Квартет имени Бетховена. Играл великолепно. И, как мне показалось, квартет произвел впечатление на собравшихся.

Какие у тебя планы на будущее? Поедешь ли куда, или будешь в Ленинграде? Напиши мне. Адрес такой:

Латвийская ССР. Город Юрмала. Деревня Майори. Почтовый ящик 23. Мне.

С 1-го августа мы, видимо, будем жить некоторое время в Комарове в Доме композиторов[2].

Было бы хорошо, если бы ты был там поблизости.

Передай сердечный привет Вере Васильевне.

Крепко жму руку.

Твой *Д. Шостакович*

Если будешь звонить по телефону, то надо вызвать город Юрмала. Телефон № 2-49-44[3].

Д. Ш.

Ирина шлет самые лучшие пожелания.

[1] В молодости Шостакович переносил легко жару, а в зрелые годы она его изнуряла и страшила. Во многих письмах он сообщал мне о жаре, как о стихийном бедствии, с которым справиться невозможно.

[2] Имеется в виду Репино, граничащее с Комаровым.

[3] Шостаковичу была всю жизнь свойственна «охота к перемене мест», и он без всякого промедления (тотчас по приезде) уведомлял меня о своем новом адресе со всеми подробностями, не терпя никакой небрежности.

229

22.VI.1968. Майори — 22 июня

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за письмо. Здесь жить стало лучше, спала жара. Причем, жара была невыносимая, и я думал, что не смогу ее перенести[1]. Однако, перенес и сейчас здесь очень хорошо.

Может быть, с 1-го августа мы будем жить в репинском Доме композиторов. Как было бы хорошо, если бы ты в это время был в Доме кинематографистов.

Здесь мы пробудем до 8-го июля. Живем во второразрядном санатории. Кормят скверно, невкусно и мало[2].

Но все это ничто в сравнении с морем и дивной красотой.

За последнее время я пристрастился к природе, видимо, из-за того, что она стала мне мало доступна. Мои перебитые ноги ходят плохо. Прогулки мне достаются с трудом. Запретный (и недоступный) плод сладок.

Вот я и пристрастился к ручейкам, полянкам, зефирам, цветочкам и ягодкам. Несколько раз пил здесь «Кристалл». Вкусом, цветом, запахом и ценой (3 р. 07 к.) «Кристалл» очень напоминает «Столичную».

Будь здоров. Очень хочется повидать тебя.

Твой Д. Шостакович

Латвийская ССР, г. Юрмала. Майори. Почтовый ящик № 23.

[1] См. примечание 1 к письму 228 от 15 июня 1968 года.

[2] Шостакович, при своем очень высоком художественном авторитете и ранге, не умел быть требовательным к своим удобствам. Скромность мешала ему предъявлять требования, и он часто довольствовался тем, «что дают».

230

5.VII.1968. Майори — 5 июля

Дорогой Исаак Давыдович!

Начиная с 9-го июля мы уже будем дома. Пожалуйста, сообщи твой летний адрес. Возможно, что в августе мы будем в Репине.

Твой Д. Шостакович

231

20.VII.1968. Жуковка — 20 июля

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за письмо. С 1-го августа мы будем в Репине в Доме композиторов. Там есть телефон: Зеленогорск, № 28-45. Звони в 9, 14 и в 19 часов. В это время мы будем близко от телефона. Очень хочу тебя видеть.

Твой Д. Шостакович

С 27 июля меняются мои номера телефонов: 2-29-95-29 (город) и 1-58-66-40 (дача).

Д. Ш.

232

2.VIII.1968. Репино — 2 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

Мы в Доме композиторов.

Звони по телефону № 28-45. Звони или в 9, или в 14, или 19 часов.

Д.Шостакович

Весь август и начало сентября Шостакович провел в репинском Доме композиторов. Я жил в двух километрах от него в Доме кинематографистов. Мы встречались почти ежедневно, хотя он был занят сочинением Скрипичной сонаты.

Однажды в августе он заехал за мной на машине и мы отправились в Сестрорецк на могилу М. М. Зощенко по случаю десятилетия со дня смерти замечательного писателя.

Он любил творчество Зощенко и в беседах со мной часто возвращался к его удивительным рассказам. Подробнее см. примечание 1 к письму 130 от 17 февраля 1960 года.

233

24.IX.1968. Жуковка — 24 сентября

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо тебе за письмо с описанием концерта, имевшего быть в Ленинградском концертном зале.

Хор студентов консерватории поет очень хорошо, и я рад, что на тебя произвело впечатление его пенье[1].

Ирина довольно хорошо практикуется в шоферском деле. Она довольно свободно ездит не только по пригородам, но и в самой Москве. Меня это очень радует. А то она ленилась и боялась. Теперь страх и лень у нее исчезли.

Завтра мне исполнится 62 года. Люди такого возраста любят пококетничать, отвечая на вопрос «если бы вновь родились, то как бы вы провели ваши 62 года, как и эти?» — «Да, конечно, были неудачи, были огорчения, но в целом я провел бы эти 62 года так же».

Я же на этот вопрос, если бы он мне был поставлен, ответил бы: «Нет! Тысячу раз нет!»[2].

В Ленинград я, видимо, приеду в начале ноября, когда намечается открытие сезона в Малом зале филармонии. Передай сердечный привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] Студенческий хор консерватории исполнял в упомянутом концерте, посвященном творчеству Шостаковича, его Десять хоровых поэм.

[2] В недобрый для себя час Дмитрий Дмитриевич, будучи великим художником и необыкновенным человеком, выразил острое недовольство собой. Нечто подобное происходило с Л. Н. Толстым или Пушкиным, также предъявлявшими к себе высочайшие требования.

Читая заключительную фразу: «Нет! Тысячу раз нет!», подчеркнутую восклицательными знаками, которыми Шостакович редко пользовался, я невольно вспомнил драматичное пушкинское «Воспоминание», перекликающееся по духу своему с высказыванием Дмитрия Дмитриевича. Я позволю себе его процитировать:

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.

И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

И Шостакович «строк печальных» не смывал, но он вспомнил о них с некоторой горечью в канун своего дня рождения.

234

9.X.1968. Жуковка — 9 октября

Дорогой Исаак Давыдович!

Ко мне обратился с просьбой о присуждении звания профессора скрипач М. Г. Симкин[1]. Обращаясь с этой просьбой, он не сообщил мне своих имени и отчества. Мне запомнилось, что ты с ним знаком и даже праздновал у него его день рождения[2]. Если это так, то сообщи мне его имя и отчество.

Д. Шостакович

[1] Шостаковича на протяжении многих лет осаждали знакомые и даже малознакомые музыканты, просившие его ходатайствовать о присвоении им различного рода званий. Дмитрия Дмитриевича это тяготило, но он покорялся особенно энергичным просителям, а имя им было — легион.

[2] Меня порадовала удивительная память Дмитрия Дмитриевича, вспомнившего мой рассказ двадцатилетней давности о дне рождения, на котором гости М. Г. Симкина взахлеб произносили тосты в честь «вождя и учителя товарища Сталина». Это меня ужаснуло, и я поделился впечатлениями о проведенном вечере с Шостаковичем.

А он, пожимая плечами и грустно улыбаясь, сказал: «Боже, что творится с людьми? Они даже в семейном кругу воспевают любимого вождя».

Именно обо всем этом он, вероятно, вспомнил в связи с просьбой М. Г. Симкина — хорошего скрипача и безобидного человека, не включившегося, кстати, в славословие Сталину. Это делали его друзья и знакомые.

235

26.X.1968. Жуковка — 26 октября

Дорогой Исаак Давыдович!

Закончил я Скрипичную сонату, над которой начал трудиться еще в Репине[1]. 3-го, 4-го и 5-го ноября в Ленинграде будет исполняться 12-й квартет. Мне бы хотелось, чтобы ты его послушал.

В Ленинград я не приеду, т. к. чувствую себя довольно посредственно. 3-го квартет будет в Доме композиторов, 4-го и 5-го в Малом зале филармонии. Если будет трудно с биле-

тами, то обратись к моей сестре (15-75-05). У нее должны быть билеты для меня в Малый зал.

Пока никому не говори о моем неприезде в Ленинград[2].

Передай сердечный привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] Соната сочинялась на моих глазах в августе. Это прекрасное произведение мне довелось услышать лишь 23 и 25 сентября в первоклассней шем исполнении Давида Ойстраха и Святослава Рихтера в Малом и Большом залах Ленинградской филармонии.

Премьера Сонаты была приурочена ко дню рождения Шостаковича.

[2] Дмитрий Дмитриевич неожиданно для меня изменил свое решение и, преодолев физическое недомогание, приéхал в Ленинград, где присутствовал на трех исполнениях Двенадцатого квартета (как было намечено). Квартет, насыщенный большой драматической силой, имел громадный успех.

Мне было больно смотреть, как Дмитрий Дмитриевич, опираясь на палку, с трудом взбирался под гром аплодисментов на эстраду Малого зала. Делал он это неохотно, но не мог пренебречь восторженным приемом публики. А ведь сравнительно недавно он так изящно и легко поднимался на эту же эстраду.

3 ноября после концерта в Доме композиторов мы с Шостаковичем скромно отметили премьеру Двенадцатого квартета в его номере в Европейской гостинице.

236

10.XI.1968. Жуковка

10 ноября

Дорогой Исаак Давыдович!

Извини, пожалуйста, что пишу на таком обрывке: нет у меня сейчас другой бумаги[1]. Вот съезжу в магазин и тогда куплю.

У меня дома не все благополучно. Внуки Андрей и Николай болеют коклюшем. От них заразился их отец Женя[2]. Для взрослых — это не очень приятная болезнь, чреватая всякими неприятными осложнениями. Простудилась и хворает Ирина. В общем, дома у меня госпиталь.

Познакомился я со Скрипичным концертом Баснера. По-моему, это очень хорошее произведение.

Сам я много сейчас работаю, делая корректуру клавира моей оперы «Нос», который собираются издать. В свое время я сделал этот клавир очень небрежно и сейчас привожу его в приличный вид[3].

Посмотрел по телевизору кинофильм «В огне брода нет». Картина мне понравилась[4]. И очень понравилась музыка Бибергана[5].

Пиши, не забывай.

Передай, пожалуйста, привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] На таких жалких клочках бумаги Шостакович был вынужден писать мне много писем во время войны, когда бумажный дефицит был крайне острым.

[2] Евгений Борисович Чуковский — кинооператор.

[3] Шостакович о «Носе» пишет в будничном, деловом тоне, без каких бы то ни было лирических отступлений и всплесков воспоминаний.

Как-никак, ведь речь шла не о каком-нибудь рядовом сочинении сорокалетней давности, а об оперном первенце Шостаковича, поставленном с громадным шумом и звоном в 1930 году. Почему же автор «Носа» в письме ко мне так поскупился на подробности, имевшие жгучий интерес? Ведь когда Дмитрий Дмитриевич разглядывал небрежно сделанный когда-то клавир, перед ним непременно вставали живые картинки далекого прошлого, связанные с постановкой оперы в Ленинграде.

Почему же об этом нет ни слова? Мне кажется, что Шостакович, говоря о своей юности, не любил красоваться, умиляться собой. Он всегда, в различные периоды жизни, считал себя взрослым. Я не помню, чтобы он произносил о себе расхожую фразу: «Ах, то было молодо-зелено!» В письме ко мне ему не захотелось вспоминать о «Носе», хотя он уверял меня, что воспоминания имеют над ним большую власть, но далеко не всегда возникает желание делиться ими.

Пройдет несколько лет, и обруганный, оплеванный, названный некогда исчадием формализма «Нос» будет поставлен с триумфальным успехом в Москве и за рубежом.

Мог ли на это рассчитывать скромнейший автор, корректируя клавир оперы?

[4] Фильм был поставлен режиссером Глебом Панфиловым по сценарию Евгения Габриловича.

[5] Вадим Давыдович Биберган (р. 1937) — бывший аспирант Шостаковича.

237

4.XII.1968. Москва — 4 декабря

Дорогой Исаак Давыдович!

Прости, что беспокою тебя по нижеследующему делу.

Вернувшись в Москву после десятидневного отсутствия, я нашел у себя письмо М. Г. Симкина[1]. Может быть, ты знаешь его адрес? Если да, то сообщи мне. Сам Симкин на конверте и в письме, видимо, забыл сообщить свой адрес. Еще раз прошу у тебя прощения.

Передай, пожалуйста, привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] См. примечание 2 к письму 234 от 9 октября 1968 года.

238

19.XII.1968. Москва 19 декабря

Дорогой Исаак Давыдович!

Прости, что долго не отвечал на твое письмо и не поблагодарил за адрес Симкина. Последний очень хочет стать профессором и от этого желания (Симкина) у меня с ним завязалась активная переписка[1].

Вернулся в Москву Д. Ф. Ойстрах и поиграл немного мою Скрипичную сонату. Сейчас возникает вопрос о партнере. По всей вероятности, партию рояля будет играть его постоянная партнерша Фрида Бауэр.

Сегодня должен исполняться мой 2-й виолончельный концерт. Заболел М. Ростропович и вместо него будет играть лауреат международных и всесоюзных конкурсов Наталья Гутман[2].

Целыми днями сижу на съезде композиторов[3]. Вечерами бываю на праздничных премьерах новых выдающихся музыкальных произведений. Но не всегда эти праздники оборачиваются для меня праздниками.

Будь здоров и благополучен.

Твой Д. Шостакович

Передай сердечный привет Вере Васильевне.

Д. Ш.

Я потрясен ужасным известием о гибели Г. Ю. Блажковой[4].

Д. Ш.

[1] Шостакович иронизирует над своей вынужденной перепиской с М. Г. Симкиным, пожелавшим стать профессором.

[2] Назвав Наталью Гутман «лауреатом конкурсов» Дмитрий Дмитриевич тем самым хотел сказать, что пока она еще уступает Ростроповичу. То было в 1968 году, но впоследствии Н. Г. Гутман стала поистине выдающейся виолончелисткой и, кстати сказать, блестящей исполнительницей произведений Шостаковича.

[3] Дмитрий Дмитриевич, конечно, не счел нужным сообщить мне, что делегаты съезда устроили ему восторженную встречу, когда он появился на эстраде, но он дал мне понять, что ему было тягостно сидеть на заседаниях, а по вечерам слушать много посредственных сочинений, которые он в шутку назвал «выдающимися».

[4] Музыковед, жена дирижера И. И. Блажкова, покончившая жизнь самоубийством.

1969

239

2.I.1969. Москва 2 января

Дорогой Исаак Давыдович!

Горячо поздравляю тебя и всех твоих близких с Новым годом. Ирина также горячо поздравляет.

Возможно, что тебе уже известно о том, что величайший прыгун нашей эпохи Валерий Брумель три года тому назад сломал свою ногу. Два с половиной года его лечили величайшие медсветила нашей эпохи, однако «о прыгать не могло быть и речи»[1]. В. Брумель все это время ходил на костылях. Нынче он возобновил тренировки и намеревается установить новые рекорды. За два с половиной месяца его вылечил малоизвестный врач из Кургана[2]. Я не собираюсь прыгать в высоту, в длину и т. п. Я хочу более или менее правильно ходить по лестницам, по пригоркам. Хочу не чувствовать себя инвалидом. А то, иногда я совсем падаю духом[3]. Вероятно, недели через две я отправлюсь в Курган. Может быть, это путешествие мне поможет. А может быть, этот врач восстановит работоспособность моей правой руки. Как это было бы хорошо!

Д. Ойстрах и С. Рихтер сыграют мою Сонату 3-го и 4-го мая в Москве. Увы, раньше это невозможно, т. к. оба они смогут быть одновременно в Москве именно в это время.

Д. Ойстрах уже наигрывает Сонату. Сопровождали его в этом Г. Рождественский, Рихтер и... я. Легкие места я играл хорошо, трудные скверно.

Передай, пожалуйста, сердечный привет Вере Васильевне.

Твой *Д. Шостакович*

[1] Данное письмо проникнуто смехом сквозь слезы. Окрашенные мягким юмором слова о «величайшем прыгуне нашей эпохи» завершаются оборотом из одесского жаргона: «О прыгать не может быть и речи». Наряду с этим звучит засурдиненная жалоба на физический недуг.

[2] Имеется в виду Гавриил Абрамович Илизаров.

[3] Страстная, но, увы! несбыточная мечта об исцелении ног терзала Дмитрия Дмитриевича, и он временами падал духом, который, тем не менее, был могуч. Именно животворящий дух непрестанно и безостановочно выражал себя в создании бесценных музыкальных произведений.

240

1.II.1969. Москва

1 февраля

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за письмо. В моем больничном одиночестве оно меня очень обрадовало.

Сейчас в Москве свирепствует грипп, и поэтому в больнице карантин, посещения запрещены. С доктором Илизаровым (не Елизаровым, как я тебе сообщал) намечена связь. Сейчас в Кургане его нет. Он ездит по области. Это врач-труженик, помогающий своим ближним и свято соблюдающий клятву Гиппократа. Боязно мне, что мои ноги это не его «профиль». Он ортопед и костоправ. Мои кости после переломов, как мне говорят врачи, которые лечили меня, срослись превос-

ходно. Поэтому Г. А. Илизарову, очевидно, с моими костями делать нечего. Слабость моих ног мне объясняют нервным заболеванием. (?) Во всяком случае, после моего выхода из больницы, я поеду в Курган. Выйду я после 15-го. Брумеля (прыгуна) тоже лечили, и все же он два с половиной года ходил на костылях. После встречи с Илизаровым он начал тренировки и уже добивается выдающихся успехов.

Я прыгать не хочу. Но я хочу влезать в автобус, троллейбус, трамвай. Хочу не замирать от страха, ступая по эскалатору на метро. Хочу легко ходить по лестницам. Желания скромные[1]. Здесь мне обещают сделать ноги и правую руку сильнее. Поживем — увидим.

Последнее время я много сочиняю. С одной стороны — «это влечение — род недуга», а с другой, видимо, старческая графомания[2]. Сейчас пишу ораторию для сопрано, баса и камерного (Баршаевского)[3] оркестра на слова Федерико Гарсия Лорки, Гийома Аполлинера, Райнера Марии Рильке и Вильгельма Кюхельбекера. Задумано, как мне кажется, интересно. Так или иначе, это занятие меня увлекает и развлекает.

Если в Ленинграде будет гастролировать оркестр Баршая, и если в его программе будут 10-я симфония Вайнберга, симфониетта Б. Чайковского, обязательно пойди послушать. Это удивительно прекрасные произведения. Вообще, этих композиторов держи в черте своего внимания.

Будет время — пиши мне.

Передай сердечный привет Вере Васильевне.

Ирина кланяется (по телефону).

Твой Д. Шостакович

[1] Врачи из Кремлевской больницы, долго лечившие Дмитрия Дмитриевича, не смогли ему помочь, и он, узнав о докторе-чародее Г. А. Илизарове, возлагал на него горячие надежды.

[2] Сочиняя Четырнадцатую симфонию, а о ней идет речь, Шостакович еще не осознавал того, какая гигантская художественная сила в ней заключена. Меня озадачило и поразило насмешливо-снисходительное отношение автора к своему опусу. В больнице рождались страницы потрясающей музыки, а свой вдохновенный труд он в порыве какого-то самоуничижения определил, как «старческую графоманию». Такого с Дмитрием Дмитриевичем еще не бывало. Быть может, он меня интриговал? Я хорошо знаю, что ему случалось с пренебрежением и раздражением говорить о так называемой музыке, которую он был вынужден писать, но в данном случае дело шло о воплощении глубочайшего замысла, который вынашивался им несколько лет. Дмитрий Дмитриевич, явно интригуя меня, писал, что работа над ораторией (так он сначала называл симфонию) его «увлекает и развлекает». Оба глагола плохо вяжутся с характером музыки, источающей огненную энергию.

Вскоре загадка была разгадана самым неожиданным образом. Когда Четырнадцатая симфония была завершена, Шостакович признал ее самым лучшим своим произведением, оставившим далеко позади все, что было им создано.

[3] Имеется в виду Московский камерный оркестр под руководством Рудольфа Баршая.

241

17.II.1969. Москва

17 февраля

Дорогой Исаак Давыдович!

10 февраля я вспомнил Ивана Ивановича. Поражался, что со времени его смерти прошло уже 25 лет[1].

Спасибо тебе, что ты мне описал вечер в честь его памяти в Союзе композиторов. Высококвалифицированный Андроников в своих воспоминаниях и «устных рассказах», посвященных Ивану Ивановичу, допускает слишком много шутовства горохового[2].

Очевидно, это самое гороховое шутовство наличествовало в зале Дома композиторов. Очень хорошо, что ты напомнил о том, что Иван Иванович Соллертинский был одной из самых трудолюбивых и трагических натур нашего века, что он был одним из самых остроумнейших людей нашего века, что он никогда не был шутом гороховым[3].

Очевидно, дней через десять меня выпишут из больницы. Вчера я закончил клавир моего нового сочинения[4]. Ораторией его назвать, видимо, нельзя, т. к. оратория как будто требует участия хора. А у меня хора нет. Есть солисты — сопрано и бас.

Когда буду дома, то перепечатаю на машинке те стихи, которые я использовал в новом opus'e. Симфонией его тоже, пожалуй, назвать нельзя. Я первый раз нахожусь в недоумении, как назвать свое сочинение[5].

Как много среди негениальных поэтов настоящих больших художников. Я говорю о Кюхельбекере, над которым смеялись его современники и даже Пушкин. Выйду из больницы, буду изучать негениальных писателей и поэтов[6].

Есть у меня дерзкая мысль: хочу приехать в Комарово недельки на две. Тогда ты ко мне обязательно приезжай. И, если решишь приехать, то захвати с собой «Столичную». А расходы я беру на себя[7].

В общем, буду держать тебя в курсе моих намерений.

Спасибо за то, что не забываешь.

Передай привет Вере Васильевне.

Ирина также шлет привет.

Твой Д. Шостакович

[1] И. И. Соллертинский скончался в ночь с 10 на 11 февраля 1944 года.

[2] Шостакович ценил талант Ираклия Андроникова, но полагал, что в его показе И. И. Соллертинского чересчур заострялась эксцен-

тричность Ивана Ивановича, вследствие чего его портрет для неосведомленной публики приобретал характер гротеска. Вместе с тем повествование Ираклия Андроникова о Соллертинском, взятое в целом, было проникнуто любовью к Ивану Ивановичу.

[3] Аналогичную характеристику я дал в своем выступлении в Доме композиторов на вечере, посвященном памяти И. И. Соллертинского, 10 февраля 1969 года. Мне не понравилась серия анекдотов об Иване Ивановиче, которыми ораторы забавляли и смешили аудиторию. Я говорил, что жизнь И. И. Соллертинского была тяжелой, порой мучительной, что он терпел всяческие поношения от влиятельных чиновников и газетчиков, что он умел не только смеяться, но был вынужден и плакать. Моя скромная речь по контрасту с рассказчиками анекдотов и каламбуров произвела некоторое впечатление.

[4] Закончив 16 февраля 1969 года клавир Четырнадцатой, Шостакович совершил настоящий творческий подвиг, ибо ошеломляющая своей художественной оригинальностью симфония была написана в кратчайший срок, да еще в больничной палате. Казалось бы, об этом важном событии он мог бы написать с гордостью, но он ограничился лаконичным, деловым сообщением.

[5] Вероятно, многочастность сочинения (11 частей), отсутствие традиционной симфонической цикличности, внешняя пестрота словесной основы порождали у Шостаковича сомнения в его жанровой принадлежности. Однако вскоре он убедился в том, что все произведение отличается драматургической целостностью и проникнуто симфонизмом, и появилась Четырнадцатая.

[6] Шостаковича увлекли свободолюбивые, антитиранические стихи Кюхельбекера, ставшие девятой частью симфонии, и он с юношеским простодушием известил меня о начале изучения негениальных писателей и поэтов.

[7] По окончании Четырнадцатой симфонии Дмитрий Дмитриевич испытывал сильный подъем духа. (Я умел узнавать по различным подробностям письма его состояние.)

Ему захотелось окропить свое новое сочинение рюмкой водки, но, разумеется, не в больнице, а в Репине, вместе со мной. И вот, загодя, он уже заказал мне «Столичную» и с трогательной наивностью взял на себя «расходы». Этот вакхический план был осуществлен лишь 12 апреля в репинском Доме композиторов.

Тут, к слову сказать, я должен заметить, что Дмитрий Дмитриевич, чуть-чуть захмелев, был удивительно приятен, легок, обворожителен в застольной беседе. В таких случаях (а их было великое множество) я, с удовольствием глядя на Шостаковича, часто вспоминал слова Чехова о вине, которое благодетельно действовало на его деда и отца. Чехов писал: «Вино делало их благодушными и остроумными, оно веселило сердце и возбуждало ум» (письмо к А. С. Суворину от 10 октября 1888 года).

242

19.III.1969. Москва — 19 марта

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за письмо. Посылаю тебе стихи, которые я использовал в своей 14-й симфонии для сопрано, баса и камерного

оркестра. Оркестром будет руководить Баршай. Певица, очень надеюсь, будет Вишневская. Бас еще не подобран.

Подборка стихов вызвана следующим обстоятельством: мне пришло в голову, что существуют вечные темы, вечные проблемы. Среди них — любовь и смерть.

Вопросам любви я уделил внимание хотя бы в «Крейцеровой сонате» на слова Саши Черного[1]. Вопросами смерти я не занимался. Накануне ухода в больницу, я прослушал «Песни и пляски смерти» Мусоргского, и мысль заняться смертью у меня окончательно созрела[2].

Я бы не сказал, что я смиряюсь перед этим явлением. Вот и стал я подбирать стихи. Подбор стихов возможно случайный. Но мне кажется, что музыкой они объединены[3]. Писал я очень быстро. Я боялся, что во время работы над 14-й симфонией со мной что-нибудь случится, напр[имер], перестанет окончательно работать правая рука, наступит внезапная слепота и т. п. Эти мысли меня изрядно терзали[4]. Но все обошлось благополучно. Рука кое-как работает, глаза видят. Чтобы покончить со здоровьем, сообщаю тебе, что ноги у меня стали ходить несколько лучше. Правая рука стала работать заметно хуже.

В конце месяца в Москву приезжает доктор Илизаров (а не Елизаров, как я тебе писал). Он меня примет и выскажет свое суждение. Однако, вряд ли он мне поможет. Не его профиль. Его профиль — это сращивать кости. Кости же у меня срослись.

14-я симфония (так я решил назвать этот opus), как мне кажется, является для меня этапным сочинением. Все, что я писал за последние многие годы, было подготовкой к этому сочинению. Возможно, впрочем, что я ошибаюсь[5].

В стихотворении «Малагенья» слова «Запахли солью и женской кровью», я заменил: «Запахли солью и жаркой кровью». «Женская кровь» вызывает менструально-гинекологические ассоциации у ценителей поэзии типа Н. И. Пейко[6].

Я завидую тебе, что ты время от времени гуляешь на разного рода юбилеях. Я почти совсем перестал этим заниматься. К моему огромному огорчению, алкоголь не доставляет мне никакой радости. Это ужасно[7].

Я очень давно тебя не видел. Очень скучаю.

Твой Д. Шостакович

Передай, пожалуйста, сердечный привет Вере Васильевне.

[1] В очень серьезный разговор о замысле Четырнадцатой симфонии Дмитрий Дмитриевич неожиданно вносит юмористическую ноту. Такие модуляции вообще были ему свойственны. Упоминая разработанную им тему любви, он в шутку называет «Крейцерову сонату» — гротескно-юмористическую сценку между «интеллигентом-квартирантом» и «полной прачкой Феклой» — представительницей «народа».

[2] «Мысль заняться смертью» у Шостаковича «окончательно со-

зрела» в начале 1969 года, но она занимала его давно. Мне думается, что он не случайно летом 1962 года сделал оркестровую редакцию «Песен плясок и смерти» Мусоргского.

[3] Замечательные стихотворения разных поэтов были подобраны Шостаковичем с глубоким ощущением темы Четырнадцатой симфонии. Музыка с волшебной силой объединила столь несхожие по языку и стилю стихотворения, ибо, когда я слушал симфонию, у меня возникло прямо-таки мистическое чувство: мне показалось, что все номера соединились сами по себе, без вмешательства композитора, что это было кем-то предусмотрено и предопределено. Герои и героини симфонии, объединенные роковой судьбой, протягивают друг другу руки, образуя полыхающий, огненный круг. Этот круг переступили и зажили своей особой, многозначительной жизнью, полной аллюзий, восьмая и девятая части симфонии: «Ответ запорожских казаков константинопольскому султану» и «О, Дельвиг, Дельвиг».

[4] Подобные страхи Шостакович неоднократно испытывал в процессе сочинения очередного произведения.

[5] Это признание чрезвычайно интересно и в творческом и личном плане. Шостакович был эмоционально потрясен своим творением, и он поднял его на ту высоту, которой недоступно все то, что он сочинял в предыдущие годы. К этому, во многом парадоксальному высказыванию, Дмитрий Дмитриевич впоследствии не возвращался. Оно, вероятно, возникло спонтанно, когда он еще не остыл от творческого жара, когда в поднявшейся душевной буре размылись, потускнели, потеряли свой подлинный лик великие симфонии, оперы, квартеты, вокальные циклы...

[6] Шостакович иронизирует над педантом и доморощенным сноб и приводит в пример Николая Ивановича Пейко, по-снобистски относившегося к стихам из Тринадцатой симфонии. Впрочем, произведения этого композитора Дмитрий Дмитриевич ценил.

[7] Жалобу Шостаковича отнюдь не следует воспринимать в комическом плане. В ней выражена невеселая мысль о неудовлетворительном состоянии собственного здоровья, принуждающем отказываться от привычного образа жизни.

243

19.III.1969. Москва

19 марта

Дорогой Исаак Давыдович!

Послал я тебе стихи, которые использовал в своей 14-й симфонии. И вот вдогонку посылаю тебе несколько вопросов.

1. Правильно ли я поступил, что в первом стихотворении[1] я сочинил так:

Красным песком покрыты
Дороги Андалусии.

Т. е. ударение на предпоследнем слоге, а не на третьем.

2. 5-е стихотворение «Начеку».

Помоги пересочинить четвертую строку от конца («То пробил час любви и жаркого невроза»)[2].

Меня здесь очень не устраивает медицинский термин «невроз». В подлиннике речь идет о лихорадке. Придумай что-нибудь, вроде:

То пробил час любви. Война грохочет грозно.

«В тюрьме Санте».

У Аполлинера там много стихов, из которых я выбрал по одному или по два четверостишия. Это я тебе объясняю, чтобы ты не возмущался бесформенностью этого стихотворения[3].

Хочу еще сообщить тебе, что
№ № 2, 3, 4 идут без перерыва.
№ № 6, 7 идут без перерыва.
№ № 8, 9 идут без перерыва.
№ № 10, 11 идут без перерыва.
№ 1 поет бас.
№ 2 — сопрано.
№ 3 — диалог сопрано и баса.
№ 4 — поет сопрано.
№ 5 — сопрано.
№ 6 — диалог баса и сопрано.
№ № 7, 8, 9 — бас.
№ 10 — сопрано.
№ 11 — диалог сопрано и баса.

Вряд ли это прояснит что-либо, но все же, как-то мне хотелось, чтобы ты знал это до более точного знакомства.

Передай привет Вере Васильевне.

Твой *Д. Шостакович*

[1] Первая часть симфонии носит заглавие «De profundis» (перевод И. Тыняновой).

[2] Я выполнил просьбу Дмитрия Дмитриевича и сделал свой вариант стихотворной строки, в которой изъято неудачное слово переводчика «невроз».

[3] Зная о моем уважительном отношении к авторскому тексту, Шостакович опасался, что я выскажу недовольство сделанными им купюрами в стихотворении Аполлинера. Но его опасения были напрасными. «В тюрьме Санте» — одна из наиболее драматических частей симфонии. В ней с непостижимым мастерством музыкально изображены ужас и беспросветный мрак тюремного одиночества, страшное безмолвие тюремной камеры. Тема эта с давних пор волновала Дмитрия Дмитриевича в годы сталинского террора, и она нашла потрясающее выражение в седьмой части симфонии.

244

25.III.1969. Москва 25 марта

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за письмо и за помощь в деле ликвидации «невроза»[1]. Твоя поправка очень хороша:

То пробил час любви, час лихорадки грозной.

Сегодня я получил из переписки клавир 14-й симфонии. Скоро получу и партитуру. Затем, проделав корректуру, отдам переписывать голоса. Голоса, наверное, будут переписаны быстро. Оркестр маленький. 10 скрипок, 4 альта, 3 виолончели, 2 контрабаса и набор ударных[2]. Очень меня беспокоит бас. Из-за баса хожу по оперным спектаклям. Может быть, найдется подходящий.

Я не понял твоего замечания по поводу стихотворения «Малагенья». Почему между

Черные кони и темные души
В ущельях гитары бродят.
Запахли солью и черной кровью
Соцветия зыби нервной

нужно сделать многоточие? Впрочем, ты мне объяснишь это при встрече, о которой очень мечтаю.

Очень хочу тебя видеть.

Передай привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] См. примечание 2 к письму 243 от 19 марта 1969 года.

[2] Из этого маленького состава Шостакович извлек поразительные оркестровые краски и эффекты.

245

28.IV.1969. Жуковка 28 апреля

Дорогой Исаак Давыдович!

Конечно, мне очень жалко, что ты не приедешь[1]. С другой стороны, может быть, это и лучше: я нахожусь в очень большом волнении перед премьерой. А волнующийся человек эгоистичен и общество его бывает неприятно тем, кому приходится с ним общаться.

Кроме того, мне хочется, чтобы все майские праздники ты хорошо бы отдохнул.

Мое волнение меня удивляет. Ведь много было у меня премьер на моем веку. Были и хорошие, и плохие.

Д. Ойстрах и С. Рихтер играют очень хорошо. Может быть, так хорошо, что и волноваться не стоит.

Не могу похвастаться своим самочувствием. Организм приближается к старости. Если к этому прибавить сломанные ноги, плохо работающий желудок и т. п., то жизнь моя проходит грустно. Кроме того, много волнений и не только за премьеру, но и за многое другое.

В Ленинграде моя Соната будет исполнена в сентябре. Но уже Рихтер не будет принимать в ней участия[2]. Ойстрах будет ее играть с Фридой Бауэр. Это очень хорошая пианистка, постоянная ойстраховская ансамблистка.

Майские праздники у меня будут трудные. Мечтаю об отдыхе. Однако отдыхать как-то трудно: полного покоя нет и, видимо, не будет[3]. Недавно меня очень порадовал Максим: он очень хорошо сыграл 2-ю симфонию Малера[4].

Подбираю баса для 14-й симфонии. Есть в Москве на радио певец Евгений Владимиров. Голос сильный, красивый. Смущает меня лишь его наружность. Он очень маленького роста, очень худенький и неказистый. Однако музыкален. Разучивает свою партию с увлечением[5].

Жаль, что ты совсем не знаешь мою новую симфонию. Когда мы с тобой встретились в Репине, то я быстро вышел из строя[6].

Передай, пожалуйста, привет Вере Васильевне и всем твоим. Ирина присоединяется к этому привету.

Твой Д. Шостакович

[1] 12 апреля 1969 года Шостакович, будучи в Репине, пригласил меня приехать в Москву на премьеру Скрипичной сонаты, намеченную на 3 и 4 мая. Вскоре обнаружилось, что я приехать не смогу, о чем и известил Дмитрия Дмитриевича. Интересен ход его рассуждений по поводу моего вынужденного неприезда: он опасался, что своими волнениями и нервозностью перед премьерой он будет мне докучать.

[2] Предположение Шостаковича не оправдалось, так как у Святослава Рихтера переменились планы его гастрольных поездок и 23 и 24 сентября он вместе с Давидом Ойстрахом исполняли Скрипичную сонату в Ленинграде в Малом и Большом залах филармонии.

[3] Шостакович по этому поводу мог бы процитировать любимого им Александра Блока: «Покой нам только снится».

[4] Отцовские чувства никогда не мешали Дмитрию Дмитриевичу судить о дирижерских достоинствах сына со строгой объективностью.

[5] Шостакович мечтал о том, чтобы солист (бас) в его Тринадцатой и Четырнадцатой симфониях был наделен не только музыкальностью и хорошим голосом, но и интеллектом. Он часто говаривал: «Бас-дурак для этого занятия не пригоден».

[6] Шостакович предполагал показать мне отдельные части Четырнадцатой 12 апреля 1969 года после ужина, устроенного им в Репине, в коттедже № 20, по случаю окончания симфонии, но после трапезы он почувствовал сильную усталость и, к сожалению, отказался от своего намерения.

246

12.V.1969. Москва 12 мая

Дорогой Исаак Давыдович!

Твое письмо меня обрадовало и огорчило. Обрадовало твое доброе ко мне внимание, огорчила твоя ипохондрия. Надо надеяться, что летом ты отдохнешь и всякие ипохондрии сами исчезнут.

Д. Ойстрах и С. Рихтер будут играть мою Сонату в Ленинграде 21-го и 22-го сентября. 21-го в Малом зале, а 22-го в Большом зале филармонии[1].

Меня это известие обрадовало, т. к. Рихтер играет свою партию прекрасно. Наверное, через неделю Баршай начнет разучивать мою 14-ю симфонию. Сейчас переписываются голоса и скоро будут готовы. Испытываю сильное волнение. Как это будет звучать?

Будь здоров. Твой Д. Шостакович

Передай привет Вере Васильевне.

Д. Ш.

[1] Концерты состоялись 23 и 24 сентября 1969 года.

247

10.VI.1969. Москва 10 июня

Дорогой Исаак Давыдович!

С большим опозданием отвечаю на твое письмо. Меня потрясла гибель Нины Ефимовны Баснер. Она была очень хорошим человеком. Ее болезнь сломила ее волю. Она покинула семью, дом, детей[1].

Вчера скончался Ефим Борисович Галантер. Он занимал должность директора Большого зала консерватории. Ему было 83 года. Он всю жизнь проработал в Большом зале, администрировал, отказывал в контрамарках, когда их не было. Выслушивал угрозы и оскорбления, когда приходилось отказывать в контрамарках значительному лицу. Вытирал пыль, нервничал, когда билеты шли плохо[2].

Баршай начал репетировать мою 14-ю симфонию. Оркестр играет великолепно. Певцы еще не готовы. 22-го июля у оркестра начинается отпуск. Возобновят свои занятия с 1-го сентября. В конце сентября Р. Баршай хочет устроить премьеру.

С 1-го июля мы будем в Дилижане.

Пиши, не забывай.

Передай привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

Ирина шлет привет.

Имеется в виду жена композитора В. Е. Баснера, покончившая жизнь самоубийством, будучи в состоянии депрессии.

[2] Вспоминая жизнь Е. Б. Галантера, Дмитрию Дмитриевичу, вероятно, хотелось повторить слова Гоголя: «Скучно на этом свете, господа!». Он часто в раздумье произносил эту фразу.

248

24.VI.1969. Москва — 24 июня

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за письмо. Я очень жалею, что не побывал на «Бенвенуто Челлини». Я немного знаю эту оперу, а ее автора боготворю[1]. Может быть, мне удастся послушать ее осенью.

21-го было нечто вроде прослушивания моей 14-й симфонии в Малом зале консерватории. Исполнение было на высшем уровне совершенства. Баршай и его оркестр — явление поразительное. Недурно пели певица Мирошникова и певец Владимиров. Они вроде кроликов, т. к. Вишневская еще не выучила свою партию, а другого баса пока подобрать не могу. Мне кажется, что Мирошникова, наряду с хорошим голосом, обладает талантом и пониманием.

В Москве произошли печальные события. Скончался главный режиссер цирка Арнольд Григорьевич Арнольд. Он был славным человеком[2]. Во время пятого номера моей симфонии стало дурно музыкальному деятелю Павлу Ивановичу Апостолову. Он успел выйти из битком набитого зала и через некоторое время скончался[3].

1-го июля мы вылетаем в Ереван, а оттуда в Дилижан (или Делижан). Правильнее «и», хотя в некоторых словарях этот городишко пишется через «е». Адрес такой: Армянская ССР. Дилижан. Дом композиторов. Было бы очень приятно получить от тебя весточку. В Дилижане пробудем до 20-го июля, а потом, возможно, уедем на Байкал. Передай сердечный привет Вере Васильевне. Твой *Д. Шостакович*

P. S. Симфония произвела на собравшихся сильное впечатление. На меня тоже[4].

О «Барышне и хулигане» я написал свое согласие И. Н. Киселеву[5].

Д. Ш.

[1] Это признание Шостаковича явилось для меня некоторой неожиданностью, так как Гектор Берлиоз, по-моему, не числился в списке его самых любимых авторов. Этот замечательный композитор был кумиром И. И. Соллертинского, по настоянию которого в 30-х годах в филармонии очень часто исполнялись сочинения Берлиоза. Я отчетливо помню, что Дмитрий Дмитриевич не пропускал ни одного концерта, в котором звучал Берлиоз. Он восхищался новизной и блеском его инструментовки, чрезвычайной оригинальностью и гран-

диозностью таких его произведений, как Фантастическая симфония, «Гарольд в Италии», «Ромео и Джульетта», Реквием, но я, по правде сказать, не знал, что он «боготворил» Берлиоза, и об этом он мне поведал в данном письме. Я пригласил Дмитрия Дмитриевича на премьеру оперы «Бенвенуто Челлини», поставленной при моей консультации режиссером Р. И. Тихомировым в Малом оперном театре. Но спектакль ему посмотреть так и не удалось.

[2] Шостакович был с ним знаком по Ленинграду и время от времени играл с ним в карты, к которым в 30-х годах испытывал влечение. Арнольд был искусным игроком, и Дмитрий Дмитриевич (в моем присутствии), как правило, ему проигрывал. Поговаривали, что против него не мог устоять сам Маяковский, знавший толк в карточной игре. Арнольд (его так все называли, имея в виду и имя и фамилию) был красочной фигурой на ленинградском пейзаже. То был человек очень высокого роста, стройный, худой, в широкополой черной шляпе, похожей на сомбреро, с неизменной тростью в руке. Мне он почему-то напоминал аргентинца, сошедшего с киноплаката. Арнольда можно было увидеть прогуливающимся ежедневно по Невскому проспекту. Дело в том, что прогулка по Невскому была каким-то неписаным законом для ленинградцев, относящихся к художественному миру города. И молодой Шостакович следовал этому укоренившемуся с далеких, быть может, пушкинских, времен обычаю.

[3] П. И. Апостолов, работавший одно время в аппарате ЦК партии, был на протяжении многих лет непреклонным и непримиримым борцом против формализма в музыке. А так как одним из корифеев этого «зловредного» направления был Шостакович, следовательно, отношение к нему со стороны П. И. Апостолова было соответствующим. И вот, прослушав четыре номера симфонии, он был сражен пятым номером, носящим заглавие «Начеку». В этом можно усмотреть таинственный перст судьбы, так как бедный Апостолов был всегда начеку.

Дмитрий Дмитриевич сообщил мне об этом драматическом происшествии без всяких комментариев, беспристрастным языком «Хроники концертной жизни», рассчитывая на то, что я сам хорошо осведомлен о деятельности покойного. Он считал бестактным напоминать мне об этом.

[4] О колоссальном впечатлении, которое произвела на слушателей Малого зала Четырнадцатая симфония, Шостакович извещал меня не в начале письма, не в центре его, а лишь в постскриптуме, что называется, мелким шрифтом, очень сдержанно, скупо, присовокупляя и себя к числу слушателей тремя словами. Это очень характерная психологическая черта в натуре Шостаковича, которому было глубоко чуждо какое бы то ни было самовосхваление. В редких, исключительных случаях он с удовлетворением говорил о своей несломленной, несмотря на все гонения и травлю, творческой воле.

[5] На «Ленфильме» была задумана (и осуществлена) экранизация балета «Барышня и хулиган» на музыку Шостаковича. Студия через мое посредство обратилась к Дмитрию Дмитриевичу с просьбой дать согласие на эту кинопостановку. Направленное к нему письмо было подписано директором «Ленфильма» Ильей Николаевичем Киселевым.

249

22.VII.1969. Москва 22 июля

Дорогой Исаак Давыдович!

Мы вернулись в Москву из Дилижана, где хорошо провели время. 28-го июля мы садимся в поезд и едем до Иркутска. С 1-го августа по 24-е августа мы будем находиться по адресу: Иркутская область. Поселок Лиственичное. Санаторий «Байкал»[1].

Я никогда не был на озере Байкал и поэтому еду туда с большим любопытством. Ноги меня пока еще носят, но несколько хуже, чем год назад. Правая рука заметно ухудшила свою работоспособность. В Дилижане композитор Авсет Тертерян познакомил меня с некоторыми своими произведениями. Он, как мне показалось, очень талантлив. Больше у меня не было знакомства с неизвестными произведениями. Правда, прослушал я на пластинке Концерт для саксофона Э. Оганесяна и Концерт для саксофона А. Глазунова. Оганесян мне понравился. Концерт Глазунова до слез плох[2].

Очень бы хотелось получить от тебя весточку. Пиши обязательно.

Передай привет Вере Васильевне, Фане Борисовне и всем твоим.

Твой Д. Шостакович

[1] Мужественно преодолевая физические недуги, Шостакович до конца жизни сохранял любовь к дороге. Его не покидала жажда познания, именно поэтому он придумывал замысловатые маршруты путешествий. Неутолимая любознательность была признаком душевной молодости Дмитрия Дмитриевича.

[2] Шостакович испытывал никогда не угасавший интерес к творчеству своих коллег, живших в разных концах света. Его радовали произведения, отмеченные талантом, и огорчали слабые, неудачные вещи.

250

18 августа 1969. Байкал 18 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

Огорчил ты меня своим письмом. Пожалуй, первый раз за наше с тобой долгое знакомство, ты жалуешься на свои нервы. Береги себя. Принимай валокордин и обрати внимание на сердце. Покажись врачу. Может быть, тебе надо подлечить сердце. Не пей много. Уменьши курение, или совсем прекрати таковое.

Я лишен литературных дарований и поэтому не смогу достойно описать ту неслыханно прекрасную красоту Байкала, свидетелями которой нам с Ириной посчастливилось нынче быть[1]. Мы живем в санатории очень хорошем и благоустроенном.

Санаторий построен на том месте, где Ангара вытекает из Байкала. Красота неописуемая.

24-го утром мы покидаем санаторий и переплываем Байкал на катере и пристаем к берегам Бурятии. Затем едем автотранспортом до города Улан-Удэ, куда нас пригласили бурятские друзья. Затем поедем (не полетим) в Москву. Сюда мы тоже ехали поездом. Было приятно. Тяжелы были лишь последние сутки: наступила невероятная жара[2]. Дважды мы выезжали в Иркутск. Это очень красивый город.

В санатории познакомился с моим двоюродным братом Сергеем Владимировичем Шостаковичем. Это довольно дряхлый человек. Он старше меня на четыре года. Последний раз мы с ним виделись 55 лет тому назад[3]. Мне понравилось, что он не собирается приехать в Москву погостить к нам, а также не посылает останавливаться у нас своего сына, который иногда приезжает в командировку в Москву. В остальном — довольно ординарный старик, напоминающий своим существованием о том, что скоро мне исполнится 63 года, что ноги мои ходят очень плохо. Однако, хожу я здесь очень много. Байкал так прекрасен, что отрываться от него очень трудно.

21-го и 22-го сентября в Ленинграде Д. Ойстрах и С. Рихтер собираются сыграть мою Сонату. А 25-го и 26-го в зале капеллы Баршай собирается продемонстрировать мою 14-ю симфонию.

Передай сердечный привет Вере Васильевне. Она уже, наверное, вернулась из своей поездки.

Ирина шлет привет.

Твой Д. Шостакович

[1] По убеждению Шостаковича, непрестанные болезни обострили его любовь к природе, и это чувство постепенно приобрело характер восторженного преклонения перед нею. Природа внушала ему и душевный покой, и радостное мироощущение.

[2] Жара — это устойчивый мотив в биографии Шостаковича. Она всегда наводила на него тоску, уныние, безнадежность. Когда жара сменялась прохладой, в нем пробуждалась жажда деятельности.

[3] То есть в семилетнем возрасте Шостаковича. Об этом факте он пишет с полной серьезностью, без, казалось бы, уместной в данной подробности усмешки или иронического восклицания. Но я уже упоминал о том, что он всегда считал себя взрослым, быть может, даже в семь лет от роду! Встреча с кузеном (историком по профессии), коего он не видел 55 лет, по-моему, несколько обескуражила Дмитрия Дмитриевича. По моим наблюдениям, неблизкие, мало знакомые родственники не вызывали у него безотчетной симпатии. Больше того: он ограждал себя как мог от назойливости тех родственников, с которыми не имел духовного родства.

10.IX.1969. Жуковка

10 сентября

Дорогой Исаак Давыдович!

Сроки концертов в Ленинграде изменяются. Сонату Д. Ойстрах и С. Рихтер будут играть 23-го в Малом зале и 24-го в Большом зале филармонии.

14-я симфония будет исполняться 28 и 29 в капелле.

Мы приедем 22-го сентября[1].

Билеты тебе на все концерты устроим. Спасибо за письмо. Ирина шлет привет. Кланяйся Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] Шостакович приехал в Ленинград в назначенный им срок — 22 сентября, а на следующий день началась триумфальная неделя его музыки. 23 сентября в Малом зале, а 24-го в Большом зале филармонии прозвучала чудесная Скрипичная соната в исполнении Давида Ойстраха и Святослава Рихтера. Нет надобности говорить о феноменальном успехе этих концертов, на которых я присутствовал, испытывая радость от общения с великим искусством Шостаковича и его интерпретаторов. 25 сентября в концертной жизни наступило некое интермеццо (вставная сцена): Дмитрий Дмитриевич устроил ужин по случаю дня своего рождения в Репине, в Доме композиторов. Вера Васильевна и я были приглашены на это торжество. На нем было немного гостей — горячих поклонников именинника. В начале ужина он был оживлен и довольно весел, но к концу трапезы несколько взгрустнул, вероятно, от усталости, связанной с волнениями от прошедших концертов.

Впереди предстояла долгожданная премьера Четырнадцатой симфонии. Она состоялась 29 сентября в капелле, куда устремились толпы людей, не имеющих билетов, но жаждущих попасть на концерт во что бы то ни стало. Ажиотаж был колоссальный. В зале присутствовал не только весь музыкальный Ленинград, я увидел и тех, кто крайне редко посещал симфонические концерты, вроде Аркадия Исааковича Райкина или Григория Михайловича Козинцева. Слухи о необыкновенной симфонии широко муссировались в городе. Ничьи ожидания не были обмануты. Превосходно играл оркестр под управлением Рудольфа Баршая. Галина Вишневская показала себя как выдающаяся певица и как крупная актриса, без чего образ солистки симфонии не может считаться художественно полноценным. Бас Евгений Владимиров удачно справился со своей сложнейшей партией. Музыка в ее неразрывном единстве с поэтическим словом произвела на публику ошеломляющее, потрясающее впечатление (других слов не подобрать). Меня она буквально околдовала, и впоследствии я долго бредил ею. Мне все казалось, что я вижу наяву героев и героинь симфонии, слышу их голоса и всматриваюсь в их лица, искаженные страданиями. Когда отзвучали последние ноты «Заключения», в зале воцарилась какая-то скорбно-торжественная тишина. Я непроизвольно повернулся к ложе и заметил Е. А. Мравинского, который встал во весь свой высокий рост, и мне почудилось, что он по-дирижерски взмахнул рукой (то был обман зрения: он просто сильно аплодировал), и вслед за ним встала потрясенная публика, и началась овация. Шостакович был сам потрясен

услышанным, хотя услышанное было делом рук его. Ему было трудно из-за больных ног выходить на бесконечные громовые вызовы всего зала.

После концерта Дмитрий Дмитриевич дал банкет на пятьдесят персон в ресторане «Садко». На него, в частности, был приглашен весь состав небольшого оркестра во главе с дирижером. Помнится, я произнес короткий, без пышной риторики, взволнованный тост. Вероятно, он пришелся по душе Шостаковичу. Он поднялся со своего места, подошел с рюмкой в руке ко мне и мы расцеловались. 1 октября симфония была повторена с тем же, гигантским успехом. Вместо Вишневской, срочно улетевшей на гастроли в Берлин, хорошо пела Маргарита Мирошникова. В этот же незабываемый вечер (1 октября) Шостакович и Ирина Антоновна уехали в Москву. Так завершилась триумфальная неделя, которая в известной мере потрясла музыкальный Ленинград.

252

6.X.1969. Москва 6 октября

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо тебе за денежный перевод, хотя ты напрасно затруднял себя. Через несколько часов пойду в Большой зал консерватории слушать 14-ю симфонию в исполнении Г. Вишневской и М. Решетина[1]. Все эти дни сидел на репетициях.

Вчера пошел на открытие симфонического сезона. Слушал «Здравицу» и Классическую симфонию Прокофьева. Во втором отделении была 9-я симфония Бетховена[2]. К сожалению, слабое исполнение всей программы (дирижер Е. Светланов) не доставило мне радости.

Передай привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] Отчего Дмитрию Дмитриевичу за несколько часов до начала московской премьеры Четырнадцатой симфонии понадобилось написать мне, вернее, проинформировать меня о предстоящем концерте? По моему убеждению, он сделал это, чтобы унять свое волнение — постоянного неотвязного спутника его премьер и для того, чтобы мысленно найти у меня душевную поддержку. Быть может, иным читателям мое мнение покажется надуманным, но я слишком хорошо знал Дмитрия Дмитриевича и, смею сказать, умел угадывать по самым незаметным с виду деталям его настроение и прихотливые движения его мысли.

[2] Шостакович, живя в Ленинграде, был завсегдатаем филармонии и с удивительным постоянством посещал ее концерты. Став москвичом, он не изменил своей привычке и исправно ходил в Большой и Малый залы консерватории.

В наши дни ленинградские композиторы крайне редко приходят на концерты, ссылаясь на то, что они знают исполняемые произведения, но легко понять, что Шостакович тоже «знал» Классическую симфонию Прокофьева и Девятую Бетховена, однако у него

была потребность послушать (в который раз!) очень хорошо знакомую прекрасную музыку.

253

7.X.1969. Жуковка 7 октября

Дорогой Исаак Давыдович!

Вчерашняя московская премьера прошла внешне очень хорошо. Было очень много народу, который бурно аплодировал по окончании симфонии. К сожалению, исполнение было хуже, чем в Ленинграде. Дважды крепко завралась Г. Вишневская. Однажды по вине Баршая (!) сильно разъехался оркестр[1]. М. Решетин (бас) пропел свою партию хорошо. К концерту были выпущены программы со стихами, которые я использовал. Таким образом, слушатели имели возможность понимать слова, т. к. дикция иногда бывает плохая.

Я ужасно устал, и сейчас думаю вырвать несколько дней для полного безделья.

Передай привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] Шостаковича сильно огорчили погрешности исполнения, не замеченные публикой, но уязвившие автора (он несколько раз говорил мне об этом). Вероятно, Вишневская и Баршай испытали на концерте какой-то нервный шок, ибо они безупречно исполнили симфонию в Ленинграде.

254

26.X.1969. Жуковка 26 октября

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо тебе за письмо. У меня все обстоит более или менее благополучно. Хотя плохо работает правая рука и обе ноги.

Спасибо за добрые слова по адресу 14-й симфонии.

Скоро возвращается из гастрольной поездки Баршай со своими музыкантами. Как будто 26-го ноября в Москве будет снова исполняться симфония.

Я много раз тебе звонил, но не заставал ни тебя, ни Веры Васильевны. Квартет В. Баснера я слушал в записи, которую мне подарил автор. Квартет мне понравился. Вчера слушал оперу С. Слонимского «Виринея». Не все мне там понравилось. И вообще, длинновато. Но много хорошей музыки[1].

Очень без тебя скучаю.

Твой Д. Шостакович

Передай привет от нас Вере Васильевне.

Д. Ш.

[1] Шостакович считал С. М. Слонимского очень хорошим музыкантом и интересным композитором. Помнится, что он мне хвалил его статью о «Казни Степана Разина», хотя к рецензиям на свои сочинения относился, как правило, безразлично (см. также письмо 183 от 23 апреля 1965 года).

Дмитрий Дмитриевич мне неоднократно говорил (и писал), что он испытывает радость, когда ему удается обнаружить хорошую музыку в произведениях своих коллег. Опера «Виринея», взятая в целом, была одним из таких произведений.

255

23.XI.1969. Москва — 23 ноября

Дорогой Исаак Давыдович!

Я нахожусь в больнице по причине очень плохой работы ног и рук (особенно правой). Теперь внесена некоторая ясность в вопрос о причине плохой работы моих конечностей. Это, как ни странно, полиомиелит. Эта болезнь обычно бывает в младенческом возрасте. Бывает, правда, очень редко в старческом возрасте.

Следовательно, в Курган к доктору Илизарову я не поеду. Хирургия здесь бессмысленна[1].

Меня лечат, вернее подлечивают уколами, физкультурой, массажем, кислородом. Чувствую я себя сейчас лучше. Как будто прибавилось немного сил. Пробуду в больнице до половины декабря, а может быть, и до Нового года.

14-я симфония будет исполняться 21-го или 23-го декабря. А также 18-го декабря в университете. 11-й номер журнала «Октябрь» я тебе припасу. К сожалению, окончание романа Кочетова значительно слабее, чем его начало: в нем гораздо меньше боевитости и развития лучших традиций романа «Тля» (а не «Моль», как ты ошибочно пишешь в своем письме)[2]. Традиции «Тли» развивает не только Кочетов. Может быть, тебе попадется повесть «В когтях саранчи» Олеся Бендоха или «Битва за Олимп» Вл. Федорова. Очень рекомендую тебе прочесть эти произведения.

С твоими рассуждениями о гениальности режиссеров я согласен. По-моему, эта профессия редко дает материал для гениальности[3].

Правда, я недавно смотрел «Петербургские сны» в постановке Ю. А. Завадского. Почему так названа инсценировка «Преступления и наказания» Достоевского, я не понял. Однако, этот спектакль произвел на меня потрясающее впечатление[4].

Когда я выйду из больницы, я тебе дам знать. Приезжай тогда. Очень я без тебя соскучился.

Передай привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] Меня ужаснул этот диагноз, и я тотчас же вспомнил Франклина Рузвельта в коляске. Удивительно, что Дмитрий Дмитриевич встретил это роковое известие без отчаяния. Но, быть может, он не до конца поверил своим врачам?

[2] Шостакович, находясь в больнице, умел писать в этом печальном узилище великую музыку (Тринадцатую и Четырнадцатую симфонии), но он также умудрялся держать в поле своего зрения различные образцы современной литературы — хорошие и одиозные. К последним, по его мнению, принадлежит роман Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?», печатавшийся в журнале «Октябрь» (№ 9, 10, 11 за 1969 год). О нем (как видно из письма) Шостакович отзывается с большим сарказмом, указывая на то, что автор развивает традиции печально известного романа «Тля». В pendant к кочетовскому роману Дмитрий Дмитриевич называет две другие прескверные вещи, рекомендуя их мне для прочтения.

[3] Мною было высказано мнение о том, что режиссеры, даже самые выдающиеся, не могут быть признаны «классиками» или гениями, ибо подлинные классики, в отличие от талантов, выдерживают любое испытание временем, они всегда современны, а вот спектакли, поставленные даже Станиславским или Мейерхольдом, не сохранили своей былой художественной силы. Таков был ход моих мыслей, и Шостакович со мною соглашался. Хотя спектакль, поставленный Ю. А. Завадским, потряс его, но он не опроверг нашего общего мнения о мнимой гениальности тех или иных режиссеров.

[4] Шостакович очень хорошо знал Достоевского, тонко понимал его. Он мне говорил, что прикосновение к творчеству великого писателя возвышает режиссеров, если они не бесталанны. В качестве примера Дмитрий Дмитриевич привел кинофильм «Братья Карамазовы», в котором постановщик И. А. Пырьев сразу поднялся вверх на несколько ступеней художественной лестницы.

Следует сказать, что Шостаковича с давних пор занимала проблема режиссуры. Интерес к этой профессии подогревался общением с Мейерхольдом, работы которого ему были хорошо знакомы с юных лет. Некоторые постановщики «Катерины Измайловой» и у нас, и за рубежом доставляли автору немало неприятных переживаний.

256

26.XII.1969. Жуковка — 26 декабря

Дорогой Исаак Давыдович!

Ирина Антоновна и я горячо поздравляем Веру Васильевну, тебя и всех твоих близких с Новым годом. Очень хочется, чтобы Новый, 1970 год принес нам много радости.

Позавчера я вышел из больницы. Ноги и руки стали немного сильнее. Однако, очень быстро они (ноги и руки) слабеют. Профессор Работалов, который лечит, вернее, подлечивает меня с 1955 года, сказал мне: «Вам необходимо не менее двух раз в год ложиться к нам (он имел в виду отделение неврологии) на два-три месяца». Он, очевидно, прав.

Вчера был т. н. консилиум из московских светил. Глава светил (имени, отчества, фамилии его я не запомнил) сказал, что я совершенно здоров, а то, что у меня так плохо действуют руки и ноги, так в этом ничего особенного нет. «Если с меня сделать рентгеновский снимок, — сказало светило, — так он мало чем будет отличаться от Вашего снимка. Однако, я легко двигаюсь, а Вы с большим трудом. Это значит, что нет на свете одинаковых организмов. У одного организма эта деформация — плевое дело, а у другого, в частности, у Вашего, затрудняет движение и ослабляет мускульную силу». После чего, светило, его коллеги и сопровождающие их лица, отказавшись от гонорара, разложенного в конвертах, покинули мой дом. Я приложил много усилий, хитрости и стараний, чтобы вручить им гонорар, но они уперлись, как быки[1].

Стою я на ногах слабо. Руки тоже работают плохо, однако 23-го декабря ходил в Большой зал консерватории и слушал 46-ю симфонию Гайдна и 14-ю симфонию — мою. 28-го декабря в Доме ученых и 30-го декабря в Большом зале вновь будет исполняться 14-я симфония. Если будут силы, пойду на эти концерты[2].

Мне кажется, что оркестр Баршая, а также и Мирошникова и Е. Владимиров поют лучше, нежели их дублеры (Вишневская и Решетин)[3]. Оркестр играет прекрасно.

Может быть, после Нового года я приеду в Ленинград работать над музыкой к «Королю Лиру»[4].

Обнимаю тебя. Передай привет Вере Васильевне.

Твой *Д. Шостакович*

[1] Свое большое горе, свое несчастье, связанное с тяжелой болезнью рук и ног, Шостакович облекает в форму убийственного юмора, направленного против медицины и ее корифеев. По моему ощущению, «светило» и его монолог выдержаны у Дмитрия Дмитриевича в манере и стиле М. М. Зощенко. Читать его язвительные строки было бы очень смешно, если бы не было так грустно.

3 декабря 1969 года я навестил Дмитрия Дмитриевича в больнице. Его поместили в небольшой, но отдельной палате, и это было для него благом. Он встретил меня радушно, ничего не говорил о своем недуге, не жаловался, а предпочел беседовать на общие темы. Одна из них была посвящена печальной судьбе писателя Александра Солженицына, талант которого он высоко ценил.

Ирина Антоновна установила в палате миниатюрный телевизор, скрашивавший одиночество больного.

Дмитрий Дмитриевич был одет в нелепую пижаму, выданную привилегированной больницей. Она ему была не по росту: непомерно длинная куртка и коротенькие штаны. Перехватив мой недоуменный взгляд, Шостакович, несколько замявшись, сказал: «Мне здесь щеголять не перед кем, значит и так хорошо». Этими словами он как бы напоминал, что, находясь на воле, он обычно следил за своим туалетом. Беседа наша продолжалась около двух часов, затем Дмитрий Дмитриевич провожал меня до лестничной площадки и выжал из себя прощальную улыбку.

Мне сделалось очень грустно.

[2] Четырнадцатая симфония продолжала вызывать громадный интерес широких кругов публики. Она часто исполнялась, и Шостакович, у которого еще не остыл авторский жар, стремился снова и снова услышать ее на концертах.

[3] У Шостаковича, вероятно, не изгладились из памяти ошибки, однажды допущенные Вишневской на концерте, но в общем он считал ее выдающимся мастером вокального искусства.

[4] Имеется в виду кинофильм в постановке Г. М. Козинцева. Шостакович сдержал свое слово и 15 января 1970 года приехал на один день в Ленинград. Дирекция «Ленфильма» сняла ему номер не в Европейской гостинице, где он всегда останавливался, а в «Астории».

По приезде Дмитрий Дмитриевич позвонил мне и мы сговорились встретиться в киностудии в двенадцать часов и вместе посмотреть отснятый материал. Так и сделали. Режиссер, естественно, очень волновался, и Шостакович, по своему обыкновению, похвалил все увиденное, впрочем было за что хвалить.

Тем не менее озвучивший исполнителя главной роли актер З. Гердт произносил текст во время бури тускло и прозаично, словно он читал метеосводку о предстоящей погоде. Дмитрий Дмитриевич полностью согласился с моим мнением и сказал: «А я, наперекор актеру и, может быть, режиссеру, все равно напишу настоящую бурю — это одно из лучших мест у Шекспира». Впоследствии я уговорил Г. М. Козинцева сделать перезапись всей сцены в степи, и это было им осуществлено.

Когда мы вернулись в «Асторию» и сели обедать, я вспомнил чудесную песенку шута, вошедшую в материал картины, и заметил, что она похожа на «Три лилии» из Четырнадцатой симфонии. На эту мою фразу Шостакович, улыбаясь, очень живо отреагировал: «Ты заметил сходство, я тоже заметил, но скажи, пожалуйста, что важнее: симфония или кинофильм?»

За обедом Дмитрий Дмитриевич сообщил мне, что он решил поехать в Курган к Илизарову, обещающему исцелить его руки и ноги. Не желая продолжать эту тягостную тему, он без всяких переходов сказал, что в Москве собираются записывать на пластинку Четырнадцатую симфонию.

Наш обед продолжался три часа. Никто нам не мешал. Мы были втроем: Дмитрий Дмитриевич, Ирина Антоновна и я.

За окном, разукрашенным морозом, синели сумерки. Шостакович несколько раз вставал, подходил к окну и любовался Исаакиевской площадью.

Поздно вечером он уехал в Москву.

1970

257

25.I.1970. Жуковка — 25 января

Дорогой Исаак Давыдович!

26-го января мы с Ириной будем жить в Репине, в Доме композиторов[1].

Проживем мы там дней десять. Буду очень рад, если ты нас навестишь. В случае чего, звони в 9, 14 и 19 часов по телефону: Зеленогорск 28-45.

Передай привет Вере Васильевне.

Д. Шостакович

[1] Перед поездкой в далекий, неведомый Курган Шостаковичу захотелось побывать в любимом Репине.

29 января я навестил его, и мне в общем понравились и его вид, и его настроение. По случаю встречи мы выпили по рюмке водки. Я счел это приятным знаком, свидетельствующим об удовлетворительном физическом состоянии Дмитрия Дмитриевича.

Он с каким-то юношеским задором (другого слова не подберу) рассказывал о своем изобретении «домашнего театра». Оно состояло в том, что в квартире Шостаковича для узкого круга было устроено прослушивание берлинской пленки оперы «Нос» и после каждого действия объявлялся антракт (как в театре), во время которого гости приглашались в «буфет», то есть в столовую, где их ждали напитки и закуски.

Этот опыт театрализации жизни имел успех, и Дмитрий Дмитриевич пригласил меня приехать в свой «домашний театр». Я с удовольствием слушал его оживленный рассказ и думал: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. А ведь для слез было очень и очень много поводов, но душевная молодость в нем, слава Богу, не угасала.

258

27.II.1970. Курган — 27 февраля

Дорогой Исаак Давыдович!

Наконец-то я нахожусь в Кургане, в больнице доктора Г. А. Илизарова.

Ирина приехала вместе со мной и мы живем с ней, как когда-то в Свердловской больнице в Ленинграде[1].

Сообщаю тебе мой адрес: Курган 5. До востребования.

Это почтовое отделение (пятое) находится в помещении больницы и все здешние больные имеют вышеуказанный адрес.

Пиши мне. Есть у меня в палате телефон № 97465. Это на всякий случай.

Поступил я в больницу сегодня, 27-го февраля[2]. Главное лечение начнется со второго марта.

Очень я на это лечение рассчитываю. Пробуду в больнице минимум полтора месяца.

Пиши мне.

Передай привет Вере Васильевне. Ирина кланяется.

Твой Д. Шостакович

[1] Имеется в виду пребывание в больнице летом 1966 года по случаю инфаркта.

[2] Шостакович на протяжении многих лет, приехав в какое-либо

место, тотчас же извещал меня об этом и, оказавшись в Кургане, не изменил своему обычаю. 24 марта я разговаривал с Дмитрием Дмитриевичем по телефону. Он сказал, что трехнедельное лечение ему как будто помогло и что он возлагает большие надежды на доктора Илизарова.

259

28.III.1970. Курган 28 марта

Дорогой Исаак Давыдович!

Я был очень рад слышать тебя по телефону. Хорошо, что ты позвонил мне. Забыл тебе сказать по телефону следующее: вышла в свет книга, которая называется «День поэзии». 1969. Издательство «Советский писатель». Москва, 1969.

В этой книге на 52-й странице помещено стихотворение Е. Евтушенко, которое мне очень понравилось. Я хочу, чтобы ты почитал это стихотворение[1].

Кроме того, прошу тебя прочитать повесть Чингиза Айтматова «Белый пароход». Эта повесть напечатана в журнале «Новый мир» № 1 за 1970 год. Мне показалось, что это великолепное произведение. Думается мне, что Айтматов является одним из самых сильных прозаиков в нашей стране, да и во всем мире[2].

Живем мы здесь так: встаем в 7 часов. От семи до восьми совершаю свой утренний обряд: мытье, бритье, физкультура, слушание последних известий. В 8.30 завтрак. В 9.15 уезжаем в лес, где гуляем один час. От 11 до 12.30 жестокая, вгоняющая в пот, гимнастика и массаж. В 13.30 обед. В 15.30 опять едем гулять в лес. В 17 возвращаемся в больницу. Все это идет на пользу. Руки, ноги становятся крепче. Но к вечеру я так устаю, что не только о «Короле Лире» не могу думать, но и многом другом[3].

Кроме того, раз в три дня мне делают укол. Сделали несложную операцию. То, что я видел в больнице в области лечения вызывает у меня восторг, удивление, великое восхищение человеческим гением. В данном случае речь идет о Гаврииле Абрамовиче Илизарове. При встрече я расскажу тебе о его достижениях.

Передай сердечный привет Вере Васильевне. Ирина кланяется.

Твой Д. Шостакович

Пробуду я здесь минимум до 15 апреля.

[1] Имеется в виду стихотворение «Приехала старуха электричкою...»

[2] Шостакович открыл для себя Чингиза Айтматова после прочтения его романа «Прощай, Гюльсары!». Он отнесся к этому прекрасному произведению восторженно и сделал меня своим единомышленником.

В Кургане, где Дмитрия Дмитриевича изматывали методы лечения,

он все же прочел «Белый пароход» и провозгласил его автора самым крупным писателем мира. Здесь поражает пылкость души Шостаковича, его умение безмерно восхищаться поразившими его вещами. В таких случаях никакие преувеличения в оценках его нисколько не смущали.

[3] Имеется в виду сочинение музыки для кинофильма.

260

11.V.1970. Курган 11 мая

Дорогой Исаак Давыдович!

Может быть, в первых числах июня я буду выписан из больницы. У меня много достижений: я могу играть на рояле, ходить по лестнице, влезать в автобус (правда, с трудом). Г. А. Илизаров вернул мне силы. Теперь надо восстановить технику. Очень многое я восстановил. Я бреюсь правой рукой, застегиваю пуговицы, не пропускаю ложку мимо рта и т. п.[1]

Ирина Антоновна и я очень просим тебя передать прилагаемую статью о моих романсах на слова Блока литературоведу-профессору В. Н. Орлову.

Автор статьи Елизавета Аркадьевна Мнацаканова очень серьезный и способный музыковед-теоретик. Ей было бы очень важно и полезно знать мнение В. Н. Орлова. Было бы очень хорошо, если бы он написал рецензию об этом труде[2].

Я очень скучаю без тебя. Напиши мне. Мой адрес: Курган 5. 2-я городская больница (Курган 5. До востребования, тоже годится).

Ирина и я шлем Вере Васильевне и тебе сердечный привет.

Д. Шостакович

[1] В мае 1970 года в лечении загадочной болезни Шостаковича наступил перелом. Талант и старания доктора Илизарова принесли свои плоды. Дмитрий Дмитриевич почувствовал необычайный прилив сил, и это преисполнило его радостью, которую он боялся расплескать. Я со слезами на глазах читал данное письмо, в котором так безыскусно, так простодушно перечислены «достижения», вернувшие Шостаковича к нормальному образу жизни. Но, к великому прискорбию, счастье улыбнулось ему ненадолго. Таинственный недуг не был окончательно побежден, он не сдавался и через некоторое время снова подкрался к страдальцу и обессилел его руки и ноги.

[2] Владимир Николаевич Орлов был глубоким знатоком творчества Александра Блока, написавшим о поэте замечательную книгу «Гамаюн». Я был с ним довольно хорошо знаком. Ирина Антоновна знала об этом и, обеспокоенная судьбой статьи Е. А. Мнацакановой, которая была ей дорога, внушила Дмитрию Дмитриевичу мысль попросить меня стать посредником между автором статьи и В. Н. Орловым. Просьбу эту я, разумеется, выполнил, сознавая, что тем самым оказываю дружескую услугу Ирине Антоновне, ибо сам Шостакович относился весьма индифферентно к писаниям о его сочинениях.

2.VI.1970. Курган 2 июня

Дорогой Исаак Давыдович!

10-го июня я покидаю больницу в еду в Москву. С 18-го июня по 18 июля надеюсь быть в Репине[1]. Затем возвращаюсь в Курган для того, как выражается Г. А. Илизаров, [чтобы] поставить точку на лечении. Второй визит в Курган будет коротким: 10—15 дней.

Очень надеюсь с тобой повидаться.

Твой Д. Шостакович

Передай сердечный привет Вере Васильевне.

[1] Шостакович изменил свой первоначальный план и оставался в Репине до конца июля.

18 июля я увидел его после трехмесячной разлуки и с радостью убедился в том, что лечение пошло ему впрок: он совершенно иначе ходит, свободно движет руками, хорошо выглядит. Я с каким-то священным чувством думал об Илизарове — докторе-чудодее.

За время пребывания Шостаковича в Репине мы виделись регулярно. Часто я приезжал в неизменный коттедж № 20 обедать или ужинать.

10 июля мы провели целый день на Крюковом канале в студии документальных фильмов. 26 июля, в канун отъезда, Дмитрий Дмитриевич показал мне прекрасный вокализ для хора, предназначенный им для финала картины. Он пожалел о том, что эта музыка, которая ему была дорога, потускнеет, заглохнет, как это часто случается, в кинематографе.

262

16.VIII.1970. Жуковка 16 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

Обращаюсь к тебе с большой просьбой: дело в том, что т. т. Крастин и Саркисов[1] обратились ко мне с просьбой написать вступление (предисловие) к сборнику, который должен выйти к 50-летию Ленинградской филармонии. Я очень прошу тебя написать нечто очень похвальное, в котором мне бы хотелось, чтобы были упомянуты И. И. Соллертинский, Е. А. Мравинский и А. В. Пономарев[2]. Сам я никак не могу это написать. Главная причина — отсутствие уменья и отсутствие красоты слога[3]. Напиши это, пожалуйста, выручи. Написанное пошли на мой московский адрес. Если в ближайшее время я уеду в Курган, то мне перешлют.

Г. А. Илизаров вернулся из отпуска и, видимо, скоро меня вызовет.

Желаю тебе хорошо провести время в Репине.

Передай сердечный привет Вере Васильевне и горячую благодарность Гавриилу Давыдовичу[4].

Твой Д. Шостакович

[1] Максим Эдуардович Крастин — директор, Оник Степанович Саркисов (1908—1981) — художественный руководитель Ленинградской филармонии.

[2] Афанасий Васильевич Пономарев (1903—1972?) — бывший директор Ленинградской филармонии, имя которого Шостакович по непонятным причинам совершенно напрасно присовокупил к именам Соллертинского и Мравинского. Я возразил против этого, и Дмитрий Дмитриевич со мною согласился.

[3] Разумеется, я помог Шостаковичу написать небольшую статью к юбилейному сборнику филармонии. Его ссылка на то, что он не обладает «красотой слога», носит шуточный характер. Многие статьи, письма, речи написаны выразительным, простым языком, которому чужда «красота слога», то есть вычурность и изыски.

[4] Имеется в виду мой брат — скульптор и художник, пославший в дар Шостаковичу некоторые свои работы.

263

24.VIII.1970. Жуковка 24 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

Завтра (25.VIII) я уезжаю в Курган. Мой адрес такой: Курган 5. До востребования. Буду очень рад иметь от тебя весточку. Я думаю, что в больнице пробуду до середины сентября, а может быть и меньше.

Передай привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

Я написал квартет. Его порядковый номер 13. Д. Ш.[1]

[1] Шостакович ограничивается сухой, краткой информацией, сообщая порядковый номер нового квартета, а между тем сочинение это, по-моему, исполнено большой трагической силы. Такое впечатление у меня сложилось, когда я его слышал 13 декабря 1970 года в Малом зале Ленинградской филармонии. Дважды повторенное несчастливое число 13 принесло, тем не менее, громадный успех замечательному квартету.

264

27.VIII.1970. Курган 27 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

Вот мы снова в Кургане. В той же палате. Адрес и телефон те же: Курган 5. До востребования. Тел. 97205. Пробудем здесь,

видимо, не меньше месяца. Так сказал Г. А. Илизаров, который сегодня меня посмотрел.

Получил ли ты мое письмо, в котором я тебя просил помочь мне написать приветствие в честь 50-летия Ленинградской филармонии? Если не получил, то помоги, пожалуйста[1].

Ирина шлет вместе со мной привет. Кланяйся Вере Васильевне.

Д. Шостакович

[1] См. примечание 3 к письму 262 от 16 августа 1970 года.

265

21.IX.1970. Курган — 21 сентября

Дорогой Исаак Давыдович!

Сердечное спасибо тебе за помощь в моих филармонических делах. Как всегда, эта помощь эффективна и высококвалифицированна[1].

Вероятно, в конце октября я буду уже дома. Передай привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] Речь идет о статье для сборника к пятидесятилетию Ленинградской филармонии, которую я помог написать Шостаковичу (см. примечание 3 к письму 262 от 16 августа 1970 года).

266

25.X.1970. Курган — 25 октября

Дорогой Исаак Давыдович!

Засиделся я в Кургане свыше всякой меры. Однако, 30-го октября выезжаю поездом домой. В Москве буду 1-го ноября. Чувствую я себя хорошо. Лечение у Г. А. Илизарова пошло на пользу.

Очень я без тебя соскучился. Бог даст скоро увидимся[1].

Передай привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

Ирина шлет привет.

[1] Шостакович имел в виду свой предстоящий в декабре приезд в Ленинград на премьеру Тринадцатого квартета.

10 декабря он позвонил мне из Москвы и сообщил, что 12 будет в Ленинграде, он также попросил освободить субботний вечер для встречи. В этот вечер я посетил его в Европейской гостинице. К моему приезду в номере был накрыт стол для ужина. Дмитрий Дмитриевич встретил меня с радостью, а к моей радости примешалась

печаль, ибо я заметил, что ходит он неважно, а правая рука по-прежнему слаба, но мы по безмолвному соглашению не говорили об этом.

Во время ужина Дмитрий Дмитриевич, не без сожаления, сказал, что у него неожиданно наступил «эпистолярный кризис» (как он выразился), то есть пропала охота к писанию писем, до которых когда-то был большой охотник. В связи с этим он просил меня не сердиться, если будет редко писать мне: «Вместо писем я буду звонить тебе по телефону».

Так это и произошло.

Я почувствовал себя обездоленным, не получая подолгу писем от Шостаковича в последние годы его жизни, так как в течение десятилетий был приучен постоянно вчитываться в его каракули, столь милые моему уму и сердцу...

Когда мы вместе с Ириной Антоновной заговорили о завтрашнем концерте, то выяснилось, что в Малом зале филармонии аншлаг и нет ни одного свободного места. Тогда Дмитрий Дмитриевич вынес поистине Соломоново решение, поразившее меня не столько мудростью, сколько удивительным простосердечием. Обращаясь ко мне, он изрек: «Ты сядешь на мое место, а я останусь за кулисами. Ведь Тринадцатый квартет я уже слышал».

Совершенно бесподобная фраза о том, что он уже слышал Тринадцатый квартет, вызвала у меня громкий смех, а Шостакович не нашел ничего смешного в своем проекте.

На следующий день с местами все уладилось. 13 декабря состоялся концерт, на котором исполнялись Первый, Двенадцатый и Тринадцатый квартеты. Какая длинная и тернистая дорога пройдена автором от Первого до Тринадцатого квартета! Об этом рассказывает с несравненным красноречием музыка — светлая в Первом квартете, безотрадная в Двенадцатом, трагичная в Тринадцатом, который был мною воспринят как младший брат Четырнадцатой симфонии.

Вся публика по окончании нового квартета встала и стояла до тех пор, пока квартет не был целиком исполнен во второй раз.

Когда зал, охваченный начальстволюбием, встает перед власть имущим, то это банально и пока неискоренимо. Но Шостакович никакой властью не обладал, кроме власти своего гения, и когда перед ним встает по мановению волшебной палочки весь зал, то это зрелище чрезвычайно волнует и трогает...

После концерта я зашел в Европейскую гостиницу, мы попрощались перед его отъездом в Москву.

11 января я получил от него поздравительную телеграмму по случаю дня моего рождения.

1971

267

22.II.1971. Москва 22 февраля

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо тебе за письмо[1]. Сообщаю тебе, как нужно теперь

писать мой адрес: Для письма: Москва 103009. Для телеграммы: Москва-9, никаких букв не нужно.

С лучшими пожеланиями

Твой Д. Шостакович

[1] 1 февраля 1971 года Шостакович звонил по телефону из Москвы и просил меня приехать к нему на несколько дней, чтобы повидаться и поговорить о важных делах. Я не смог выполнить его просьбу и заменил собственную персону большим письмом. Наше свидание состоялось в Москве лишь 10 мая 1971 года. Я с волнением ждал встречи с Дмитрием Дмитриевичем после пятимесячной разлуки. Перемен к худшему я, к счастью, не обнаружил, но пребывание в Кургане не принесло ему сколько-нибудь существенной пользы. Крайне сосредоточенный и грустный, он за обедом несколько оживился.

Во время прогулки по Жуковке Дмитрий Дмитриевич рассказал мне, что он положил на музыку стихотворение Евтушенко, посвященное самоубийству Марины Цветаевой, и ему хочется, чтобы я послушал слова и музыку. Он с раздражением рассказал мне о постыдной истории издания Тринадцатой симфонии. Наши музыкальные издательства до смерти не желали публиковать это крамольное сочинение, но вдруг стало известно, что в Западной Германии оно выходит из печати, и по этой причине начальство велело срочно издать партитуру Тринадцатой.

«И вот, — сказал Шостакович, — какой камуфлет получился: издатель из ФРГ сделал подвох советскому издательству». Мы оба рассмеялись каким-то невеселым смехом.

Сидя по вечерам в кабинете Дмитрия Дмитриевича, украшенном великолепным фотопортретом В. Э. Мейерхольда, мы слушали по радио различного рода музыку, каковая демонстрировалась на пленуме Союза композиторов, музыку в большинстве случаев слабую и бесцветную, и Шостакович, погруженный в задумчивость, сказал:

«Ты знаешь, когда я слушаю вот такую музыку, то я задаю себе вопрос: неужели и я так пишу?»

Вопрос этот повис в воздухе, ибо я не стал убеждать Дмитрия Дмитриевича, что он пишет иначе.

В день моего отъезда в Ленинград (13 мая) мы из Жуковки поехали в Москву и вечером отправились в Большой зал консерватории на концерт, посвященный упомянутому пленуму. Шостакович уважительно относился к трудам своих коллег (умел ими восхищаться), но концерт показался ему унылым. Когда исполнялась какая-то пьеса, названная в программе «веселым скерцо», Дмитрий Дмитриевич с очень серьезным видом шепнул мне: «Пощекочи меня, пощекочи, чтобы мне стало смешно».

Юмор не покидал его даже тогда, когда у него на душе кошки скребли.

Хорошо помню, что он положительно отозвался о Концерте для оркестра («Тиль Уленшпигель») Юрия Фалика, отлично прозвучавшем под управлением дирижера Дмитрия Китаенко.

После концерта мы поужинали на московской квартире, и Ирина Антоновна отвезла меня на машине к поезду. Дмитрий Дмитриевич тоже хотел меня провожать, но вдруг силы ему изменили в тот душный вечер. Май выдался в Москве очень жарким.

268

2.VI.1971. Москва 2 июня

Дорогой Исаак Давыдович!

Сегодня ночью мы летим в Курган. Адрес такой: Курган 5. До востребования. Если в моем распоряжении будет телефон, номер его я сообщу из Кургана.

Я думаю, что мы пробудем в Кургане две недели.

Твой Д. Шостакович

269

3.VI.1971. Курган 3 июня

Дорогой Исаак Давыдович!

Сегодня мы благополучно прилетели в Курган и опять находимся в больнице[1]. Сообщаю тебе номер телефона, который находится в нашей палате: 97439. Адрес прежний: Курган 5. До востребования.

Прибытие в Курган доставило мне большую радость. После 35—40-градусной московской жары попасть в Курганскую прохладу, да еще с температурой ночью 3—5 для меня весьма приятно.

Твой Д. Шостакович

Сердечный привет Вере Васильевне.

[1] На этот раз пребывание Шостаковича в Кургане было недолгим (меньше месяца), но очень плодотворным, не столько в медицинском, сколько в творческом плане. Находясь в больнице, он умудрился написать первую, совершенно восхитительную часть Пятнадцатой симфонии и торопился в Репино, чтобы отдохнуть от лечения и работать над новым сочинением.

1 июля Дмитрий Дмитриевич звонил мне из Репина и просил приехать к нему как можно скорее. Мы встречались регулярно в течение месяца. Мне хочется упомянуть о некоторых небезынтересных подробностях наших бесед в эти июльские дни. (Причем слова Шостаковича я во всех комментариях к письмам воспроизвожу текстуально, согласно моим записям.)

3 июля Дмитрий Дмитриевич заговорил о своем Втором виолончельном концерте, который так и не был сыгран в Ленинградской филармонии (он был однажды исполнен Ростроповичем в Малом зале консерватории, о чем я уже упоминал в своих комментариях). Дмитрий Дмитриевич сказал: «Ленинградские слушатели, конечно, прекрасно обойдутся и без Второго виолончельного концерта, но будет неплохо, если его сыграют». За этими полушутливыми словами скрывалось желание услышать концерт именно в Ленинградской филармонии, где с юных лет проходили премьеры почти всех сочинений Шостаковича. Здесь прозвучал некий ностальгический мотив.

Дмитрий Дмитриевич попросил меня подробнее узнать о молодом виолончелисте Борисе Пергаменщикове, который якобы очень хорошо

играет, и содействовать устройству концерта. (Ростропович в ту пору был в контрах с филармонией.)

Слушая Шостаковича, я думал о странном психологическом казусе. Ведь он присутствовал на великом множестве своих премьер не только в Ленинграде и в Москве, но и на всем белом свете, однако у него занозой засела досада на то, что Ленинградская филармония, фактически возглавляемая Е. А. Мравинским, обошла стороной Второй виолончельный концерт. Было бы неверно утверждать, что Дмитрий Дмитриевич сильно акцентировал свою мысль. Нет, она была высказана как бы вскользь, но запала мне в душу.

Осуществить намерение Шостаковича при его жизни так и не удалось в Ленинграде.

13 июля. По случаю моего очередного приезда Ирина Антоновна зажарила в коттедже шашлыки и преподнесла напитки.

У Дмитрия Дмитриевича настроение приподнятое. Он во всю мочь сочиняет Пятнадцатую симфонию, а во время работы он всегда испытывает прилив и душевных, и даже физических сил. За считанные дни он написал вторую и почти целиком третью часть симфонии.

«Предстоит, — сказал Шостакович, — сколотить финал, но знаешь: симфония получается безыдейной, что-то вроде моей Девятой».

То была романтическая ирония, которой он часто пользовался, говоря о своих сочинениях.

18 июля. Мы говорили о Пятнадцатой симфонии, которую Шостакович надеется завершить в Репине, к концу месяца. Коснулись мы интересного вопроса о правомерности цитат. Они включены в ткань симфонии: из увертюры к «Вильгельму Теллю» Россини, из Шестой симфонии Бетховена, из «Кольца нибелунга» Вагнера.

Дмитрий Дмитриевич с какой-то загадочной и, как мне показалось, виноватой улыбкой сказал: «Я сам не знаю, зачем эти цитаты, но я н е мог н е сделать эти цитаты, н е мог». Трехкратное отрицание «не» он произнес с большой энергией.

Вероятно, сочиняя симфонию, Шостакович был подвластен таинственной интуиции, которая не поддается логическому истолкованию, ибо логика далеко не всегда является неотступной спутницей творца. В таких примерно словах я высказал свое мнение о цитатах. Дмитрий Дмитриевич как-то раздумчиво сказал мне в ответ: «Может быть, может быть».

29 июля. Итак, Шостакович за очень короткий срок написал изумительное произведение — Пятнадцатую симфонию — увы! — последнюю из его гигантского симфонического цикла.

По этому поводу, как бы оглядываясь назад, он сказал: «Мне кажется, что из пятнадцати две, пожалуй, совсем неудовлетворительны — это Вторая и Третья симфонии». Лицо его светилось радостью, которую он старался не выпячивать, не выставлять напоказ, но счел необходимым скромно отпраздновать завершение симфонии.

Дмитрию Дмитриевичу, как он говорил, придется срочно изготовить четырехручное переложение симфонии, которое он попросит исполнить М. Вайнберга и Б. Чайковского. Завтра он уезжает с Ириной Антоновной в Москву. На прощание им были сказаны очень характерные для него слова: «Новая симфония еще тепленькая, и она мне нравится. Но, быть может, пройдет немного времени, и я буду о ней думать совсем иначе».

270

9.IX.1971. Москва 9 сентября

Дорогой Исаак Давыдович!

Очень я без тебя скучаю. Твое письмо пришло очень во время и меня очень обрадовало.

Спасибо за добрые слова в адрес моей 6-й симфонии[1].

С твоей оценкой «Диалогов» Стравинского я совершенно согласен[2]. Оправданием его некоторых суждений может служить то, что он болтал, не задумываясь, и подписывал, особенно не вчитываясь, чтобы самому остаться в покое.

Подобные происшествия бывали не только со Стравинским.

Стравинского-композитора я боготворю.

Стравинского-мыслителя презираю[3].

Моя 15-я симфония пока в переписке. Как только будет решен вопрос о ее исполнении, я сразу тебя извещу.

Ты ничего не написал о том, что тебя так сильно беспокоило: о том, что принято изящно называть «туалет»[4].

Починил ли ты его?

Передай сердечный привет Вере Васильевне. Ирина кланяется.

Твой Д. Шостакович

Сообщи мне твой новый почтовый индекс.

Д. Ш.

[1] Когда мною овладевает хандра, я, слушая брызжущий искрометным весельем финал Шестой симфонии, совершенно преображаюсь: в душе воцаряется какой-то безоблачный светлый покой, и я говорю себе: «Раз звучит такая лучезарная музыка, то пока еще можно жить в этом наилучшем из миров, как выражался вольтеровский Панглос». Примерно такую мысль я высказал в письме к Шостаковичу о прослушанной Шестой симфонии.

[2] В 1971 году вышли в свет «Диалоги» Игоря Стравинского под редакцией М. С. Друскина. Случилось так, что Шостакович и я одновременно прочли эту очень интересную книгу, проникнутую громадной эрудицией, острым умом, ядовитым сарказмом, желчью и мизантропическими высказываниями. Дмитрий Дмитриевич разделил изложенную мной точку зрения на «Диалоги» Стравинского.

[3] Шостакович с молодых лет преклонялся перед многими сочинениями Стравинского, поражавшими его воображение. Он говорил об этом неоднократно. Огромный интерес к автору «Петрушки» и «Весны священной» Дмитрий Дмитриевич впоследствии как бы материализовал в фотопортрете Игоря Федоровича, который лежал у него под стеклом на письменном столе московской квартиры. И когда он сидел за своим столом, на него постоянно глядело некрасивое, узловатое, суровое, умное лицо великого Мастера. Но Дмитрия Дмитриевича ужасно огорчал чудовищный эгоцентризм Стравинского, его ледяное равнодушие к судьбам беззащитных композиторов, поэтов, писателей, которых в годы сталинского террора травили, морально изничтожали, мучили, втаптывали в грязь. Он имел в виду и Прокофьева, и Ахматову, и Зощенко, и себя, и многих других. А Стравинский с олимпийским

спокойствием взирал на эти душераздирающие картины. Именно поэтому Шостакович презирал своего музыкального кумира. В противоположность Стравинскому, в нем неизбывно жило чувство горячего сострадания к жертвам зла. Я отчетливо помню, как он со слезами на глазах рассказывал мне об узниках концлагерей — знакомых, малознакомых и совсем незнакомых. Он узнавал о них по письмам или передачам зарубежных радиостанций.

[4] Дмитрию Дмитриевичу из моих слов было известно о неурядицах, связанных с систематической порчей водопровода и уборной в моей квартире, и это задевало его за живое. Мои неприятности, даже самые незначительные, отзывались в его душе.

Через несколько дней после написания данного письма (оно датировано 9 сентября) с Дмитрием Дмитриевичем случилось несчастье: с диагнозом инфаркт он был отправлен в больницу. Пять лет тому назад, в канун своего шестидесятилетия, он перенес эту тяжелую болезнь, и теперь его снова настигла большая беда. Около двух месяцев я находился в непрестанном страхе и вздохнул свободно, когда 28 ноября услышал по телефону голос Дмитрия Дмитриевича из санатория «Барвиха», куда его отправили на поправку. Вскоре я получил от него письмо.

271

28.XI.1971. Барвиха — 28 ноября

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо тебе за твои звонки. После двухмесячного пребывания в больнице я переехал в санаторий. Ирина вместе со мной. Сердце мое вылечили хорошо. Однако очень ослабли руки и ноги. Все то, что у меня перед болезнью укрепилось, сейчас стало опять очень плохим. Придется, видимо, начинать все заново[1].

Может быть, опять придется ехать в Курган.

Мне дано наставление: полностью изъять из рациона алкоголь, никотин, крепкий чай и крепкий кофе. Это меня огорчает.

Береги здоровье. Ужасно тяжело делается, когда его потеряешь[2]. А всякого рода инфаркты подкрадываются незаметно. Тем не менее, когда почувствуешь, что ты не получаешь удовольствия от первых стопок водки, значит дело дрянь. Я заметил, что еще в Репине водка не доставила мне радости. А это означало, что инфаркт приближается[3]. В этом случае сразу обратись к врачу. А еще лучше совсем не пей, или соблюдай строгую умеренность.

Мы живем в Барвихе. Это близко от нашей дачи. После больницы мне кажется, что мы попали в рай. Пробудем мы в санатории до 17 декабря. Потом буду жить на даче. 8-го января намечается премьера моей 15-й симфонии. Дирижировать будет Максим, который за последнее время сделал очень большие успехи.

Ирина и я шлем Вере Васильевне и тебе сердечный привет.

Твой Д. Шостакович

Посмотри внимательно на конверт и усвой, как надо писать почтовый индекс.

Д. Ш.

У нас в палате есть телефон: 241-05-24, добавочный 581. А пиши на московский адрес. Пиши обязательно.

[1] В этой сдержанной, внешне невозмутимой фразе поражает покорность жестокой судьбе, которую Шостакович не пытается по-бетховенски схватить за глотку.

[2] Шостакович не берег свое здоровье, относясь к нему фаталистически, но в годы сталинского произвола его нервам были нанесены безжалостные удары, от которых он до конца жизни так и не мог оправиться.

[3] Имеется в виду пребывание в Репине в июле 1971 года. Поражает наивная серьезность, с которой Шостакович рассуждал о различном восприятии организмом рюмки водки, которую он любил вкушать в минуты радости или печали. Она становится в его медицинской «концепции» неким лакмусовым листком, выявляющим притаившуюся болезнь сердца. На этот счет он и делал мне дружеские наставления.

272

30.XII.1971. Жуковка — 30 декабря

Дорогой Исаак Давыдович!

Поздравляю тебя с Новым годом. Будь всегда здоров и счастлив. Передай сердечные поздравления Вере Васильевне и всем твоим близким. В 1971 году смерть унесла многих моих знакомых и друзей. Среди них композитор Сабитов, профессор Борис Евгеньевич Вотчал, он лечил меня в 1966 году, Михаил Григорьевич Шапиро[1], кинорежиссер Михаил Ильич Ромм.

Скончалась Зинаида Александровна Гаямова — мой секретарь. Скончался Александр Александрович Холодилин.

Теперь у меня новый секретарь — Рита Эммануиловна Корнблюм. Она вдова известного в свое время пролетарского драматурга В. М. Киршона[2].

После месячного пребывания в санатории, я поселился на даче. Выезжаю в город для присутствия на репетициях моей 15-й симфонии, которые очень хорошо проводит Максим. 8 января состоится премьера. И если Максим будет в должной форме, то симфония прозвучит так, как ей положено.

Сейчас было три репетиции в студии звукозаписи. С 5-го января репетиции будут в Большом зале. В студии все звучало великолепно. После перерыва придется приспосабливаться к

новой акустике. Студия и Большой зал — две большие разницы, как говорят в Одессе.

Максим сделал за последнее время большие успехи и стал настоящим дирижером. А лет через пять он добьется еще большего: станет старше, опытнее, умнее.

Было бы очень хорошо, если бы ты к 8-му января приехал[3].

Я чувствую себя хорошо. Однако, руки и ноги после болезни ослабели до чрезвычайности. Лестницы мне почти недоступны. По ровному месту хожу прилично. Может быть, придется опять ехать в Курган к Илизарову.

С 10-го января поедем в Рузу. Там имеется т. н. Дом творчества композиторов. Примерно такой же, как в Репине.

Ирина шлет Вере Васильевне и тебе горячие поздравления и самые лучшие пожелания.

Твой Д. Шостакович

[1] Кинорежиссер — постановщик фильма-оперы «Катерина Измайлова».

[2] Называя В. М. Киршона «пролетарским драматургом», Шостакович имел в виду его громкую, но отнюдь не заслуженную известность в конце 20-х и в начале 30-х годов. Тогда он считался большим другом народа, а в 1937-м стал «врагом народа».

[3] 4 января 1972 года Шостакович позвонил мне по телефону и повторил свое приглашение приехать на премьеру Пятнадцатой симфонии. Голос его звучал бодро, следовательно, нервы не выплясывали предпремьерную пляску, что, разумеется, меня порадовало. 8 января я приехал в Москву. На вокзале меня встретила прелестная Ирина Антоновна, и мы на машине поехали домой, где нас ждал Дмитрий Дмитриевич. Выглядел он в это утро совсем недурно. Следуя своему старому правилу, он сказал, что чувствует себя хорошо, не «так себе», а просто хорошо, но за этим «хорошо» я услышал подтекст, примерно означавший: «хотите верьте, хотите не верьте».

После завтрака мы втроем отправились в Большой зал консерватории на генеральную репетицию Пятнадцатой симфонии. Репетиция не ладилась: заболел первый фагот, регулятора на месте не оказалось. Вынужденный антракт продолжался чуть ли не целый час. Дмитрий Дмитриевич нервничал, но никого не упрекал, никого не ругал, покорно сидел в зале и в фойе, дожидаясь оркестранта. Он ровным голосом несколько раз повторил: «Ты знаешь, за всю мою концертную жизнь такого происшествия, пожалуй, не было. Я такого происшествия не припомню».

Наконец, оркестрант явился, и симфония зазвучала во всей своей красоте, драматизме и обаянии. Мне казалось, что цитаты из Россини и Вагнера, на которые Шостакович наложил свою печать, стали его собственностью.

Вечером состоялся концерт. На нем присутствовала «вся Москва». Атмосфера была торжественной и праздничной. Дмитрий Дмитриевич был внешне спокоен. Я сидел с ним рядом в шестом ряду. Он об этом заранее позаботился, ибо ему, вероятно, не хотелось иметь в качестве соседа случайного человека. В паузах Дмитрий Дмитриевич шептал мне несколько раз: «У Максима все в порядке». По окон-

чании симфонии началась овация. Весь громадный зал сверху донизу стоял и рукоплескал долго и неутомимо. Дмитрий Дмитриевич с трудом выходил на эстраду и покидал ее много раз. Оркестр вместе с Максимом приготовился бисировать финал, но Дмитрий Дмитриевич отослал оркестрантов за кулисы.

Выходя из Большого зала, я, теснимый непрошенным собеседником, попал в какую-то яму и повредил себе ногу, однако был в состоянии добраться до машины, и мы поехали в Жуковку. Дмитрий Дмитриевич по поводу моего падения сказал: «Надеюсь, это первая и последняя проделка Касьяна» (високосного года).

По случаю премьеры Ирина Антоновна устроила ужин, на котором были только свои. Дмитрий Дмитриевич, изменив своей привычке рано ложиться спать, оставался за столом до поздней ночи. Мы говорили о прошедшем концерте, и Шостакович, обратившись ко мне, сказал: «По-моему, я написал лихую симфонию». Слово «лихая» мне показалось неожиданным в его лексике.

На следующее утро Ирина Антоновна и я отправились на московскую квартиру. Дмитрий Дмитриевич вручил мне одну из своих палок и просил беречь ногу.

Поближе к вечеру меня посетил Юрий Николаевич Григорович, со знанием дела перевязавший тугим бинтом мою ногу, и мне стало легче ходить. В беседе он впервые заговорил о балете «Золотой век», который ему бы хотелось поставить, но лишь десять лет спустя это намерение было осуществлено.

1972

273

20.II.1972. Жуковка — 20 февраля

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за письмо, которое я получил. Другое письмо, о котором ты упоминаешь в том письме, за которое я тебя благодарю, пока еще до меня не дошло.

Ты спрашиваешь меня о том, как прошло возобновление «Катерины Измайловой». Отвечаю: очень плохо. Так плохо, что у меня разболелось во время спектакля сердце. Очевидно, сейчас в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко не обращают никакого внимания на точность музыкального текста. Певцы и певицы врали так же безбожно, как и тогда, когда за дирижерским пультом стоял Проваторов[1]. Теперь за пультом стоит лауреат премии имени Караяна Китаенко.

К безбожно завирающимся певцам он прибавил безбожно, непристойно завирающийся оркестр. В общем, это было неслыханное издевательство над «Катериной Измайловой»[2].

Опера шла в той редакции, *которая шла в Михайловском* театре[3]. Эта редакция несколько отличается от той, которая в

1962 году исполнялась в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. ⟨...⟩

Огорчила меня смерть Г. Н. Попова[4].

Умер недавно композитор В. М. Юровский. «И чей-нибудь уж близок час»[5].

Передай от нас Вере Васильевне сердечный привет.

Крепко жму руку.

Твой *Д. Шостакович*

[1] Во время репетиций «Катерины Измайловой» в декабре 1962 года Шостакович не упрекал Г. П. Проваторова за погрешности вокалистов. В разговоре со мной, он с похвалой отзывался об исполнительнице заглавной роли Э. Андреевой. Больше того. Запись на пластинках «Катерины Измайловой», сделанная под руководством этого дирижера, получила в Париже «Гран При». Но вот, по прошествии десяти лет Шостакович, обладавший феноменальным слухом и феноменальной памятью, вспомнил о певцах и певицах, которые «врали безбожно», когда за пультом стоял Проваторов. Это была, конечно, правда, но в те предпремьерные дни ему не хотелось о ней говорить.

[2] Чем объяснить неудачу, постигшую даровитого дирижера Д. Г. Китаенко? Вероятно, он глубоко не изучил сложнейшую партитуру оперы, по-настоящему не подготовился к ее показу, будучи к тому же молодым, недостаточно опытным профессионалом, ибо впоследствии Д. Г. Китаенко с большим успехом дирижировал симфониями Шостаковича.

[3] Имеется в виду Ленинградский Малый театр оперы и балета, называвшийся до революции «Михайловским». В нем в 1965 году была заново поставлена «Катерина Измайлова» под управлением Э. П. Грикурова.

[4] Гавриил Николаевич Попов (1904—1972) — композитор, талант которого высоко ценил Шостакович.

[5] Строка из стихотворения А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных».

274

21.II.1972. Жуковка — 21 февраля

Дорогой Исаак Давыдович!

Сегодня пришло твое письмо, которое опередило письмо, написанное тобой позже.

Крепко жму руку.

Твой *Д. Шостакович*

275

3.IV.1972. Жуковка — 3 апреля

Дорогой Исаак Давыдович!

Обращаюсь к тебе с большой просьбой. Я хочу поднату-

житься и приехать в Ленинград на исполнение моей 15-й симфонии.

Я хочу, чтобы ты т а к т и ч н о узнал, будет ли она исполняться и когда. Самому мне об этом узнавать неудобно[1]. Возможно, что Е. А. Мравинский не чувствует полного соответствия его творческому состоянию и он столь же по-хамски поступит с ней, как с 13-й симфонией, 2-м виолончельным концертом[2].

Поэтому очень прошу тебя обо всем этом узнать. Тогда дней за пять до премьеры я бы приехал, ходил бы на репетиции, а после премьеры уехал бы дней на 7—8 в Репино. Буду ждать твоих известий.

Передай от нас с Ириной привет Вере Васильевне.

Твой *Д. Шостакович*

P. S. Здоровье мое потеряно. Если я приеду, то обязательно перегоню свою машину, чтобы не зависеть от любезности транспортовладельцев и самому кататься на своей.

Я очень соскучился по тебе и, как ни странно, по Ленинграду.

Когда я в кино или по телевидению вижу Неву, Исаакия и т. д., у меня набегают слезы на глаза[3].

В общем, узнай, пожалуйста, не упоминая о том, что меня это волнует и интересует[4].

Д. Ш.

Хожу я по лестницам плохо. При простой ходьбе сильно задыхаюсь. Пора на покой. *Д. Ш.*

Посмотри на конверт, как надо писать адрес[5]. *Д. Ш.*

[1] Шостакович, хорошо зная о моих приятельских отношениях с Е. А. Мравинским (мы с ним были на «ты»), просил узнать о сроках исполнения Пятнадцатой симфонии, но, чтобы я сделал это «тактично» (он подчеркнул это слово), чтобы у знаменитого дирижера не создалось впечатления, что я пытаюсь оказать на него какое-то давление, что я как бы упрашиваю его сыграть симфонию.

Чувство собственного достоинства не позволило Дмитрию Дмитриевичу самому обратиться с подобным вопросом к Мравинскому, раз тот не счел нужным сообщить о своих намерениях и планах, но эта необычная ситуация и задевала, и волновала его.

[2] Шостакович, по моему убеждению, не стал бы вспоминать о щекотливой и безрадостной истории с Тринадцатой симфонией и Вторым виолончельным концертом, если бы загадочное поведение Мравинского перед премьерой Пятнадцатой симфонии не давало бы для этого повода.

Е. А. Мравинский боготворил Шостаковича как композитора и любил как человека. Он был безмерно счастлив, когда ему была посвящена Восьмая симфония — то был знак признания его исключительного дирижерского таланта, и Евгений Александрович об этом всегда с благодарностью помнил. Он был старше Шостаковича на три года, три месяца и три недели. Возрастная разница невелика, но ему хотелось душевно опекать младшего, вносить в свое отношение к нему затаенные нотки нежности. Между ними не было никакого амикошонства (вопреки уверениям иных воспоминателей, они всю жизнь были на «вы»). Мне

нередко случалось вместе с Мравинским провожать Дмитрия Дмитриевича на вокзал. Попрощавшись с ним, мы обычно оставались на перроне до отхода поезда и смотрели через закрытое вагонное окно на стоящего в коридоре Шостаковича. Однажды он выглядел сумрачным, нахохлившимся, с непокорной прядью волос на лбу, и Евгений Александрович ласково и растроганно, слегка грассируя, произнес: «Ах, ты мой милый вогобушек!»

Шел дождь, и Дмитрий Дмитриевич, энергично жестикулируя, отправлял нас по домам, но мы не уходили и Мравинский несколько раз повторил: «Ах, ты мой милый вогобушек!» В этой птичьей метафоре отчетливо звучал мотив нежности, который хоть и не был услышан Шостаковичем, но, вероятно, отозвался в его душе, обладавшей большой чуткостью.

В период травли Дмитрия Дмитриевича после Постановления ЦК 1948 года Мравинский вел себя благородно и смело. Он публично выступил в защиту гонимого с очень хорошей речью. На одном концерте, на котором исполнялась Пятая симфония (в отсутствие автора), Евгений Александрович под гром оваций поднял высоко над головой партитуру великой симфонии. Прислужники общественного зла немедленно донесли в Москву об этом «непозволительном и демонстративном» поступке дирижера, и его отчитали за это в центральной прессе.

Когда в конце 1953 года над Десятой симфонией начали сгущаться тучи и ее исполнение в Ленинграде было поставлено под вопрос, Мравинский, посовещавшись со мной, отправился в Москву, чтобы отразить атаки ретивых «борцов с формализмом», и симфония в декабре 1953 года была сыграна Евгением Александровичем с триумфом. Но в безупречном поведении Мравинского по отношению к Шостаковичу иногда наступали трудно объяснимые кризисные моменты. Так, например, его охватила какая-то блажь (другого слова не подберу), и он уклонился от исполнения Тринадцатой симфонии и Второго виолончельного концерта, что, между прочим, привело Мстислава Ростроповича к разрыву с Ленинградской филармонией. Такое неожиданное решение Мравинского никак не согласуется с тем, что он очень высоко ценил оба эти произведения. Дмитрия Дмитриевича это, конечно, огорчало, но он не давал воли своим чувствам, был предельно корректен, нигде не осуждал, не порицал Мравинского; их взаимоотношения не прерывались и не претерпели каких-либо существенных перемен.

Евгений Александрович продолжал дирижировать симфониями Шостаковича, он восторженно встретил Четырнадцатую и тщательно готовился к исполнению Пятнадцатой.

Вскоре все наладилось. 24 апреля Шостакович звонил мне из Репина. Просил навестить его. Премьера Пятнадцатой была намечена на 5 и 6 мая.

[3] О таких ностальгических настроениях Дмитрий Дмитриевич мне говорил неоднократно. У него даже время от времени возникало смутное желание снова стать ленинградцем.

[4] Шостакович возвращается к вопросу о моих предстоящих переговорах с Мравинским о Пятнадцатой симфонии.

[5] Имеются в виду недавно введенные на почте индексы, и Шостакович, зная о моей бестолковости, несколько раз просил меня присмотреться к конвертам с индексами.

...Дмитрий Дмитриевич ездил из Репина в филармонию на репетиции Пятнадцатой симфонии. Работа Е. А. Мравинского доставляла ему большое удовольствие, в ней, по его словам, сочетались глубина и удивительное внимание к деталям.

1 мая Дмитрий Дмитриевич с Ириной Антоновной приехали к нам на ужин. Он полушутя, полусерьезно жаловался на то, что после недавней болезни стал плохим едоком и лишился важного житейского удовольствия. Он мечтал о том, чтобы осенью пригубить рюмку водки, которая, быть может, взбодрит его и вернет ему оптимизм, без коего так трудно существовать на этом, плохо устроенном свете.

Дмитрий Дмитриевич говорил о дирижерском мастерстве Мравинского, с которым он репетирует симфонию.

5 мая состоялась премьера Пятнадцатой. Зал филармонии был набит до отказа. Публика во все глаза смотрела на ложу, в которой сидел Шостакович. Мне показалось, что многие пришли на концерт не только для того, чтобы послушать симфонию, но для того, чтобы непременно посмотреть на любимого автора.

Он был в черном костюме, белоснежной сорочке и на расстоянии выглядел прежним, молодым, красивым.

По окончании симфонии началась овация. Появление на эстраде Шостаковича вызвало громадный энтузиазм публики. За кулисами он мне сказал: «Если бы ты знал, как устали мои ноги выходить на вызовы». И лицо его сделалось страдальческим.

6 мая во второй раз исполнялась симфония, и ей был оказан, быть может, еще более горячий прием, чем на премьере. Помнится, с какой восторженной экзальтацией вела себя приехавшая из Москвы М. С. Шагинян. Вбежав в артистическую, она принялась лобызать и крестить Шостаковича. Мариэтта Сергеевна громким голосом (из-за глухоты) закричала: «Не говорите, Дмитрий Дмитриевич, что Вам плохо. Вам хорошо, потому что Вы сделали нас счастливыми!» На этот душевный порыв Шостакович, вежливо улыбаясь, ответил: «С чего Вы взяли, что мне плохо? Я всегда говорю, что мне хорошо!» Я слушал этот маленький диалог, удивляясь тому, как умел себя прекрасно вести Дмитрий Дмитриевич.

8 мая я ездил в Репино. На следующий день Шостакович возвращается в Москву. Ему предстоит поездка в Берлин на премьеру Пятнадцатой симфонии, а осенью в Лондон, а сил для этого не хватает. Он говорил с грустью о своем «потерянном здоровье», но, не задерживаясь на этом, начал вспоминать композитора Г. Н. Попова: «Это был талантливый человек. Очень много хорошего было в его Первой симфонии, погубленной когда-то борцами с формализмом. Я назначен председателем комиссии по наследству Попова. Надо, чтобы исполнялись его сочинения». Затем мы заговорили о Тринадцатой симфонии, которая тоже могла быть загублена. Дмитрий Дмитриевич сказал: «Я был убежден, что симфония будет запрещена, но Хрущев, по-видимому, раздумал, и она была сыграна, и ты приехал на концерт...»

Шостакович с большой похвалой отозвался об опере Сергея Слонимского «Мастер и Маргарита» и удивлялся тому, что она еще не поставлена на сцене. В марте 1971 года он слушал ее в авторском исполнении, следя по партитуре, но слова, написанные карандашом, читались с трудом. По этому поводу Шостакович с юмором заметил: «А текст и г р а е т большое з н а ч е н и е, как говорят теперешние ораторы», — и тихо засмеялся. 9 мая Дмитрий Дмитриевич уехал в Москву.

276

12.V.1972. Москва 12 мая

Дорогой Исаак Давыдович!

Сегодня мы улетаем в Берлин. Вернемся в десятых числах июня. Когда вернусь, сразу дам тебе об этом знать[1].

Вчера Максим очень хорошо сыграл 15-ю симфонию. А виолончелист Д. Герингас, вместо заболевшего Ростроповича, очень хорошо сыграл мой 1-й виолончельный концерт.

Крепко жму руку.

Д. Шостакович

[1] Шостакович провел около месяца в ГДР и в Западном Берлине. 30 июня Дмитрий Дмитриевич приехал в Ленинград. В 7 часов вечера он вместе с Ириной Антоновной сядет на корабль «Балтика» и отправится в Лондон, а оттуда в Дублин (Ирландия), где ему предстоит получить мантию доктора Дублинского университета.

Шостакович пригласил меня на обед в Европейскую гостиницу, где он остановился. В номере было очень душно. Анафемская жара (32°) изнурила Дмитрия Дмитриевича. Он надеялся, что в каюте корабля будет прохладно. Ему пришла в голову идея морского путешествия. «По крайней мере, в течение четырех дней нашего путешествия по морю никто не будет мне звонить, никто ни о чем не станет просить. Это уже хорошо».

Шостакович рассказывал, что в Западном Берлине ему довелось послушать сочинение К. Штокхаузена под названием «Гимны». Он сказал: «Вещь эта очень странная и во многом загадочная, но отдельные звукосочетания мне показались любопытными. Ими, пожалуй, можно воспользоваться для создания какого-нибудь таинственного эффекта». После длинной паузы он продолжал: «Например, эффекта появления призрака из рассказа Оскара Уайльда „Кентервильское привидение". Я, кстати, собираюсь написать оперу на этот сюжет, а ты напиши мне либретто, но чтобы финал был комический. Там очень симпатичные американцы, и вообще весь рассказ очень симпатичный».

Я сказал, что молодой ленинградский композитор Александр Кнайфель сочинил оперу по этому рассказу Уайльда, но это нисколько не смутило Шостаковича. Он мне ответил: «Ну, это ничего. Пусть будут две оперы на сюжет „Кентервильского привидения", а ты напиши мне либретто».

К сожалению, этот замысел, как и замысел написать оперу «Черный монах» по рассказу Чехова, не был осуществлен. Дмитрий Дмитриевич рассказал, что он недавно слышал оперу Родиона Щедрина «Не только любовь», и ему кажется, что Щедрин очень талантлив.

21 июля 1972 года мне позвонил Дмитрий Дмитриевич, вернувшийся в Ленинград после морского плавания в Англию. Он пригласил меня в Европейскую гостиницу, чтобы вместе поужинать. Шостакович рассказывал, что он гостил у Бриттена в Олдсборо, очаровательной приморской глуши. Бриттен показывал ему незаконченную оперу «Смерть в Венеции» по повести Томаса Манна, которая ему понравилась.

В Дублине ему вручили докторскую степень. Его принял престарелый президент Ирландии Де Валера, потерявший на долгом жизнен-

ном пути всех своих сверстников и оставшийся в одиночестве, и это внушало элегическую печаль.

В Лондоне он был приглашен к премьер-министру Англии Хиту — горячему любителю музыки. Хит, по мнению Дмитрия Дмитриевича, не лишен британского юмора.

277

19 июля 1972. Ленинград — 19 июля

Дорогой Исаак Давыдович!

К сожалению, я потерял твой сестрорецкий адрес. Твою бритву я передал Гале, которая сейчас живет в Комарове[1]. Ее телефон 317-35. Звони ей и договорись о том, как тебе взять свою бритву.

Твой Д. Шостакович

[1] Шостакович сделал мне подарок, купив за границей дорогую бритву фирмы «Браун» и передал ее для меня своей дочери Галине Дмитриевне.

278

15.VIII.1972. Жуковка — 15 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

До сих пор не могу прийти в себя после ужасного известия о смерти Николая Семеновича. Он был прекрасным и чистым человеком. Он прожил прекрасную и чистую жизнь. Буду свято чтить его память[1].

Скончался мой друг Вадим Васильевич Борисовский. Это был очень хороший человек. Если помнишь, он некоторое время тому назад покинул свой пост альтиста в Квартете имени Бетховена.

Вообще стало трудно жить. Очень много судьба наносит тяжелых ударов и ужасных потерь.

Я тяну жизлянку (жизненную лямку, как любил говорить И. И. Соллертинский). Руки и ноги работают плохо. И, видимо, надежды на улучшение нет.

Очень завидую тебе, что ты в Репине. Наверное, там хорошо. Как будто кончилась ужасающая жара, которая изрядно помучила и нас.

Скоро начнется осень. Откроются сезоны. Закипит музыкальная жизнь.

Обнимаю тебя. Твой Д. Шостакович

Передай, пожалуйста, сердечный привет Вере Васильевне от Ирины и меня.

Д. Ш.

[1] Н. С. Рабинович — замечательный дирижер и человек (один из любимейших моих друзей) скончался 26 июля 1972 года.

279

19.X.1972. Барвиха 19 октября

Дорогой Исаак Давыдович!

Посылаю тебе маленькое добавление к статье об Иване Ивановиче[1]. Передай его, пожалуйста, Людмиле Викентьевне Михеевой[2]. Если пригодится — буду очень рад.

Самого меня сейчас подлечивают в подмосковном санатории «Барвиха». Числа 8-го ноября собираюсь в Лондон. Там будет сыграна моя 15-я симфония и некоторые другие опусы. Хорошо было бы не поехать.

Сил у меня мало. Однако, это во внимание не принимается и меня заставляют ехать[3].

Ездил я недавно в Баку. Там было ужасно жарко. Так жарко, что когда я вернулся домой, меня направили в санаторий. Перед поездкой в Англию надо подлечить[4]. Пугает меня следующее обстоятельство: после 15-й симфонии я ничего не сочинил, ни одной ноты. Неужели я теперь лишен этой скромной радости? Такого длинного перерыва у меня не было никогда[5].

Крепко тебя целую.

Твой Д. Шостакович

Передай от нас сердечный привет Вере Васильевне. Д. Ш.

[1] Имеется в виду написанный Шостаковичем постскриптум к его статье об И. И. Соллертинском, датированной 1944 годом.

[2] Имеется в виду Л. В. Соллертинская — составитель и автор комментариев книги «Памяти И. И. Соллертинского», которая готовилась к печати в издательстве «Советский композитор» и вышла в свет в 1974 году под общей редакцией И. Д. Гликмана, М. С. Друскина, Д. Д. Шостаковича.

[3] В сталинское время представители так называемых «высоких инстанций» бесцеремонно помыкали Шостаковичем, распоряжались им, как собственностью, отправляли его в различные поездки, в том числе и зарубежные. Им было «виднее», куда следует ехать Дмитрию Дмитриевичу. Такое отношение к нему сохранялось и после смерти Сталина на протяжении двух десятилетий.

[4] Вынужденная поездка в Баку на Декаду литературы и искусства повредила здоровью Шостаковича из-за жары, которая всегда страшила его.

[5] Шостакович после Пятнадцатой симфонии не писал чуть больше года, и эта пауза казалась ему чрезмерно длинной, ибо сочинение музыки составляло для него отраду и главный смысл существования.

Жалобы на творческий кризис много раз звучали в письмах Шостаковича ко мне, но вслед за этими жалобами он создавал великие произведения. Так было и на этот раз, хотя жестокая судьба отвела ему очень мало времени для жизни и творчества.

1973

280

16.I.1973. Москва 16 января

Дорогой Исаак Давыдович!

Я не помню, чтобы мне приходилось говорить, что я не люблю читать приходящие ко мне письма.

Во всяком случае, это не относится к твоим письмам[1].

Дорогой Исаак Давыдович!

Я почти позабыл, что значит быть дома. Или я в далеком путешествии, или в больнице. Вот и сейчас уже с 3-го декабря 1972 года нахожусь в больнице. Началось это с камней в почках. Вероятно, камни, причинявшие мне очень сильную боль, вышли из меня. Меня уже собирались выписать домой, но «на всякий случай» решили меня «всего» обследовать. В результате этого обследования у меня в левом легком обнаружили кисту, которую сейчас уничтожают посредством облучения. Киста понемногу исчезает и недели через три—четыре я буду обладать чистейшими, без всяких кист легкими[2]. Однако, мои руки и ноги слабеют, т. к. все внимание сейчас обращается на легкое.

Теперь мне лучше и я могу ответить на твои письма.

Береги здоровье. Я таковое потерял и очень скорблю об этом[3]. Я почти совсем беспомощен в бытовых делах. Я не могу самостоятельно одеваться, мыться и т. п. В моем мозгу испортилась какая-то пружина. После 15-й симфонии я не сочинил ни одной ноты. Это для меня ужасное обстоятельство[4].

Ирина и я шлем вам с Верой Васильевной привет и самые лучшие пожелания.

Д. Шостакович

В больнице я пробуду еще около месяца. Скучно мне здесь очень.

•

[1] Вероятно, Дмитрию Дмитриевичу изменила память, ибо года два тому назад он говорил мне, что ему тягостно читать письма, а отвечать на них просто мучительно, правда, в этом разговоре он сделал исключение для моих писем, возможно из вежливости, а быть может, с полной искренностью, так как в различные периоды своей жизни он неизменно и настойчиво просил меня писать ему.

Когда-то он любил переписываться с приятными ему людьми. Я полагаю, что перемена произошла под гнетом болезней, которые его терзали. И можно допустить, что письма здоровых корреспондентов казались ему каким-то вызовом или безучастностью к его судьбе.

[2] Шостакович, как мы видим, пишет о своей опасной болезни с мрачным юмором, который потрясает. В его музыке часто с огромной художественной силой возникал мрачный юмор, но в жизненных обстоятельствах он звучит как выражение исключительного мужества.

[3] О скорбях своих Шостакович иногда рассказывал мне со слезами

на глазах. И мне хотелось плакать, глядя на его слезы. При этом в голову лезли поэтические, но мало утешительные слова Генриха Гейне о слезах художника. Вот они: «Художник — дитя, о котором народная сказка повествует, будто слезы его — чистый жемчуг. Ах! Злая мачеха вселенная затем и бьет так беспощадно бедное дитя, чтобы оно роняло побольше слез — жемчужин».

Я думаю, что, наверное, из таких слез-жемчужин составлялись многие партитуры Шостаковича.

[4] Мне было трудно унять душевное смятение Дмитрия Дмитриевича. Помнится, что я приводил в пример Верди, не писавшего после Реквиема целых десять лет, следовательно ему грех жаловаться на «испорченную в мозгу пружину».

281

9.III.1973. Москва — 9 марта

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за письмо. После поездки в Берлин, я вновь поместился в больницу. Как мне объясняют: для проверки эффекта, который произвело предыдущее пребывание в богоугодном заведении.

Большая у меня к тебе просьба: постарайся узнать имя, отчество и точный адрес вдовы Владимира Васильевича Лебедева[1]. Мне нужно ответить ей на ее письмо, которое я потерял вместе с адресом. Живет она, видимо, там же, т. е. на ул. Белинского. Номер дома и квартиры я не помню. Узнай и сообщи мне.

Сердечный привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

У меня в палате есть телефон: 141-43-31[2].

[1] Имеется в виду известный художник, с которым Дмитрий Дмитриевич в довоенные годы находился в дружеских отношениях.

[2] Телефоном, установленным в палате, мне воспользоваться не пришлось, так как пребывание в больнице Шостаковича на этот раз было недолгим. 24 марта он уже находился в Репине и просил по телефону приехать к нему «как можно поскорее». На следующий день я увидел его в приподнятом настроении, ибо, по его словам, к нему, «кажется, вернулась его способность писать ноты». Эту нарочито упрощенную формулу он произнес с веселой улыбкой. По этому случаю мы во время обеда чокнулись рюмками виски.

Мой визит продолжался около трех часов. Через неделю — 1 апреля Дмитрий Дмитриевич вместе с Ириной Антоновной приехал к нам на обед, прошедший довольно весело.

Шостакович с юмором рассказывал о нелепостях, допущенных режиссурой в спектаклях «Катерина Измайлова» и «Нос», увиденных им недавно в Берлине. Бытие его было исполнено контрастов: безотрадное состояние сменялось время от времени светлым мироощущением. Нечто подобное происходит и в музыке Шостаковича. 4 апреля, по инициативе Ирины Антоновны, мы втроем отправились

в Большой драматический театр на спектакль «Мольер» Михаила Булгакова. К сожалению, гениальный и умнейший Мольер выглядит в этой пьесе ничтожной фигурой. Непонятно, зачем Булгакову понадобилась лживая версия о кровосмесительном браке Мольера?

Дмитрий Дмитриевич все приговаривал: «Нет, нельзя ходить в театр. Можно ходить только на концерты». 11 апреля я провел вечер в Репине вплоть до отъезда Шостаковича на вокзал. Настроение у него сносное. Ему удалось написать в Репине полторы части нового квартета, четырнадцатого по счету. Разговор зашел о странных и загадочных свойствах музыки. Дмитрий Дмитриевич высказал интересную мысль, которая сводилась к следующему: «Всякая музыка хороша, если она на своем месте. Я как-то был в Москве на „Трех сестрах". В этом спектакле звучал избитый романс времен Чехова, и представь себе, что эта музыка, которая сама по себе ничего не стоит, произвела на меня большое впечатление. Произошло это потому, что она была на своем месте».

Потом Шостакович рассказывал, что он давно обратил внимание на Серенаду Браги, которая имеет большое значение в «Черном монахе» Чехова. Далее он сказал: «Мне недавно захотелось написать оперу на сюжет „Черного монаха". И вот я попросил разыскать ноты этой самой Серенады. Музыка ее, по подсказке Чехова, мне показалась даже волнующей. Я даже подумал, что нашел зерно для будущей оперы. Но оперу „Черный монах" писать очень трудно, так как в ней будет очень мало действия».

282

17.VII.1973. Жуковка 17 июля

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо за письмо.

Я очень жалею, что не буду нынешним летом в Репине и из-за этого не смогу с тобой встречаться.

Видимо, в первых числах августа мы с Ириной поедем в Пярну, где нам обещают райскую жизнь.

В прошедшем путешествии самое сильное и прекрасное впечатление произвел на меня океан. Это неописуемо дивное зрелище.

А подробнее о путешествии в Данию и в Америку я расскажу тебе при встрече[1].

У меня плохо работают руки и ноги. Надежды на улучшение нет.

Обнимаю тебя.

Твой Д. Шостакович

Ирина и я шлем сердечный привет всем твоим.

Д. Ш.

P. S. А смерть все косит и косит. Дней пять тому [назад] скончался композитор А. В. Мосолов. Может быть, ты его помнишь.

Д. Ш.

[1] В течение мая и июня 1973 года Шостакович, мужественно преодолевая свой недуг, совершает путешествие в Копенгаген, где состоялись премьеры «Катерины Измайловой» и Пятнадцатой симфонии, а затем отплывает на корабле «Михаил Лермонтов» в Америку.

Он не считал нужным сообщить мне, что в одном американском университете ему вручили степень доктора изящных искусств, ибо ко всем званиям (а их было множество) он относился совершенно индифферентно, за исключением, пожалуй, звания доктора Оксфордского университета, памятуя, что одним из его предшественников был П. И. Чайковский.

283

1.VIII.1973. Пярну — 1 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

Мы с Ириной проводим август в Пярну. Сообщаю тебе наш адрес. Пробудем мы по этому адресу до 1-го сентября.

203601. Пярну. Улица Мерепуйесте д. 12. Может быть, ты соберешься и напишешь мне.

Передай сердечный привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

284

14.VIII.1973. Пярну — 14 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

Прости меня за то, что пишу на столь неказистой бумаге. Это листок из блокнота. Для того, чтобы его вырвать требуется колоссальная физическая сила и природная смекалка. Так уж сделан этот блокнот в Чернигове[1].

Меня беспокоит отсутствие твоих писем. Сейчас пишу тебе на твой ленинградский адрес. Писал тебе в Сестрорецк и в Репино. Ответа нет.

Здесь мы с Ириной живем хорошо. Тихо и спокойно, однако Ирине приходится вести домашнюю работу, готовить пищевой рацион, ходить на рынок и т. п.

Я чувствую себя хорошо, хотя меня очень огорчают мои руки и ноги. Было время, когда я, информируя тебя о моих вокальных opus'ах, писал тебе текст оных. Сейчас мне это делать очень трудно (писать буквы, ноты и т. п.).

Здесь я сочинил шесть романсов на слова Марины Цветаевой. Стихи взяты из книги:

Марина Цветаева. Избранные произведения. Издательство «Советский писатель», Москва-Ленинград, 1965.

Если тебе попадется эта книга, то смотри страницы: 57 (первое стихотворение), 75 (25-е стихотворение), 240 «Диалог Гамлета с совестью», 288 «Поэт и царь», 289 (6-е стихотворение), 103 (первое стихотворение).

Написан этот opus для контральто и фортепиано. Думаю об исполнителях. Мне кажется, что по своим голосовым качествам лучше других подошла бы певица Богачева[2]. И требуется очень хороший пианист, т. к. я сейчас даже чижика сыграть не могу, то просто не знаю, кого упрашивать.

В первых числах сентября вернемся в Москву, и тогда займусь организацией этого дуэта. Трудно то, что Богачева живет в Ленинграде. Москвички Образцова и Синявская как-то меньше меня устраивают. Правда, и Богачева для меня до некоторой степени загадка. Я недавно слушал ее по радио и телевидению. Там пела она то ли Пушкова, то ли Новикова, но красота ее голоса меня поразила. Я не знаю ее имени и отчества. Если тебе это будет не очень трудно, узнай ее имя, отчество, адрес и телефон.

До 30-го августа адрес такой: 203600. Пярну, ул. Мере-пуйесте д. 12. Телефон 56135. А потом Москва. До своего долгого и трудного путешествия по Дании и США я написал 14-й квартет. Исполнение его откладывается на неопределенно долгий срок, т. к. Н. Н. Забавников (2-я скрипка) тяжело повредил свою левую ногу.

Передай от нас сердечный привет Вере Васильевне и всем твоим. Напиши мне хоть два-три слова.

Твой Д. Шостакович

[1] Письмо написано на двух листках размером 14 × 20 см. Нижние края листков неровные, с глубокими выемками. Шостакович не преминул удостовериться, что этот чудо-блокнот изготовлен в городе Чернигове. Юмористические фразы о злополучном блокноте свидетельствуют о хорошем настроении Дмитрия Дмитриевича. А оно возникло неспроста, а в связи с творчеством, без коего жизнь теряла для него всякий смысл. Меньше чем за две недели он написал шесть романсов на стихи Марины Цветаевой, не дав им никакой характеристики или оценки. Я впервые их услышал 30 октября 1973 года в Большом зале Ленинградской филармонии в ярком исполнении Ирины Богачевой и пианистки С. Б. Вакман (Шостакович, находясь в больнице, на концерт приехать не смог, но публика заглазно горячо его приветствовала). Цветаевские романсы — прекрасное, волнующее произведение, проникнутое большой душевной силой, лирическим вдохновением, драматизмом и гневом («Поэт и царь»).

[2] Ирина Петровна Богачева (р. 1939) — солистка Театра оперы и балета имени Кирова.

285

20.IX.1973. Москва — 20 сентября

Дорогой Исаак Давыдович!

Твое письмо я получил. Спасибо. Письмо в Пярну тоже получил.

Партитура Военного реквиема Бриттена у меня есть, и если понадобится, я ее тебе пошлю. А может быть я привезу, т. к.

собираюсь в начале октября приехать в Ленинград, если позволят мои сильно ослабевшие силы[1].

Об исполнении моих цветаевских романсов пока ничего определенного сказать не могу. Взяла ноты, чтобы поучить, певица Тамара Синявская. Написал я челобитную Ирине Богачевой, но ответа от нее уже давно не имею. Вероятно, она в отъезде[2].

Сам я не могу их играть. С правой рукой дела обстоят плохо. Не играет даже чижика[3].

Передай привет Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

[1] Поездка на этот раз не состоялась. 6 октября Шостакович позвонил мне по телефону и сообщил, что приехать не сможет из-за плохого самочувствия.

[2] Мне хорошо известно, что Ирина Богачева с большой радостью приняла лестные для нее предложения исполнить цветаевские романсы, но Дмитрий Дмитриевич не был в этом уверен и уничижительно назвал свое обращение к певице «челобитной».

Быть может, он вспомнил, как в 1962 году Б. Р. Гмыря отказался исполнить сольную партию в Тринадцатой симфонии. Правда, сделал он это не по художественным соображениям, а из страха перед киевскими властями, считавшими симфонию крамольной из-за «Бабьего Яра».

[3] Мне было мучительно тяжело слышать безотрадные слова о «чижике» из уст Шостаковича — первоклассного пианиста, сломленного неисцелимой болезнью.

1974

4 января 1974 года Дмитрий Дмитриевич с Ириной Антоновной приехали в Репино. Они тотчас же позвонили мне, по обыкновению, и попросили навестить их как можно скорее.

7 января я приехал в Репино. Мне показалось, что Дмитрий Дмитриевич выглядит с первого взгляда недурно. Когда он сидит за столом, впечатление о его недуге как бы исчезает. Мы обедали в коттедже. Говорили о всякой всячине, между прочим и о том, что Шостакович намерен на репинском досуге сделать оркестровую редакцию цветаевских романсов...

В январские дни 1974 года Шостакович в моем присутствии был разговорчив, временами он оглашал коттедж заливистым, очень симпатичным смехом, обнажая хорошо сохранившиеся ровные зубы. Смех этот неожиданно сменялся суровым и печальным взглядом...

Дмитрию Дмитриевичу хотелось рассказать мне о каких-то вещах, о которых ему было физически трудно писать на почтовой бумаге: «Да все ли она — бумага-то стерпит», — сказал он с многозначительной усмешкой, намекая на возможную перлюстрацию писем.

Я бы назвал некоторые его разговоры

УСТНЫМИ ПИСЬМАМИ.

В упомянутый день, 7 января, Шостакович вспоминал о Мейерхольде, с которым в годы молодости он был тесно связан и к которому он всю жизнь питал непреходящую приязнь. Уважение к режиссерскому таланту Мейерхольда было огромным, а боль за его гибель в сталинских застенках саднила душу Дмитрия Дмитриевича.

Шостакович сказал: «Вот в феврале исполнится 100 лет со дня рождения Всеволода Эмильевича. Хотят отметить это юбилей. А зачем? Разве кто-нибудь скажет об аресте Мейерхольда, о том, что он стал безвинной жертвой сталинской кровожадности, о его трагической гибели? Разве кто-нибудь скажет о зверском убийстве жены Мейерхольда — Зинаиды Николаевны Райх? Никто об этом ничего не скажет. Будут говорить о том, что Мейерхольд был хорошим режиссером, но мы и так это знаем.

Меня просят посвятить памяти Мейерхольда мою Четвертую симфонию, но это как-то неловко получится. В 1936 году у меня такого намерения не было. А теперь... задним числом, хорошо ли это?»

Шостакович, по зрелому размышлению, такого посвящения не сделал. Он был абсолютно прав, говоря о ненужности юбилея, в котором будет сокрыта правда о юбиляре.

В феврале 1974 года в Ленинграде, в бывшем Александринском театре, где с таким блеском творил Мейерхольд, отмечался его столетний юбилей. (Я присутствовал на этом вечере и даже консультировал его музыкальную часть.)

Как и предполагал Шостакович, в хорошем докладе Г. А. Товстоногов воздал должное великому режиссеру, но не проронил ни единого слова о его аресте и мученической гибели. Говорить об этом было запрещено, и эта фигура умолчания (помимо воли Товстоногова) выглядела, как кощунство, как оскорбление памяти Мейерхольда.

Сидя в зале, я думал о том, как бы, например, прозвучала биография поэта Рылеева без упоминания о его аресте и смерти на виселице. Такую чудовищную профанацию и вообразить невозможно, а вот в годы брежневского правления подобные зловещие, бесстыдные игры с мучениками сталинского террора существовали в каждодневном общественном обиходе.

На заседании была оглашена телеграмма Шостаковича, в которой он просил возобновить в Александринском театре мейерхольдовский шедевр — лермонтовский «Маскарад».

В финале концерта, по моей рекомендации, оркестром под управлением Юрия Темирканова была исполнена третья часть (Largo) из Пятой симфонии Шостаковича.

Взволнованная, скорбная патетическая музыка этой гениальной части прозвучала как реквием по Мейерхольду. Она по-своему, с громадной силой поведала о его трагической судьбе. И это безошибочно почувствовал весь зрительный зал...

Дмитрий Дмитриевич от Мейерхольда перешел к С. С. Прокофьеву, который, конечно, прожил совсем другую жизнь, но немало натерпелся, хотя бы в связи с постановкой «Ромео и Джульетты» в Мариинском театре. Тут мы вспомнили о нашем совместном посещении в довоенное время одной из репетиций балета незадолго до премьеры, вспомнили, как нас поразила своим великолепием музыка. По этому поводу Шостакович сказал:

«А вот мне говорили, что одна из примадонн, то есть главная примадонна, во всеуслышание заявила: „Спектакль вообще хорош,

но если бы к нему была написана другая, непрокофьевская музыка, то было бы совсем хорошо". Если это правда, то каково это было слушать Прокофьеву? Если ты не читал, то прочти в журнале „Советская музыка" открытое письмо дирижера Геннадия Рождественского о „Ромео и Джульетте". В этом письме он заступается за Прокофьева и порицает балетмейстера Лавровского за самоуправство. Это, конечно, правильно. Впрочем, Лавровского нет уже в живых, а может быть, он зла Прокофьеву не желал, а не знал, что творил».

10 января 1974 года.

Дмитрий Дмитриевич рассказывал много интересного о своем последнем, третьем по счету, посещении Америки.

Шостакович сказал:

«Эта изрядно оплеванная нами страна — грандиозна. В ней, по-моему, очень велик интерес к музыке. Она звучит неумолчно в обеих столицах и во многих других городах.

Пьер Булез, занявший в Нью-Йорке пост Леонарда Бернстайна, делает очень много для пропаганды классической и современной музыки. Кстати сказать, с ним у меня произошел небольшой конфуз. Это случилось на банкете. Представь себе, что сверхмодернист Булез подошел ко мне, схватил мою руку и поцеловал ее, а я от неожиданности не успел ее выдернуть. Вот какой произошел конфуз».

18 января 1974 года.

Сегодня я был вместе с Дмитрием Дмитриевичем и Ириной Антоновной на концерте в Малом зале филармонии.

На пути в Репино, проезжая в машине мимо моего дома (на Большой Пушкарской), Шостакович сказал (по поводу прослушанного концерта):

«Какой водянистый до-минорный квартет написал Брамс. А какие у него изумительные симфонии! Вот так нередко бывает, что одна и та же рука пишет слабо и необыкновенно сильно. А вот Девятый квартет Бетховена меня снова восхитил».

21 января 1974 года.

Сегодня у нас обедали Дмитрий Дмитриевич и Ирина Антоновна. Моя жена приготовила в качестве закуски к водке печеный картофель «в мундире», и Дмитрий Дмитриевич с каким-то трогательным энтузиазмом отнесся к этому, вышедшему из моды, блюду. Меня порадовало, что он по-прежнему ценит хорошую еду, и я громогласно об этом заявил.

Шостакович сказал:

«Видишь ли, в старину существовала прекрасная поговорка о том, что есть люди, которые едят, чтобы жить, а есть такие, которые живут, чтобы есть.

Мне кажется, что я принадлежу к первым. Если бы я не ел, то не смог бы писать музыку».

Посмеявшись над этой славной шуткой, мы принялись обсуждать горестную судьбу Александра Солженицына, чьи произведения «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор» поразили Шостаковича

своей громадной художественной силой и жизненной правдой. Дмитрий Дмитриевич захотел познакомиться с автором. Как оказалось, желание было взаимным. Я был свидетелем этой встречи на улице Неждановой. Когда Солженицын стремительно направлялся в кабинет, я наблюдал его из соседней комнаты. Мне бросилась в глаза грозная суровость его лица со шрамом на лбу. Дмитрий Дмитриевич на минуту отлучился из кабинета и спросил меня, хочу ли я познакомиться с замечательным писателем, но я отказался от этой чести, испытывая какую-то необъяснимую робость.

24 января 1974 года.

Сегодня я был вместе с Дмитрием Дмитриевичем и Ириной Антоновной в Малом оперном театре на балете «Коппелия». После спектакля Шостакович сказал:

«Я люблю балетную музыку Делиба. Он писал ее с тонким вкусом и мастерством. Ее высоко ставил Чайковский и даже говорил, что она намного превосходит его „Лебединое озеро"».

29 января 1974 года.

Сегодня Вера Васильевна и я ужинали в Репине.

Дмитрий Дмитриевич пригласил нас, чтобы отметить рюмкой водки дату печальную, чтобы не сказать трагическую: 38-ю годовщину опубликования разгромной статьи «Сумбур вместо музыки» (она была напечатана в газете «Правда» 28 января 1936 года).

Ее текст сохранился в памяти, ибо брань очень прилипчива.

Шостакович и я вспомнили с ясностью и отчетливостью необыкновенной все подробности, связанные с этой статьей. Вспомнили многих музыкантов, оплевавших оперу «Леди Макбет Мценского уезда» под давлением рабского страха. Вспомнили и тех, кто с особым остервенением ругал оперу, чтобы доказать свою исключительную преданность властям предержащим.

Шостакович сказал:

«Теперь эта статья не страшна. А ведь многие годы ею пугали и стращали. Сталин добился своего. Со статьей нельзя было не только спорить, в ней нельзя было хоть капельку усомниться. Кто сомневается, тот уже совершает грех против сталинской религии. Грешник мог спастись только при помощи покаяния.

И меня, как ты помнишь, после „Сумбура вместо музыки" начальство уговаривало покаяться и искупить свою вину.

А я отказался каяться.

Тогда мне помогли молодость и физическая сила. Вместо покаяния я писал Четвертую симфонию».

7 февраля 1974 года.

Сегодня я получил пластинку 14-й симфонии с дарственной надписью Шостаковича.

Симфония записана под управлением Мстислава Ростроповича с участием Г. Вишневской и М. Решетина. На меня потрясающее

впечатление произвели «Лорелея», «Самоубийца», «Начеку». Все остальные части также звучат превосходно. Все исполнение проникнуто удивительной экспрессией, которая так характерна для Ростроповича — виолончелиста и дирижера.

11 февраля 1974 года.

Сегодня из Москвы звонил Дмитрий Дмитриевич. Его интересовало мое впечатление о прослушанной пластинке Ростроповича.

Шостакович высоко ценил исполнительское искусство Рудольфа Баршая и его камерного оркестра, которые были первыми интерпретаторами Четырнадцатой, но он нашел элементы новизны в трактовке Ростроповича.

10 марта 1974 года.

Сегодня звонил Шостакович и просил приехать к нему в Москву, но я, к сожалению, из-за служебных дел не смог воспользоваться этим приглашением.

286

25.III.1974. Жуковка 25 марта

Дорогой Исаак Давыдович!

Посылаю при сем этикетку с бутылки из-под водки «Экстра». Стрелка, которую я нарисовал на этикетке, указывает на знак качества. Знатоки говорят, что если на этикетке имеется вышеуказанный знак, то это говорит о высоком качестве водки «Экстра». Поэтому я тебе советую: когда будешь покупать «Экстру», обращай внимание на наличие или отсутствие знака качества.

Будь здоров и счастлив.

Сердечный привет от нас Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович

Этому письму я бы присвоил заглавие: «Шостакович улыбается».

Дмитрия Дмитриевича позабавило, что продающаяся водка «Экстра» отличается, как правило, скверным качеством, но некоторые бутылки, отмеченные особым значком, обладают высокими качествами.

Ему захотелось уведомить меня об этом секрете, и он с шутливой серьезностью и деловитостью содрал с бутылки «Экстра» этикетку, старательно ее разгладил, нарисовал на ней стрелку, ведущую к заветному значку, и прислал ее вместе с письмом. Все это вызвало у меня самый добродушный смех, и я с радостью заключил, что Дмитрий Дмитриевич пребывает в хорошем настроении, так как он в эти дни пишет.

И я не ошибся. 2 мая он звонил из Москвы и сообщил, что пишет новый квартет.

287

12.V.1974. Москва 12 мая

Дорогой Исаак Давыдович!

Спасибо тебе за письма.

Я нахожусь сейчас в больнице: очень слабы мои руки (особенно правая) и ноги. Надеюсь в конце мая выйти.

Крепко жму руку.

Д. Шостакович

На этот раз Дмитрий Дмитриевич пробыл в больнице около двух недель и 1 июня приехал в Репино.

3 июня я навестил его.

Шостакович сказал:

«Я закончил новый квартет, 15-й. Не знаю, каково его качество, но когда я писал, то испытывал некоторую радость».

9 июня 1974 года.

Сегодня я был у Дмитрия Дмитриевича, в Репине. Мы довольно долго беседовали о разных разностях и, в частности, о необыкновенном таланте Ростроповича, о его отъезде.

Когда мы остались вдвоем (Ирина Антоновна вышла из комнаты), Дмитрий Дмитриевич заговорил о страданиях, которые он испытывает из-за ног и рук. Когда он по этому поводу произносил отрывистые фразы, слезы блеснули у него на глазах. Затем, сдержав себя, Шостакович сказал:

«Впрочем, я не люблю жалобщиков и сам не люблю жаловаться».

Слушая его, я сам чуть не расплакался.

23 июня 1974 года.

Сегодня у нас обедали Дмитрий Дмитриевич и Ирина Антоновна.

Говорили о балете в связи с предстоящей премьерой балета «Ярославна» Бориса Тищенко в Малом оперном театре. Шостакович сказал:

«Я в молодости написал три балета на совершенно никудышные либретто. А ты возьми и напиши мне балетное либретто, но только без философских проблем, без психологических глубин — это балету недоступно, а чтобы оно было непременно занимательным и обязательно с веселым концом. Когда ты будешь писать либретто, то укажи мне, сколько тактов надо сочинить по поводу того-то и того-то. Так, кажется, делал Петипа, работая с Чайковским над „Спящей красавицей“».

288

23.VIII.1974. Жуковка 23 августа

Дорогой Исаак Давыдович!

Последнее время я довольно много сочинял. Решил тебя информировать о моих новых opus'ах.

После 15-го квартета я написал 11 сонетов на слова Микеланджело. Если тебе попадется книжка «Микеланджело». Издательство «Искусство». Москва, 1964; перелистывая эту книгу и рассматривая репродукции великих творений Микеланджело, я обнаружил в ней ряд его поэтических произведений. Вот какие я использовал для своего «цикла». (Все стихи и сонеты пронумерованы.)

стр. 126, № 4
стр. 127, № 8
стр. 136, № 35
стр. 128, № 12
стр. 128, № 11
стр. 166, № 75
стр. 166, № 77
стр. 139, № 38
стр. 163, № 67, 68
стр. 178, № 100
стр. 155, № 16 и 12

В таком порядке идут эти сонеты. Где указаны два номера, напр. 67, 68 и 16, 12, то эти номера соедины в один.

Следующий opus «Стихотворения капитана Лебядкина». Слова Ф. Достоевского:

№ 1. Любовь капитана Лебядкина
№ 2. Таракан
№ 3. На балу в пользу гувернанток
№ 4. Светлая личность

Оба эти цикла написаны для баса и фортепиано.

В образе капитана Лебядкина много от шута горохового, однако в нем гораздо больше чего-то зловещего[1].

У меня получилось очень зловещее произведение.

Мне трудно судить о Микеланджело, но, как мне кажется, главное вышло. А главное в этих сонетах мне показалось следующее:

Мудрость, Любовь, Творчество, Смерть, Бессмертие[2].

Переводы А. М. Эфроса не всегда удачны. Однако великое творчество Микеланджело сияет даже сквозь неважные переводы.

Ирина и я шлем Вере Васильевне и тебе наши самые лучшие пожелания.

Твой Д. Шостакович

[1] Шостакович по-своему взглянул на гротескную, на первый взгляд, фигуру капитана Лебядкина, и когда я услышал в исполнении Евгения Нестеренко этот цикл, я ощутил всю художественную зоркость и остроту концепции Дмитрия Дмитриевича.

Само собой разумеется, что оба поэта, Микеланджело и капитан Лебядкин, стоят на немыслимо далеком расстоянии друг от друга, и неиссякаемой фантазии Шостаковича пришлось совершить прямотаки головокружительный полет, чтобы одновременно написать два столь контрастных цикла. А ведь не так давно он горько жаловался, что в его голове нет ни одной музыкальной мысли. К счастью, оказалось, что в его голове кипят и играют самые отважные и дерзкие мысли, рвущиеся на нотную бумагу.

[2] Эта пятичленная формула, как мне кажется, звучит и как кредо, и как завещание Шостаковича.

12 сентября 1974 года я, по приглашению Дмитрия Дмитриевича, присутствовал в Москве на премьере оперы «Нос» в Музыкальном камерном театре.

За несколько часов до спектакля мы с Шостаковичем приехали из Жуковки в город, где М. С. Вайнберг прекрасно сыграл для нас на рояле сонеты Микеланджело. Я слушал эту сюиту с необычайным волнением. И Дмитрий Дмитриевич с трудом сдерживал свои чувства. Затем мы отправились в театр. (В недавно вышедшем на экраны фильме «Альтовая соната», посвященном Шостаковичу, по совершенно непонятным причинам, появилась нелепая, лживая выдумка, согласно которой Дмитрий Дмитриевич не смог идти на премьеру «Носа» и его вынесли на руках из московской квартиры.)

В театре царило всеобщее возбуждение, атмосфера была наэлектризованной. Шутка сказать: ошельмованная, преданная анафеме опера, через 44 года возвращается на сцену и возвращается с триумфом...

В фойе я столкнулся лицом к лицу с Д. Ф. Ойстрахом с магнитофоном в руках: он собирался записать на пленку весь спектакль, но с ним произошел забавный казус. Дирижер еще не успел поднять руку, как вдруг на одно мгновенье зазвучала какая-то непрошеная музыка, зазвучала и умолкла. Опера началась во всем ее великолепии.

В антракте Давид Федорович сказал мне, что он по оплошности нажал в магнитофоне не ту кнопку и это его огорчило ужасно, и что он до сих пор не может опомниться от этого происшествия. Я принялся успокаивать великого скрипача — страстного поклонника Шостаковича — и сказал ему, что огорчившее его происшествие совсем в духе оперы «Нос», насыщенной необыкновенными происшествиями. И мы оба рассмеялись.

После спектакля началась бесконечная овация. Дмитрий Дмитриевич устал от поклонов. Он расцеловался с Г. Н. Рождественским и пожал руку режиссеру Б. А. Покровскому в знак признательности за проделанную работу.

Шостакович решил отметить премьеру без приглашенных гостей, и мы поехали в Жуковку втроем (Дмитрий Дмитриевич, Ирина Антоновна и я). Во время ужина мы оживленно обсуждали состоявшийся спектакль, отмечали наиболее удавшиеся места. Дмитрий Дмитриевич с большой похвалой отозвался об оркестре под управлением Геннадия Рождественского и о певцах, отлично выучивших свои партии.

Шостакович сказал:

«Что за чудную, необыкновенную повесть написал молодой Го-

голь. Ему, кажется, было не то 25, не то 26 лет, а мне было и того меньше, когда я написал свою оперу. В повести все удивительно, но мне впоследствии часто вспоминалась фигура доктора, которого Ковалев просит приставить ему нос. Помнишь, как доктор говорит: „Оно, конечно, приставить можно, но я вас уверяю, что это для вас хуже".

Только Гоголь мог так написать. Пусть Ковалев остается без носа. С приставленным носом Ковалеву будет хуже.

Ах, боже мой, и мне иногда приходилось иметь дело с такими докторами».

14 ноября 1974 года.

Сегодня утром позвонил приехавший в Ленинград Дмитрий Дмитриевич.

Шостакович сказал:

«Вот я предпринял смелую авантюру и приехал. Остановился в Европейке. Приходи с Верой Васильевной — поужинать».

Ужин прошел тихо-мирно. Мы немножко выпили по случаю встречи. Когда Дмитрий Дмитриевич сидит за столом, он выглядит хорошо, а когда смеется, то как бы возвращает себе молодость. Вообще звучащие слова в сочетании с его мимикой, жестами, позой создают особую форму знания Дмитрия Дмитриевича.

Мы вспомнили недавно скончавшегося Д. Ф. Ойстраха.

Шостакович сказал:

«В жизни у Ойстраха было как бы расплывчатое выражение лица, а в гробу его лицо приобрело грозное выражение. Он правильно делал, что до последней минуты действовал: ездил, играл, дирижировал. Так и надо. Он умер на боевом посту, в Амстердаме, так же, как в Москве умер 18 октября виолончелист Сергей Петрович Ширинский. Утром репетировал, вечером его не стало. Если помнишь, я тебя сразу известил по телефону об этой потере и, кажется, сказал: „И чей-нибудь уж близок час". А ведь Пушкин был молод, когда написал эту роковую фразу».

Мне показалось, что Шостакович, говоря о поведении Ойстраха и Ширинского, примерял его к себе, имел в виду и себя...

Дмитрий Дмитриевич просил меня на завтрашнем концерте в Малом зале филармонии непременно сидеть с ним рядом. Он об этом предупредил худрука Малого зала Ирину Николаевну Семенову. Его будут раздражать операторы телевидения, а со мной ему будет спокойней. А может быть, он хотел, чтобы это несносное телевидение запечатлело нас вместе. Вполне вероятно, но я за это не поручусь, хотя меня несколько озадачило его настойчивое желание сидеть со мной рядом...

15 ноября 1974 года.

Сегодня в Малом зале исполнялся 15-й квартет. Перед концертом (минут за двадцать) Шостакович вручил мне сохранившийся у меня клочок бумаги, на котором были написаны тональность и названия частей квартета. Вот этот текст:

15-й квартет ми-бемоль минор.

1. Элегия
2. Серенада — Без перерыва
3. Интермеццо
4. Ноктюрн
5. Траурный марш
6. Эпилог

Я воспроизвожу последний, имеющийся у меня автограф Шостаковича. Незадолго до этого я получил от него предпоследний автограф. Я имею в виду присланный мне по почте том вокальных сочинений с дарственной надписью, гласящей:

«Дорогому Исааку Давыдовичу Гликману от горячо любящего Шостаковича. 25 октября 1974 года. Москва».

Я не выполнил просьбу Дмитрия Дмитриевича и не сидел с ним на концерте. Этому помешал непредвиденный случай.

15 ноября 1974 года.

После концерта, имевшего громадный успех, Шостакович сказал:

«Когда ты ушел в вестибюль курить, в это время появился Мравинский и Ирина Николаевна, плюнув на мою просьбу, почтительно усадила именитого гостя на твое место. Тут бы мне и сказать: „Евгений Александрович, здесь сидит Исаак Давыдович", а я ничего не сказал. Духа не хватило, боялся обидеть Мравинского и тихо злился на себя, на тебя, ушедшего курить, и на Ирину Николаевну, плюнувшую на мою просьбу».

Это признание, кажущееся незначительным, между тем чрезвычайно характерно для психики и жизненного поведения Шостаковича.

23 декабря 1974 года.

Сегодня Шостакович вместе с Ириной Антоновной приехал в Ленинград. Он пригласил меня пообедать в Европейской гостинице перед концертом.

Дмитрий Дмитриевич встретил меня словами:

«Вот, я, убогий, приехал».

Я с болью душевной впервые услышал в его устах это старинное слово, адекватное в данном случае понятию «покалеченный человек».

Вскоре после обеда мы отправились в Малый зал филармонии, где Евгений Нестеренко спел, на мой слух, очень выразительно сонеты Микеланджело. Весь зал, стоя, устроил овацию Дмитрию Дмитриевичу.

После концерта, перед отъездом в Москву, Шостакович сказал:

«Нестеренко пел хорошо, даже мощно, но мне кажется, что ему следовало бы еще потрудиться над этой вещью. Ведь эта вещь очень непростая».

1975

16 февраля 1975 года.

Сегодня я посетил Шостаковича в Репине, куда он приехал на целый месяц, чтобы пройти курс лечения у какой-то врачихи. Об этом он говорил с большой неохотой и грустью, но за обедом взбодрился, оживился и принялся рассказывать о возобновленной в Киевском оперном театре «Катерине Измайловой».

Шостакович сказал:

«Этот спектакль показался мне каким-то праздником. И оркестр, и певцы, и дирижер, и даже режиссер делали свое дело наилучшим образом. Я не стану тебе говорить о своеобразной личности дирижера Симеонова, но дирижировал он превосходно.

По странному и, вероятно, случайному совпадению, спектакль состоялся 28 января [1975], как бы в годовщину статьи „Сумбур вместо музыки" в 1936 году».

24 февраля 1975 года.

Сегодня ездил в Репино. Ирина Антоновна с обычным радушием приготовила к ужину еду и питье.

До моего приезда Шостакович прослушал в авторском исполнении гигантскую по размерам новую, Четвертую симфонию Бориса Тищенко. Он похвалил третью, четвертую и пятую части симфонии, а о первой и второй частях отозвался более сдержанно.

Шостакович сказал:

«Я вообще молчалив. Делать анализ, пускаться в разговоры о прослушанных произведениях я не хочу и не умею. Я просто слушаю музыку, которую мне предлагают послушать. Или она мне нравится, или не нравится. Вот и все».

Затем Дмитрий Дмитриевич с горькой усмешкой заговорил о своем лечении.

Шостакович сказал:

«Врачиха занимается со мной пением. Она говорит, что все дело в дыхании».

Трагическая безысходность звучала в этих внешне иронических фразах.

5 марта 1975 года.

Шостакович переехал из Репина в Ленинград и остановился в Европейской гостинице. Здесь его будет лечить какая-то докторша (экстрасенс), которая простым прикосновением руки делает якобы целебные ожоги на коже. Дмитрий Дмитриевич назвал ее «колдуньей».

Через несколько дней он, засучив рукав сорочки, с блуждающей улыбкой показал мне эти ожоги. Ему, исстрадавшемуся от болезни, хотелось поверить в чудо...

Вечером мы вместе с Ириной Антоновной были на концерте в филармонии. Там исполнялись сюиты из «Дафниса и Хлои» Равеля, Пьеса для фортепиано, скрипки и ударных Б. А. Арапова и Симфония псалмов Стравинского. В антракте мы вспомнили о том, что до войны Шостакович сделал фортепианное переложение Симфонии псалмов

и показывал его своим студентам, а когда наступили постыдные, зловещие дни «борьбы с космополитами», ему за это «кощунство» очень сильно досталось. Один из педагогов Ленинградской консерватории на общем собрании, задыхаясь от благородного гнева, кричал: «Как посмел Шостакович осквернять стены консерватории гнусной музыкой Стравинского? Это мог сделать только космополит — враг отечественной музыки». (Я, испытывая ужас от всего происходящего, от разнузданной травли людей, обвиненных в так называемом космополитизме, присутствовал на этом собрании.)

Шостакович сказал:

«Я думал, что эти недочеловеки готовы были проклясть не только Стравинского, но и отца с матерью, лишь бы угодить начальству». Затем Дмитрий Дмитриевич неожиданно, без всякой связи с Симфонией псалмов, заговорил о Иоганне Штраусе и пожалел, что его сейчас редко играют в филармонии.

Шостакович сказал:

«Что за прелесть его польки, галопы, вальсы. И как остроумен этот замечательный Штраус! Помнишь его „Perpetuum mobile" или „Охоту", где дирижер включается в игру и стреляет из пистолета, раз происходит охота...»

Здесь следует заметить, что Б. Э. Хайкин, ставивший незадолго до войны в Малом оперном театре оперетту Штрауса «Цыганский барон», попросил Дмитрия Дмитриевича инструментировать для спектакля в качестве вставного номера одну из полек И. Штрауса.

Дмитрий Дмитриевич поначалу отказался от этой затеи, ссылаясь на замечательное мастерство И. Штрауса, но в конце концов уступил настойчивым просьбам дирижера. И в результате полька в инструментовке Дмитрия Дмитриевича блеснула как сверкающая ракета на фоне третьего акта «Цыганского барона», оказавшись непостижимым для анализа чудом инструментовки.

На протяжении нескольких десятилетий многие дирижеры мирового класса, в том числе Г. Н. Рождественский и М. Л. Ростропович, в своих концертах исполняют эту польку на «бис».

7 марта 1975 года.

Сегодня обедал у Дмитрия Дмитриевича в 106 номере Европейской гостиницы. Говорили о балете Бориса Тищенко «Ярославна», поставленном в Малом оперном театре.

Шостакович сказал:

«Я несколько раз был на этом спектакле. Скажу тебе, что музыка балета в целом хороша, что касается хореографии, то мне до нее нет дела».

13 марта 1975 года.

Сегодня ужинал у Дмитрия Дмитриевича в Европейской гостинице. Его сильно тревожит судьба оперы М. С. Вайнберга «Зося» («Мадонна и солдат»), премьера которой назначена на 17 марта в Малом оперном театре.

Шостакович сказал:

«Спектакль почти готов, а ему грозит запрет. Автор литератур-

ного первоисточника Богомолов возбудил „дело" против оперы, в которой якобы искажен его рассказ.

Вайнберг страшно волнуется, и это волнение передалось и мне. Я послал телеграмму министру культуры с просьбой защитить оперу. Жду не дождусь положительного ответа. Пока известно, что генеральная репетиция завтра состоится. Приходи обязательно и замолви словечко за эту очень хорошую по музыке оперу».

14 марта 1975 года.

Сегодня состоялась генеральная репетиция «Мадонны и солдата». Спектакль в общем получился интересным, но постановщица — польский режиссер Данута Бадушкова для устрашения публики ввела в него фигуру Смерти, которая мечется по сцене без всякой надобности, ибо она отсутствует и в музыке, и в сюжете. Эта нелепая режиссерская выдумка резко не понравилась Дмитрию Дмитриевичу и мне.

Шостакович сказал:

«Скажи, пожалуйста, зачем нахальничают режиссеры? Зачем они вмешиваются в оперу? Почему пляшет макабрка? Ведь у Вайнберга нет ни одной ноты, предназначенной для этой макабрки?» (Шостакович метко придумал это мрачное словечко от французской «Danse macabre».)

После репетиции Дмитрий Дмитриевич взял на себя тяжкий труд и поднялся на высокий третий этаж театра, чтобы присутствовать на заседании художественного совета. В своей короткой речи он назвал «Мадонну и солдата» «великой оперой».

Я тоже произнес хвалебную речь. Мы рекомендовали изъять из спектакля фигуру Смерти.

17 марта 1975 года.

Сегодня состоялась премьера «Мадонны и солдата» М. С. Вайнберга. Произошло это благодаря энергичному заступничеству Шостаковича за оперу, которой грозил запретом писатель Богомолов — автор литературного первоисточника.

Режиссер плюнула на совет Дмитрия Дмитриевича и оставила в неприкосновенности все танцевальные сцены Смерти.

Я наивно думал, что сам факт посещения спектакля великим композитором, добрые слова, сказанные о нем, режиссер сочтет за большую честь и выполнит его рекомендации, но не тут-то было!

Мало кому ведомая Данута Бадушкова ставила себя выше Шостаковича. Таковы нравы и обычаи современных режиссеров, исполненных самомнения и мании величия. Не случайно Дмитрий Дмитриевич относился к большинству из них очень критически. А ему приходилось иметь с ними дело во многих городах и странах, где ставилась «Катерина Измайлова».

Шостакович сказал:

«Зачем пляшет эта макабрка? Это же безобразие!»

На этом же спектакле Дмитрий Дмитриевич с раздражением говорил о своем нежелании писать воспоминания о ком бы то ни было, ибо он не литератор, а только музыкант (об этом см. Предисловие к письмам).

1 мая 1975 года.

Сегодня из Москвы звонил Шостакович и сообщил, что собирается приехать в Репино 11 мая.

11 мая 1975 года.

Сегодня звонил из Репина Дмитрий Дмитриевич, приехавший с Ириной Антоновной. Ему предстоят дальнейшие встречи с врачихой-«колдуньей». Просил навестить его.

15 мая 1975 года.

Сегодня ездил к Шостаковичу в Репино. По установившейся традиции, мы сели за стол, уставленный скромными яствами.

Шостакович сказал:

«Несколько дней тому назад — 10 мая мы в Москве слушали на концерте Нестеренко. Он исполнял мои романсы на слова капитана Лебядкина и песни из „Крокодила". По-моему, он пел очень здорово. Номера из „Крокодила" бисировались.

Может быть, это нескромно с моей стороны, но я веселился, слушая мои вещицы из „Крокодила"».

Говоря это, Дмитрий Дмитриевич улыбнулся своей славной улыбкой.

22 мая 1975 года.

Сегодня из Репина звонил Шостакович и с грустью сообщил о внезапной смерти (в Комарове) композитора Б. Л. Клюзнера. Дмитрий Дмитриевич хорошо к нему относился и ценил его дарование.

25 мая 1975 года.

Сегодня у нас обедали Дмитрий Дмитриевич и Ирина Антоновна. Меня порадовал его бодрый вид, настроение, хороший аппетит, с которым он вкушал еду и питье.

Мы говорили о разных разностях.

Шостакович сказал:

«Мне стало известно, что узбекский композитор Мухтар Ашрафи расправляется по своему хамскому усмотрению с педагогами Ташкентской консерватории. Я собираюсь по приезде в Москву заступиться за оскорбленных и униженных педагогов. Это не так просто, потому что Ашрафи — любимец узбекских властей. Помнишь, как много лет тому назад я с такой же целью ездил в Ташкент и проходимцы из тамошнего союза композиторов меня чуть не отравили и не отправили на тот свет».

Об этом случае, который мог окончиться трагически, Дмитрий Дмитриевич почему-то рассказывал с удивительным оживлением, улыбаясь. Почему он так некстати улыбался? Быть может, улыбка эта отвечала его тайной мысли о том, что назло отравителям любых рангов, начиная со Сталина, он жив, деятелен и небезучастен к горю других...

Мне в голову не приходило, что в этот весенний майский день состоялось мое последнее свидание с Дмитрием Дмитриевичем.

Больше в Ленинград он не приезжал.

15 июня 1975 года.

Сегодня мне звонил из Москвы Дмитрий Дмитриевич. Не застав меня дома и поговорив с Верой Васильевной, он позвонил снова.

Шостакович сказал:

«У меня к тебе просьба. Пусть она тебя не удивляет. Мне хочется, чтобы ты мне написал, какое впечатление на тебя произвела опера „Петр Первый" Андрея Петрова, поставленная в Мариинском театре? Мне интересно знать, как теперь в операх изображают царей... Ты вообще пиши, а я в ответ буду тебе звонить. Мне писать письма очень трудно. Не сердись на меня и обязательно пиши».

Меня рассмешила прелестная по своему простодушному стилю фраза Шостаковича о царях в советской опере. К слову сказать, ему не нравилось, как изображали царей (Ивана Грозного и Петра I) в кинематографе.

Больше мне Дмитрий Дмитриевич не звонил.

На первых порах меня это не беспокоило, ибо я вспоминал, как хорошо выглядел Шостакович у меня на обеде 25 мая. Однако время шло неудержимо и молчание Дмитрия Дмитриевича меня начало тревожить, но я отгонял от себя скверные предчувствия, памятуя французскую поговорку: «Нет новостей — хорошие новости», которую Шостакович любил повторять в разных обстоятельствах.

Я очень редко звонил Дмитрию Дмитриевичу, предпочитая писать ему письма, к которым он (смею сказать) относился с интересом. Но в конце июля я нарушил свой обычай.

29 июля 1975 года.

Сегодня звонил Дмитрию Дмитриевичу в больницу. К телефону подошла Ирина Антоновна. От волнения она говорила со мной как-то отрешенно, стертым звуком, без интонаций. Она промолвила: «Сейчас к телефону подойдет Дмитрий Дмитриевич».

Поздоровавшись со мной, Шостакович сказал:

«Я чувствую себя лучше. Меньше кашляю, меньше задыхаюсь. Пиши мне на городской адрес. Здесь в больнице целый город».

После большой паузы он продолжал:

«Меня здесь продержат до 10 августа. Может быть, к 1 сентября приеду в Репино».

Голос его был тусклый, подернутый какой-то пеленой.

Мне вдруг сделалось страшно. Но я обнадеживал себя его словами, в которых не было ни одной жалобы, в которых звучала вера в то, что он вскоре вернется домой, а затем поедет в любимое Репино.

Быть может, при всей физической немощи, Дмитрий Дмитриевич не хотел сдаваться, а слабыми руками, по-бетховенски, «схватить судьбу за глотку».

Но смерть, которую он в своих произведениях изобразил с такой потрясающей силой, неслышно бродила вокруг и настигла его 9 ав-

густа, за день до того срока, который был им назван по телефону как день избавления от больницы и возвращения домой...

9 августа я осиротел навеки. В этот день оборвались золотые нити, связывавшие меня с Дмитрием Дмитриевичем на протяжении сорока с лишним лет. Я любил этого человека со всей нежностью и страстностью, на которые способна моя душа.

И память о нем для меня священна. Каждое слово, оброненное им, письменно или устно, я старался хранить, как сокровище. И мне кажется, что слово это вызовет интерес у тех, кто любил и любит поныне гениального Шостаковича.

P. S. Минуло семнадцать лет со дня кончины Дмитрия Дмитриевича Шостаковича — срок немалый в наше изменчивое и быстротечное время. К счастью, его бессмертная музыка не расстается с нами, она неумолчно звучит, являясь для нас залогом и утешением. Так было всегда, даже в самое тяжелое время, переживаемое нашей страной, время, посылавшее испытание каждому из нас...

Трагедийная музыка Шостаковича несет в себе ярчайшие элементы просветления и радости, излучаемой вечной живой надеждой.

Когда я думаю о гигантской роли, сыгранной Шостаковичем в нашей индивидуальной и общественной жизни, мне вспоминается по аналогии роль Пушкина, которую блестяще охарактеризовал А. И. Герцен, и мне хочется процитировать его, своевольно заменяя имя Пушкина именем Шостаковича, за что прошу прощения у слишком суровых пушкинистов:

«Только звонкая и широкая песнь Шостаковича раздавалась в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, полнила своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее»*.

Август 1991 г.

---

*Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 7. С. 214—215.

Allegro

ПОПУТНАЯ-КАГАНОВИЧЕВСКАЯ

ПРИПЕВ ИЗ ПЕСНИ О ЖЕЛЕЗНОМ НАРКОМЕ, НИКОЛАЕ ИВАНОВИЧЕ ЕЖОВЕ

ВЕЛИЧАЛЬНАЯ
в честь славных гороховодов и бобосеев, добившихся неимданных урожаев гороха и бобов после приема в Кремле

Больше гороха! Больше бобов!
(Из призывов)

Историческое высказывание о сказке Максима Горького «Девушка и Смерть»:

«Эта штука сильнее, чем "Фауст" Гёте (л ю б о в ь п о б е ж д а е т с м е р т ь)». (И. В. Сталин)

Попутная-Кагановичевская

По стальным дорогам паровозы мчатся,
Пассажиров вдаль везут.
Ах, как пассажиры бурно веселятся
И радостно песню поют:
— Лазарь Мойсеич — наш первый машинист,
Ведет он наш поезд сквозь грохот и свист.
Лазарю Мойсеичу спасибо за комфорт!
Наш большевистский поезд — первый сорт!

Мы любим дорогу, мы любим наркома,
Мы хозяева земли.
На железной дороге лучше, чем дома.
Лети ж, моя песня, лети!
Лазарь Мойсеич — наш первый машинист,
Ведет он наш поезд сквозь грохот и свист.
За ласку и заботу тебя благодарим.
На наших лицах радость, на вражьих — грим.

В каждом вагоне — полная чаша.
Радость льется через край.
Ах, как прекрасна Родина наша!
Так ну же, запой, не зевай!
Лазарь Мойсеич — наш первый машинист,
Ведет он наш поезд сквозь грохот и свист.
Сердечное спасибо за бдительность твою,
Иначе б мы стояли у бездны на краю.

Припев из песни о Железном наркоме

За всё, за всё тебе низкий поклон:
За ясный советский небосклон,
За бодрый и радостный тон,
За счастливый и спокойный сон.

Величальная

Слава, слава бобосеям и гороховодам.
Раз в Кремле они лишь побывали,
Урожай удесятеряли.
Сей горох! Ешь бобы! Раз! Два! Три!
Сей горох! Ешь бобы! Раз! Два! Три!

Историческое высказывание о сказке Максима Горького

Эта штука, эта штука, эта штука сильнее,
Чем гётевский «Фауст»:
Любовь тут побеждает смерть.
Любовь тут побеждает смерть.
Любовь тут побеждает смерть.

[1] Тексты песен и музыка И. Д. Гликмана.

И. Д. Гликман

О СТАТЬЕ «СУМБУР ВМЕСТО МУЗЫКИ» И НЕ ТОЛЬКО О НЕЙ

Сразу после ленинградской премьеры «Леди Макбет Мценского уезда», состоявшейся 22 января 1934 года, хлынул поток восторженных отзывов, откликов, рецензий. Они публиковались в ленинградской, московской и заграничной прессе. Газета «Правда», например, с гордостью сообщала о премьере «Леди Макбет» в нью-йоркском театре «Метрополитен-опера» под управлением известного дирижера Артура Родзинского.

Даже самые прозорливые люди не могли предвидеть, что на страницах этой же газеты вскоре появится разгромная статья, само заглавие которой представляет собой образец чудовищного глумления над гениальной оперой: «Сумбур вместо музыки».

Это случилось 28 января 1936 года, как бы к двухлетнему юбилею прославленного на все лады спектакля. В те времена московские газеты доставлялись в Ленинград, как правило, на следующий день после их выхода в свет, следовательно, «Правду», с ее печально знаменитой статьей, ленинградцы имели возможность прочесть 29 января 1936 года, но я по воле случая вкусил горечь за сутки до появления газеты в Ленинграде.

28 января поздним утром я отправился в Дмитровский переулок к Софье Васильевне Шостакович. Как раз в момент моего прихода в дом муж Марии Дмитриевны (сестры композитора) звонил из Москвы и сообщил о нагрянувшей беде. Я взял телефонную трубку и попросил прочесть мне текст «Сумбура вместо музыки». Я слушал его с ужасом. Мне казалось, что в мои уши льют отраву. Статья была без подписи. В ту пору мало кто понимал, что значит формула: «редакционная статья „Правды"». Когда проходило многодневное обсуждение статьи в Ленинградском Союзе композиторов, один из композиторов — И. Я. Пустыльник — наивно спросил, почему автор статьи побоялся назвать свое имя. В газетном отчете о заседании он был за это нещадно обруган.

Но в то памятное утро 28 января я понял, что гром грянул не из кучи, а из тучи*, что никто, кроме Сталина, не мог поднять руку на знаменитую оперу и разгромить ее. Так оно и было**.

Дмитрий Дмитриевич в те дни отсутствовал в Ленинграде; он

* Этой формулой пользовался А. С. Пушкин.

** После опубликования статьи «Сумбур вместо музыки» состоялось всего одно, последнее представление «Леди Макбет» в Ленинграде. За дирижерским пультом стоял С. А. Самосуд, срочно сделавший, однако, купюры в спектакле. Я, естественно, был на спектакле. В зале находились друзья Шостаковича и горячие поклонники разруганной оперы. Зрители пребывали в каком-то оцепенении, многие из них, осведомленные о статье, вероятно, выискивали «сумбур» в замечательной музыке. Я волновался до чрезвычайности. Волнение это передалось моему другу — дирижеру Н. С. Рабиновичу, с которым мы вместе сидели в партере. Финальный хор я воспринимал, как отпевание великой оперы.

Дмитрия Дмитриевича на спектакле не было.

гастролировал в Архангельске, где играл Первый фортепианный концерт и Виолончельную сонату (с В. Л. Кубацким). Когда роковая весть дошла до него (а мы все: Иван Иванович Соллертинский, я и многие другие — страшно волновались за него, за его здоровье, за его нервы), он сделал нечто такое, что повергло меня в изумление. Дмитрий Дмитриевич прислал мне телеграмму с просьбой подписаться на почтамте на газетные вырезки, относящиеся к его музыкальным сочинениям. Тут надо сказать, что Дмитрий Дмитриевич не собирал, не хранил посвященных ему хвалебных статей и рецензий, ему это и в голову не приходило, но, прочтя «Сумбур вместо музыки», этот очень умный и очень сдержанный человек сразу понял, что его восторженные рецензенты решительно перестроятся, и на него, автора «Леди Макбет Мценского уезда», обрушится целый шквал ругани и брани. Его ожидания полностью оправдались. Я, разумеется, выполнил просьбу Дмитрия Дмитриевича. По возвращении в Ленинград он вскоре купил большого формата альбом и начал с беспощадным педантизмом вклеивать в него газетные вырезки в несметном количестве.

Во всех крупных городах, наряду с Москвой и Ленинградом, музыкальная общественность предавала анафеме не только «Леди Макбет», но попутно с нею и почти все другие сочинения Шостаковича. На первой странице альбома красовалась статья «Сумбур вместо музыки»; я упрекнул Дмитрия Дмитриевича в духовном мазохизме, но он, не улыбаясь, отвечал: «Так надо, так надо!» Альбом быстро заполнялся газетными вырезками. Дмитрий Дмитриевич читал их, как правило, без комментариев. Иногда на его лице появлялось выражение, как бы означавшее: «Они не ведают, что творят». Я помню, что его задела фамилия одного известного пианиста, опубликовавшего большую ругательную статью, кажется, в «Известиях» по поводу «Леди Макбет». И эта статья, конечно, была также вклеена в альбом.

Характерно, что многие авторы-ругатели извинялись за свою некомпетентность в оценках «Леди Макбет» и «признавались», что только после изучения «Сумбура вместо музыки» они с предельной ясностью обнаружили вопиющие дефекты разрекламированной оперы. И это было знамение времени. Уважаемые, казалось бы, люди утратили элементарное достоинство, потеряли всякий стыд.

Но вернемся к февралю 1936 года. В это время Дмитрий Дмитриевич вернулся из Москвы, куда он заехал из Архангельска. Иван Иванович Соллертинский и я встречали его на перроне Московского вокзала. Утро было морозное. Поезд опаздывал. Мы сильно волновались: каким пред нами предстанет Дмитрий Дмитриевич, насильственно перенесенный в новую эру? Нам обоим казалось (и мы говорили об этом с Иваном Ивановичем), что «Сумбур вместо музыки» непоправимо разделил на две части художническую жизнь Дмитрия Дмитриевича. Эра его заслуженной славы канула в вечность, а теперь наступила другая, беспощадная эра, во мраке которой скроется звезда его необыкновенного таланта. Звезда, конечно, не погаснет, но скроется. Нам так тогда казалось, ибо мы были охвачены тревогой и страхом. Именно поэтому мы не учитывали того, что двадцатидевятилетний Шостакович обладал, при кажущемся безволии, могучей волей и неисчерпаемым запасом творческих сил.

Я думаю, что и молодость помогла ему стойко перенести ту свирепую «проработку», которой он подвергся в масштабах всей страны.

Дмитрий Дмитриевич вышел из вагона стройный, элегантный, красивый. Я помню выражение его лица, оно казалось несколько суровым: не было той обворожительной белозубой улыбки, с которой он обычно встречал друзей. Мы облобызались и отправились пешком в Дмитровский переулок. Феноменальная сдержанность не покидала Дмитрия Дмитриевича. Он не расплескивал своих эмоций, не жаловался, не вздыхал, не повышал голоса. Он говорил мало потому, что до рези в глазах всё было ясно.

Дома Дмитрий Дмитриевич был тоже немногословен, однако он рассказал о своих встречах с председателем Комитета по делам искусств П. М. Керженцевым и М. Н. Тухачевским. Из разговоров с ними он понял, что никакие просьбы и апелляции не смогут изменить приговора, вынесенного в редакционной статье «Правды». Впрочем, Дмитрий Дмитриевич ни о чем не просил. Высококультурный и учтивый Керженцев настойчиво рекомендовал Дмитрию Дмитриевичу признать ошибки, допущенные им по молодости лет в опере «Леди Макбет».

Что касается Тухачевского, то он сел писать письмо Сталину. Делал он это с большим трудом, напряжением и страхом. Наблюдательный Дмитрий Дмитриевич не без грусти увидел, как бедный маршал вытирал белоснежным платком выступившую на его затылке испарину. Письмо Тухачевского, высоко ценившего талант Шостаковича, конечно, никаких последствий не имело.

Некоторые люди, очень хорошо относившиеся к Дмитрию Дмитриевичу, строили иллюзии насчет того, что создавшееся положение, каким бы драматичным оно ни было, можно изменить, что неизвестный автор редакционной статьи неверно понял Сталина, который вряд ли назвал сумбуром музыку всемирно признанной оперы, что статья не что иное, как плод какого-то недоразумения, что следует без промедления разъяснить суть дела, заступиться за молодого гениального композитора, всеобщего любимца, красу и гордость советской культуры, и наваждение тотчас же рассеется.

Я думаю, что подобных иллюзий не был чужд и М. Н. Тухачевский, отважившийся написать письмо Сталину.

Я познакомился с Тухачевским весной того же 1936 года. Дмитрий Дмитриевич в очередной раз пригласил меня пообедать (а случалось это часто, по нескольку раз в неделю). Когда я пришел, Дмитрий Дмитриевич сказал, что у него будет вместе со мной обедать московский гость, остановившийся в гостинице «Европейская». Я не стал осведомляться о его имени, так как Дмитрий Дмитриевич не назвал его сам. Дело в том, что Шостакович не любил чрезмерно любопытных собеседников и в свою очередь удерживался от праздного любопытства, каковое он считал признаком дурного воспитания.

Около пяти часов мы вышли с Дмитрием Дмитриевичем на балкон дома №14 по Кировскому проспекту. Шел дождь. Погода была прохладной. Через несколько минут подъехало такси, из которого вышел человек. Я сразу узнал его по портретам. Это был Тухачевский, одетый в серый военный плащ. Быстрым движением руки он поднял воротник, украшенный маршальскими звездами. Сделал он это, не защищаясь от дождя, а, вероятно, для того, чтобы не привлекать внимания прохожих к своей особе. Тогда (в 1936 году) было в диковинку увидеть живого маршала, ибо воинское звание «маршал» только что стало новшеством.

Дмитрий Дмитриевич встретил гостя с дружелюбной, радостной улыбкой, но, разумеется, без всякой суеты или замешательства. Я был представлен Тухачевскому. Он, кажется, не совсем расслышал мою фамилию, но сразу запомнил имя и отчество, в чем я вскоре убедился за обеденным столом. Михаил Николаевич был человеком очень воспитанным и интеллигентным. Он принял меня за равного, не расспрашивая Дмитрия Дмитриевича, кто я такой, каков род моих занятий и т. д., и т. п.

Тухачевский мне показался человеком привлекательной наружности. Понравилось его породистое, открытое лицо. Запомнились серые, чуть-чуть выпуклые, продолговатого разреза глаза, в которых часто вспыхивали искорки смеха. Я обратил внимание на тщательно отполированные ногти его холеных рук. Тухачевский был, по-видимому, человеком жизнерадостным, легким в общении. Беседа текла непринужденно. О печальных вещах не говорилось, чтобы не омрачать встречу. Михаил Николаевич с удовольствием и оживлением рассказывал о своей недавней командировке во Францию. Там он встречался с высокопоставленными военными, которые, между прочим, обучали его искусству пить шампанское без последующей головной боли: всё дело, оказывается, в правильном подборе закусок...

Тухачевский, обратившись ко мне, неожиданно спросил, как я отношусь к Александру Дюма? Я сказал, что с детства и по сю пору люблю трилогию о мушкетерах и многие главы из «Графа Монте-Кристо». Михаил Николаевич словно обрадовался моему ответу и заметил, что не перестает удивляться таланту Дюма и что ему случайно удалось приобрести в киоске «Европейки» блестяще написанную книгу Дюма на чисто гастрономическую тему. Эта удивительная книга носит название «Grande dictionnaire de cuisine». Он очень хорошо произнес это заглавие «Grande dictionnaire de cuisine» и весело засмеялся.

Разговор за столом коснулся Большого театра. Тухачевский не без энтузиазма расхваливал балерину О. В. Лепешинскую, ища поддержки у Дмитрия Дмитриевича, но тот соглашался с гостем скорее из вежливости, нежели из убеждения. Дело в том, что он остыл к искусству Терпсихоры, к ее жрицам и жрецам, коим поклонялся в годы первой своей молодости.

Впоследствии, через много лет, равнодушие к балету, а главным образом к балетоманам, приняло характер неприязни. Дмитрий Дмитриевич говорил мне, что Тухачевский в балетоманах не числился. Ему просто нравилась танцовщица Лепешинская и балет «Светлый ручей», имевший в Москве громадный успех. Но успех этот был непродолжительным, ибо вслед за «Леди Макбет» балет подвергся расхлесту во второй редакционной статье той же неутомимой «Правды»*. Неведомый автор, не терпящий, разумеется, никакой фальши, назвал свой опус «Балетная фальшь». Но статья большого резонанса не имела, и Дмитрий Дмитриевич отнесся к ней более или менее безучастно, хотя в балетных кругах ее изучали вдумчиво и с большой тщательностью.

* Статья «Балетная фальшь» была опубликована в «Правде» 6 февраля 1936 года.

Несколько слов о балете

Летом 1936 года И. И. Соллертинский, невзирая на статью «Балетная фальшь», предложил Дмитрию Дмитриевичу написать еще один балет — четвертый по счету, но на этот раз, в виде исключения, на художественно-полноценное либретто, литературным источником коего станет «Дон-Кихот» Сервантеса. Иван Иванович — глубокий знаток Испании — взялся срочно набросать либретто. Дмитрий Дмитриевич на первых порах проявил интерес к этой затее. Я тоже уговаривал приняться за эту работу, ибо никто лучше его не воссоздаст в музыке то удивительное сочетание юмора и патетики, которое так характерно для гениального романа Сервантеса. Однако вскоре Дмитрий Дмитриевич отказался от этого плана. Он полушутя-полусерьезно говорил, что ему будет не по силам тягаться с композитором Минкусом, чей «Дон-Кихот» более полувека с триумфом идет на балетных сценах. Умный и проницательный Дмитрий Дмитриевич заранее знал, что его балет будет принят танцовщицами и танцовщиками или холодно, или враждебно, ибо они очень вольготно чувствуют себя в музыке Минкуса*. Ведь нечто схожее произошло через несколько лет с балетом С. С. Прокофьева «Ромео и Джульетта». В Большом театре его забраковали, в Мариинском приняли со скрежетом зубовным. Я хорошо помню, как мы с Дмитрием Дмитриевичем глубокой осенью 1940 года отправились на одну из генеральных репетиций «Ромео»**. На ней присутствовал Прокофьев. Он громко делал замечания оркестру. Затем он нашел какой-то дефект в поведении актеров. Недолго думая, долговязый Сергей Сергеевич шагнул из партера через помост прямо на сцену.

Дмитрий Дмитриевич был несколько удивлен повадкой великого композитора и тихо шепнул мне: «Может быть, так и надо вести себя авторам музыки, но я так не умею». В зале было очень мало посторонней публики — всё больше свои. Наверное, это обстоятельство и побудило Прокофьева не скрывать своего недовольства отдельными частностями спектакля. Вообще-то премьера имела феноменальный успех, и Сергей Сергеевич был, как мне показалось, совершенно счастлив. Спектакль привел его в восторг. Дмитрию Дмитриевичу спектакль тоже понравился. Он говорил мне, что у Прокофьева, помимо всего прочего, замечательный мелодический дар. Эту формулу он повторял и после просмотра в Малом оперном театре «Войны и мира» и в Мариинке «Дуэньи».

Аутодафе

Вернемся к февральским дням достопамятного 1936 года. В Союзе композиторов на улице Росси было устроено многодневное обсуждение «Сумбура вместо музыки». Его организаторы надеялись на присутствие Дмитрия Дмитриевича, от коего требовалось совсем

* Дмитрий Дмитриевич мне также говорил, что балету вообще недоступно воплощение такой грандиозной вещи, как «Дон-Кихот» Сервантеса.

** Оркестром дирижировал Исай Эзрович Шерман. На указанной мною репетиции он был, по-видимому, нездоров. Его шея была окутана большим шарфом, голос звучал хрипло и еле слышно.

немногое: согласиться со статьей и раскаяться. В те времена (и много позднее) придавалось огромное значение раскаянию, покаянию. Этот постулат христианской религии прямо перекочевал из церкви в общественную жизнь страны. Дмитрий Дмитриевич для себя решил бесповоротно: на этом трагифарсе не присутствовать. Он уехал в Москву, где у него было pied-a-terre*, взяв с меня слово ежедневно писать ему о ходе обсуждения. Дмитрия Дмитриевича интересовал не характер обсуждения — он был заранее предопределен, — а подробности, скорее всего, психологического плана. Я сдержал данное мною слово. Писал по возможности объективно, позволяя себе комментировать некоторые речи, вызывавшие во мне особое негодование. Дмитрий Дмитриевич впоследствии пожалел о том, что он по укоренившейся привычке уничтожил эти письма-отчеты, представлявшие собой замечательный документ эпохи. (Шостакович за редчайшими исключениями не хранил письма своих корреспондентов.) Письма эти я писал рано утром, так как каждое собрание завершалось поздно, и мы с Иваном Ивановичем Соллертинским неукоснительно отправлялись, разумеется пешком, на Большой проспект Петроградской стороны в бывший ресторан Чванова** (излюбленное место Соллертинского). Там, к слову сказать, незадолго до описываемых событий служил Ю. В. Свиридов в качестве пианиста.

Во время этой довольно продолжительной прогулки мы на вечернем морозном воздухе приходили в себя, затем, уже в ресторанном зале, смывали водкой приставшие к нам словесные нечистоты. Далеко за полночь мы расходились по домам.

Руководил многодневным собранием ответственный секретарь Союза композиторов В. Е. Иохельсон, которого весьма ценили в Смольном. Рядом с ним сидел его помощник композитор Лев Круц. Ему приходилось ориентировать своего шефа в складывавшейся обстановке, так как у того было очень плохое зрение и он почти ничего не видел. В. Е. Иохельсон, обладавший звучным, напористым тенором, призывал собравшихся выступать честно, прямо, а главным образом, смело. Пример смелости, говорил он, нам показала газета «Правда», не побоявшаяся разоблачить оперу Шостаковича, которая в течение двух лет пользовалась дутой славой.

И вот один за другим выходили «смельчаки».

Некоторые из них с притворной печалью признавались, что их черт попутал, что, будучи профессионалами, они тем не менее приняли явный сумбур «Леди Макбет» за хорошую музыку.

Другие жалели молодого, подававшего надежды композитора, попавшего в тину формализма, а из этой пагубной тины не так уж легко выбраться.

Третьи упрекали самих себя за снисходительность к грубейшим формалистическим ошибкам, допущенным Шостаковичем в опере «Нос». А она-то не что иное, как «исчадие формалистического ада».

Когда «смельчаки» касались ранних произведений Шостаковича — «Носа» или Второй и Третьей симфонии, — их голоса крепли, наливались гневом. Обличительный пафос так или иначе соответствовал подлинным негативным чувствам обличителей.

* Пристанище (фр.).

** Ныне «Приморский».

Более сложно было гневаться с такой же силой на «Леди Макбет». Но и такие «смельчаки» нашлись в изобилии.

На собрании неумолчно и непрестанно звучало ненавистное, бранное, враждебное, как злой рок, слово «формализм».

В зале присутствовал корреспондент «Правды», ежедневно публиковавший в своей газете отчеты. Когда ему захотелось побольней уязвить И. И. Соллертинского, он назвал его в очередном отчете «трубадуром формализма». Это странное наименование доставило Ивану Ивановичу очень много неприятностей. В некоторых учреждениях, с которыми он имел дело, ему внушали: «Позорно быть отъявленным формалистом, но стократ позорней стать трубадуром формализма!»

Иные ораторы называли Соллертинского «злым гением» Шостаковича, совратившим его с правильного пути, и заявляли, что критик должен быть наказан за свои прегрешения.

Перед голосованием резолюции Иван Иванович ужасно волновался. Он несколько раз вызывал меня в коридор, чтобы посоветоваться насчет своего поведения во время голосования*. Я был в растерянности, но сказал однако: «Так как ты, судя по всему, будешь в этой резолюции обруган, то вряд ли ты можешь голосовать за нее, одобряя ругань по своему адресу. Это ведь ни в какие ворота не лезет». Я тогда не до конца понимал, что в этом алогизме и состоит высшая доблесть покаяния.

Иван Иванович то соглашался с моим аргументом, то отвергал его. Затем он тревожным шепотом быстро выпалил: «Знаешь ли ты, что Дмитрий Дмитриевич перед своим отъездом в Москву разрешил мне в случае крайней необходимости голосовать за любые резолюции?» Я этого не знал, но, конечно, не усомнился в словах Ивана Ивановича. Я думаю, что великодушный Шостакович не хотел, чтобы из-за него пострадал его друг Соллертинский, причем пострадал бесцельно, если понятие «цель» воспринимать не в его духовном, а реально-практическом аспекте. Именно в этом аспекте бесцельно поднимать одинокий голос, раз он потонет в многоголосом хоре одобрения резолюции. Для меня совершенно ясно, что Дмитрий Дмитриевич в глубине души был бы обрадован, узнав о том, что Соллертинский не голосовал за резолюцию, то есть не втаптывал в грязь свое человеческое достоинство, не бесчестил свое доброе имя, но вместе с тем он прекрасно понимал, что это сопряжено с риском, быть может превосходящим силы Ивана Ивановича, именно поэтому он без всякой задней мысли предоставил ему carte blanche**.

Дмитрий Дмитриевич, таким образом, полагал, что любое решение, которое примет И. И. Соллертинский, не подлежит порицанию, в противном случае carte blanche теряет свой исконный смысл.

Дмитрий Дмитриевич заранее отказался от критики, а Ивану Ивановичу предстояло сделать так, чтобы не давать для нее ни малейшего повода.

Положение было сложным, а главным образом, неравным. Почему? Да потому, что Шостакович чувствовал себя, несмотря на бурю, сильным, может быть, даже очень сильным, а Соллертинский

* Я благодарен судьбе за то, что не состоял в Союзе композиторов и не должен был выбирать между костром и плахой.

** Полную свободу действий (фр.).

к концу этого злопамятного собрания ощущал в себе слабость, непреодолимую, как ему казалось. Страх породил эту слабость. Мне было очень жаль Ивана Ивановича, которого я по-настоящему любил.

Резолюция была принята единогласно при одном воздержавшемся. Им оказался известный композитор Владимир Владимирович Щербачев.

В президиуме собрания возникло некое замешательство. Я, как сейчас, помню вставшего в боевую позу В. Е. Иохельсона. Он призывал Владимира Владимировича присоединиться ко всем членам союза, дружно проголосовавшим за резолюцию. Три или четыре раза через короткие интервалы звучал бодрый, призывный голос этого тощего, невзрачного на вид фанатика. Все взоры были обращены на строптивца. А он безмолвно стоял в обширной гостиной, нервно ковыряя пальцем дырочку на подбородке — след ранения, полученного в первую мировую войну. Этот автоматический жест был у него всегда признаком душевного волнения.

Отчего Иохельсон делал паузы между своими кличами-призывами? Вероятно, для того, чтобы дать возможность Щербачеву одуматься, но тот остался непреклонным. Ей-богу, паузы эти были насыщены подлинным драматизмом. Владимир Владимирович, сохраняя свое достоинство, н е голосовал за резолюцию. Страх помешал ему голосовать против нее. Он воздержался, и мне такое решение казалось мужественным актом.

Я довольно хорошо знал В. В. Щербачева. По моим наблюдениям, он был человеком гордым, неуступчивым, несговорчивым. Этот композитор старшего поколения прекрасно понимал громадные масштабы таланта Шостаковича, но, кажется, не разделял тех бурных восторгов, которыми сопровождалось появление оперы «Леди Макбет». Он отдавал ей должное. В этой связи мне вспоминается такой эпизод.

Осенью 1935 года в фойе Большого зала филармонии открылась выставка, в организации которой мне пришлось принимать участие, так как в ту пору я работал в качестве заведующего так называемым культмассовым отделом филармонии. Помимо витрин, на выставке были установлены бюсты Баха, Бетховена, Чайковского. И вот мне пришла в голову мысль установить рядом с классиками бюст Шостаковича, по которому я с ума сходил. Мою идею одобрил И. И. Соллертинский. Против нее не возражал художественный директор филармонии профессор А. В. Оссовский.

Сказано — сделано! Мой брат Гавриил Давидович быстро вылепил великолепный бюст молодого автора «Леди Макбет», который и был установлен на выставке. (Скульптура эта по сей день хранится в библиотеке филармонии.)

На вернисаж явились многие музыканты, среди которых был и В. В. Щербачев. Окинув взглядом выставку, он подошел ко мне и не без раздражения сказал: «Зачем вы установили бюст Мити Шостаковича? Ему еще рано стоять рядом с великими!»

Я не стал спорить с маститым композитором, хотя был сильно огорчен его упреком, показавшимся мне несправедливым и обидным.

Тем замечательнее было поведение В. В. Щербачева на собрании, о котором я веду речь.

Итак, не только ленинградская, но и всесоюзная кампания по разоблачению Шостаковича как автора «Леди Макбет» прошла успешно, без сучка, без задоринки. Музыкальная общественность блестяще выдержала экзамен на бескрамольность и покорность. Она отреклась от

своих взглядов и убеждений, признав газетную статью, инспирированную Сталиным, непререкаемой истиной, приобретшей значение догмата. Эта позорная статья вошла в консерваторские курсы по истории музыки. Педагоги цитировали ее, истолковывали, анализировали, суеверно преклоняясь перед ее мудростью. Она не была подвластна времени.

Прошло лет двенадцать — тринадцать после ее опубликования, и один профессор-музыковед на собрании в Ленинградской консерватории сказал в своей речи следующее: «Композитор Шостакович, написавший оперу „Сумбур вместо музыки" (!!!), совершил непоправимую ошибку...» Для ученого мужа (человека в общем беззлобного) название газетной статьи, намозолившее ему язык, стало синонимом названия оперы. Я присутствовал на этом собрании и поразился тому, что трагикомическая оговорка профессора не вызвала смеха в аудитории. Быть может, подумал я, наваждение так велико, что аудитория уже свыклась с мыслью о том, что Шостакович действительно написал оперу «Сумбур вместо музыки», а вовсе не «Леди Макбет Мценского уезда»?!

Сталин, впервые поставивший смелый эсперимент на проверку своей безмерной власти над подданными, в данном случае из среды художественной интеллигенции, мог испытывать полное удовлетворение. Музыканты всей страны уразумели, что тот, кто *имеет абсолютную власть*, автоматически наделен абсолютным и непогрешимым музыкальным вкусом. Подобную аксиому — применительно к своей профессии — впоследствии усвоили писатели, поэты, кинематографисты, языковеды, биологи etc., etc.

Людовик XIV тоже обладал абсолютной властью в условиях абсолютной монархии, но он ее сознательно ограничивал, признавая и утверждая, например, приоритет знатоков музыки и поэзии.

Однажды в Версале при всем дворе король-солнце сказал: «Господин Депрео [Буало] в стихах понимает лучше, нежели я».

Вряд ли Сталин знал об этом очень интересном казусе, происшедшем в Версале, а если бы знал, то, несомненно, осудил бы короля-деспота за *«гнилой либерализм»* (широко распространенная формула в 30-х годах).

Статья «Сумбур вместо музыки» и после смерти ее вдохновителя сохраняла свою тлетворную силу. В этом с горечью и душевной *болью* Дмитрий Дмитриевич убедился в марте 1956 года во время обсуждения второй редакции «Леди Макбет» под председательством Д. Б. Кабалевского. Когда на этом обсуждении я говорил о художественной силе и великолепии оперы «Леди Макбет», меня поочередно обрывали Кабалевский, Г. Н. Хубов, В. В. Целиковский, работавший в Министерстве культуры. Они мне (и, разумеется, Дмитрию Дмитриевичу) энергично и повелительно напоминали, что статью «Сумбур вместо музыки» никто не отменял, а я, восторгаясь оперой, делаю вид, что ее (статьи) якобы не существует. «Нет! — вопили эти рептильные музыканты. — Статья и поныне сохранила свою актуальность и руководящую силу». Несчастные! Они с удивительным рвением оберегали постыдный «престиж» постыдной статьи, опубликованной двадцать лет тому назад! Усомниться в ней без указаний свыше значило впасть в ересь, а еретикам несдобровать!..

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

Абдулаев К. — 171
Адуев Н. А. — 70
Айтматов Ч. — 213—214, 216, 270
Аллочка — см. Эфрос А. Г.
А. Л. — см. Свиридова А. Л.
Алов — 32, 48
Андреев Л. Н. — 149
Андрей — см. Чуковский А. Е.
Андреева Э. Е. — 284
Андроников И. Л. — 219, 250—251
Анисимов А. И. — 91
Аносов Н. П. — 124
Антонова В. В. — 92—98, 100—108, 110, 113—119, 122—127, 131—133, 136—139, 147, 150—152, 154, 156—158, 162—164, 166—167, 169, 171—177, 179—180, 186—187, 190—191, 194, 200—202, 208—209, 212—214, 220, 223—225, 227—228, 230, 233—237, 239—241, 243, 245—250, 252, 254—258, 260—267, 269, 270—274, 277, 279, 281—282, 284—285, 289—292, 294—296, 299—300, 302, 304, 310
Антюфеев Б. И. — 34
Аполлинер Гийом (В. А. Костровицкий) — 199, 249, 254
Апостолов А. И. — 258—259
Арапов Б. А. — 7, 306
Аристов А. А. — 135
Арнольд А. Г. — 258—259
Арнштам Л. О. — 159, 161
Архангельский — 48
Асафьев Б. В. — 71
Атовмьян Л. Т. — 82, 95, 108
Ахматова А. А. — 153, 221, 279
Ашрафи М. — 309

Бадушкова Д. — 308
Байрон Дж. Н. Г. — 4
Бакеева В. Н. — 133—134
Балкашин Ю. А. — 162, 163
Барков И. С. — 129—130
Барсова В. В. — 32
Баршай Р. Б. — 249—250, 252, 257—258, 261—262, 264, 267, 300
Баснер В. Е. — 144, 164—165, 198, 240, 245, 258, 264
Баснер Н. Е. — 257
Батурин А. И. — 35, 37
Бауэр Ф. — 247, 256
Бах И. С. — 91, 115
Башашкин — 131, 132
Бегиашвили С. — 35—37
Белинский В. Г. — 292
Белов Г. Г. — 199
Белугин — 90
Беляев А. И. — 135
Бендоха О. — 265
Берлиоз Г. — 258
Бернс Р. — 54, 175—176, 200, 213
Бернстайн Л. — 298
Бетховен Л. ван — 10, 12, 21, 39, 67, 70, 93, 96, 154—155, 157, 213, 225, 241, 263, 278, 289, 298
Биберган В. Д. — 245—246
Блажков И. И. — 224, 247
Блажкова Г. Ю. — 247
Блантер М. И. — 44—45, 79
Близнюк Н. Г. — 128
Блок А. А. — 70—71, 199, 226, 235, 240, 256, 271
Бобров В. С. — 32, 131—132
Богачева И. П. — 295—296
Богданов — 155
Богданов-Березовский В. М. — 43, 58
Богомолов В. О. — 308
Болтин Е. А. — 43—44, 56—58
Борисовский В. В. — 289
Борисов А. Ф. — 155
Боровский А. К. — 133—134
Боярский К. Ф. — 158
Брагин В. Г. — 19, 238—239
Брамс И. — 298
Брежнев Л. И. — 135, 203
Брехт Б. — 227
Брик И. О. — 10
Бриттен Б. — 192—193, 212, 217, 220—221, 224, 288, 295
Брумель В. Н. — 248—249
Брянская Тамара — см. Самознаева (Брянская) Т. И.
Брянский Ю. Г. — 63—64
Будяковский А. Е. — 43
Булез П. — 298
Булгаков М. А. — 293,
Булганин Н. А. — 135
Булгарин Ф. В. — 154—155
Буравский — 51
Бунин Р. С. — 222
Бурлюк Д. Д. — 122
Бурлюк М. Н. — 122
Бушен А. Д. — 58

Вавилов Н. И. — 220
Вагнер Р. — 8, 159, 278
Вайман М. И. — 124, 193, 236
Вайнберг М. С. — 3, 100—101, 129, 144,

* Составлен В. Г. Степановой по тексту писем.

157—158, 162, 171, 196, 235, 249, 278, 303, 307—308
Вайнкоп Ю. Я. — 219
Вакман С. Б. — 295
Варзар В. В. — 38—39, 41—43, 46, 81, 85, 102
Варзар И. В. — 39, 41—42
Варзар С. М. — 41—42, 46, 85
Васильев А. Г. — 10
Вас. Вас. — см. Варзар В. В.
Ведерников А. Ф. — 172—173
Вельтман — 51
Вера Васильевна — см. Антонова В. В.
Верди Дж. — 28, 218, 292
Вильгельмина — 82
Вишневская Г. П. — 164—166, 172, 194, 207, 213, 226, 230, 235, 237, 239, 252, 258, 262—264, 267—268, 299
Владимиров Е. — 256, 258, 262, 267
Владимирская А. — 194
Вольтер Ф. М. — 5
Волшанинова Р. — 232—233
Воронов Н. Н. — 71—72
Ворошилов К. Е. — 135
Вотчал Б. Е. — 281
Вяземский П. А. — 4, 197

Габрилович Е. И. — 246
Гавриил Давидович — см. Гликман Г. Д.
Гайдн Й. — 267
Галантер Е. Б. — 257—258
Галина, Галя — см. Шостакович Г. Д.
Гальперин — 127
Галя — см. Уствольская Г. И.
Гарсия Лорка Ф. — 249
Гаук А. В. — 7, 11—12, 14, 114—115, 124
Гаямова З. А. — 281
Гейне Г. — 8
Гёте И. В. — 16, 55
Гердт З. Е. — 268
Геринг ас Д. — 288
Геронимус А. Е. — 229
Герцен А. И. — 311
Гершов С. М. — 226—227
Гилельс Э. Г. — 56—57, 147—149
Гиппократ — 248
Глазунов А. К. — 21, 147, 260
Гликман Г. Д. — 65, 67, 72, 96, 227, 273
Гликман Т. И. — 32—36, 38, 40, 43—44, 49, 55—56
Гликман Ф. Б. — 39, 45, 128, 159, 167, 175, 179—180, 182, 260
Глинка М. И. — 128, 164, 184, 213
Гмырев А. М. — 93, 198
Гмыря Б. Р. — 172—175, 177—179, 181, 187—189, 296
Гоголь Н. В. — 6, 29, 45, 206—207, 225, 258, 304
Гольц Б. Г. — 43
Горький Максим (А. М. Пешков) — 19, 54—55
Грабарь И. Э. — 65—67
Гранин Д. А. — 130
Гречанинов А. Т. — 154—155
Григорович Ю. Н. — 283
Грикуров Э. П. — 112, 284
Громадский В. А. — 200—201, 205, 207
Гурвич М. Ж. — 34—35, 51
Гус Ян — 144
Гусман И. Б. — 137—138, 201
Гутман Н. Г. — 247
Гутников Б. Л. — 236

Данте Алигьери — 9
Даргомыжский А. С. — 29, 239
Де Валера И. — 288
Делиб Л. — 299
Дементьев П. — 17, 32, 36, 48
Дефо Д. — 142
Дешевов В. М. — 7
Дзержинский И. И. — 237
Дмитриев В. В. — 227
Дмитрий — см. Шостакович Д. М.
Довженко А. П. — 232—233
Долговинер Р. М. — 116—117
Долматовский Е. А. — 82, 174
Долуханова З. А. — 110
Дониях Г. А. — 109, 112, 120, 186
Дорлиак Н. Л. — 90, 110
Достоевский Ф. М. — 155, 177, 206, 265—266, 302
Дрейфус А. — 118
Дремов А. К. — 202
Друскин М. С. — 7, 49, 64, 118, 218, 279, 290
Дубенская М. — см. Дубянская М.
Дубянская М. — 218—219
Дудин М. А. — 201
Дунаевский З. И. — 46, 51
Дунаевский И. О. — 51—52

Евгений Александрович — см. Мравинский Е. А.
Евтушенко Е. А. — 173—176, 178—180, 183—184, 190, 196—200, 201—202, 209, 218, 270, 276
Еголин А. М. — 54—55
Егорычев Н. Г. — 216
Елагин Ю. — 13—14
Елена Павловна — 40—41
Ельцин С. В. — 18, 28, 150, 163
Ериш Т. Н. — 128

Жак А. С. — 34
Жданов А. А. — 74, 125—126, 153
Женя — см. Чуковский Е. Б.
Женя — см. Шнеерсон Е. В.

Желобинский В. В. — 7, 58
Животов А. С. — 7
Житомирский А. М. — 187—188
Жук И. А. — 51

Забавников Н. Н. — 295
Завадовский Б. М. — 220
Завадский Ю. А. — 265—266
Загурский Б. И. — 111, 119—120
Зандерлинг К. И. — 125—126
Землячка Р. С. — 32—35, 40
Златогоров П. — 171
Золя Э. — 118
Зощенко М. М. — 3, 74, 152—153, 167, 221, 243, 267, 279
Зоя — см. Шостакович З. Д.

Иванов К. К. — 46—47, 124
Иван Грозный — 233, 310
Иван Иванович — см. Соллертинский И. И.
Игнатов Н. Г. — 135
Илизаров Г. А. — 248—249, 252, 265, 268—272, 274, 282
Ильин И. — 122
Ирина — см. Варзар И. В.
Ирина Антоновна — см. Шостакович И. А.
Ирина Николаевна — см. Семенова И. Н.
Исаакян А. С. — 90
Иохельсон В. Е. — 12

Кабалевский Д. Б. — 19, 119—121, 238—239
Каганович Л. М. — 52
Кайнова М. А. — 139
Калафати В. П. — 43
Калинникова — 31
Калнберзин Я. Э. — 135
Кальченко Н. Т. — 135
Каменский А. Д. — 58
Канкарович А. И. — 198—199
Каплан Э. И. — 19, 229
Караваева А. А. — 207
Караян Г. — 283
Катон Младший — 15
Кафтанов — 119
Кац С. А. — 51
Кашкин Н. Д. — 161
Кеменов — 119
Кириленко А. П. — 135
Кириченко А. И. — 135
Киров С. М. — 150, 156, 163, 172, 295
Киршон В. М. — 281—282
Киселев И. Н. — 258—259
Китаенко Д. Г. — 276, 283
Клемперер О. — 10—12
Клецки П. — 239
Клюзнер Б. Л. — 58, 126, 309
Клячкин А. М. — 32, 33, 49
Кнайфель А. А. — 288
Книппер Л. К. — 7
Коган Л. Б. — 157—158
Кожунова Ф. Ф. — 42—43, 45, 95, 108, 127, 167, 171
Козинцев Г. М. — 78, 195, 262, 268
Козлов Ф. Р. — 135
Козловский И. С. — 32
Коловский О. П. — 118
Кондрашин К. П. — 13, 144, 170—171, 181, 200—201, 205, 207
Константиновская Ляля — см. Константиновская Е. Е.
Константиновская Е. Е. — 44—45
Коркин Г. М. — 154—155
Корнблюм Р. Э. — 281
Коротченко Д. С. — 135
Костромитин Н. Н. — 50—52
Косыгин А. Н. — 135
Котляревский А. Н. — 133—134
Кочетов В. А. — 130, 154, 265—266
Коц А. Я. — 93, 198
Крандиевская Н. В. — 19
Крастин М. Э. — 272—273
Куприн А. И. — 18, 140
Кручинин В. Я. — 51
Куусинен О. В. — 135
Кюхельбекер В. К. — 249—251

Лавренев Б. А. — 19
Лавровский Л. М. — 298
Ландау Л. Д. — 108
Ларчинский — 123
Лебедев В. В. — 16—17, 32—33, 88, 236, 292
Левин-Коган — 36, 40, 48
Левитин Ю. А. — 18—19, 35—36
Леля — см. Арнштам Л. О.
Лена — 167—168
Ленин В. И. — 16, 135, 216
Леонтьев Я. Л. — 40
Леонов Л. М. — 62
Лермонтов М. Ю. — 225
Лесков Н. С. — 199
Лина — 71—72
Лист Ф. — 237—238
Литвинов М. М. — 61
Литвинова Т. М. — 60—61
Лифшиц — 127
Лукин — 125—126
Лушин А. — 171
Лысенко Т. Д. — 220—221

Мазуров К. Т. — 135
Майборода Г. И. — 133—134
Максим — см. Шостакович М. Д.

Маленков Г. М. — 99
Малер Г. — 189—190, 192, 239, 256
Мальц А. — 142—143
Манизер М. Г. — 67—68
Манн Т. — 288
Маргарита — см. Кайнова М. А.
Мария Александровна — 236
Мария Дмитриевна — 127, 171
Мария Дмитриевна — см. Шостакович М. Д.
Мария Никифоровна — см. Бурлюк М. Н.
Мария Терентьевна — 167
Маркс К. — 135
Маруся — см. Шостакович М. Д.
Маршак С. Я. — 54, 90, 213
Масленников А. Д. — 110
Масс В. — 166
Маяковский В. В. — 145, 157, 188, 199, 234, 259
Меерович М. А. — 129
Мейербер Дж. — 218
Мейерхольд В. Э. — 5, 14, 266, 276, 297
Мжаванадзе В. Т. — 135
Микеланджело Буонарроти — 224, 302—303, 305
Микоян А. И. — 135
Мирошникова М. — 258, 263, 267
Митя — см. Фредерикс Д. В.
Митя — см. Шостакович Д. М.
Михайлов Л. Д. — 170—172
Михайлов Н. А. — 110, 112, 119
Михалков С. В. . 129—130
Михеева Л. В. — 290
Михельсон — 221
Михоэлс С. М. — 100
Мнацаканова Е. А. — 271
Мнацаканян А. Д. — 199
Молотов В. М. — 119
Молчанов К. В. — 193—194
Мосолов А. В. — 293
Моцарт В. А. — 8, 16, 20, 217
Мстислав Леопольдович — см. Ростропович М. Л.
Мравинский Е. А. — 7, 14, 20, 29—30, 36, 44—45, 60—61, 78, 83, 106, 115—116, 120, 156, 168, 179—182, 187—189, 218, 222—223, 262, 272, 278, 285—287, 305
Мур Т. — 4
Мурадели В. И. — 78, 155, 203, 221
Мусин И. А. — 28
Мусоргский М. П. — 182, 225—226, 252—253
Мухитдинов Н. А. — 135

Набутов В. С. — 32
Нагибин Ю. М. — 200
Найденов А. — 194
Нееглы З. — 34
Нежданова А. В. — 120, 172
Нейгауз Г. Г. — 57
Нелиус Э. И. — 11
Немирович-Данченко В. И. — 145, 170—171, 184, 193, 283—284
Непомнящий Ю. А. — 203
Нестеренко Е. Е. — 213, 216, 303, 305, 309
Нестьев И. В. — 75
Никита Сергеевич — см. Хрущев Н. С.
Николаев Л. В. — 3, 7, 47—48, 54, 57, 58, 147
Николай — см. Чуковский Н. Е.
Николай, митрополит Киевский и Галицкий — 58
Николай I — 184, 186
Николай Семенович — см. Рабинович Н. С.
Николаева И. К. — 118
Николаева Т. П. — 91
Нина Васильевна — см. Шостакович Н. В.
Новиков А. Г. — 295
Носов Г. Н. — 154
Ньютон И. — 190

Оборин Л. Н. — 7, 11, 21, 26, 32—35, 37, 40
Образцова Е. В. — 295
Оганесян Э. С. — 260
Огнивцев А. П. — 239
Оголевец А. С. — 34, 74—75
Ойстрах Д. Ф. — 78, 116—117, 120, 124—125, 226, 230, 232, 235, 245, 247—248, 255—257, 261—262, 303—304
Окунев Г. Г. — 199
Ольга Пантелеймоновна — см. Соллертинская О. П.
Орлов В. Н. — 271
Оссовский А. В. — 70—71
Островский А. Л. — 24—25, 70—71
Островский В. — 35
Ошенцов О. — 45

Панфилов Г. А. — 246
Пастер Л. — 25, 190
Пастернак Б. Л. — 213
Паша — 42, 45, 59, 95
Пащенко А. Ф. — 7
Пейко Н. И. — 189—190, 196—197, 214—215, 252—253
Пека — см. Дементьев П.
Первухин М. Г. — 135
Пергаменщиков Б. — 277
Перельман Нона — см. Перельман Н. Е.
Перельман Н. Е. — 58
Петипа М. — 301
Петр I — 310

Петров А. П. — 214—215, 310
Петров И. И. — 172, 200
Петров Ю. — 194
Печковский Н. К. — 18, 28
Пирс П. — 224
Плавт Тит Макций — 20
Платон — 28
Покрасс Дм. Я. — 51
Покровский Б. А. — 76, 303
Пономарев А. В. — 272
Поспелов П. А. — 135
Поспелов П. Н. — 160
Попов Г. Н. — 284, 287
Поповский М. А. — 220
Презент И. И. — 220
Пригожин Л. А. — 155
Пришвин М. М. — 223
Проваторов Г. П. — 171—172, 283—284
Прокофьев А. А. — 201
Прокофьев С. С. — 29, 76, 91, 112, 130, 215, 263, 279, 297—298
Прутков Козьма (А. В. и А. М. Жемчужниковы, А. К. Толстой) — 106
Пушкин А. С. — 4—6, 35, 37, 85, 183, 197, 200, 211—212, 225, 227—228, 243, 250, 284, 304, 311
Пушков В. В. — 295
Пырьев И. А. — 266

Рабинович А. С. — 137, 148
Рабинович Д. А. — 34—35, 37
Рабинович Н. С. — 7, 32—33, 64—65, 146, 222—223, 229, 289—290
Работалов Ф. П. — 221, 266
Равель М. — 22, 306
Радин Л. П. — 92, 198
Райкин А. И. — 262
Райх З. Н. — 297
Ралей У. — 54
Рапопорт Г. М. — 146, 166, 169
Рахлин Н. Г. — 126, 133—134
Рензин И. М. — 13
Решетин М. — 263—264, 267, 299
Рильке Райнер Мария — 200, 249
Римский-Корсаков Н. А. — 66, 188, 233
Рихтер С. Т. — 21, 156, 245, 248, 255—257, 261—262
Ромм М. И. — 281
Рождественский Г. Н. — 29, 248, 298, 303, 307
Россини Дж. — 20, 225, 278
Ростропович М. Л. — 165—166, 194, 213, 217, 220, 222—223, 226, 230, 235—236, 239, 247, 277—278, 286, 288, 299—300, 307
Рошаль Г. Л. — 202
Рузвельт Ф. Д. — 266
Румянцев — 207
Рылеев К. Ф. — 297
Рязанов П. Б. — 47—48

Сабинина М. Д. — 207
Сабитов Н. Г. — 281
Сабо Ф. — 34
Сазонов К. — 32, 36
Салманов В. Н. — 156
Самознаева (Брянская) Т. И. — 63—64
Самосуд С. А. — 24, 30, 32, 35—39, 41—42, 76, 112
Саркисов О. С. — 272—273
Свердлов Я. М. — 217
Светланов Е. Ф. — 263
Светлов М. А. — 18—19
Свешников А. В. — 96
Свиридов Ю. В. — 16, 44, 72, 75, 79, 82—85, 89—90, 108—109, 196
Свиридова А. Л. — 75
Свифт Д. — 142
Семенова И. Н. — 304
Семенова М. Т. — 39
Семенов С. А. — 151—152
Серебряков П. А. — 24—25, 41—42, 47, 51, 56, 58, 62, 65, 219
Сибелиус Я. — 224—225
Симеонов К. А. — 134, 238, 306
Симкин М. Г. — 244, 246—247
Синявская Т. И. — 295—296
Симонов К. М. — 154
Синклер Э. — 142—143
Слава — см. Ростропович М. Л.
Слонимский С. М. — 202, 264—265, 287
Смирнов Я. — 12
Соболев Л. С. — 160
Солженицын А. И. — 267, 298—299
Соллертинский И. И. — 3, 6—7, 11—12, 14, 16, 19—20, 29—30, 32—33, 44—46, 49, 53—54, 60, 62, 64, 73, 115, 118, 170—171, 208, 211, 218—219, 250—251, 258, 272, 289—290
Соллертинская Л. В. — 290
Соллертинская О. П. — 208
Соловьев-Седой В. П. — 154
Солодовников А. В. — 40—41, 47—48
Солодухо Я. С. — 34
Соломяк Л. М. — 76
Солуянов — 71
Сосюра В. Н. — 201
Софья Васильевна — см. Шостакович С. В.
Софья Михайловна — см. Варзар С. М.
Софроницкий В. В. — 7
Софронов А. В. — 154
Сталин И. В. — 36, 49, 52, 55, 62—63, 82, 98—99, 117, 126, 132, 135, 142, 144, 152—155, 157, 160, 176, 194, 201—202, 220, 238, 244, 290, 299, 309
Станиславский К. С. — 170—171, 184, 193, 266, 283—284
Старцев А. И. — 32—33

Стасевич А. Л. — 133—134
Стравинский И. Ф. — 79, 189—190, 279—280, 306—307
Столяров Г. А. — 145
Суворин А. С. — 118, 251
Суслов М. А. — 135
Сычев — 32

Таля — см. Гликман Т. И.
Тан-Богораз В. Г. — 93
Тарасов В. А. — 100, 198
Тарасов Е. М. — 92
Татьяна Ивановна — см. Гликман Т. И.
Татьяна Максимовна — см. Литвинова Т. М.
Твардовский А. Т. — 158
Темирканов Ю. Х. — 297
Тертерян А. Р. — 260
Тимофеев Н. А. — 58
Тимошук Л. Ф. — 176
Тито И. Б. — 132, 194
Тихомиров Р. И. — 229, 238, 259
Тищенко Б. И. — 227, 306—307
Товстоногов Г. А. — 297
Толстой А. Н. — 14, 23—24, 38—39, 62
Толстой Л. Н. — 190, 195, 243
Тосканини А. — 46
Трауберг И. З. — 77—78
Трауберг Л. З. — 78, 82—83, 89

Уайльд О. — 288
Успенский В. А. — 214
Уствольская Г. И. — 104—105, 154—155, 162—163, 166, 214—215
Уткин И. П. — 47—48

Фалик Ю. А. — 276
Фаня Борисовна — см. Гликман Ф. Б.
Фаст Г. — 142—143
Федин К. А. — 160
Федоров А. — 48
Федоров В. В. — 32, 36
Федоров Вл. И. — 265
Федотов Т. И. — 130—131
Фельдт П. Э. — 157
Фенстер Б. А. — 157—158
Феня — см. Кожунова Ф. Ф.
Филатов — 133
Флейшман В. — 16, 63
Фомин И. И. — 149
Фрадкин М. Г. — 43
Франк Л. — 136
Фредерикс Д. В. — 41—42, 149, 192
Фурцева Е. А. — 135

Хайкин Б. Э. — 76, 307
Хачатурян А. И. — 74, 106—107, 141, 202—203
Хейф Р. И. — 51
Хемингуэй Э. — 18
Хикмет Н. — 164
Хит Э. — 289
Ходасевич В. М. — 19
Ходжа-Эйнатов Л. А. — 131
Холодилин А. А. — 132, 136, 217, 232, 281
Храпченко М. Б. — 32—33, 40
Хрущев Н. С. — 135, 160, 183—184
Хрущов Г. К. — 48—49
Хубов Г. Н. — 120—121

Цветаева М. И. — 199, 276, 294—295
Цезарь Гай Юлий — 119
Целиковский В. В. — 120
Цфасман А. Н. — 34

Чайковский Б. А. — 144, 249, 278
Чайковский П. И. — 14, 29, 46, 159, 161, 198, 206, 225, 294, 299, 301
Чаплин Ч. — 233
Червинский М. — 166
Чернецкий С. А. — 34
Чернов А. А. — 203
Черный Саша (А. М. Гликберг) — 160, 165—167, 206, 213, 234, 252
Чехов А. П. — 14, 63, 101, 103, 117—118, 176, 251, 288, 293
Чистяков В. П. — 164
Чуковский А. Е. — 171, 245
Чуковский Е. Б. — 245—246
Чуковский Н. Е. — 171, 245
Чуковский Н. К. — 223
Чулаки М. И. — 120—121, 203

Шагинян М. С. — 287
Шальман Б. Г. — 127—128
Шаляпин Ф. И. — 18
Шантырь Г. М. — 170—171
Шапиро М. Г. — 207, 281
Шапорин Ю. А. — 7, 65, 67
Шверник Н. М. — 135
Шебалин В. Я. — 7, 15, 32, 53—54, 56, 141
Шевцов И. — 208
Шекспир В. — 29, 54, 90, 113, 190, 195, 200, 213, 222, 268
Шерман И. Э. — 91
Ширинский С. П. — 304
Шишмарев В. Ф. — 14
Шлегель Ф. — 211
Шлепянов И. Ю. — 76
Шлифштейн С. И. — 34—35, 37
Шмидт — 221
Шмыга Т. — 146
Шнеерсон Е. В. — 128, 140

Шнеерсон М. — 140
Шостакович Г. Д. — 32—33, 59, 85, 90, 92, 108, 137—139, 154, 167, 171, 289
Шостакович Д. М. — 167, 171, 207
Шостакович З. Д. — 48—50
Шостакович И. А. — 5, 173—182, 187, 190—192, 194—195, 201, 203—206, 212—214, 217—218, 228, 230—232, 235, 237, 239—241, 243, 245, 247, 249—250, 256—257, 260—263, 266—271, 274—276, 278—279, 281—283, 285, 287—289, 291—294, 296, 298—299, 301—303, 305—306, 309—310
Шостакович М. Д. — 32—33, 58—59, 61, 69, 85, 92, 125, 127, 137—138, 159, 167—168, 182, 207, 256, 280—283, 288
Шостакович Мария Д. — 33, 41—42, 79, 127, 129, 139—140, 148—149, 160, 165, 171, 177—179, 181, 192, 198, 207, 212, 217, 219, 230
Шостакович Н. В. — 11—12, 18, 27, 32—36, 38, 55—56, 59, 61, 67, 75, 81, 84, 92
Шостакович С. В. — 33, 43, 50, 52, 71, 79—80, 97, 111, 113, 138, 153
Штенберг Э.— 194
Штейнберг М. О. — 65—66, 147
Штидри Ф. — 11—13
Штокхаузен К. — 288
Штраус И. — 307
Шуман Р. — 192, 224
Щедрин Р. К. — 288
Щербачев В. В. — 7, 44—45, 70
Эйзенштейн С. М. — 232—233
Энгельс Ф. — 135
Эразм Роттердамский — 37
Эренбург И. Г. — 32, 101
Эркенов Л. — 82
Эрмлер Ф. М. — 140
Эрбштейн М. Б. — 227
Эфрос А. М. — 302
Эфрос А. Г. — 38—39, 41
Эфрос Г. Г. — 41—42
Юм Д. — 6
Юренева Н. Ю. — 236—237, 240
Юрий — см. Свиридов Г. В.
Юрлов А. А. — 201, 205, 207
Юровский В. М. — 284
Юрьев Ю. М. — 14
Яворский Б. Л. — 51
Янко — 90

Содержание

Д. Д. ШОСТАКОВИЧ

Письма

И. Гликман. Предисловие 3
1 (30.XI.1941) 31
2 (22.XII.1941) 33
3 (4.I.1942) 34
4 (6.II.1942) 38
5 (14.II.1942) 40
6 (11.III.1942) 41
7 (31.III.1942) 42
8 (29.VI.1942) 44
9 (26.VII.1942) 45
10 (17.IX.1942) 46
11 (14.X.1942) 47
12 (4.XI.1942) 48
13 (6.XI.1942) 49
14 (22.XI.1942) 50
15 (6.XII.1942) 50
16 (23.XII.1942) 51
17 (1.III.1943) 53
18 (28.III.1943) 54
19 (17.IV.1943) 55
20 (21.IV.1943) 56
21 (10.V.1943) 58
22 (26.V.1943) 59
23 (8.X.1943) 60
24 (8.XII.1943) 61
24-а (31.XII.1943) 62
25 (3.I.1944) 63
26 (13.II.1944) 64
27 (19.IV.1944) 64
28 (2.VI.1944) 67
29 (23.VII.1944) 68
30 (2.I.1945) 69
31 (17.II.1945) 71
32 (12.I.1946) 72
33 (11.II.1946) 73
34 (24.IX.1946) 74
35 (12.X.1946) 75
36 (20.I.1947) 76
37 (12.XII.1948) 77
38 (24.I.1949) 79
39 (25.II.1949) 79
40 (29.IV.1949) 80
41 (10.VI.1949) 81
42 (29.VII.1949) 82
43 (25.IX.1949) 83
44 (26.IX.1949) 83
45 (9.XII.1949) 83
46 (21.XII.1949) 84
47 (2.II.1950) 86
48 (20.II.1950) 86
49 (11.III.1950) 87
50 (3.IV.1950) 87
51 (6.IV.1950) 89
52 (27.IV.1950) 89
52-а (9.X.1950) 90
53 (31.X.1950) 91

54 (25.XII.1950) . . . 91
55 (17.III.1951) . . . 92
56 (5.IV.1951) . . . 92
57 (4.VII.1951) . . . 93
58 (21.VII.1951) . . . 95
59 (18.VIII.1951) . . . 95
60 (24.IX.1951) . . . 95
61 (9.X.1951) . . . 96
62 (5.XII.1951) . . . 96
63 (16.IX.1952) . . . 97
64 (14.X.1952) . . . 98
65 (16.X.1952) . . . 99
66 (11.IV.1953) . . . 100
67 (27.IV.1953) . . . 100
68 (6.V.1953) . . . 101
69 (24.VI.1953) . . . 103
70 (22.VIII.1953) . . . 104
71 (28.VIII.1953) . . . 104
72 (29.VIII.1953) . . . 105
73 (4.I.1954) . . . 105
74 (28.I.1954) . . . 106
75 (7.IV.1954) . . . 107
76 (25.VI.1954) . . . 107
77 (18.IX.1954) . . . 108
78 (21.III.1955) . . . 109
79 (21.IV.1955) . . . 113
80 (13.VIII.1955) . . . 113
81 (25.VIII.1955) . . . 114
82 (28.VIII.1955) . . . 114
83 (16.XI.1955) . . . 116
84 (28.XII.1955) . . . 117
85 (11.I.1956) . . . 118
86 (28.I.1956) . . . 119
87 (29.V.1956) . . . 121
88 (29.V.1956) . . . 122
89 (2.VI.1956) . . . 122
90 (15.VI.1956) . . . 123
91 (27.VI.1956) . . . 123
91-a (13.IX.1956) . . . 123
92 (27.XII.1956) . . . 125
93 (31.III.1957) . . . 125
94 (13.IV.1957) . . . 126
95 (15.IV.1957) . . . 127
96 (23.IV.1957) . . . 127
97 (24.IV.1957) . . . 128
98 (15.VII.1957) . . . 129
99 (11.IX.1957) . . . 129
100 (10.XI.1957) . . . 129
101 (10.XII.1957) . . . 130
102 (11.XII.1957) . . . 132
103 (18.XII.1957) . . . 133
104 (24.XII.1957) . . . 134
105 (29.XII.1957) . . . 135
106 (5.I.1958) . . . 136
107 (2.II.1958) . . . 136
108 (20.III.1958) . . . 137
109 (5.V.1958) . . . 137
110 (3.VI.1958) . . . 138
111 (22.VI.1958) . . . 139
112 (10.VII.1958) . . . 139

113 (17.VII.1958) 139
114 (24.VIII.1958) 140
115 (6.IX.1958) 141
116 (12.IX.1958) 142
117 (19.IX.1958) 143
118 (11.XI.1958) 145
119 (19.XII.1958) 145
120 (2.II.1959) 146
121 (6.II.1959) 147
122 (20.V.1959) 147
123 (26.V.1959) 148
124 (27.V.1959) 148
125 (15.VI.1959) 149
126 (25.VIII.1959) 149
127 (8.X.1959) 150
128 (20.X.1959) 150
129 (11.II.1960) 151
130 (17.II.1960) 152
131 (26.II.1960) 153
132 (14.III.1960) 155
133 (21.III.1960) 156
134 (8.IV.1960) 156
135 (30.IV.1960) 157
136 (18.VI.1960) 158
137 (19.VII.1960) 159
138 (19.VIII.1960) 162
139 (3.XI.1960) 162
140 (19.XII.1960) 163
141 (31.XII.1960) 163
142 (1.II.1961) 164
143 (26.II.1961) 164
144 (27.II.1961) 165
145 (30.IV.1961) 165
146 (6.V.1961) 166
147 (14.V.1961) 166
148 (15.VIII.1961) 167
149 (20.VIII.1961) 168
150 (18.XI.1961) 168
151 (20.XI.1961) 169
152 (13.XII.1961) 169
153 (19.XII.1961) 170
154 (27.I.1962) 170
155 (10.IV.1962) 172
156 (31.V.1962) 172
157 (24.VI.1962) 173
158 (2.VII.1962) 175
159 (7.VII.1962) 177
160 (9.VII.1962) 178
161 (14.VII.1962) 179
162 (16.VII.1962) 181
163 (3.VIII.1962) 182
164 (6.I.1963) 183
165 (7.I.1963) 184
166 (28.I.1963) 185
167 (22.II.1963) 186
168 (14.IV.1963) 186
169 (6.V.1963) 187
170 (28.VI.1963) 188
171 (7.VII.1963) 188
172 (24.VII.1963) 190

173 (1.VIII.1963) 191
174 (27.VIII.1963) 192
175 (1.IX.1963) 193
176 (9.X.1963) 193
177 (31.XII.1963) 194
178 (16.VII.1964) 195
178-a (21.VII.1964) 196
179 (15.IX.1964) 196
180 (24.IX.1964) 198
181 (13.XII.1964) 200
182 (27.I.1965) 200
183 (23.IV.1965) 202
184 (19.VI.1965) 202
185 (3.VII.1965) 203
186 (6.VII.1965) 204
187 (3.VIII.1965) 204
188 (16.VIII.1965) 204
189 (4.IX.1965) 205
190 (10.IX.1965) 206
191 (24.IX.1965) 207
192 (26.XI.1965) 208
193 (16.II.1966) 208
194 (20.III.1966) 209
194-a (30.III.1966) 211
195 (5.IV.1966) 211
196 (19.IV.1966) 212
197 (27.IV.1966) 212
198 (4.V.1966) 214
199 (8.V.1966) 215
200 (14.VI.1966) 217
201 (29.VII.1966) 218
202 (6.VIII.1966) 219
203 (13.VIII.1966) 219
204 (9.X.1966) 220
205 (10.XI.1966) 221
206 (2.XII.1966) 223
207 (26.XII.1966) 223
208 (24.I.1967) 224
209 (3.II.1967) 225
210 (18.II.1967) 226
211 (13.III.1967) 227
212 (22.III.1967) 228
213 (8.IV.1967) 229
214 (24.IV.1967) 229
215 (6.V.1967) 230
216 (14.VI.1967) 230
217 (1.VII.1967) 231
218 (11.VIII.1967) 231
219 (30.VIII.1967) 232
220 (2.IX.1967) 233
221 (30.IX.1967) 234
222 (16.X.1967) 235
223 (29.XI.1967) 236
224 (8.XII.1967) 237
225 (26.XII.1967) 238
226 (25.I.1968) 239
227 (12.V.1968) 240
228 (15.VI.1968) 241
229 (22.VI.1968) 241
230 (5.VII.1968) 242

231 (20.VII.1968) . . . 242
232 (2.VIII.1968) . . . 242
233 (24.IX.1968) . . . 243
234 (9.X.1968) . . . 244
235 (26.X.1968) . . . 244
236 (10.XI.1968) . . . 245
237 (4.XII.1968) . . . 246
238 (19.XII.1968) . . . 247
239 (2.I.1969) . . . 247
240 (1.II.1969) . . . 248
241 (17.II.1969) . . . 250
242 (19.III.1969) . . . 251
243 (19.III.1969) . . . 253
244 (25.III.1969) . . . 255
245 (28.IV.1969) . . . 255
246 (12.V.1969) . . . 257
247 (10.VI.1969) . . . 257
248 (24.VI.1969) . . . 258
249 (22.VII.1969) . . . 260
250 (18.VIII.1969) . . . 260
251 (10.IX.1969) . . . 262
252 (6.X.1969) . . . 263
253 (7.X.1969) . . . 264
254 (26.X.1969) . . . 264
255 (23.XI.1969) . . . 265
256 (26.XII.1969) . . . 266
257 (25.I.1970) . . . 268
258 (27.II.1970) . . . 269
259 (28.III.1970) . . . 270
260 (11.V.1970) . . . 271
261 (2.VI.1970) . . . 272
262 (16.VIII.1970) . . . 272
263 (24.VIII.1970) . . . 273
264 (27.VIII.1970) . . . 273
265 (21.IX.1970) . . . 274
266 (25.X.1970) . . . 274
267 (22.II.1971) . . . 275
268 (2.VI.1971) . . . 277
269 (3.VI.1971) . . . 277
270 (9.IX.1971) . . . 279
271 (28.XI.1971) . . . 280
272 (30.XII.1971) . . . 281
273 (20.II.1972) . . . 283
274 (21.II.1972) . . . 284
275 (3.IV.1972) . . . 284
276 (12.V.1972) . . . 288
277 (19.VII.1972) . . . 289
278 (15.VIII.1972) . . . 289
279 (19.X.1972) . . . 290
280 (16.I.1973) . . . 291
281 (9.III.1973) . . . 292
282 (17.VII.1973) . . . 293
283 (1.VIII.1973) . . . 294
284 (14.VIII.1973) . . . 294
285 (20.IX.1973) . . . 295
286 (25.III.1974) . . . 300
287 (12.V.1974) . . . 301
288 (23.VIII.1974) . . . 302
Приложения . . . 312
Указатель имен . . . 324

ПИСЬМА
К ДРУГУ

Дмитрий Шостакович —
Исааку Гликману

Составитель
Исаак Давидович Гликман

Редактор И. В. Белецкий
Художник И. Н. Кошаровский
Технический редактор Т. И. Кий
Корректор А. А. Тимофеев

Н/К. Сдано в набор 20.05.91. Подписано к печати 13.01.93. Формат 60×90/16.
Бум. офс. № 1. Гарн. журн. рубл. Офс. печать. Печ. л. 21. Усл. п. л. 21. Уч.-изд. л. 23 + 1,3 вкл.
Усл. кр.-отт. 247,5. Тираж 10 000 экз. Заказ № 767. Петербургское издательство
«Композитор». 190000, Санкт-Петербург, ул. Герцена, 45.
Издательство «DSCH», Москва, ул. Неждановой, д. 8/10, кв. 23.

Типография им. И. Е. Котлякова Министерства печати и информации РФ.
195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, 13.